

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2021

№ 62

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Жарков Е.А. Фундаментальное и прикладное: трансформация архетипов	5
---	---

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Козлова Н.Н., Рассадин С.В. Конструирование «Града женского» в проекте Кристины де Пизан	20
Носкова А.В., Голоухова Д.В., Кузьмина Е.И. Неравенства в образовании и перспективы цифрового обучения в оценках студентов	29
Сыров В.Н. Роль морального принципа в формировании и функционировании идеи ответственности	40

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Чепелева Н.Ю. Наихудший возможный мир. Аргумент Шопенгауэра против Лейбница	54
---	----

СОЦИОЛОГИЯ

Гаврилюк Т.В. Эмоциональная и смысловая природа труда рабочего класса в сервисной экономике: обзор проблематики в зарубежном социологическом дискурсе	64
Костина С.Н. Коллективные сети поддержки многодетных	74
Мартынова С.Э., Сазонова П.В. Публичные коммуникации в период пандемии COVID-19: оценки граждан России	87
Осьмук Л.А., Незамаева О.Б. Социальная активность пожилых людей, проживающих в крупном городе: возможности и проблемы	102
Петрова Е.В. Мониторинг межэтнического взаимодействия в республике: оценка экспертами и населением факторов сохранения стабильности	111
Рахманов А.Б. Роботы, свободное время, средиземноморская кухня и чилийский парадокс: формирование глобального пролетарского класса	122

ПОЛИТОЛОГИЯ

Полякова Н.В. Школьное образование во Франции как инструмент «укрепления принципов республиканизма»: обновление традиции	139
Тузовский А.С. Динамика корпоративных GR-коммуникаций: неоплюралистический анализ в Сибирском федеральном округе	153
Шашкова Я.Ю., Асеева Т.А., Киреева О.С. Государственная молодежная политика РФ в представлениях поколения «Born Digital» (кейс Сибирского федерального округа)	160
Шагин С.А. Партийная динамика российских регионов по итогам парламентских выборов 2019–2020 годов	173
Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Современные тенденции модификации бренда университета города	184

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Л. Витгенштейн, парадоксы и теория типов. К 100-летию публикации «Логико-философского трактата»

Ладов В.А. Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна	194
Антух Г.Г. Теория символизма Л. Витгенштейна и автономность формального знания	204
Борисов Е.В. Теория символизма Рассела–Витгенштейна	211
Нехаев А.В. Типы теории типов в <i>Tractatus</i> Витгенштейна	218
Суровцев В.А. Является ли теория символизма Л. Витгенштейна радикальной версией теории типов?	228
Целищев В.В., Хлебалин А.В. Философские прозрения и техническая работа: судьбы парадоксов	237
Ладов В.А. Был ли оригинален ранний Л. Витгенштейн?	244

Мысленный эксперимент в невербальной семиотике воображения

Вархотов Т.А. От воображения к карте: недискурсивные основания мысленного эксперимента	250
Аласания К.Ю. Ментальная модель в социальном познании: интерпретации Т. Ван Дейка	260
Гавриленко С.М. Мысленный эксперимент и картография: точки схождения	265
Мелик-Гайказян И.В. Мысленный эксперимент на оси синтактики	270
Писарев А.А. Мысленный эксперимент в поисках природы: денатурализация и перформативность	274
Шиповалова Л.Д. Об особом достоинстве мысленного эксперимента	278
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	282

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Zharkov E.A. The Fundamental and the Applied: Transformation of Archetypes.....	5
--	---

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Kozlova N.N., Rassadin S.V. Designing the “City of Ladies” in the Project of Christine de Pizan.....	20
Noskova A.V., Goloukhova D.V., Kuzmina E.I. Inequalities in Education and Prospects of Digital Learning in Students’ Assessments.....	29
Syrov V.N. The Role of the Moral Principle in the Creation and Functioning of the Idea of Responsibility.....	40

HISTORY OF PHILOSOPHY

Chepeleva N.Yu. The Worst Possible World. Schopenhauer’s Argument Against Leibniz.....	54
---	----

SOCIOLOGY

Gavrilyuk T.V. The Emotional and Semantic Nature of Working Class Labor in a Service Economy: An Overview of the Problematic in Foreign Sociological Discourse.....	64
Kostina S.N. Collective Social Networks of Large Family Support.....	74
Martynova S.E., Sazonova P.V. Public Communications During the COVID-19 Pandemic: Responses from Russia.....	87
Osmuk L.A., Nezamaeva O.B. Social Activity of Elderly People Living in a Large City: Opportunities and Challenges.....	102
Petrova E.V. Monitoring of Interethnic Interaction in the Republic: Assessment of Stability Factors by Experts and the Public.....	111
Rakhmanov A.B. Robots, Free Time, Mediterranean Cuisine and Chilean Paradox: Development of the Global Proletarian Class.....	122

POLITICAL SCIENCE

Poliakova N.V. School Education in France as a Tool for “Reinforcing the Principles of the Republic”: Renewing Traditions.....	139
Tuzovskiy A.S. Dynamics of Corporate GR-Communications: A Neopluralistic Analysis in the Siberian Federal District.....	153
Shashkova Ya.Yu., Aseeva T.A., Kireeva O.S. State Youth Policy of the Russian Federation as Perceived by the “Born Digital” Generation (A Case of the Siberian Federal District).....	160
Shpagin S.A. Party Dynamics of the Russian Regions Following the Results of the Parliamentary Elections of 2019–2020.....	173
Shcherbinin A.I., Shcherbinina N.G. Modern Trends in University City Brand Modification.....	184

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Ludwig Wittgenstein, Paradoxes and Theory of Types.

To the Centenary of the Publication of *Tractatus Logico-Philosophicus*

Ladov V.A. Criticism of the Theory of Types in the Early Wittgenstein’s Philosophy.....	194
Antukh G.G. Wittgenstein’s Theory of Symbolism and the Autonomy of Formal Knowledge.....	204
Borisov E.V. The Russell–Wittgenstein Theory of Symbolism.....	211
Nekhaev A.V. Types of the Theory of Types in Wittgenstein’s <i>Tractatus</i>	218
Surovtsev V.A. Is Wittgenstein’s Theory of Symbolism a Radical Version of the Theory of Types?.....	228
Tselishchev V.V., Khlebalin A.V. Philosophical Insights and Technical Work: The Fates of Paradoxes.....	237
Ladov V.A. Was the Early Wittgenstein Original?.....	244

Thought Experiment in the Non-Verbal Semiotics of Imagination

Varkhotov T.A. From Imagination to Map: Non-Discursive Foundations of Thought Experiment.....	250
Alasania K.Yu. The Mental Model in Social Cognition: Teun A. van Dijk’s Interpretations.....	260
Gavrilenko S.M. Thought Experiment and Cartography: Points of Convergence.....	265
Melik-Gaykazyan I.V. Thought Experiment on the Axis of Syntactics.....	270
Pisarev A.A. Thought Experiment in Search of Nature: Denaturalization and Performativity.....	274
Shipovalova L.V. The Special Merit of Thought Experiment.....	278

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	282
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 001.38 + 316.77

DOI: 10.17223/1998863X/62/1

Е.А. Жарков

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХЕТИПОВ

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19–18–00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

Привычные представления о фундаментальной и прикладной науке в настоящее время претерпели значительные изменения. На повестке дня актуальны фронтиры (новое фундаментальное) и вызовы (новое прикладное). В чем заключается суть трансформационных процессов? Показано, что «фундаментальное и прикладное» в их современном состоянии являются специфическими моделями-понятиями. В роли объектов моделирования при этом выступают социотехнические имаджинарии – ситуативности видения социотехнических реальностей различными группами акторов.

Ключевые слова: фундаментальное, прикладное, фронтир, вызов, модель, социотехнические имаджинарии

Существует немало подходов в проблематике рассмотрения целей науки и научного познания. Известные тезисы «знание – сила», «общество знания», «экономика знаний» формируют мышление, зависимое от предполагаемой силы науки. Как действительно выражается эта сила? Какая размерная шкала ей соответствует? Какие силы необходимо прилагать обществу для управления силами науки? Кому следует управлять, а кому быть управляемым [1]?

«Если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами», – вот краткий ответ на последний вопрос. Конструктивно ли подобное утверждение в случае науки? Отвечая утвердительно, мы придаем науке атрибут политического субъекта [2]. К примеру, некоторый условно взятый ученый может оказаться «маленьким человеком», испытывающим тяготы сложной судьбы. Или, в ином случае, преодолев границы лаборатории, института, университета, ученый становится влиятельным представителем технауки, технологической элиты, транснациональной экономики, превратив знания в новые продукты (*technoscience entrepreneurship*) [3, 4]. Это крайние примеры, характерные предельные случаи, отражающие эволюцию поля деятельности и миссии ученого в современном мире. Подобные ситуативности позволяют говорить и об эволюции профессии ученого, об онтологических трансформациях конструкта «наука как призвание» (М. Вебер).

Тезис о науке как политическом субъекте приводит также и к вопросу о *научной политике*. Политика немыслима без разделения полномочий. Какие понятия необходимы для понимания особенностей разделения полномочий в науке? Существуют привычные понятия – *фундаментальное* и *прикладное*. Сложилось определенное контексты их употребления. Может показаться,

что постановка задачи в рамках данных понятий является несколько устаревшей, особенно в связи с актуальными сегодня представлениями о технонауке и т.п. Тем не менее, как показывают исследования концептуальной истории обсуждаемых понятий, подобное мнение весьма поверхностно. В некотором смысле приведенные понятия являются характерными архетипами и представляют отображение классической дихотомии «теоретическое / практическое».

В 2018 г. коллектив западных исследователей выпустил монографию «Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century», в которой рассмотрены различные аспекты языка научной политики в свете проблематики эволюции, миграции концептов между временами, культурами и социальными контекстами. Авторы исследований подчеркивают, что проблематика концептов *basic / applied* и их роли в научной политике длительное время не пользовалась особым вниманием STS- и STI-исследователей¹, значительное внимание которых было направлено на этические и гуманистические аспекты приложений науки и технологий. В противовес дебатам STS-исследователей историки и философы науки апеллируют к важности понимания таких концептов, как *pure science* (*чистая наука*), и рассматривают взаимовлияние «созерцательных и инструментальных» форм знаний как важную проблему истории и философии науки [5, 6].

В нашей работе мы обратимся к фрагментарному обзору ряда исторических кейсов и современных аспектов языка научной политики, подробно рассмотренных Р. Бадом, Д. Шаутц, Т. Флинком, Д. Калдуэйем, Г. Лаксом, с целью выявления представлений, позволяющих конструктивно осмыслить характер трансформации концептов фундаментального и прикладного. Приведенные ниже ситуативные кейсы посвящены исследованию языка научной политики на европейском и американском пространствах. Подобный выбор обусловлен тем простым обстоятельством, что, с одной стороны, современная наука имеет главным образом европейское происхождение, а с другой стороны, роль капитализма и геополитики в сегодняшнем мире науки и технологий в значительной степени сформирована под влиянием практик США.

Историко-ситуативные фрагменты (кейсы-экскурсы)

Британия

Категоризация науки по типу *pure* (чистой), *fundamental* (фундаментальной) и *applied* (прикладной) стала широко распространенной в Британии в конце XIX столетия. Концепция *applied science* сформировалась во второй половине XIX в. как гибрид трех прототипов: *applied sciences*, *science applied to the arts* и *practical science*. Термин *applied sciences* в начале XIX в. ввел поэт и полимат С. Кольридж, используя его в энциклопедии нового типа. Апеллируя к Канту, к 1-й категории Кольридж относил априорное познание (*pure* и *true*), а ко 2-й – эмпирическое (*mixed and applied sciences*). Значительное распространение в массовом сознании концепт *applied science* приобрел в 1840-е гг. в связи с деятельностью химика и минералога Дж. Джонстона, посвященной проблеме эффективности выращивания пшеницы с целью протекции внутреннего рынка Англии. Процесс усовершенствования основывал-

¹ STS (Science–Technology–Society), STI (Science–Technology–Innovation).

ся на анализе почв и ряде других методик *applied science*. К выдающимся персоналиям эпохи относятся Дж. Уатт и Р. Стефенсон, рассматриваемые в роли героев *applied science*, и М. Фарадей – герой *pure science*. После Всемирной выставки в Лондоне в 1851 г. термин *applied science* усилил свою популярность, но использовался главным образом в дискуссиях о реформах образования. Теоретическая часть *pure science* составляет ядро образовательных программ новых учебных заведений. Практическое использование выпускниками научных методов составляло подход *applied science*, являющийся антиподом практики «стандартного эмпирического подхода» (*rule of thumb*) [7. P. 35–44].

Период 1899–1919 гг. в Британии Р. Бад характеризует как *sattlezeit* («переломное время», Р. Козеллек). Здесь акцент дихотомии *applied / pure* с проблематики образования смещается на исследования (*research*) и влияние исследований на процессы модернизации. Следуя примеру Германии, основавшей институт *Physikalisch-Technische Reichsanstalt* (1887), в 1899 г. открывается Национальная Физическая Лаборатория. В 1915 г. создается Департамент научных и промышленных исследований (DSIR), целью которого являлась как поддержка *pure research*, так и организация *applied research* [Ibid. P. 45–48].

К концу периода *sattlezeit* понятия *pure science*, *applied science*, *technology* и *industrial research* приобрели значения, которые, подвергнувшись определенной эволюции, стали широко распространенными во второй половине XX столетия и обрели роль ключевых концептов в становлении дискурса научной политики. В 1917 г. группа ученых выпустила доклад «Наука и нация», из которого следовало, что ученые не пришли к однозначному выводу о том, следует ли рассматривать категорию *pure science* как основу *applied science* или как независимую сущность. Концепт *fundamental research* оказался привлекательным для DSIR в качестве пограничного между *pure* и *applied* [8].

Политики-философы Р. Холдэйн и А. Бальфур апеллировали к важности прикладной науки. Их аргументация основывалась на тезисе о проблеме связи между «думанием» и «деланием» в Британии. Следует упомянуть пионерскую работу биолога Дж. Хаксли «Научные исследования и нужды общества» (1934). К данному тексту восходит так называемая 4-стадийная линейная модель инноваций: *background* → *basic* → *ad hoc research* → *development* (от идеи до продукта) [9. P. 650]. Идеи Хаксли получили широкое освещение в СМИ. В частности, обсуждался вопрос о том, что для массового сознания дихотомия *pure / applied* является вполне понятной, в то время как у специалистов вызывает множество вопросов, и в связи с этим рассматриваются возможности ее замены на более сложную модель. Например, с одной стороны – *basic* и *long term research* (фундаментальное), а с другой – *ad hoc* и *development research* (прикладное) [7. P. 51–53].

Германия

В XIX в. успешный процесс институционализации науки в Германии стал своего рода ролевой моделью для научной политики других стран. Одной из причин успеха является тот факт, что ученые-естественники в XIX в. реализовали так называемый философский идеал чистой науки (*pure science*).

В ходе начального периода развития науки в университетах германские ученые приняли идею о *Wissenschaft*, что относилось как к естественно-научному, так и к гуманитарному знанию [10]. Технология рассматривалась как потенциальное применение *Wissenschaft* и именовалась *Angewandte Naturwissenschaft (applied natural science)* [11. P. 64–65].

В течение XIX в. постепенно приобретают значение дискуссии о проблеме взаимовлияния чистой и прикладной науки, о том, что практические результаты чистой науки «невидимы», но, так или иначе, прогресс в технологиях в конечном итоге определяется чистой наукой. Обсуждались роли техники и технологии как стимуляторов развития чистой науки, что в обратном смысле созвучно с тезисом о техническом прогрессе, зависящем от достижений *pure science* [Ibid. P. 67–69].

В начале XX столетия трансформация продолжается: *Wissenschaftspolitik (science policy)* меняется на *Forschungspolitik (research policy)*. На повестку дня выходят национальные интересы и вопросы экономического развития. В 1911 г. основывается общество Кайзера-Вильгельма (KWG), под эгидой которого вне университетов создаются институты, специализирующиеся на промышленных исследованиях. Это общество в дальнейшем сыграет значительную роль в развитии институций модели тройной спирали [1. P. 28].

После Первой мировой войны возникают новые проблемные смыслы. С одной стороны, научное сообщество представляло науку как культурный актив – существовала обеспокоенность возможной утратой Германией сильных позиций в области академического обмена из-за санкционных последствий войны. С другой стороны, немецкие политики и ученые рассматривали науку как важную экономическую силу. Формируется подход *Gemeinschaftsarbeiten (всеобщий труд)*, предполагающий объединение усилий науки и промышленности для решения задач восстановления экономики. В 1930-е гг. представители пришедшей к власти национал-социалистической партии подвергли образ *pure science* XIX в. агрессивной критике как эгоистично-буржуазный и антинародный. В 1937 г. создается Reichsforschungsrat (RFR) как центральный орган научной политики. Приобретает актуальность категория *Grundlagenforschung (basic research)* как антипод чистой науки, которая вместе с *Zweckforschung (goal-oriented research)* составила концептуальную основу четырехлетнего плана достижения экономической автаркии. Новые понятия позволили (политически) разделить науку на *basic research*, несводимую к строгому планированию, и *Zweckforschung*, играющую прикладную роль *basic research* [11. P. 69–72].

После Второй мировой войны интересный момент связан с трансформацией концепции *basic research*. Был осуществлен своеобразный возврат к старой модели *pure science*, к идее университета как исконного места науки и истины¹. Возрождение прежнего идеала *pure science* играло важную политическую роль, связанную с освобождением от националистического прошлого. Идея *basic research* рассматривалась и продвигалась как элемент демократизации, американской вестернизации, как атрибут высокой морали и свободы. Это привело к определенным трудностям понимания учеными аспектов научной политики [Ibid. P. 76–82].

¹ Речь идет о положении дел в Западной Германии.

США

В первой половине XIX столетия в США было принято разделение науки по типу *abstract* и *practical*, восходящих к английскому образцу (С. Кольридж) [12]. В то же время функциональность этого разделения, согласно мнению ряда историков, сомнительна. Около 1850 г. физик А. Башэ (A. Bashe) организовал сообщество ученых с ироническим названием *Lazzaroni*¹. В дальнейшем члены этого сообщества принимали участие в основании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS, 1848), Национальной академии наук (NAS, 1863). Участники *Lazzaroni* явно акцентировали внимание на контрасте *scientist* (ученый) vs *professional* (зарабатывающий). Примечательно, что аспекты становления концепта *pure science* связаны с указанием на роль высшей добродетели. Речь идет о культурном влиянии религиозного пуританизма на науку в США и метафорическом соответствии образу *чистой науки* протестантского образа труда и служения, поскольку наука и религия в конечном счете имеют сходную цель – «познание бесконечного». Концепт *pure science* в явном виде был сформулирован физиком Г. Роуландом (1880) в «*A Plea for Pure Science*» («Призыв к чистой науке»), который также апеллирует к библейской метафоре о «земле обетованной», путь к которой соответствует путям чистой науки [13. P. 104–106, 111–115].

К концу XIX в. концепт *pure science* приобретает дополнительные смыслы и коннотации. Новым становится понимание *pure science* как функционального ядра *applied science*. Возникает своеобразный парадокс амбивалентности концепта *pure science*: с одной стороны, суть *pure science* означает чистоту, независимость от внешних факторов, а с другой – является ядром практического и технического знания. На повестку дня выходят новые концепты – *fundamental research*, *basic research*. Понятия *fundamental* и *basic research* первоначально возникли в сельскохозяйственной науке и использовались для обоснования необходимости научного подхода при решении ряда практических проблем физиологии растений с целью повышения урожайности, когда уже недостаточно методов чистой ботаники [13. P. 116–118; 14. P. 340–343].

Вместе с тем наука начинает приобретать значение национального актора влияния. В 1916 г. основывается National Research Council (NRC), целью которого являются вопросы организации институций, занимающихся исключительно *research*, вне сферы образования. Крупные промышленные компании открывают исследовательские лаборатории (*industrial research*), ставшие привлекательными рабочими местами для ученых. Важным представляется вопрос об *уровне сложности* различных типов науки. А. де Литтл, химик, менеджер и один из основателей концепции *industrial research*, подчеркивал, что с точки зрения сложности задачи промышленной химии намного выше, чем чистой, в силу большей сложности реальных практических проблем (1913). Таким образом, концепт *research* стал во многом заменой академического понимания науки и отображением того, что наука способна и должна оказывать влияние на благосостояние общества [15].

¹ Лаццарони (итал. *lazzaroni*) – презрительное обозначение низшего класса в Неаполе. Преследует цель иронической демонстрации образа мышления приверженцев подхода «наука ради науки».

События Второй мировой войны трансформировали дискурс научной политики. Важным текстом здесь является доклад ученого, менеджера и инженера В. Буша, адресованный президенту США в качестве проекта послевоенной научной политики, «*Science: The endless frontier*» (1945), в котором понятие *basic research* играло ключевую роль [14]. В тексте доклада концепция *basic research* имела весьма противоречивый характер. С одной стороны, *basic research* определялись как фундаментальные исследования, не имеющие строгой и сиюминутной практической цели, и при этом какая-либо озабоченность ученых прикладными проблемами не рассматривалась приоритетной. С другой стороны, подчеркивалась важность исследований по оборонной тематике.

Симпозиум по фундаментальным исследованиям 1959 г. выявил ситуацию *семантического плавления* (*semantic fusion*), связанного с особенностями понимания концепции *basic research* представителями различных институций. В частности, в аспекте осмысления роли прикладного значения *basic research* возникает новая терминология: *mission-oriented (-related) basic research*. В аспекте образования вновь актуализировалась оппозиция *pure / applied*. Высказывались мнения, что подготовка «идеального ученого» не может быть совместима с военными и контрактными работами. Американский образ *basic research* в послевоенные годы и в период холодной войны приобрел яркие политические коннотации, олицетворяя стратегию мягкой силы – символа демократии и индивидуальной свободы [13. Р. 122–129].

Бескрайние фронтиры и вызывающая современность

В завершающей коллективной монографии «*Basic and Applied Research...*» Т. Флинк и Д. Калдуэй обращаются к проблематике научной политики XXI в. Какие концепты приходят (и приходят ли) на смену известным? В чем заключается их новизна?

Согласно мнению исследователей научной политики, в 1990-е гг. сложилось положение установленного социального контракта между учеными и обществом, согласно которому ученые обладают значительной автономией, в то время как общество убеждено, что научное знание через технологические инновации способствует благосостоянию общества. Существенным нарративом здесь является *линейная модель инноваций*, получившая большую популярность в 1960-е гг. [16]. Сегодня распространена точка зрения, что линейная модель начала утрачивать свои дискурсивные позиции с 1990-х гг. В 2005 г. в рамках подготовки 7-й рамочной программы Еврокомиссия приняла новый подход к организации науки. Проект программы под названием «*Frontier research: The European challenge*» содержал нововведения: (1) на смену *basic research* пришла концепция *frontier research*, (2) введена концепция *challenge* (вызов) [17. Р. 252–254, 257–259].

Фронтир относится к непривычным для европейского дискурса понятиям. *Frontier* восходит к образу, возникшему в Америке XIX в., и говорит, соответственно, о *frontiersman* – путешественнике, пионере, смело ступающем на неизведанные территории (Дикий Запад). Миф о *фронтире* был развит историком Ф. Тернером (1893). Согласно Тернеру, европейские переселенцы, покинув родные земли, утратили приверженность к прежней культуре, что означало обретение иного характера и более либерального мышления, спо-

собствующего открытию нового. Для научной политики ключевое значение имеет упомянутый доклад В. Буша, явно содержащий в названии понятие фронта. Почему *американский фронт* был взят на вооружение европейской научной политикой? В частности потому, что новое понятие позволило обновить функциональность языка, пересмотреть оппозицию *basic / applied*, и сформулировать тезис о *frontier* как новом видении концепции *basic research*. Также важный момент связан с вопросами конкуренции Европы на глобальном научно-технологическом рынке («Европейский вызов») [17. Р. 260–262].

Последующая 8-я Европейская рамочная программа получила наименование «Горизонт 2020». В ней были поставлены цели реализации передовой науки (*excellent science*) и индустриального лидерства с апелляцией к социальным вызовам (*societal challenge*). Термин *societal challenge* в новой программе используется как синоним наряду с термином *grand challenge* (*глобальный вызов*), появившемся в европейской научной политике в 2007 г. Как и *frontier*, идея *grand challenge* имеет американское происхождение. Глобальный вызов появился в дискурсе научной политики США в 1980-е гг. в сфере *computer science* в связи с вопросами разработки суперкомпьютеров [18].

Сам термин *challenge* происходит из среднеанглийского языка, где он носил обвинительные коннотации. Столкнувшись с обвинением, некто должен противостоять ему, принять вызов. Например, речь может идти о дуэли между двумя аристократами. Обвинительная коннотация стала терять значение в XVII в. С XIX в. термин *challenge* стал использоваться в сфере спорта и состязаний. В 1980-е и 1990-е гг. термин *challenge* получил распространение в научно-технологическом дискурсе, став особенно популярным в сферах IT и AI. *Challenge* принес в сферу науки и технологий логику спорта [17. Р. 264–268]. Интересно, что спортивный подход предполагает не только логику победы, но и логику участия, выражающую собой причастность актора к решению важных проблем.

В XXI в. контекст употребления *challenge* значительно расширяется. В 2003 г. Билл Гейтс представил инициативу *Grand Challenges in Global Health*. Тогда же агентство DARPA представило программу о глобальных вызовах в разработке автономных роботов. В 2009 г. концепт *grand challenge* стал ключевым в стратегии инноваций администрации Б. Обамы. Ряд исследователей определяют смыслы этой стратегии как новое видение концепта *applied research*, а также рассматривают *grand challenge* как развитие концепций *mission-oriented research* и *strategic research*, возникших в дискурсе научной политики США в 1970-е гг. [18. Р. 38–40].

Критерии чистоты

Фрагментарные исторические апелляции позволяют погрузиться в процесс эволюции обсуждаемых концептов. Следует согласиться с авторами исторических исследований в том, что рассмотрение научной политики как практики, возникшей лишь во второй половине XX в., является явно недостаточным. Проблематика имеет более глубокую историю и отсылает нас к многогранным процессам сложной аккомодации между учеными, обществом, государством [19. Р. 3]. В частности, в Германии XIX в. идеал чистой науки и общее понятие *Wissenschaft* представляли лейтмотив академической про-

фессионализации, фактор отличия науки от инженерно-технических практик. Примечательно, что в США в определенные моменты указанного периода идеал чистой науки носил пуританские, квазирелигиозные коннотации и ассоциировался с критикой коммерческой составляющей науки.

Акцентируем внимание на том, какие именно понятия используются для характеристики типов науки и как именно эти понятия отображают различные контрасты оппозиции *фундаментальное / прикладное*. Речь идет о семантических и семантико-прагматических аспектах *тонкости, пограничности* понятий, являющихся, в свою очередь, отражением их социально-эпистемического генезиса. Упомянем и проблему перевода, онтологическую относительность смыслов. *Фундаментальное* и *прикладное* привычны для отечественного дискурса. Но, как мы видели, в англоязычной традиции *фундаментальному* соответствуют термины *fundamental* и *basic*, обладающие соответствующими историко-ситуативными контекстами. К сущностным моментам относится «содержание [понятия] *чистоты* в понятии *pure*»¹, в то время как в *basic* и *fundamental* чистота явно не фигурирует, но может выступать в качестве варианта интерпретации.

Важна проблематика и онтоэпистемических установок науки как процесса познания на внутреннем и внешнем уровнях. На внутреннем уровне речь идет как об объектах, предметах, методах исследования в науке, так и о микросоциологических, социоантропологических аспектах научных сообществ как носителей определенных эпистемических культур. Например, проблема соотношения «чистой» и «нечистой» математики. Примечательные сюжеты встречаются в физике. Уместно вспомнить [риторическое] мнение, согласно которому физика элементарных частиц обладает наивысшим эпистемическим статусом перед всей остальной наукой. На заре развития физики полупроводников (1930-е гг.) имел место эпизод, когда физик В. Паули отговаривал Р. Пайерлса от занятий теорией полупроводников по причине того, что считал их грязью, недостойным объектом внимания физика-теоретика [20. Р. 134]. Сегодня физика полупроводников – часть огромного раздела физики конденсированного состояния и основа множества практических приложений.

На внешнем уровне затрагивается вопрос о науке как встроенной в мир и взаимодействующей с ним социокультурной институции. И здесь аспект чистоты проявляет контрастные свойства. Как мы видели в кейсе о Германии, образ *pure science* может служить идеалом профессионализации и институционализации науки (XIX в.). В другое время и при другой власти классический образ подвергается уничижительной критике (1930-е гг.). После краха старого режима и установления нового образ *pure science* встраивается в концепцию *basic research* и становится элементом «чистой политики», символом освобождения от «нечистого прошлого».

Эволюция понятий о фундаментальной науке от XIX в. до настоящего времени может быть условно-приблизительно представлена в виде линейной цепочки: *pure (XIX в.)* → *fundamental* ↔ *basic (XX в.)* → *frontier (XXI в.)*. Последнее понятие в цепочке имеет «явно передовые» коннотации. Рассмотрим представление о *фронтире* в свете обозначенных внутреннего и внешнего уровней.

¹ Демонстративно-показательная тавтология.

Рассуждая о теоретическом знании как неотъемлемом элементе рациональной европейской науки, П. Фейерабенд высказывает интересную и провокационную идею о том, что открытие Колумбом Америки¹ привело к возникновению образа «континента знания» («Америки знания»), который может быть открыт при помощи рационально-абстрактного анализа [21. P. 17–18]. Обобщая, можно сказать, что в результате практического географического открытия возникает идея о новых путях и областях теоретических открытий, что устанавливает новые представления о границах (фронтах) знания и, возможно, мышления.

Понятие *фронтюра* актуально для современной научной политики. Какие смыслы содержатся в данном понятии? Фронтир – это граница, которая может быть преодолена, или некая новая граница, которая может быть воздвигнута? Что принесут человечеству «зафронтирные» области? Риторика фронта, рассматриваемая в широком эпистемическом поле, без явно политической фокусировки на проблемах научно-технологических рынков в условиях глобальной экономики, может быть связана с представлениями о (некотором) кризисе современной фундаментальной науки и, таким образом, с попыткой указания на необходимость совершения действительно «прорывных открытий», способствующих возникновению новых (*tabula rasa*) областей и границ (фронтиров) (по)знания.

В «Чистоте и опасности» М. Дуглас исследовала проблему поливалентности и тонкости дифференциации «чистого и нечистого» в различных ритуальных процессах, происходящих в соответствующих социокультурных средах [22]. Мы имеем дело со своего рода антропологическими аспектами науки на микро-(внутреннем) и макро-(внешнем) уровнях. Следуя Дуглас, можно говорить о проблематике дифференциации чистоты в эпистемических и социальных полях науки. Существует представление о чистоте как *самой в себе (самой-для-себя)* в идее чистой науки (И. Кант) и находящей явное отражение в специфике и предмете определенных научных дисциплин и в онтологическом конструкте «наука как призвание». Существует «неявная», тонко интерпретируемая чистота в идее институционализированной фундаментальной науки (*fundamental, basic*), достижения которой потенциально способны превратиться в основу (базис) прикладных наук и технологий или войти в общую копилку человеческих знаний («третий мир»). Тонкость и неявность интерпретации при этом является функцией параметров институциональной среды *fundamental research* (академические или промышленные исследования).

Модели социотехнических имаджинарий

Перед нами задача осмысления трансформации архетипов фундаментального и прикладного. Не чересчур ли спекулятивно придавать данным понятиям подобный онтологический статус? Вероятно, на глубоком онто-эпистемическом уровне архетипы редуцируемы к более общим понятиям [структурам, категориям] «идеального» и «материального». Признаём, что подобная редукция, если и осуществима, то слишком груба и не предоставля-

¹ В контексте нашего изложения уместно добавить, что Колумб преследовал определенный вызов (*challenge*).

ет возможности для конструктивного осмысления. Не следует также понимать трансформацию фундаментального и прикладного как завершившийся процесс. Мы надеемся, что приведенный историко-эмпирический материал, современная повестка и ряд дальнейших рассуждений способствуют построению локально-временной логики, которая составит частное решение поставленной задачи и предстанет попыткой достижения некоторой определенности.

В ходе изложения неакцентивно использовалось понятие, которое может значительно способствовать конструктивности и эвристичности рассмотрения задачи трансформации, – понятие *модели*. Модели в настоящее время широко распространены в множестве дискурсов. Мы упоминали *ролевою модель* германской научной политики XIX в. и *линейную модель* инноваций, где идет речь о связи фундаментальной, прикладной науки и практических приложений. Задача может быть поставлена, например, как поиск адекватной модели взаимодействия науки и технологии. На макроуровне прямая линейная модель «*фундаментальная наука → прикладная наука → техническая разработка → рыночный продукт*» означает, что достижения технологий обеспечиваются достижениями фундаментальной науки (идейно восходит к Ф. Бэкону). Обратная модель «*требования рынка → технологии → научные результаты*» подразумевает, что задачи фундаментальной науки диктуются экономикой (идейно восходит к А. Смиту). Существуют и другие модели, являющиеся «линейными комбинациями» приведенных выше моделей («квадрант Пастера» Д. Стоукса и др.) [23. С. 8–15].

Акцентируя внимание на понятии модели, какие смыслы мы в него вкладываем? На ум приходит тривиальное утверждение, что под моделью мы понимаем минимально необходимую для понимания теоретическую схему, в которой понятия фундаментального и прикладного выступают элементами языка модели. Модель представляет собой более общий и абстрактный конструкт, чем понятия фундаментального и прикладного. Подчеркнем, что проблематика моделей приобрела значительную актуальность в современной философии. Согласно Т. Уильямсону, одна из форм прогресса философии состоит в попытках построения «лучших» и «еще лучших» моделей (*model-building*), естественно, при всей сложности этого процесса [24. Р. 159–162]. Обретает значение и вопрос о сущности понятия модели в философии, о субъектах моделирования (*who is a (not) modeler?*) [25].

Мы предположили, что модель является схемой-каркасом достижения понимания. Понимание, в частности, означает упрощенность, приводящую к *ясности*. Апеллируя к ясности, мы говорим и некоем видении. *Линейность* модели также указывает на упрощенность. Рассуждая *линейно* о фундаментальном и прикладном, мы принижаем их онтоэпистемический статус, расплачиваясь тем самым за простоту. Но если совершить поворот и придать самим понятиям статус моделей, мы обретем возможность достигнуть иного видения. При этом возникает проблема понятия модели как имеющего определенную контекстуальность и связность с объектом [моделирования]. Моделями чего служат понятия-модели «фундаментальное» и «прикладное»?

Добавим, что мы не рассуждаем здесь в рамках четких логических схем, строгих моделей (*логик-моделей formal epistemology* [24. Р. 161]), а упомянутые выше линейные модели могут быть ассоциированы с четко после-

довательной логикой. Представление о *видении* определенной социоэпистемической ситуативности приводит нас к идее о мыслимо-воображаемых конструктах. Достижения современных исследователей в силах предоставить нам объект моделирования, обращение к которому также позволит пролить свет на проблему трансформации архетипов (фундаментального и и прикладного). Именованное фундаментального и прикладного *понятиями-моделями* указывает на бивалентность и снова на упрощенность [модели], а апеллирование к понятию возвращает нас к факту неотъемлемой сложности понятий.

В ходе обстоятельных STS-исследований Ш. Джасанофф пришла к концепции *социотехнических имаджинарий* (*sociotechnical imaginaries*) (мнимостях, воображаемых [26]). Социотехнические имаджинарии представляют собой развитие концепции техно-научных имаджинарий (*technoscientific imaginaries*, G. Marcus (1995)) и лежат в общем русле представлений о воображаемых культурах и сообществах. *Техническая* составляющая термина является данью технаучке, а *социо* указывает на социоэпистемический аспект коллективности, интересубъективности акторов в сетях взаимодействий. В этом и состоит ключевое отличие от технаучных воображаемых. Непросто сформулировать, чем собственно являются социотехнические имаджинарии, и сам автор концепта оправдывает этот факт их акторно-сетевой запутанностью [27. Р. 15–17]. Один из конкретных примеров (Ш. Джасанофф) – социотехнические конструкты «военного атома» и «мирного атома», связанные с определенными представлениями об атомных технологиях, встроенные в различные национально-акторные контексты.

В акторно-сетевой теории речь идет именно о *теории*. Мы не говорим «акторно-сетевая модель»¹, тем самым подчеркивая различие теории и модели, и тот факт, что модель – это нечто упрощенное, являющееся лишь элементом [более широкого] теоретического представления. Акторно-сетевая теория не дает простых схем, имеющих место в линейных моделях, претендуя при этом на большую полноту описания. Тем не менее определенные конструкты, социотехнические имаджинарии должны могут быть выделены из сетей как некоторые ключевые узлы, точки сходимости. Исходя из рассмотренных исторических кейсов и современной ситуативности, мы вправе утверждать, что сами понятия фундаментального и прикладного вполне могут служить подобными узлами, моделируя при этом технаучные и гуманитарные представления о настоящем, будущем и, возможно, прошлом. Таким образом, сформулируем положение, что понятия фундаментального и прикладного в их современном состоянии представляют собой *модели социотехнических имаджинарий*. В этом и состоит трансформация архетипов (не достигшая при этом определенности).

Когда речь идет о моделях в физике, часто говорят, что сила хорошей модели в том, что она не только описывает, объясняет имеющиеся данные или факты, но и способствует получению новых результатов. Воспользуемся этой мыслью. Такие актуальные и современные понятия научной политики, как *фронтир* (новое фундаментальное) и *вызов* (новое прикладное), стали в нашем случае характерными моделями. Это может позволить нам совершить попытку интересных исторических реконструкций и послужит также

¹ Вообще говоря, нельзя исключать такую возможность.

для более конструктивного развертывания вывода о сути трансформации понятий фундаментального и прикладного.

В истории науки есть ряд краеугольных сюжетов. К примеру, в истоках-легендах алхимии важную роль играет представление о *философском камне*, сущности-ключе к трансмутации элементов. В логике нашего рассмотрения создание философского камня оказалось *вызовом* для алхимиков. Можно утверждать, что данный вызов явился истоком-образом глубинной исследовательской программы, получившей яркое воплощение в XX столетии в виде ядерного оружия и атомной энергетики, перед которой сегодня, в частности, стоит еще далекая от завершения задача создания термоядерной энергетики (проект ITER), заключающая в себе множественные сети фундаментального, прикладного, инструментального. Представление о термоядерной энергетике является социотехнической имаджинарией, встроенной в ментальность как ученых и разработчиков, так и носителей иных мнений, сторонников других подходов в вопросах энергетики.

Заключение

Что действительно нового приносят *современные* вариации фундаментального и прикладного – *фронтиры* и *вызовы*? Вспомним о таких атрибутах науки, как внепространственность и вневременность. Рассуждая в рамках данных понятий, мы в определенном смысле подразумеваем возможность разного рода трансформаций и эволюций, подразумеваем «наборы современностей».

С одной стороны, следует признать, что фронтиры и вызовы не являются принципиально новыми для бытия науки понятиями. В естественных науках представление о фронтире сопряжено с представлением о передних краях науки. В истории науки можно отыскать множество ситуаций-вызовов, связанных, например, с поисками доказательств математических теорем или борьбой медицины со сложными заболеваниями. Предмет философии и гуманитарного знания по своей природе представляет собой «бесконечный фронтир».

С другой стороны, при рассмотрении на социально-эпистемическом уровне вызовы и фронтиры являются элементами языка *современной* научной политики, и здесь современность оказывается на самом переднем крае. Наука внепространственна и вневременна на диахроническом пространстве, но для современного человека [науки] она наполнена конкретным проблемным локально-временным содержанием, погружена в соответствующие социальные контексты. Здесь образ вызова оказывается изоморфным духу времени, который и отражается на полях деятельности ученого. Вызовы современности выходят за пределы чисто эпистемического компонента науки. Научная политика на макроуровне оказывает влияние и способна привести к формированию определенных *моделей* восприятия и поведения ученого в мирах различной институциональностей (предпринимательский университет vs гумбольтовский университет, академический капитализм [28]). Но это не означает, что подобное влияние всеобъемлюще. Таким образом, чистое в былые времена призывание к занятию наукой в современном мире содержит важную примесь – готовность к принятию вызовов социальности.

Литература

1. Fuller S. If science is a public good, why do scientists own it? // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2020. Vol. 57, № 4. P. 23–39.
2. Касавин И.Т. Наука как политический субъект // *Социологические исследования*. 2020. № 7. С. 3–14.
3. Shapin S. *The scientific life: a moral history of a late modern vocation*. Chicago : The University of Chicago Press, 2008. 468 p.
4. Chebotareva E.E. Engineers: bridging the gap between mechanisms and values // *Social Epistemology*. 2020. Vol. 34, № 2. P. 151–161.
5. Galison P. Ten Problems in History and Philosophy of Science // *Isis*. 2008. Vol. 99, № 1. P. 111–124.
6. Dear P. Science Is Dead; Long Live Science // *Osiris*. 2012. Vol. 27, № 1. P. 37–55.
7. Bud R. Categorizing Science in Nineteenth and Early Twentieth-Century Britain // *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century* / eds. D. Kaldewey, D. Schauz. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. P. 35–63.
8. Clarke S. Pure Science with a Practical Aim: The Meanings of Fundamental Research in Britain, circa 1916–1950 // *Isis*. 2010. Vol. 101, № 2. P. 285–311.
9. Godin B. The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework // *Science, Technology, & Human Values*. 2006. Vol. 31, № 6. P. 639–667.
10. Phillips D. Francis Bacon and the Germans: Stories from When ‘Science’ Meant ‘Wissenschaft’ // *History of Science*. 2015. Vol. 53, № 4. P. 378–394.
11. Schauz D., Lax G. Professional Devotion, National Needs, Fascist Claims, and Democratic Virtues. The Language of Science Policy in Germany // *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century* / eds. D. Kaldewey, D. Schauz. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. P. 64–103.
12. Lucier P. The Origins of Pure and Applied Science in Gilded Age America // *Isis*. 2012. Vol. 103, № 3. P. 527–536.
13. Kaldewey D., Schauz D. Transforming Pure Science into Basic Research: The Language of Science Policy in the United States // *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century* / eds. D. Kaldewey, D. Schauz. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. P. 104–140.
14. Pielke R. ‘Basic Research’ as a Political Symbol // *Minerva*. 2012. Vol. 50, № 3. P. 339–361.
15. Godin B, Schauz D. The Changing Identity of Research: A Cultural and Conceptual History // *History of Science*. 2016. Vol. 54, № 3. P. 276–306.
16. Godin B. *Models of Innovation: The History of an Idea*. Cambridge : MIT Press, 2017. 324 p.
17. Flink T., Kaldewey D. The Language of Science Policy in the Twenty-First Century: What Comes after Basic and Applied Research? // *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century* / eds. D. Kaldewey, D. Schauz. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. P. 251–284.
18. Hicks D. Grand Challenges in U.S. Science Policy Attempt Policy Innovation // *International Journal of Foresight and Innovation Policy*. 2016. Vol. 11, № 1/2/3. P. 22–42.
19. Schauz D., Kaldewey D. Introduction: Why Do Concepts Matter in Science Policy // *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century* / eds. D. Kaldewey, D. Schauz. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. P. 1–32.
20. Cahn R.W. *The Coming of Materials Science*. Amsterdam & New York : Pergamon, 2001. 571 p.
21. Feyerabend P. *Science in a free society*. London : NLB, 1978. 221 p.
22. Douglas M. *Purity and danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London ; New York : Routledge, 1984. 199 p.
23. Мамчур Е.А. Взаимодействие науки и технологии: поиски адекватной модели // *Взаимосвязь фундаментальной науки и технологии как объект философии науки* / отв. ред. Е.А. Мамчур. М. : ИФ РАН, 2014. С. 6–31.
24. Williamson T. Model-Building in Philosophy // *Philosophy’s Future: The Problem of Philosophical Progress* / eds. R. Blackford, D. Broderick. Hoboken : Wiley, 2017. P. 159–171.
25. Weisberg M. Who is a Modeler? // *British Journal for the Philosophy of Science*. 2007. Vol. 58, № 2. P. 207–233.
26. Гребеницкова Е.Г. Социотехнические мнимости технонауки // *Вопросы философии*. 2018. № 3. С. 59–67.

27. Jasanoff S. Future Imperfect: Science, Technology, and the Imaginations of Modernity // *Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power* / eds. S. Jasanoff, S. Kim. Chicago : Chicago University Press, 2015. P. 1–33.

28. Касавин И.Т. Университет Гумбольдта и его альтернативы в условиях рыночной науки // *Вопросы философии*. 2021. № 3. С. 41–46.

Evgeniy A. Zharkov, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: flash45@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 5–19.

DOI: 10.17223/1998863X/62/1

THE FUNDAMENTAL AND THE APPLIED: TRANSFORMATION OF ARCHETYPES

Keywords: fundamental; applied; frontier; challenge; model; sociotechnical imaginaries

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The aim of the article is to study the evolution of ideas (archetypes) about *fundamental* and *applied* science. On the example of a number of historical cases (Britain, Germany, the USA), epistemic and socio-epistemic peculiarities of ideas about pure science are discussed in the light of the development of the concept of fundamental/basic research, taking into account institutional factors (academic and industrial research), as well as political connotations of the concepts of pure and fundamental science. The concepts that play the modern discursive and political role of fundamental and applied research (*frontiers* and *challenges*) are considered. Mainly, at the internal level of the study of science, frontier and challenge are not fundamentally new concepts for science. There are many topics in the history of science, for the epistemic characterization of which the concept of challenge can be used (the search for proofs of mathematical theorems, the struggle of medicine with complex diseases). Nevertheless, in a wide socio-epistemic aspect, the vocation of a scientist to engage in science in the modern world inevitably contains a readiness for challenges, which can impose certain features on their field of activity. An important link is the linear model of innovation as the simplest scheme for understanding the interaction of the fundamental and the applied. It should be emphasized that, in this regard, the very concept of a *model* is important. The problem of developing and building models (reality) should be referred to as topical issues of modern philosophy (T. Williamson). In connection with the problem of the evolution and transformation of the archetypes of the fundamental and the applied, an attempt was made to consider these concepts as having the attribute of specific models. The specificity lies in the fact that the situational visions of socio-technical realities (*socio-technical imaginaries*, S. Jasanoff) act as objects of modeling. At the same time, the fundamental and the applied become characteristic model-concepts.

References

1. Fuller, S. (2020) If science is a public good, why do scientists own it? *Epistemology & Philosophy of Science*. 57(4). pp. 23–39. DOI: 10.5840/eps202057454
2. Kasavin, I.T. (2020) Science as a political agent. *Sociologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 7. pp. 3–14. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250009293-5
3. Shapin, S. (2008) *The scientific life: a moral history of a late modern vocation*. Chicago: The University of Chicago Press.
4. Chebotareva, E.E. (2020) Engineers: bridging the gap between mechanisms and values. *Social Epistemology*. 34(2). pp. 151–161. DOI:10.1080/02691728.2019.1695008
5. Galison, P. (2008) Ten Problems in History and Philosophy of Science. *Isis*. 99(1). pp. 111–124. DOI:10.1086/587536
6. Dear, P. (2012) Science Is Dead; Long Live Science. *Osiris*. 27(1). pp. 37–55. DOI: 10.1086/667822
7. Bud, R. (2018) Categorizing Science in Nineteenth and Early Twentieth-Century Britain. In: Kaldewey, D. & Schauz, D. (eds) *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. pp. 35–63.
8. Clarke, S. (2010) Pure Science with a Practical Aim: The Meanings of Fundamental Research in Britain, circa 1916–1950. *Isis*. 101(2). pp. 285–311. DOI: 10.1086/653094

9. Godin, B. (2006) The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework. *Science, Technology, & Human Values*. 31(6). pp. 639–667. DOI: 10.1177/0162243906291865
10. Phillips, D. (2015) Francis Bacon and the Germans: Stories from When ‘Science’ Meant ‘Wissenschaft’. *History of Science*. 53(4). pp. 378–394. DOI: 10.1177/0073275315597609
11. Schauz, D. & Lax, G. (2018) Professional Devotion, National Needs, Fascist Claims, and Democratic Virtues. The Language of Science Policy in Germany. In: Kaldewey, D. & Schauz, D. (eds) *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. pp. 64–103.
12. Lucier, P. (2012) The Origins of Pure and Applied Science in Gilded Age America. *Isis*. 103(3). pp. 527–536. DOI: 10.1086/667976
13. Kaldewey, D. & Schauz, D. (2018) Transforming Pure Science into Basic Research: The Language of Science Policy in the United States. In: Kaldewey, D. & Schauz, D. (eds) *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. pp. 104–140.
14. Pielke, R. (2012) ‘Basic Research’ as a Political Symbol. *Minerva*. 50(3). pp. 339–361. DOI: 10.1007/s11024-012-9207-5
15. Godin, B. & Schauz, D. (2016) The Changing Identity of Research: A Cultural and Conceptual History. *History of Science*. 54(3). pp. 276–306. DOI: 10.1177/0073275316656007
16. Godin, B. (2017) *Models of Innovation: The History of an Idea*. Cambridge: MIT Press.
17. Flink, T. & Kaldewey, D. (2018) The Language of Science Policy in the Twenty-First Century: What Comes after Basic and Applied Research? In: Kaldewey, D. & Schauz, D. (eds) *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. pp. 251–284.
18. Hicks, D. (2016) Grand Challenges in U.S. Science Policy Attempt Policy Innovation. *International Journal of Foresight and Innovation Policy*. 11(1/2/3). pp. 22–42. DOI: 10.1504/IJFIP.2016.078379
19. Schauz, D. & Kaldewey, D. (2018) Introduction: Why Do Concepts Matter in Science Policy. In: Kaldewey, D. & Schauz, D. (eds) *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. pp. 1–32.
20. Cahn, R. (2001) *The Coming of Materials Science*. Amsterdam & New York: Pergamon.
21. Feyerabend, P. (1978) *Science in a free society*. London: NLB.
22. Douglas, M. (1984) *Purity and danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London and New York: Routledge.
23. Mamchur, E.A. (2014) Vzaimodeystvie nauki i tekhnologii: poiski adekvatnoy modeli [Interaction of science and technology: the search for an adequate model]. In: Mamchur, E.A. (ed.) *Vzaimosvyaz' fundamental'noy nauki i tekhnologii kak ob'ekt filosofii nauki* [The relationship between fundamental science and technology as an object of philosophy of science]. Moscow: IF RAS. pp. 6–31.
24. Williamson, T. (2017) Model-Building in Philosophy. In: Blackford, R. & Broderick D. (eds) *Philosophy's Future: The Problem of Philosophical Progress*. Hoboken: Wiley. pp. 159–171.
25. Weisberg, M. (2007) Who is a Modeler? *British Journal for the Philosophy of Science*. 58(2). pp. 207–233. DOI: 10.1093/bjps/axm011
26. Grebenshchikova, E.G. (2018) Sociotechnical imaginaries of technoscience. *Voprosy Filosofii*. 3. pp. 59–67. (In Russian).
27. Jasanoff, S. (2015) Future Imperfect: Science, Technology, and the Imaginations of Modernity. In: Jasanoff, S. & Kim, S. (eds) *Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*. Chicago: Chicago University Press. pp. 1–33.
28. Kasavin, I.T. (2021) The Humboldt-university and its rivals under the market science condition. *Voprosy Filosofii*. 3. pp. 41–46. (In Russian). DOI: 10.21146/0042-8744-2021-3-41-46

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 1(091); 316.342

DOI: 10.17223/1998863X/62/2

Н.Н. Козлова, С.В. Рассадин

КОНСТРУИРОВАНИЕ «ГРАДА ЖЕНСКОГО» В ПРОЕКТЕ КРИСТИНЫ ДЕ ПИЗАН

Анализируется конструирование «социального» в проекте Града женского в одноименной книге Кристины де Пизан. Выявляются и анализируются эпистемологические основания, логические обоснования, аргументы и исторические доказательства способности женщин быть субъектами социальной жизни. Предлагается рассмотреть Град женский как особую умозрительную конструкцию, дискурсивно позволяющую интегрировать женщин в социальный порядок. Демонстрируется, что смысл проекта Града женского Кристины де Пизан состоит в гармонизации социального мира через изменение маскулинного в своей основе взгляда общества на природу женщин.

Ключевые слова: Град женский, эпистемология, разум, права женщин, гендерный порядок, социальное воображаемое, мизогинизм

Постижение общественного устройства – наличного и воображаемого – важнейшая задача социальной мысли, реализуемая на протяжении всей ее истории. Детерминация данной задачи выявляемыми рассогласованиями желаемого и реального социальных миров в совокупности с изменяющимися системами ценностей задавали основные векторы дискуссий и последующих социальных трансформаций. Одним из указанных направлений, начиная с Платона, с разной степенью интенсивности было обсуждение проблемы включенности женщин в «социальное». Само конструирование феномена «социальное», как правило, и реализовывалось через дискурсивные процедуры исключения / включения различных групп населения. Социально-философский анализ генезиса концепта «социальное» в контексте обсуждения интеграции женщин в социальный порядок позволяет раскрыть основные дискурсивные механизмы формирования европейской традиции осмысления общества. Цель статьи – проанализировать смысл, сущность, природу и особенности конструирования Града женского в проекте Кристины де Пизан.

Творчество Кристины Пизанской и его оценка академическим сообществом

Творчество Кристины Пизанской (также Кристина де Пизан, 1364–1430) мало известно российскому академическому сообществу, в то время как интерес к ее работам за рубежом в последние десятилетия только усиливается [1. Р. 57]. Трансформация гендерного порядка в XX–XXI вв. актуализирует

артикулированные Кристиной де Пизан в эпоху Возрождения идеи о природе и социальном назначении женщин и мужчин. Острые дебаты о конфигурации в современном мире отношений между полами выражаются в том числе через различные формы воображаемого общественного порядка, перекликаются со «спорами о женщинах» XV в., ответом на которые стало создание Кристиной де Пизан «Книги о Граде женском» (1405).

Кристина де Пизан – первая профессиональная женщина-писательница Возрождения – родилась в семье Томмазо де Бенвенуто да Пизано, который состоял на службе у короля Франции Карла V. Благодаря отцу Кристина получила хорошее образование, которое позволило ей обратиться к литературному труду, когда в возрасте в 25 лет она осталась вдовой и была вынуждена решать проблемы хлеба насущного для всей семьи. Исследователи жизни и творчества Кристины отмечают, что ее наследие объемно, отличается разнообразием жанров, оригинальностью, энциклопедичностью, гуманистическим пафосом [2]. К наиболее известным произведениям принадлежат «Книга о политическом теле (о государстве)», «Книга о Мире», «Книга о деяниях и добрых нравах Карла V», «Книга о добром пути знания» и др., но именно книга «Книга о Граде женском» привлекла внимание читающей аудитории и прославила ее автора. В творчестве Кристины сочетаются средневековые и раннебуржуазные идеи: будучи глубоко религиозным человеком, она апеллирует к разуму и опыту как основаниям познания, настраивает читателей на активную жизненную позицию в определении собственной судьбы. С точки зрения С. де Бовуар, Кристина де Пизан относится к тем немногим женщинам в истории, которые «протестовали против суровости своей доли» [3. С. 170]. Учитывая, что книги Кристины затрагивают онтологические, гносеологические, социальные и антропологические аспекты, ее взгляды были рассмотрены в междисциплинарном поле: литературоведы сравнивают ее творчество с произведениями других представителей данной эпохи, полагая, что Кристина заняла свое место в каноне западной литературы наряду с Боккаччо и Данте [2. Р. 35], специалисты по этике и педагогике выявляют оригинальность ее морализаторских и педагогических идей [4], политологи акцентируют внимание на архитектуре государства и идеале государя, утверждая, что Кристина впервые рассматривала политическое тело в *in transit* [5. Р. 68], историки фокусируются на ее «борьбе за Францию» [6. Р. 115–116], специалисты по женским / гендерным / феминистским исследованиям в центр анализа помещают защиту прав женщин [7. Р. 133.]. В отечественной науке в советский период произведения Кристины Пизанской являлись прерогативой изучения медиэвистов: в исследованиях В.О. Абдуллабекова, Ю.Л. Бессмертного, Ю.П. Малинина и других авторов тексты средневекового автора рассматривались в контексте анализа представлений о браке, семье, политической системе [8–10]. Среди современных исследователей наибольшее значение имеют труды В.И. Успенской [11–13] и Е.Ю. Елизаровой [14], в которых отмечаются вклад Кристины в опровержение доводов антифеминистов, создание позитивного общественного мнения о женщинах.

Замысел и сюжет «Книги о Граде женском»

Проект Града Кристина создавала с учетом доминирующей в средневековой социальной мысли модели града Божьего Августина Блаженного. Де

Пизан представляла общество как часть Божественного миропорядка, основанного на нравственном законе. Согласно исследованиям одного из авторов данной статьи, «град Божий» Августина строится на воображаемом порядке «христианского мира» и получает первичную структуру, не имеющую прямого отношения к наличной социальной организации [15]. Насколько Град женский связан с общественным бытием?

Непосредственным поводом создания текста явилась, как пишет Кристина, прочитанная ею книга Матеола¹, в которой были собраны мнения разных людей о том, что «поведение женщины склонно ко всякому пороку и полно им» [16. Р. 3]. Мыслительница включается в дебаты о моральных качествах мужчин и женщин. Будучи глубоко верующей христианкой и обращаясь к Богу («почему ты не дал мне родиться в этом мире мужчиной, чтобы все мои наклонности были лучше служить Тебе?»), она описывает свой травмирующий опыт («в моем сердце поднялась глубокая печаль, потому что я ненавидела себя и весь женский пол, как будто мы были чудовищами в природе»), который послужил отправной точкой для размышления о качествах, присущих женщинам («глубоко задумавшись об этих вещах, я начала изучать свой характер и поведение как женщина, а также других женщин, с которыми я часто общалась») [Ibid. Р. 4]. Таким образом, создание книги фундировано обеспокоенностью Кристины тем, что ее воспринимают как недостойную христианку, причем не в силу личных качеств, а по причине принадлежности к женскому полу. Поэтому для защиты собственного достоинства мыслительница отстаивает групповые интересы женщин как относительно целостной, но при этом неоднородной и внутренне противоречивой социальной общности. С этой целью Кристина использует типичную для Средневековья аллегорическую форму повествования: три музы – Разумность (Reason), Праведность (Righteousness) и Справедливость (Justice) – помогают ей найти выход из душевного смятения с целью вывести ее «из невежества» и обеспечить всем доблестным женщинам «убежище и защиту от различных обидчиков» [Ibid. Р. 6]. Для достижения данной цели музы даруют Кристине прерогативу построить Град женщин: «Для основания и завершения строительства этого города ты будешь черпать из нас пресную воду, как из чистых фонтанов, а мы привезем вам достаточное количество строительного камня, более прочного и долговечного, чем любой мрамор с цементом» [Ibid. Р. 11]. Таким образом, Кристина от имени женщин подключилась к интеллектуальной работе по поиску справедливости, счастья и социальной гармонии в рамках общепhilosophического дискурса, используя категории разума, праведности и справедливости. Де Пизан аллегорически разрушает старые стены общественного мироустройства и строит новые, выделяя те стороны социального бытия, которые являются объектом критики и которые необходимо преобразовать в будущем для улучшения положения женщин в обществе.

В первой главе музыка Разумность, представленная в виде женщины с зеркалом знания, которое дает возможность отражать «сущности, качества, пропорции и меры всех вещей» [Ibid. Р. 9] помогает Кристине заложить «прочный фундамент и воздвигнуть высокие стены вокруг» [Ibid. Р. 12]. Данному

¹ Исследователи отмечают, что Кристина непосредственно читала «Роман о розе», написанный Гийомом де Лорри (1237) и продолженный Жаном де Мёном (1275), в основе которого лежала антимизогинистическая книга «Жалобы Матеолуса», на которую и ссылается автор XIII в. [12]

процессу предшествует подготовка земли для города, представляющая собой критический пересмотр и отказ от мизогинистических взглядов известных мыслителей – Овидия, Цицерона и др., которые превратили «философию, любовь к мудрости, в „филофоллию“, любовь к безумию» [16]. Метафорической основой каменных стен Града выступают известные женщины Античности, которые имели опыт деятельности в публичной жизни – женщины-царицы, представительницы творческих профессий, ученые и т.д. Кристина стремится показать на примерах Семирамиды, Никии, Фредегунды и др., что удел женщин не «только плач и шитье» [Ibid. P. 20].

Во второй главе муза Праведность, использующая линейку, которая отделяет добро от зла, содействует строительству высоких храмов, дворцов, домов «и всех общественных зданий, улиц и площадей» [Ibid. P. 13]. В этой части книги Кристина приводит в пример женщин, которые обладали различными добродетелями: Сивилла – мудростью, Никострата – пророческим даром и т.д.

В третьей части работа музы Справедливость заключается «в строительстве высоких крыш башен» и заселении Града «достойными дамами и могущественной королевой», для чего муза использует сосуд из чистого золота, который «служит для того, чтобы отмерять каждому его законную долю» [Ibid. P. 14]. После окончания строительства Града и его заселения Девой Марией, которую сопровождают святые и мученики, муза передает ключи от него Кристине.

Все повествование разворачивается в диалогическом пространстве: Кристина задает музам вопросы и получает на них ответы, которые создают совокупность аргументов в защиту женщин. Важно отметить, что Град женский музы и Кристина строят сообща, они создают своего рода форум для обсуждения важных вопросов со всеми женщинами. Основная задача муз – дать знание, раскрыть истину, отграничив ее от множества «странных мнений» [Ibid. P. 8]. В процессе диалога совершается процедура трансформации Кристины как объекта, подверженного влиянию мужских представлений о природе женщин, в субъекта, осуществляющего процедуру познания, самостоятельно ищущего и нашедшего истину. Поэтому согласимся с В. Косяковой, что «метафора строительства Града связывается с работой по переосмыслению стереотипов, ведущей к обретению самосознания» [17].

Проблемное поле «Книги о Граде женском»

Град проектируется в процессе решения ряда задач, которые формулирует Кристина. Первый вопрос, который ее беспокоит, – «почему и по какой причине разные авторы высказывались против женщин в своих книгах»? Он выводит автора на проблемы конструирования социальной реальности. С точки зрения музы Разумности, мужчины сознательно принижают женщин из-за собственных пороков (ревности, лживости, лицемерия и др.) [16. P. 18], представляя «мужской взгляд» на роли женщин и мужчин. Именно поэтому Кристина вводит «женские голоса» и выстраивает женскую перспективу в понимание природы пола, подразумевая, что стереотипы о женщинах могут поддерживаться только в том случае, если женщинам запрещается вступать в разговор.

Де Пизан спорит с «теми мужчинами, которые утверждают, что»¹ для женского пола характерны телесные слабости, недостаток ума, пороки женщин и др., опираясь на теологический фундамент. Ее антропология основывается на христианской идее, что человек – существо тварное, греховное, а мужчины и женщины равно достойны, так как «Бог сотворил душу и поместил полностью подобные души, одинаково хорошие и благородные, в женском и мужском телах» [16. Р. 23]. Незначительную физическую силу женских тел, согласно книге Кристины, он восполнил, «поместив туда самую добродетельную склонность любить своего Бога» [Ibid. Р. 37]. Не отвергая упрек, что Ева являлась причиной грехопадения и изгнания из рая, муза Разумность убеждает Кристину, что человек приобрел «больше через Марию, чем потерял через Еву, когда человечество было соединено с Божеством» [Ibid. Р. 24]. Демонстрируя избирательность «мужского взгляда» на негативном поведении женщин, музы стремятся показать, что существует немало положительных героинь в Библии, античной мифологии и истории, примеры деятельности которых опровергли бы все возможные обвинения мужчин. Таким образом, традиционные истории о женщинах, рассказанные мужчинами, трансформируются в женские истории, повествование которых ведется от лица женщины, в целом задавая историческую перспективу сконструированному Кристиной Граду женскому. Благодаря темпоральному измерению Града, возникает новый субъект исторического процесса – женщины.

Отбор Кристиной женских персонажей основан на морально-нравственных критериях, так как Град предназначен только для тех женщин, «которые любили, любят и будут любить добродетель и нравственность» [Ibid. Р. 214]. В качестве главных моральных добродетелей в книге мыслительницы выступают традиционные христианские ценности – смирение, терпение, самопожертвование и т.д., которые описываются в примерах. Таким образом, конструируя чаемое общество в виде города достойных женщин, Кристина изначально ранжирует женщин на достойных и недостойных. Она не утверждает, что все женщины как социальная общность обладают добродетелью, она констатирует, что часть женщин обладает добродетелью, тем самым доказывая, что мизогинисты не правы, определяя всех женщин недобродетельными.

Описывая Град женский, Кристина рефлексивно анализирует общественные отношения, нормы, ценности современного ей общества и предлагает их усовершенствовать. Причина ее протеста состоит не только в признании извращения нравственных ценностей, лишаящих женщин достоинства, но и в сложившемся социальном порядке. Опираясь на труд Д. Боккаччо «О знаменитых женщинах», Кристина переинтерпретирует его оценку некоторых женских персонажей (Медея и др.), показывая, что и в этом вопросе важен женский взгляд. В данном же контексте мыслительница переоценивает как качества мужчин и женщин, так и значимость их социальных ролей. В частности, муза Разумность рассматривает обвинение в адрес женщин в том, что они имеют рабское сердце и любят говорить с младенцами, как свидетельство добродетели доброты, необходимой для воспитания детей, а упрек в том, что

¹ Отметим, что выражение «спорит с теми мужчинами, которые утверждают, что...» дискурсивно важно для Кристины – некоторые параграфы книги имеют такое начало в названии.

«Бог создал женщин, чтобы они говорили, плакали и шили», – как необходимые качества для служения Богу и обществу [16. Р. 26].

Писательница углубляется в анализ социальных реалий, выявляя особенности социализации мужчин и женщин, их образа жизни и социального положения. Кристина открывает ряд социальных проблем, которые актуальны для современной повестки дня, – жестокое обращение с женщинами в семье и в обществе в целом. Проекту де Пизан, безусловно, присущи феминистские реминисценции. Кристина расширяет границы принятого в Средневековье пространства бытия женщин: она критикует те элементы социальной реальности, которые ограничивают возможности девушек получать образование, настаивая на необходимости «отдавать дочерей в школу, как сыновей». Однако мыслительница выступает за разделение сфер, в рамках которых мужчины и женщины реализуют свое предназначение, так как полагает, что «Бог... каждому полу дал подходящую и соответствующую природу и склонность выполнять свои служения», а потому советует замужним женщинам не гнушаться «подчиняться своим мужьям», «усердно служить, любить и лелеять своих мужей в верности своего сердца» [Ibid. Р. 255]. Согласимся с Е.Ю. Елизаровой в том, что разнообразные доводы Кристины имели «целью доказать, что по своей духовной и телесной сущности женщина не ниже мужчины» [14. С. 3].

Важно отметить в этом контексте, что Град женский – пространство особого символического порядка. Используемая Кристиной метафора Града наводит на размышления о топосе, однако Град не локализован, а представляет собой умозрительную конструкцию из аргументов, что «женщина с умом подходит для всех задач» [16. Р. 32]. Жительницы Града не состоят в социальных отношениях, но выстроены в определенную иерархию, вершину которой занимает Дева Мария. Таким образом, Кристина не предполагает конструирование отдельного женского социума в духе амазонских утопий. С ее точки зрения, создание Града женского убедит всех в необходимости перемен, направленных на обновление социального порядка.

Заключение

Итак, Град женский отражает стремление Кристины сформировать проект более совершенного общества. Жизнь де Пизан, ее успешная творческая самореализация послужили мотивом создания Града женского. Смысл проекта состоит в гармонизации социального мира через изменение маскулинного в своей основе взгляда общества на природу женщин. Отвечая на обвинения конкретных мыслителей о недостатках природы женского пола, Кристина обращается к широкому социально-историческому контексту, рефлекслируя основания общества. Осознание Кристиной мизогинизма ведет к концептуальной переоценке социального устройства: женский взгляд на истории жизни отдельных добродетельных женщин позволяет ей изменить взгляд на природу женщин и их социальные роли.

Град женский представляет собой умозрительную конструкцию, состоящую из аргументов в защиту женщин, полученных в результате выстраивания диалога с аллегорическими фигурами на основе рационалистических процедур. Обращение де Пизан к идее Града, на наш взгляд, вполне оправданно, поскольку идея Града как ключевой социальной метафоры легитими-

рована авторитетом Августина и наглядна. Описание воображаемого Града для женщин, несоциального по своей природе, не имеющего пространственного измерения, позволяет Кристине выступить от имени женской общности. В рамках социокультурного контекста Возрождения Кристина опирается на христианскую систему ценностей, видя в ней основу для манифестации достоинства женщин. Позиция Кристины в пользу существующего разделения сфер, в рамках которых мужчины и женщины реализуют свое предназначение, тем не менее существенно расширяет горизонты возможного социального устройства путем инклюзии женщин в социальную жизнь. Включение женщин как полноправных участников социальной жизни реализуется за счет переосмысления ценности мужских и женских видов деятельности, придания важности женским занятиям, связанным с воспитанием детей, а также за счет расширения доступа женщин к образованию. Таким образом, сконструированный Кристиной Град придает женщине статус субъекта познания, деятельности, истории и тем самым интегрирует женщин в социальный контекст / порядок.

Литература

1. *Altmann B.K., McGrady D.L.* Christine de Pizan: A Casebook. New York : Routledge, 2003. 312 p.
2. *Willard C.C.* Christine de Pizan: her life and works. New York : Persea Books, 1984. 255 p.
3. *Бовуар С. де.* Второй пол : в 2 т. СПб. : Прогресс, Алетея, 1997. Т. 1: Факты и мифы. 832 с.
4. *Bejczy I.P.* Does Virtue Recognise Gender? Christine de Pizan's City of Ladies in the Light of Scholastic Debate // *Virtue Ethics for Women 1250–1500* / K. Green, C. Mews, eds. Dordrecht : Springer, 2011. P. 1–11.
5. *Langdon Forhan K.* The Political Theory of Christine de Pizan. London : Routledge, 2017. 204 p.
6. *Adams T.* Christine de Pizan and the Fight for France. University Park : Penn State Press, 2014. 232 p.
7. *Margaret C.S.* Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia. New York ; London : Routledge, 2006. 986 p.
8. *Абдуллабеков В.О.* Представления о браке и брачности в Пизе начала XV века // *Женщина, брак, семья до начала Нового времени: демографические и социокультурные аспекты.* М. : Наука, 1993. С. 88–106.
9. *Бессмертный Ю.Л.* Жизнь и смерть в Средние века : очерки демографической истории Франции. М. : Наука, 1991. 240 с.
10. *Малинин Ю.П.* Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции XIV–XV вв. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2000. 231 с.
11. *Успенская В.И.* Благоразумное правление: политический идеал Кристины де Пизан. Тверь : ТвГУ, 2014. 60 с.
12. *Успенская В.И.* Общественно-политические идеалы Кристины де Пизан. Тверь : ТвГУ, 2014. 144 с.
13. *Успенская В.И.* Теоретическая реабилитация женщин в произведениях Кристины Пизанской : пособие к курсу по истории феминизма. Тверь : ФеминистПресс. Россия, 2003. 56 с.
14. *Елизарова Е.Ю.* Социально-политические взгляды Кристины Пизанской (1364–1430) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2000. 14 с.
15. *Рассадин С.В.* Социальный порядок в концепции Августина: от «множеств» к «народу» // *Вестник Тверского государственного технического университета. Сер. Науки об обществе и гуманитарные науки.* 2017. № 1. С. 180–184.
16. *Pizan C. de.* The Book of the City of Ladies. New York : Persea Books, 1982. 281 p.
17. *Косякова В.* Философия: женский род. Кристина Пизанская. URL: <https://www.colta.ru/articles/she/26009-filosofiya-zhenskiy-god-kristina-pizanskaaya#:~:text=После%20Второй%20мировой%20войны%20новую,перо%2C%20дабы%20защитить%20свой%20пол> (дата обращения: 11.02.2021).

Nataliya N. Kozlova, Tver State University (Tver, Russian Federation).

E-mail: tver-rapn@mail.ru

Sergey V. Rassadin, Tver State Technical University (Tver, Russian Federation).

E-mail: s_r08@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 20–28.

DOI: 10.17223/1998863X/62/2

DESIGNING THE “CITY OF LADIES” IN THE PROJECT OF CHRISTINE DE PIZAN

Keywords: City of Ladies; epistemology; reason; women’s rights; gender order; social imaginary; misogyny

The article analyzes the specifics of the construction of the “social” in the project of the City of Ladies in the book of the same name by Christine de Pizan. The relevance of the research is determined by the pioneering contribution of the woman-thinker of the Renaissance in the discussions that unfold around the comprehension of the present and imaginary social structure. Analyzing the meaning, essence, nature and features of the construction of the “City of Ladies” in Christine de Pizan’s project, the authors identify and analyze epistemological grounds, logical justifications, arguments and historical evidence of the ability of women to be subjects of social life. The revision of the peripatetic and theological foundations of the medieval picture of the world by Christine de Pizan leads to the expansion of the concept “social” by including women as full members of society. The authors of the article propose to consider the City of Ladies as a special intelligible construction that discursively allows integrating women into the social order. The meaning of the project of the City of Ladies is to harmonize the social world by changing the masculine view of society on the nature of women. Addressing a broad socio-historical context through allegorical forms, Christine offers a conceptual reassessment of the social order. Christine creates the City as a special symbolic order by building a “female view” of the nature of the sexes, giving women the status of the subject of knowledge, activity, history. The description of the imaginary City for women allows Christine to speak on behalf of the collective subject – the female community. The inclusion of women as full participants in social life is realized by rethinking the value of men’s and women’s activities, giving importance to women’s activities related to the upbringing of children, as well as by increasing women’s access to education. The imaginary City allows us to expand the concept “social” by including a new social community – women.

References

1. Altmann, B.K. & McGrady, D.L. (2003) *Christine de Pizan: A Casebook*. New York: Routledge.
2. Willard, C.C. (1984) *Christine de Pizan: her life and works*. New York: Persea Books.
3. Beauvoir, S. de. (1997) *Vtoroy pol: v 2 t.* [The Second Sex: in 2 vols]. Translated from French. Vol. 1. St. Petersburg: Progress, Aleteyya.
4. Bejczy, I.P. (2011) Does Virtue Recognise Gender? Christine de Pizan's City of Ladies in the Light of Scholastic Debate. In: Green, K. & Mews, C. (eds) *Virtue Ethics for Women 1250–1500*. Dordrecht: Springer. pp. 1–11.
5. Langdon Forhan, K. (2017) *The Political Theory of Christine de Pizan*. London: Routledge.
6. Adams, T. (2014) *Christine de Pizan and the Fight for France*. University Park: Penn State Press.
7. Margaret, C.S. (2006) *Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia*. New York; London: Routledge.
8. Abdullabekov, V.O. (1993) Predstavleniya o brake i brachnosti v Pize nachala XV veka [Ideas about marriage and matrimony in Pisa in the early 15th century]. In: Bessmertnyy, Yu.L. (ed.) *Zhenshchina, brak, sem'ya do nachala Novogo vremeni: demograficheskie i sotsiokul'turnye aspekty* [Woman, Marriage, Family before the Beginning of Modern Times: Demographic and Socio-cultural Aspects]. Moscow: Nauka. pp. 88–106.
9. Bessmertnyy, Yu.L. (1991) *Zhizn' i smert' v Srednie veka: ocherki demograficheskoy istorii Frantsii* [Life and Death in the Middle Ages: Essays on the Demographic History of France]. Moscow: Nauka.
10. Malinin, Yu.P. (2000) *Obshchestvenno-politicheskaya mysl' pozdnesrednevekovoi Frantsii XIV–XV vv.* [Socio-political thought of late Medieval France of the 14th – 15th centuries]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

11. Uspenskaya, V.I. (2014) *Blagorazumnoe pravlenie: politicheskiy ideal Kristiny de Pizan* [Prudent Government: The Political Ideal of Cristina de Pizan]. Tver: Tver State University.
12. Uspenskaya, V.I. (2014) *Obshchestvenno-politicheskie idealy Kristiny de Pizan* [Social and Political Ideals of Christina de Pizan]. Tver: Tver State University.
13. Uspenskaya, V.I. (2003) *Teoreticheskaya reabilitatsiya zhenshchin v proizvedeniyakh Kristiny Pizanskoy: posobie k kursu po istorii feminizma* [Theoretical rehabilitation of women in the works by Christine de Pizan: a guide to the course on the history of feminism]. Tver: FeministPress. Rossiya.
14. Elizarova, E.Yu. (2000) *Sotsial'no-politicheskie vzglyady Kristiny Pizanskoy (1364–1430)* [Socio-political views of Christine de Pizan (1364–1430)]. History Cand. Diss. St. Petersburg.
15. Rassadin, S.V. (2017) Sotsial'nyy poryadok v kontseptsii Avgustina: ot “mnozhestv” k “narodu” [Social order in Augustine's concept: from “multitudes” to “people”]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Nauki ob obshchestve i gumanitarnye nauki – Vestnik of Tver State Technical University. Series “Social Sciences and Humanities”*. 1. pp. 180–184.
16. Pizan. C. de. (1982) *The Book of the City of Ladies*. New York: Persea Books.
17. Kosyakova, V. (2020) *Filosofiya: zhenskiy rod. Kristina Pizanskaya* [Philosophy: Feminine gender. Christine de Pizan]. [Online] Available from: <https://www.colta.ru/articles/she/26009-filosofiya-zhenskiy-rod-kristina-pizanskaya#:~:text=Posle%20Vtoroi%20mirovoi%20voiny%20no-vuyu,pero%2C%20daby%20zashchitit%20svoi%20pol> (Accessed: 29th January 2021).

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/62/3

А.В. Носкова, Д.В. Голоухова, Е.И. Кузьмина

НЕРАВЕНСТВА В ОБРАЗОВАНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ

Материал подготовлен при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (конкурс 2020 года), заявка НШ-2615.2020.6.

Описываются результаты эмпирического кейса, цель которого – сравнение аудиторного и цифрового обучения с позиции образовательных возможностей и социальных перспектив по преодолению неравенств. Опрошено 400 студентов российских вузов, обучающихся на социально-гуманитарных специальностях. Используются бинарные шкалы для выявления семантического расстояния между аудиторным и онлайн-образованием, attitudes студентов и их оценки потенциала развития онлайн-формата обучения.

Ключевые слова: цифровая трансформация высшей школы, онлайн-обучение, образовательная мобильность, неравенство, семантический дифференциал

Неравенства в высшем образовании как контекст исследования

Система высшего образования признана важным инструментом сглаживания неравенств и обеспечения социальных возможностей [1, 2]. Однако социологи регулярно оспаривают тезис П. Сорокина об эффективности образования как социального лифта, акцентируя внимание на противоположном аспекте – латентном воспроизводстве общественного расслоения. Дискуссия о социальных функциях высшего образования обостряется в периоды крутых изменений и либеральных реформ. Так, в 1960-е гг. П. Бурдье и Ж.-К. Пассерон показали, как возможность изменить свое социальное положение посредством обучения в университете блокируется многоступенчатой структурой образовательных неравенств: неодинаковыми шансами поступления в престижные университеты у выходцев из разных социальных слоев, культурной дифференциацией студентов, ранжированием по успеваемости, а также образовательной мобильностью – возможностью для продолжения обучения на следующих ступенях [3].

Универсальный характер данной проблемы подтвердили результаты исследований советских социологов. В 1960–1970-е гг. М.Н. Руткевич и В.Н. Шубкин поднимали вопрос о неравенстве шансов на высшее образование молодых людей из деревень и малых городов, а также из семей рабочих и крестьян [4].

В начале XXI столетия проблема неравенства в высшей школе приобретает новое звучание. Теперь исследовательская повестка формируется под влиянием глобальной модернизации высшей школы, а также новых вызовов и рисков, с которыми сталкивается институт высшего образования в ускоря-

ющемся мире. Широкая научная дискуссия развернулась вокруг неолиберальной реформы в образовании [5], в ходе которой осуществляется переход университетов на рыночные рельсы и, как следствие, увеличивается дистанция между элитарным и массовым образованием.

Вопрос о новых формах неравенств поднимается в связи с набирающей популярность идеей о переходе на индивидуальные образовательные траектории [6], а также под влиянием трансформации социального значения образовательных практик для индивида. Для современного человека профессиональное обучение длиной в жизнь становится инструментом удержания своей позиции на социальной лестнице [7], страховкой от нисходящей мобильности [8]. Вместе с процессами модернизации исследователи фиксируют отставание российской системы высшего образования от потребностей рынка труда [9]. Это противоречие обуславливает профессиональную маргинализацию и социальную депривацию у заметного числа выпускников вузов [10].

Новый социологический дискурс формируется вокруг проблемы интеграции цифровых технологий в высшую школу. Есть мнение, что цифровая трансформация будет стимулировать новые образовательные возможности, сглаживать социальные проблемы высшей школы, делать качественное образование доступнее для всех [11]. Но вопросы образовательного потенциала и социальных последствий цифровых инноваций пока глубоко не изучены. Здесь больше неопределенностей, чем ясного осознания конечных результатов, а ученые все чаще обсуждают цифровое неравенство и цифровые разрывы [12]. В этой связи актуальность приобретают исследовательские направления, ориентированные на изучение социальных и образовательных возможностей и ограничений цифровой трансформации в высшей школе. При этом проекции на будущее, неопределенность ситуации обуславливают методологическую проблему изучения цифровых последствий.

В данной статье описываются результаты эмпирического кейса, целью которого стало оценивание студентами цифрового обучения с позиции его образовательного потенциала и социальных перспектив. Цифровизация образовательной среды представляет собой многогранный процесс [13], однако в данной статье в фокусе внимания находится онлайн-обучение.

Описание методики проведения опроса

Для достижения поставленной цели было проведено пилотное онлайн-исследование студентов. Опрошены 400 респондентов из нескольких вузов России, обучающихся на социально-гуманитарных специальностях. Выбор целевой аудитории обусловлен тем, что студентам социально-гуманитарных специальностей для освоения компетенций не требуются практические и лабораторные занятия, для которых необходимо присутствие обучающегося в специально оборудованной аудитории или лаборатории (в отличие от студентов технических, медицинских и других специальностей).

Использована квотно-целевая выборка. Отбор вузов для опроса предполагал наличие в образовательных организациях сильной материально-технической базы, что обуславливало отсутствие серьезных технических трудностей при переходе на дистанционное образование. При квотировании студентов был использован принцип равного размещения [14], в соответствии с которым обучающиеся отбирались таким образом, чтобы подвыборки

(бюджет / контракт, младшие / старшие курсы) были равновеликими для их корректного сравнения: 47,9% – бюджетная форма, 52,1% – договорная форма; курс 47,6% – младшие курсы, 52,4% – старшие курсы.

Опрос проведен в конце второго семестра 2019–2020 учебного года, когда студенты уже прошли первичную адаптацию к онлайн-обучению и приобрели соответствующий опыт. Тотальный переход на «дистант» стал своеобразным социальным экспериментом по тестированию готовности студентов полностью обучаться в цифровом формате. Вместе с тем для исследователей это возможность наблюдать за процессами ускоренной цифровой модернизации высшего образования с позиции социальных эффектов, которые она производит, а также изменения нормативности в образовании и социальном поведении студентов. В этой связи в процессе эмпирического исследования реализовывались задачи по оцениванию социальных перспектив онлайн-обучения, определению дистанции между аудиторным и онлайн-обучением, выявлению тенденций в изменении нормативности и установках на форму обучения.

Особенностью инструментария стало включение в опросник биполярных шкал – семантического дифференциала и шкалы парных сравнений. Шкала семантического дифференциала использовалась для выявления дистанции между аудиторным и онлайн-образованием. Выбор данной методики обусловлен ее инструментальными возможностями для анализа эмоционально-оценочного компонента стереотипных представлений и социальных установок [15]. Измерение семантической дистанции дает возможность определить степень близости / удаленности между формами обучения, дифференцировать категории студентов по этому показателю и, следовательно, обозначить формирующиеся образовательные и социальные разрывы.

С помощью шкалы семантического дифференциала респонденты давали свои оценки аудиторному и дистанционному образованию, которые в рамках исследования определялись как альтернативные формы обучения. В соответствии с классической процедурой измерения респондентам предлагался набор из девяти биполярных семибалльных шкал (от –3 до +3) для ассоциативного восприятия форм обучения. Эти шкалы формируют три фактора – оценки, силы и активности, – выделенные Ч. Осгудом [16]. Фактор *оценки* представлен тремя шкалами: хорошее–плохое, светлое–темное, радостное–грустное и отражает *эмоциональное отношение* к исследуемым формам обучения. Фактор *силы* включает также три шкалы: глубокое–поверхностное, сильное–слабое, крепкое–ломкое, и в данном исследовании связывается с восприятием *качества образования*. Фактор *активности* раскрывается через три оппозиции: активное–пассивное, быстрое–медленное, развивающееся–деградирующее, и отражает *потенциал развития*. В ходе анализа данных измерялось семантическое расстояние d между исследуемыми объектами, значение которого рассчитывалось по формуле евклидова расстояния

$$d = \sqrt{\sum(x_i - y_i)^2},$$

где x_i , y_i – оценки аудиторной и дистанционной форм обучения по каждой оппозиции. Диапазон значений распределяется от 0 (нет различий) до 18 (максимальное расстояние). Минимальное значение (0) получается в случае, если оценки аудиторной и дистанционной форм обучения по каждой оппози-

ции совпадают. Максимальное расстояние между двумя формами обучения достигается в случае, если по каждой оппозиции респондент оценивает одну форму максимально позитивно (+3), а вторую – максимально негативно (–3), т.е. по каждой оппозиции оно будет составлять 6 единиц, а максимальное семантическое расстояние по всем 9 шкалам, вычисленное по приведенной выше формуле, составит 18 единиц.

Для каждой формы обучения был составлен семантический профиль, представляющий совокупность средних значений по каждой шкале. Так как при опросе использовалась шкала от –3 до +3, отрицательные значения средних арифметических следует интерпретировать как более высокую степень близости к полюсу, который можно условно назвать негативным. Положительные значения средних указывают на близость к условно позитивному полюсу.

Оценки восприятия возможностей онлайн-формата сгладить неравенство в образовании измерялись с помощью шкалы парных суждений. Сформулированные парные суждения – результат операционализации понятия «неравенство системы высшего образования» посредством трех переменных: равенства доступа к качественному высшему образованию, равенства профессиональных шансов выпускников и равенства статусов вузов. Респондентам предлагались антонимичные пары суждений, фиксирующие альтернативные социальные перспективы онлайн-образования, – стирания / сохранения статусных различий, неравенств между вузами и обучающимися. Из каждой пары респондент выбирал утверждение, с которым он согласен в большей степени. Чтобы избежать двусмысленности и ориентировать респондента на однозначное определение своей позиции, суждения задавались в форме жестких оппозиций. Приведем примеры таких суждений: онлайн-обучение делает качественное высшее образование более доступным всех слоев населения, стирает границы между элитарным и массовым образованием / с распространением онлайн-обучения сохраняется деление на престижное (элитарное) и массовое высшее образование; онлайн-образование усиливает статусное неравенство университетов / онлайн-образование сокращает статусные различия между вузами; онлайн-образование позволяет уравнивать профессиональные шансы студентов из разных социальных слоев из-за его доступности / онлайн образование не может уравнивать профессиональные шансы студентов из-за разных способностей воспринимать информацию онлайн и неравного доступа к онлайн-технологиям и др.

Наконец, сдвиги в нормативности и образовательных установках студентов тестировались посредством задания проективной ситуации выбора идеальной формы обучения: только аудиторное обучение, только онлайн-формат, смешанная форма.

Результаты исследования и обсуждение

Перспективы онлайн-обучения в социальном и образовательном пространстве: поможет ли цифровой фактор преодолеть образовательное неравенство?

Эмпирические результаты зафиксировали отсутствие консенсуса и амбивалентность суждений, что проявилось в неоднозначных оценках социально-образовательного потенциала цифрового обучения. Наибольшую согласован-

ность студенты высказали при ответе на вопрос о влиянии распространения онлайн-обучения на выравнивание статусов высших учебных заведений. По мнению 77% респондентов, цифровое обучение способно *сгладить статусные различия* между вузами за счет стандартизации содержания учебных программ и унификации педагогического способа трансляции знания. Однако измерение, связанное *со статусными различиями учебных заведений*, позволяет взглянуть на проблему под другим углом: с позиции потери вузами своей уникальности с массовым распространением практик онлайн-обучения. Так, практически половина опрошенных студентов (47%) отметили, что дистанционное образование *стирает специфику вуза* и делает обучение в нем похожим на обучение в любом другом высшем учебном заведении.

В меньшей степени студенты связывают цифровой фактор с возможностью сокращения неравного доступа к качественному высшему образованию и выравнивания социальных шансов выпускников вузов. Так, менее половины всех опрошенных (44%) указали, что онлайн-обучение делает качественное высшее образование доступнее для всех слоев населения, стирает границы между элитарным и массовым образованием. При этом 56% опрошенных считают, что деление образования на элитарное и массовое сохранится, даже несмотря на активное распространение онлайн-обучения. Большая часть опрошенных (59%) также не видят в онлайн-формате потенциала к выравниванию профессиональных шансов выпускников. Для выбравших данный вариант студентов более значимым оказались дифференцирующие факторы, связанные с возможностями (техническими, социальными, когнитивными) обучаться в онлайн-формате. Речь идет о цифровом капитале – совокупности цифровых компетенций – как о новом источнике неравенства. Иными словами, цифровизация образовательного пространства представляется студентам не только источником дополнительных возможностей, но и фактором, который *способствует появлению новых цифровых неравенств*, формирующихся в результате наличия доступа к технологиям и умения их применять.

Определение семантической дистанции между аудиторным и дистанционным обучением

Другим направлением исследования стало изучение *восприятия студентами образовательного потенциала онлайн-формата*. Для этого сначала по представленной выше формуле было измерено семантическое расстояние между аудиторным и онлайн-обучением, которое в целом по выборке составило 7,75¹. Его величина незначительно варьировала в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов. Так, пол и курс обучения не оказали влияния на семантическое расстояние. Влияние места жительства было крайне слабым. Наиболее значимый результат – различия между обучающимися на договорной (8,3) и бюджетной (7,2) основе. Для проверки гипотезы о равенстве средних использовался *t*-критерий Стьюдента. Рассчитанное значение *t* составило 2,92, различие между двумя категориями студентов статистически значимо на уровне 0,01. Можно предположить,

¹ Эмпирические максимум и минимум совпали с теоретическими: для четырех респондентов семантическое расстояние было минимальным и составило 0, для шести респондентов – максимальным (18). Выбросов не выявлено – для оценки выбросов использовался метод, основанный на межквартильном размахе.

что обучающиеся по договору воспринимают образование как оплаченную услугу, поэтому для них любое отклонение от исходного «договора» рассматривается с точки зрения материальных потерь.

Сравнение семантических профилей аудиторного и онлайн-обучения показало, что студенты оценили аудиторное образование выше по всем оппозициям (рис. 1).

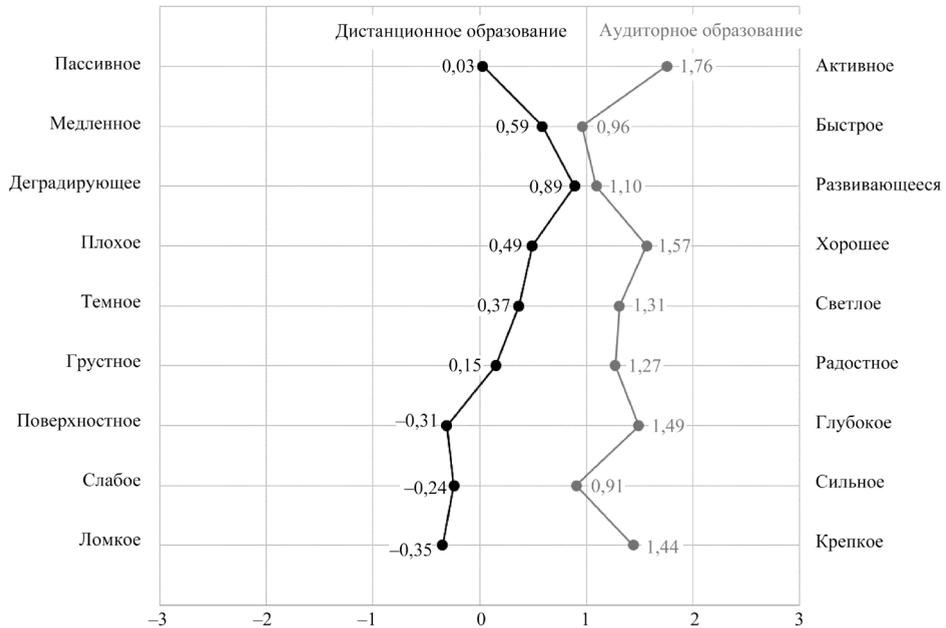


Рис. 1. Семантические профили аудиторного и онлайн-образования (средние значения по исходным шкалам)

Наибольший разрыв зафиксирован по оппозициям активное–пассивное, крепкое–ломкое, глубокое–поверхностное. Иными словами, аудиторное образование представляется студентам более фундаментальным, надежным и качественным. Напротив, наименьший разрыв зафиксирован по оппозициям быстрое–медленное и развивающееся–деградирующее. По оппозициям, формирующим фактор «активность», у дистанционного образования наиболее высокие средние значения, и они максимально приближаются к значениям аудиторного обучения, тогда как у аудиторного образования оценки по этим шкалам минимальны. Видимо, дистанционное обучение в восприятии студентов быстро перенимает характеристики цифровых технологий, которые ускоряют коммуникацию, заставляют преподавателей использовать новые методики обучения, требуют от всех участников образовательного процесса развития навыков использования компьютера и различного программного обеспечения.

В ходе анализа данных учитывались эмоциональные помехи, которые могли повлиять на ответы студентов и вызвать некоторое занижение оценок дистанционного образования в сравнении с аудиторным, – тревога и неопределенность, обусловленные пандемией, желание скорее вернуться к нормальной жизни: каждый третий студент (33%) отметил, что такие эмоции вызвал у них переход на дистант. Чтобы нивелировать риск искажений, связанный со

сравнением двух понятий при заполнении анкеты, была проведена процедура центрирования. Для этого среднее арифметическое, вычисленное по всем оппозициям для каждого понятия отдельно, вычиталось из исходной оценки (выбранный пункт на шкале в процессе опроса), данной респондентами по каждой оппозиции. Таким образом, мы получили эмоциональные оценки двух понятий в «очищенном» виде, как если бы студенты оценивали каждое понятие независимо от другого.

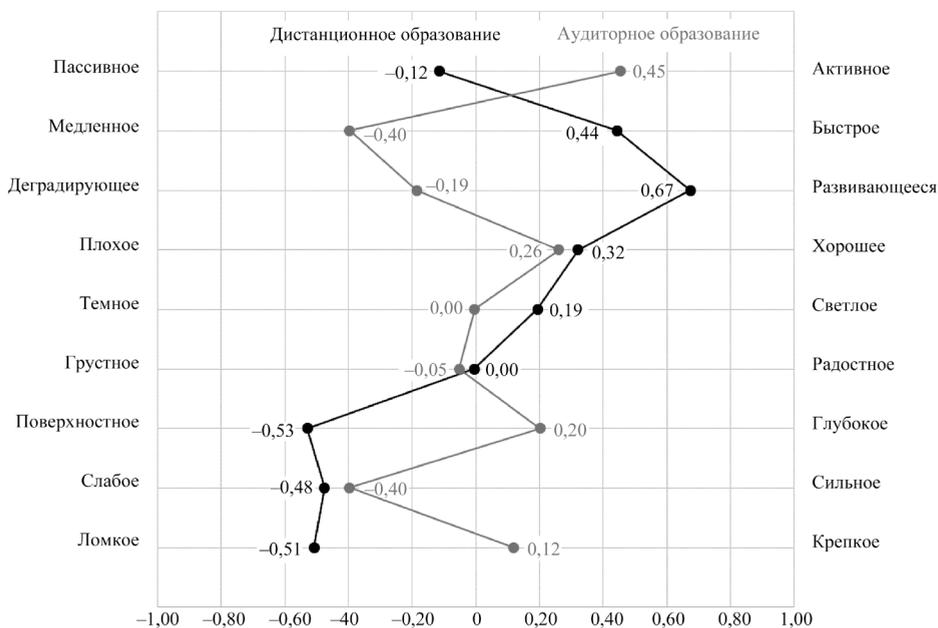


Рис. 2. Семантические профили исследуемых понятий (центрированные средние)

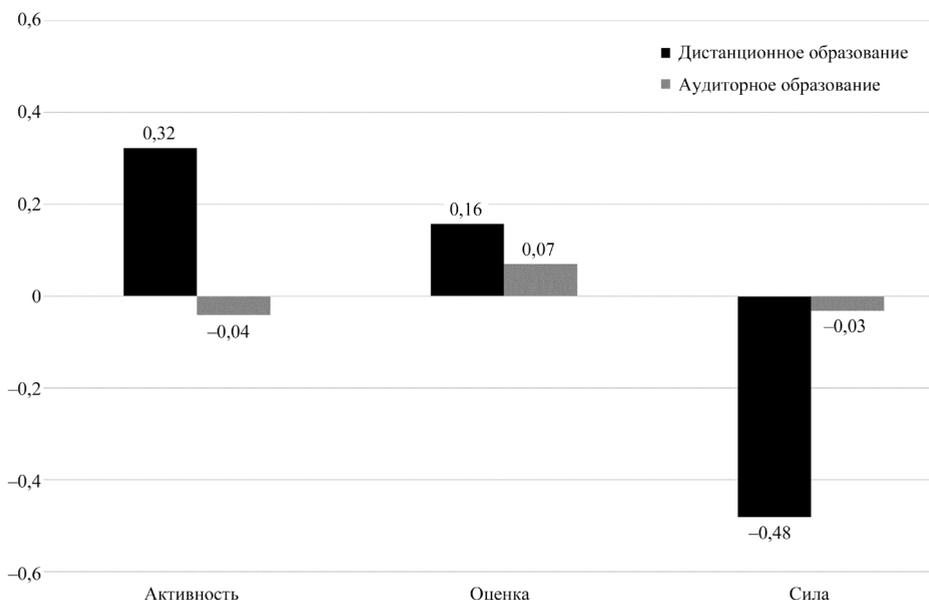


Рис. 3. Центрированные средние по факторам

Анализ центрированных показателей выявил сохранение значительного разрыва по фактору силы между формами обучения, т.е. подтвердился вывод о том, что аудиторное образование оценивается как более качественное, глубокое и надежное (рис. 2). Напротив, более высокие оценки по оппозициям быстрое / медленное, развивающееся / деградирующее у дистанционного образования иллюстрируют, что данная форма обучения в глазах студентов обладает высоким потенциалом развития. По фактору оценки различия между двумя формами тоже минимальны, при этом можно говорить о позитивной оценке обеих форм.

***Тенденции в изменении установок студентов на форму обучения:
изменение нормативности в образовании***

Образовательный потенциал онлайн-формата оценивался также и в связи с его перспективами по замене аудиторной формы обучения. На данный момент студенты не считают возможным отказаться от получения высшего образования в его традиционном виде. Более двух третей опрошенных (77%) отметили, что университетское образование в классическом аудиторном формате всегда будет востребованным видом получения высшего образования, при этом 23% респондентов сообщили, что все высшее образование потенциально можно полностью перевести в онлайн-формат, оставив аудиторные курсы в качестве дополнения для особых групп и потребностей населения.

Другой срез изучения установок студентов на форму обучения – *выявление предпочтительной формы обучения в идеальной ситуации.* Результаты показали изменения в нормативных установках студентов на форму обучения. Большинство респондентов (69%) предпочли смешанное обучение, сочетающее цифровой и традиционный форматы. Только пятая часть опрошенных выбрала исключительно аудиторное обучение (22%), а 7% студентов предпочли бы обучаться исключительно онлайн. Иными словами, онлайн-образование представляется студентам не столько альтернативой, сколько дополняющей формой обучения.

Одно из преимуществ системы цифрового образования большая часть студентов (65%) связывает с неограниченным набором и выбором онлайн-курсов, что дает студенту свободу и большую самостоятельности при формировании образовательной траектории. Однако такая возможность является одновременно и источником рисков: свыше трети студентов (35%) опасаются, что неограниченный выбор образовательных курсов сопряжен с рисками и потерями в качестве, поскольку это препятствует получению системного профессионального знания. Здесь стоит отметить, что одним из потенциальных рисков, связанных с активным встраиванием онлайн-технологий в образовательный процесс, является неконтролируемое распространение некачественного образовательного контента. Данный риск оказался значимым для 39% респондентов, считающих, что большой выбор онлайн-курсов препятствует получению системного знания, и для 20% студентов, видящих преимущество в неограниченном выборе курсов.

Кластер позитивно настроенных студентов

На фоне общей тенденции выявлена группа студентов, позитивно настроенных по отношению к цифровому образованию. В среднем по выборке их вес составил около 30%. Такие студенты высказали удовлетворенность

от перехода на онлайн-обучение в период пандемии, они видят более высокий потенциал развития новой формы образования, намереваются и в дальнейшем активно пользоваться онлайн-образовательными платформами. У них более высокие средние значения дистанционного образования по опциям, формирующим факторы оценки и активности, и только по фактору силы аудиторное образование опережает дистанционное.

Из числа позитивно настроенных студентов более половины (63%) считают, что благодаря онлайн-формату удастся уравнивать профессиональные шансы обучающихся, а 86% респондентов этого кластера видят в неограниченном наборе курсов явное преимущество онлайн-обучения перед аудиторной формой. Можно предположить, что социально-психологический фактор принятия цифрового формата обусловлен обладанием цифровым капиталом и является латентной переменной, оказывающей значительное влияние на восприятие онлайн-образования и его социально-образовательных возможностей.

Заключение

Вынужденный переход на дистанционное образование изменил представления о нормативности в высшей школе и породил ситуацию конкуренции форм обучения. Аудиторное обучение ассоциируется с качеством и фундаментальностью, но оно больше не воспринимается как единственная норма в организации учебного процесса. Перенимая характеристики цифровых технологий, с помощью которых оно реализуется, онлайн-обучение ассоциируется с быстро развивающейся технологией, имеющей очевидный потенциал роста. В свою очередь, социальные последствия цифровизации института высшего образования в оценках российских студентов амбивалентны и неоднозначны. Цифровизация высшего образования становится не только источником дополнительных возможностей и фактором, способствующим сглаживанию неравенства и выстраиванию доступной образовательной среды, но также новым основанием для социального неравенства, осью социально-образовательной дифференциации, связанной с обладанием цифровым капиталом.

Литература

1. *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. 543 с.
2. *The World Bank.* Education At-A-Glance. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/education> (accessed: 19.03.2021).
3. *Bourdieu P., Passeron J.-C.* Les Héritiers. Les étudiants et la culture. Paris : Minuit, coll. «Le sens commun», 1964. 192 p.
4. *Омельченко Е.Л., Лукьянова Е.Л.* Эффективность ЕГЭ: попытка социологического анализа // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2006. № 1. С. 326–334.
5. *Connell R.* The Neoliberal Cascade and Education: an Essay on the Market Agenda and Its Consequences // *Critical Studies in Education*. 2013. Vol. 54, № 2. P. 99–112.
6. *Ильцова И.Н.* Формирование индивидуальной траектории обучения в контексте приоритетов развивающей информационной образовательной среды // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 4. С. 56–59.
7. *Коршунов И.А., Гапонова О.С., Пешкова В.М.* Век живи – век учись: непрерывное образование в России. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 310 с.
8. *Requena M.* The Social Elevator // Education as a Social Elevator. "la Caixa" Social Observatory Dossier. 2016. URL: <https://observatoriosociallacaixa.org/en/-/the-social-elevator> (accessed: 19.03.2021).

9. Рыкун А.Ю., Южанинов К.М. Высшее образование и деконструкция профессионализма // Журнал исследований социальной политики. 2006. № 1. С. 7–24.
10. Ситникова И.В. Профессиональные планы и стратегии трудоустройства современных студентов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019. № 4. С. 61–77.
11. *Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»*. URL: <http://neogusedu.ru> (дата обращения: 19.03.2021).
12. Вартанова Е.Л. Концептуализация цифрового неравенства: основные этапы // Медиальманах. 2018. № 5. С. 8–12.
13. Носкова А.В., Голоухова Д.В., Проскура А.С., Нгуен Т.Х. Цифровизация образовательной среды: оценки студентами России и Вьетнама рисков дистанционного обучения // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 1. С. 156–167.
14. Чуриков А. В. Случайные и неслучайные выборы в социологических исследованиях. Социальная реальность. 2007. № 4. С. 89–109.
15. Саблуков А.В. Использование метода семантического дифференциала в исследовании этноконфессиональных отношений // Вестник Финансового университета. 2011. № 3. С. 41–46.
16. Осгуд Ч. Метод семантического дифференциала в сравнительном исследовании культур. Социология: 4М. 2012. № 34. С. 172.

Antonina V. Noskova, Moscow State Institute of International Relations (Moscow, Russian Federation).

E-mail: a.noskova@inno.mgimo.ru

Daria V. Goloukhova, Moscow State Institute of International Relations (Moscow, Russian Federation).

E-mail: d.v.goloukhova@inno.mgimo.ru

Elena I. Kuzmina, Moscow State Institute of International Relations (Moscow, Russian Federation).

E-mail: e.kuzmina@inno.mgimo.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 29–39.

DOI: 10.17223/1998863X/62/3

INEQUALITIES IN EDUCATION AND PROSPECTS OF DIGITAL LEARNING IN STUDENTS' ASSESSMENTS

Keywords: digital transformation of higher education; online learning; educational mobility; inequality; semantic differential

The study is supported by the grant of the President of the Russian Federation for state support of the leading scientific schools (2020 competition), Project No. Nsh-2615.2020.6.

The higher education system, on the one hand, is an important social lift; on the other hand, it is a tool for reproducing the existing social structure. Today it is on the verge of vital transformations associated with the widespread implementation of digital technologies. The forced transition to online education during the pandemic enabled researches to study students' attitudes to digitalization of the higher education and its consequences. The article presents the results of an empirical case, the purpose of which was to study the students' assessments of digital learning in terms of its educational and social perspectives. Four hundred students specializing in social sciences and humanities (target quota sample) from several Russian universities were interviewed. The choice of the universities was determined by their strong material and technical base, which provided transition to distance education without serious technical difficulties. Using equal allocation, quotas were set on the form of education (budgetary or contractual) and the year of education. The researchers used binary scales – semantic differential and paired comparison of judgements. The semantic differential scale was used to measure the distance between offline and online education. The online format's ability to smooth out inequalities in education were assessed with a paired comparison of judgements. Shifts in the perception of norms and students' educational attitudes were tested through a projective situation of choosing the ideal form of education: only classroom teaching, only online format, mixed form. The forced transition to distance education changed the concept of normativity in higher education and encouraged competition between different forms of education. Classroom teaching is seen as high-quality and fundamental, but is no longer perceived as the only norm in the organization of the educational process. Online learning is associated with rapidly evolving technologies and has an

obvious potential for growth. Students assess social consequences of digitalization of the institution of higher education as ambivalent and ambiguous. Digitalization of higher education is not only becoming a source of additional opportunities and a factor contributing to smoothing inequality and building an accessible educational environment, but also a new basis for social inequality, an axis of socio-educational differentiation associated with the accumulation of digital capital.

References

1. Sorokin, P.A. (1992) *Chelovek. Tsvivilizatsiya. Obschestvo* [Human. Civilization. Society]. Moscow: Politizdat.
2. The World Bank. (n.d.) *Education At-A-Glance*. [Online] Available from: <https://www.worldbank.org/en/topic/education> (Accessed: 19th March 2021).
3. Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1964) *Les Héritiers. Les étudiants et la culture*. Paris: Minuit, coll. "Le sens commun".
4. Omelchenko, E.L. & Lukyanova, E.L. (2006) Effektivnost' EGE: popytka sotsiologicheskogo analiza [The effectiveness of the USE: an attempt at sociological analysis]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki – Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences*. 1. pp. 326–334.
5. Connell, R. (2013) The Neoliberal Cascade and Education: an Essay on the Market Agenda and Its Consequences. *Critical Studies in Education*. 54(2). pp. 99–112. DOI: 10.1080/17508487.2013.776990
6. Ilyasova, I.N. (2013) Formirovanie individual'noy traektorii obucheniya v kontekste pri-oritetov razvivayushchey informatsionnoy obrazovatel'noy sredy [Formation of an individual learning trajectory in the context of the priorities of a developing information educational environment]. *Sibirskiy pedagogicheskii zhurnal – Siberian Pedagogical Journal*. 4. pp. 56–59.
7. Korshunov, I.A., Gaponova, O.S. & Peshkova, V.M. (2019) *Vek zhivi – vek uchis': nepreryvnoe obrazovanie v Rossii* [Live and Learn: Lifelong Education in Russia]. Moscow: HSE.
8. Requena, M. (2016) *The Social Elevator*. [Online] Available from: <https://observatorio-socialaiaixa.org/en/-/the-social-elevator> (Accessed: 19th March 2021).
9. Rykun, A.Yu. & Yuzhaninov, K.M. (2006) Higher education: deconstructing professionalism. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 1. pp. 7–24. (In Russian).
10. Sitnikova, I.V. (2019) Professional plans and employment strategies of modern students. *Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskie nauki – PNRPU Sociology and Economics Bulletin*. 4. pp. 61–77. (In Russian).
11. Russia, (n.d.) *Prioritetnyy proekt v oblasti obrazovaniya "Sovremennaya tsifrovaya obrazovatel'naya sreda v Rossiyskoy Federatsii"* [Priority project in education "Modern digital educational environment in the Russian Federation"]. [Online] Available from: <http://neorusedu.ru> (Accessed: 19th March 2021).
12. Vartanova, E.L. (2018) Kontseptualizatsiya tsifrovogo neravenstva: osnovnye etapy [Digital inequality conceptualization: main stages]. *Media-Al'manakh*. 5. pp. 8–12.
13. Noskova, A.V., Goloukhova, D.V., Proskurina, A.S. & Nguen, T.Kh. (2021) Digitalization of the educational environment: risk assessment of distance education by Russian and Vietnamese students. *Vysshhee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 30(1). pp. 156–167. (In Russian). DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-1-156-167
14. Churikov, A.V. (2007) Sluchaynye i nesluchaynye vyborki v sotsiologicheskikh issledovaniyakh [Random and non-random sampling in sociological research]. *Sotsial'naya real'nost'*. 4. pp. 89–109.
15. Sablukov, A.V. (2011) Ispol'zovanie metoda semanticheskogo differentsiala v issledovanii etnokonfessional'nykh otnosheniy [The semantic differential method in the study of ethno-confessional relations]. *Vestnik Finansovogo universiteta – Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 3. pp. 41–46.
16. Osgood, Ch. (2012) Semantic Differential Technique in the Comparative Study of Cultures. *Sotsiologiya: 4M – Sociology: 4M*. 34. pp. 172.

УДК 123.1; 177

DOI: 10.17223/1998863X/62/4

В.Н. Сыров

РОЛЬ МОРАЛЬНОГО ПРИНЦИПА В ФОРМИРОВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИДЕИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-18-00421.

Предпринят анализ связи идеи исторической ответственности и общего морального принципа как основания для ее интерпретации. Показано, что кантовская идея достоинства предстает наиболее приемлемым кандидатом на данную роль. Аргументирована ее предпочтительность. Предпринят анализ трактовок исторической ответственности, указывается, что следует преодолеть ее натуралистическое истолкование и трактовать как форму знаний о прошлом. Показано, что историческую ответственность можно интерпретировать как необходимое средство обеспечения взаимного уважения, особенно в публичной сфере.

Ключевые слова: историческая ответственность, память о прошлом, принцип достоинства, уважение к достоинству, моральные обязательства

Немецкий исследователь Фридер Фогельманн выдвинул весьма примечательную мысль, что «„ответственность“ больше не рассматривается как особая форма нормативной силы, а нормативная сила в целом рассматривается как (форма) „ответственности“» [1. Р. 2]. Резонно предположить, что данный тезис отражает определенный сдвиг в представлениях о роли и ценности ответственности, а именно в сторону трактовки ответственности не как некоторого последствия, которое наступает после выполнения или невыполнения какого-либо требования и зачастую трактуется как нечто отдельное от него, а как структурного элемента самого этого требования. Иначе говоря, тезис означает, что само принятие какой-либо обязанности или обязательства (не лгать, к примеру) с необходимостью подразумевает обязательство его выполнить, что входит в состав представлений об ответственности. Тем самым быть ответственным означает выполнить взятое обязательство.

Понятно, что к такому положению добавляется еще один важный момент, который, начиная с Герберта Харта [2. Р. 210–237], нашел свое отражение в концепции многообразия смыслов, вкладываемых в идею ответственности [3]. Речь идет об одном из таких ключевых смыслов, который заключается в осознании и принятии последствий взятого и выполненного решения. Конечно, этот аспект идеи ответственности не нов и, скорее, исторически был первичным в развитии самой идеи. Видимо, именно он послужил толчком к утверждению Ганса Йонаса, что идея ответственности не играла особой роли в предшествующих этических учениях, а ее актуализация была обусловлена изменением места и роли таких элементов человеческого бытия, которые он характеризует как «знание» и «сила» [4. С. 263]. Аргумент Йонаса заключается в утверждении, что причиной внимания к идее ответственности стали масштабы человеческих действий, которые начали порождать более широкие и менее предсказуемые последствия.

Нет нужды отрицать значимость этой мысли, но стоит отметить и нечто иное. Если верить историкам философии, утверждавшим, что довольно длительный период в европейской культуре наиболее влиятельной в этике считалась теория добродетели, то очевидно, почему идея ответственности не выходила на передний план. Ведь добродетельный индивид в ней не нуждается, поскольку и так действует согласно своей добродетельности. Иначе говоря, он не нуждается в самопринуждении к выполнению моральных установок. Но как только мораль начинается трактоваться как совокупность правил (норм, требований) и вступать в противоречие с весьма определенной (просвещенческой) трактовкой природы человека как стремления к удовольствию и избеганию страдания, актуализации идеи ответственности не избежать.

Если это так, то мы могли бы соединить тезис Йонаса о росте знания и силы как причине актуализации идеи ответственности и мысль Гаррата Уильямса, что специфика современного подхода к ответственности заключается в готовности «откликнуться на многообразие нормативных требований» [5. Р. 459]. Первое можно увязать со способностью (или неспособностью) требований адекватно реагировать на многообразие, широту и долгосрочность последствий, порожденных человеческими действиями, второе – с их способностью преодолевать конфликты между разнообразием нормативных кодексов. Подчеркнем здесь, что речь идет не столько о виртуозности агента в решении подобных задач, сколько о разработке моральных требований, обеспечивающих рамку (или методологию) их решения и создающих тем самым необходимые условия для его виртуозности.

Обращение к анализу условий актуализации темы ответственности позволяет сделать некоторые предварительные выводы. Во-первых, мы можем связать формирование идеи ответственности с природой самого требования и трактовать ее как структурный элемент требования. Правда, сам Уильямс трактует ее как добродетель современного индивида [Ibid. Р. 456], причем особую отдельную добродетель, что может восприниматься как противоречие с выдвинутым выше тезисом. Но если толковать его мысль как утверждение о том, что хотелось бы видеть в современном индивиде, а не как констатацию наличного положение дел, то все встает на свои места. Иначе говоря, мы можем продолжать рассуждать о морали в плоскости требований, а не добродетельных черт характера. Во-вторых, речь идет о морали и моральной ответственности. Естественно, что ответственность может обеспечиваться правовыми нормами, поэтому тезис о моральной ответственности предполагает как наличие соответствующих принципов или ситуаций, опознаваемых как моральные, так и применение надлежащих санкций.

Рассуждения о месте, роли и ценности моральной ответственности стоит прояснить кратким экскурсом, связанным с довольно любопытным аспектом обсуждения данной темы, обозначенным в литературе как скептицизм по отношению к моральной ответственности. Ярким представителем данного направления является американский философ Брюс Уоллер. Как представляется, ключевые идеи рассуждений можно свести к двум тезисам: «Моральная ответственность представляет собой совокупность справедливых заслуг, наказаний и вознаграждений за правильные деяния» [6. Р. 436], но действительно ли индивид берет на себя ответственность за свою моральную жизнь или вместо этого ему просто повезло «с раннего возраста попасть в соответ-

ствующее окружение, получить моральную стойкость и надлежащие симпатии, которые позволили ей (пример некоей Донны в данном случае. – В.С.) выбрать и следовать добродетельному жизненному пути» [6. Р. 437]. По сути, речь идет о том, что в литературе принято называть моральной удачей: кому-то повезло вырасти в соответствующей среде, кому-то – нет, что и сформировало характер, изменить который индивид уже не в состоянии. Автор иллюстрирует эту мысль следующим примером: предположим, что Соня не может навестить Кейт (которая лежит в больнице, и Соня чувствует, что обязана посетить ее как ее подруга) из-за недостатков ее собственного характера (больница ее пугает и вводит в депрессию), и предположим, что в этих недостатках характера нет ее собственной вины и что она не способна изменить свой характер [Ibid. Р. 431]. Вывод, который делает автор, заключается в следующем утверждении: если мораль такова (совокупность воздаяний), а человек таков (сформирован средой), то у нас нет оснований возлагать ответственность за то, что лежит за пределами воли самого индивида.

Критический анализ данных рассуждений можно начать с экспликации некоторых предпосылок, которые лежат в их основе. Это прежде всего довольно своеобразное, хотя и распространенное представление о морали как некотором инструменте, который используется как средство для решения социальных задач (воспитания, консолидации общества и т.д.). Уоллер сам критикует этот подход и полагает, что он коренится в исторических корнях возникновения морали. Отсюда наш автор делает вывод, что мораль вполне можно сохранить без идеи ответственности [Ibid. Р. 437]. Но похоже, что сам автор сохраняет остатки этой версии, когда сводит моральное поведение, по сути, к моральной удаче. В итоге мораль превращается в некое экзотическое, не столь обязательное и индивидуализированное предприятие: кому-то повезло, и он стал добродетельным индивидом, кому-то повезло меньше, потому он ведет аморальный образ жизни. Так получилось, но жизнь в целом продолжает идти своим обычным чередом вне зависимости от моральности и аморальности отдельных ее представителей. Недаром некоторые авторы называют такой подход «поведенческой моралью».

Для развития возражения оттолкнемся от различия между моралью как совокупностью некоторых положений и моральностью как характеристикой поведения людей. С этого различия начнем оценку первого тезиса автора. Стоит утверждать, что в виде деонтологии или консеквенциализма и даже теории добродетели (если исходить из факта становления добродетельного индивида) мораль предстает совокупностью требований. Если это так, то ответственность становится имманентной частью как самого требования, так и его выполнения. Специфика же заключается в том, что выполнение не предполагает никакого вознаграждения. В противном случае, если следовать кантовскому тезису о доброй воле, мораль действительно превращалась бы лишь в средство для реализации различных целей (к консеквенциализму трактовка морали как средства не имеет никакого отношения), что немецкий философ характеризовал как «гетерономию воли». Никто же не хвалит индивида за то, что тот не лжет или выполняет обещания. Благодарность за моральный поступок (помощь пожилому человеку) возможна и даже желательна, но также не является и не должна являться причиной, побуждающей индивида к действию.

Реакция на нарушение требования также носит специфический характер. Она предполагает санкции или осуждение. Но общепринято считать, что оно должно воплощаться в муках совести самого нарушителя. Осуждение окружающих не может, опять-таки следуя логике Канта, считаться причиной, побуждающей индивида к моральному действию, поскольку также превращает мораль в средство. Понятно, что вполне правомерна и оправдана реакция окружающих на систематическое нарушение индивидом требования, например, не лгать, но стоит правильно трактовать его статус. Либо такая реакция должна подтолкнуть индивида к рефлексии, либо оградить окружающих от болезненных последствий аморального поведения индивида.

Данная трактовка морали связана с тем статусом, который она имеет в современной культуре. Он проявляется в ее универсальном характере, причем как по форме, так и по содержанию. Иначе говоря, моральные требования, причем весьма определенные, считаются обязательными для всех. Как минимум это означает, что «незнание не освобождает от ответственности». Данный тезис позволяет перекинуть мост от морали как системы требований к поведению индивидов. Тогда можно утверждать, во-первых, что никто не может избежать моральной оценки. Во-вторых, хотя мораль, конечно, носит безусловный характер, никто не будет отрицать наличия некоторых условий выполнения нормы. Например, надлежит держать обещание, но если оно не дано под давлением. Тогда, вернувшись к примеру с Соней и Кейт, мы можем вполне правомерно, в духе Канта либо осудить ее за потворство склонностям, либо оправдать, если трактуем причины поведения Кейт как обстоятельства непреодолимой силы. Выбор будет зависеть от нашего определения условий анализируемой ситуации.

Тем самым обсуждаемый нами вопрос в целом перемещается в другую плоскость, а именно: что может выступить содержательным основанием, обеспечивающим морально приемлемый контроль над возможными последствиями (актуальными и потенциальными) наших действий и согласование различных моральных кодексов. Иначе говоря, речь идет об определении возможного морального принципа, с позиций которого выносились бы надежные суждения. По поводу значения такого морального принципа справедливо заметил Рубен Апресян: «...этическая теория должна давать ключ к анализу ситуаций и казусов» [7. С. 151]. На статус таких ситуаций и казусов могли бы претендовать так называемые моральные дилеммы, порожденные противоречием в применении разных моральных положений (держать обещание / помочь попавшему в трудное положение), ситуации, трактуемые как исключение из правила, наконец, просто конкретные ситуации, предполагающие разработку процедуры применения общего положения к конкретным обстоятельствам. В любом случае необходим критерий, обеспечивающий их решение, а он располагается в плоскости общих моральных положений.

Вопрос о логике поиска и разворачивания таких принципов может быть проиллюстрирован тезисом, что «практические правила не могут быть развиты без базисных принципов, лежащих в их основе» [8. Р. 61]. Говоря иначе, он гласит, что частные положения должны основываться на более общих положениях. Данной цитатой, по сути, мы начали развёртывание методологии поиска и определения такого или таких моральных принципов. Здесь мы можем сформулировать некоторое следствие из ее применения. Прежде всего

при формулировке ожидаемых моральных принципов мы можем столкнуться с моральной дилеммой. Допустим, что в определении исторической ответственности (для простоты – отношения к прошлому) мы будем руководствоваться одним моральным принципом, а в идентификации отношения к настоящему – другим. Допустим, что может возникнуть ситуация выбора: жертвовать настоящим ради прошлого или наоборот. Резонно предположить, что приемлемым способом решения был бы либо поиск более общего принципа как основания для выбора, либо нахождение аргументов, почему один из применяемых принципов обладает большей силой, чем другой. Можно утверждать, что как первый путь, так и второй фактически равнозначны и ведут к одному и тому же выводу, а именно к выработке моральной теории, которая обеспечила бы согласованность той или иной совокупности конкретных моральных положений.

Что касается определения такой теории то, в исследовательской литературе распространен тезис, что современным идеалом является не дедуктивизм, который предполагал бы построение системы определенного набора положений, выведенных из исходного принципа и, видимо, построенных по принципу «от абстрактного к конкретному», а когерентизм, «в рамках которого моральная теория формируется в ходе взаимного баланса между набором центральных принципов и обдуманых суждений. Здесь теория и опыт взаимно обогащают друг друга в поиске баланса, а взаимоотношения теорий, принципов и суждений могут быть вновь пересмотрены перед лицом новых размышлений» [9. Р. 43]. Американская исследовательница Сара Харпер в своей статье приводит мысль Шелли Каган, что моральная теория соответствует требованиям когерентизма, если ее суждения не противоречат, а взаимно поддерживают друг друга [10. Р. 1071]. Другой американский автор – Линда Радзик – использует пример (Отто Нейрата), проясняющий, как может быть понят этот тезис о взаимной поддержке: чтобы заменить одну доску на своем корабле моряк должен опираться на другую доску. Иначе говоря, ни одна норма не может быть оправдана сама по себе. Она получает оправдание в опоре на другие нормы [11. Р. 30]. Как понимать такую взаимную поддержку она расшифровывает ниже: требование, к примеру «я должен есть овощи», поддерживается нормой «я должен есть то, что служит моим интересам» [Ibid. Р. 32]. Если же применение норм, к примеру N1 и N2, приводит к противоречию между ними, то основанием для выбора должна быть N3, которая может убедительно показать, что N1 весомее, чем N2 [Ibid. Р. 33].

Такое понимание взаимной поддержки в любом случае подразумевает опору на более общий принцип, на основании которого можно сравнивать весомость норм, вступающих в противоречие друг с другом. Например, выбор между требованием «держать обещание» и «оказать кому-либо помощь в ситуации, связанной с угрозой для его жизни» будет обуславливаться более высокой значимостью представления о ценности человеческой жизни. Но если это так, то резонно предполагать, что формирование приемлемой моральной теории может строиться только вокруг какого-либо общего принципа. В противном случае нам не избежать (хотя бы чисто теоретически) конфликта между многообразием требований, предполагаемых любой современной моральной теорией. Поэтому, как ни парадоксально, но в эпоху плюрализма, историзма и релятивизма предпочтительной будет реализация не

гетерогенности моральных установок, а их согласованности на основании некоторого более общего положения. Так, мы можем представить себе способность откликаться на многообразие различных требований, если они применяются в различных сферах, например руководствоваться принципом справедливости в сфере публичной и принципом любви – в сфере приватной, но пока не возникнет ситуация выбора между ними и необходимости принятия взвешенного (обоснованного не субъективным интересом) решения.

Итак, наш тезис заключается в том, что даже для современной культуры более приемлемой следует считать моральную теорию, построенную на основании одного общего принципа. Поэтому вопрос будет заключаться, скорее, в том, как согласовать эту идею с базисными чертами современного мировоззренческого и интеллектуального ландшафта. Иначе говоря, как следует трактовать тезис об общем моральном принципе, его статусе и функциях.

Прежде всего стоит определиться со статусом того, что называют моральным принципом. В зарубежной литературе зачастую этот термин употребляется как синоним термина «норма». Так Джонатан Дэнси писал о «таких обычных принципах, как „не лгать“», или о «решающих принципах» типа принципа утилитаризма, полагая, что может иметь место целый список принципов [12. Р. 67]. Роберт Ауди отмечает, что «за примерами общих принципов далеко ходить не надо: достаточно вспомнить запреты на ложь, кражу, убийство, выраженные в десяти заповедях» [13. Р. 31]. Судя по контексту употребления, вышеупомянутые авторы не видят принципиального различия между требованиями типа «не лгать» и категорическим императивом или принципом полезности. Фактически используя выражение «общие принципы», они понимают под ним, скорее, степень отвлеченности от эмпирии. Такой подход в целом соответствует тому, как определяется принцип в словарях. Он трактуется как общая причина, правило, закон, обобщающий эмпирический материал или совокупность других правил. Это вполне правомерное употребление данного термина. Вопрос в том, как тогда характеризовать соотношение между общим принципом типа категорического императива и требованиями типа «не лгать». Говоря иначе, в чем смысл общности или фундаментальности принципа?

Стоит предположить, что общий принцип стоит трактовать не как одно из моральных требований наряду с другими, а как основу для актуальных и потенциальных требований, притязающих на статус моральных. Например, мы можем трактовать требования «не лгать», «держаться обещания» как конкретизацию более общего принципа, допустим принципа уважения к человеческому достоинству. Более того, именно в силу своей общности он, как правило, не может быть применен непосредственно, а будет требовать своей конкретизации в совокупности разнообразных норм. Но по этой же причине общий принцип можно трактовать как критерий отделения морального от неморального или критерий определения морального смысла тех или иных феноменов. Тогда сложившиеся к настоящему времени требования, притязающие на статус моральных, либо должны быть с ним согласованы (трактованы как его конкретизация), либо отвергнуты (как противоречащие ему). Допустим, если удастся показать, что требование альтруизма противоречит требованию уважения к достоинству, трактуемому как общий принцип, то первое должно быть отвергнуто как неморальное. Кстати, по этой же причине, общий прин-

цип уже не может быть ничем дополнен. Он сам будет выступать основанием для дополнения одних требований другими или их согласования. Также такой общий принцип содержал бы в себе трактовку морального смысла требований. Так, если бы некто спросил: «Почему надлежит держать обещания», – то ответ гласил бы, что соблюдением обещаний обеспечивается сохранение человеческого достоинства (понятно, что последнее тоже требует понимания смысла идеи достоинства и переживания его значимости).

В духе времени мы можем утверждать, что принятие того или иного принципа как общего отнюдь не означает и не предполагает создания моральной системы, как она понималась бы в классическом смысле. В лучшем случае можно было бы говорить о так называемой открытой системе. Иначе говоря, речь шла бы не о выведении исчислимого числа положений из общего принципа, а о согласовании с ним всей совокупности сложившихся в культуре требований, притязающих на статус моральных. В силу наших представлений об открытости будущего, мы могли бы говорить лишь о том, что так понятый общий моральный принцип дает нам в руки методологию поиска потенциальных моральных требований, а именно содержит указание, какого рода правила, претендующие на статус моральных, должны создаваться или в каком направлении следует их создавать. Какими конкретно они будут, будет зависеть от ситуаций, с которыми придется столкнуться. Аналогичной будет его функция в решении актуальных и потенциальных моральных дилемм. Допустим, если мы примем в качестве такого общего принципа требования уважения к достоинству, то суть методологии будет заключаться в поиске такого решения или такого выстраивания отношений между индивидами, чтобы не пострадало достоинство ни одного из его участников.

В силу признания историчности человеческого бытия вряд ли кто будет настаивать на утверждении, что наконец-то найден абсолютный моральный принцип. Возможно, будущее может радикально изменить наши моральные представления. Понятно, что принципы, притязающие на статус моральных, предназначены для настоящего. Основанием для их принятия может быть не выведение из первоначал, а, скорее, отсутствие убедительных контраргументов. Создание же может быть отдано лишь творческому воображению, ограниченному вышеупомянутым требованием.

Какой же принцип может притязать на статус базисного морального принципа? Как известно, Кант выдвигал два взаимосвязанных критерия для его определения. Это критерий универсальности, нашедший свое воплощение в тезисе о категорическом императиве [14. С. 123], и необходимости, нашедший свое воплощение в тезисе о «доброй воле» [Там же. С. 59]. Также, как известно, Юрген Хабермас внес принципиальное дополнение в способ реализации критерия универсальности, названное им «этикой дискурса». «Но, если вспомнить ту роль, которую притязания на нормативную значимость играют для координации действий в повседневной коммуникативной практике, становится понятно, почему задачи, которые должны быть разрешены в дискуссиях по вопросам морали, не поддаются монологическому решению, а требуют совместных усилий» [15. С. 105–106]. Соответствие данным критериям в конечном счете нашло свое выражение в требовании относиться к любому разумному существу, в том числе и к самому себе, только как к цели [14. С. 169]. Как отмечал Кант, «в царстве целей все имеет

или цену, или достоинство. На место того, что имеет цену, может быть поставлено также и что-нибудь другое как эквивалент; а что выше всякой цены и, следовательно, не допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством» [14. С. 187]. Таким образом, принцип, «из которого как из верховного практического основания должно быть возможно вывести все законы воли» [Там же. С. 169], может быть назван принципом достоинства. Важный момент, который подчеркивал немецкий мыслитель, заключается в трактовке отношения индивида к моральному требованию. Кант использовал для его обозначения слово «уважение» и характеризовал его как мотив. «Ни страх, ни склонность, но исключительно уважение к закону является тем мотивом, который может придать действию моральную ценность» [Там же. С. 203]. Как мотив, уважение относится к области чувств. «...Уважение и есть чувство» [Там же. С. 83]. Тогда моральным побудителем (мотивом) к действию следует считать уважение к достоинству.

Оставляем в стороне важный вопрос об интерпретации выдвинутых выше положений. Также сузим сферу обсуждения темы обоснования правомерности и приоритетности данного принципа. Сконцентрируемся на аспекте, связанном с определением предпочтительности данного принципа по сравнению с некоторыми другими моральными принципами, циркулирующими у современных авторов и притязающими на статус объединяющего принципа. В поиске оснований для приоритета будем опираться на следующую методологическую установку: предпочтительным следует считать принцип, (а) под который можно подвести другие принципы, притязающие на статус общего принципа, (б) который открывает более широкие перспективы в продуцировании более конкретных разнообразных норм, под которые можно подводить различные ситуации.

Например, можно утверждать, что требование справедливости, особенно в ролзовской версии, легко истолковать как форму проявления принципа достоинства или уважения к достоинству в публичной сфере. Можно заметить также, что требование уважения к достоинству позволяет навести мосты между публичной и приватной сферами и стать основанием для решения моральных дилемм, которые могут возникать в ситуации конфликта этих сфер. Более сложным видится соотношение принципа достоинства с принципом заботы, достаточно популярным в этической литературе. Кэтрин Херфельд и Катриен Шаубрук, опираясь на идеи Гарри Фракфурта об иерархической структуре желаний первого порядка и желаний второго порядка, указывают на его идею заботы как критерия определения сущности желаний второго порядка, которые выражают подлинные желания индивида или его подлинное Я [16. Р. 63]. Согласно Франкфурту, они связаны с рациональностью, ориентацией на долгосрочные предпочтения и с идентичностью [Ibid. Р. 64]. Поскольку такая трактовка заботы носит, по сути, формальный характер, то она легко может быть подведена под идею достоинства как определение базисного предмета заботы. В противном случае все эти характеристики заботы подпадают под кантовскую оценку: «Умеренность аффектов и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих отношениях хороши, но, по-видимому, составляют даже часть внутренней ценности личности; однако многого не достает в них для того, чтобы объявить эти свойства добрыми без ограничения» [14. С. 61].

Но забота может трактоваться как забота об определенных других в предпочтении остальным. Однако такое отношение не может быть вменено в обязанность, а может трактоваться лишь как ценность (область желаемого). В таком понимании она, конечно, не может претендовать на статус общего принципа, который может быть вменен в общую обязанность. Майкл Слот отмечает, что «возможно, мораль как забота была бы более предпочтительной, если бы мотивировалась балансом между заботой о себе и заботой о других...» [17. Р. 227]. Конечно, автор говорит об установках этики добродетели и агент-центрированной этике, что заставляет трактовать заботу более как желаемую ценность, чем как универсальное требование. Но дело в том, что, как ни трактуй идею баланса, она действительно может быть лишь результатом субъективных усилий и следствием виртуозности добродетельного агента. Тогда попытку превратить ее в общезначимое требование следует считать невозможной в силу асимметричности самой идеи заботы. Иначе говоря, забота о себе не подразумевает заботы о другом, и наоборот. Недаром оппонент Слота кантианец Марсия Барон трактует ее как версию альтруизма [Ibid. Р. 245]. Но вот принцип достоинства, вопреки упреку Слота в асимметричности базисной идеи Канта, такой симметричностью обладает [Ibid. Р. 246–247], ибо невозможно обеспечивать свое достоинство путем унижения достоинства другого либо вообще не отношения с другими. В этом плане идея достоинства подразумевает симметричное отношение Я–Другой. Более того, в отличие от идеи заботы, она может из требования превратиться в ценностный ориентир виртуозного агента и даже стать, так скажем, системообразующей ценностью добродетельной личности.

Как представляется, такую же модель рассуждений мы можем применить к притязаниям идеи любви на роль базисного принципа морали. Если говорить о современном обществе, то резонно утверждать, что мы можем и даже обязаны требовать уважения со стороны работодателя, но вряд ли мы можем требовать от него любви. Поэтому вполне правомерно трактовать ее как желанную ценность и связывать с действиями добродетельной личности. Но не более того. Кристин Свантон утверждает (правда, для этики добродетели), в соответствии с идеями Канта, что любовь и уважение следует трактовать как две величайшие моральные силы, которые в той или иной мере лежат в основе всех остальных добродетелей и взаимно ограничивают друг друга [18. Р. 99–100]. Если обратиться к источнику ее вдохновения, то стоит признать, что Кант в «Метафизике нравов» проводит эту мысль, трактуя любовь как «долг делать цели других (если только эти цели не безнравственны) моими», а долг уважения – как требование не превращать людей в средство для своих целей [19. С. 470]. Рискнем утверждать, что трактовку любви, предложенную немецким мыслителем (не сводить к чувству, трактовать как выстраивание отношений близости, воспринимать как благоволение), легко подвести под идею уважения к достоинству личности, подразумевая под проявлением уважения не только действия, сводящиеся к созданию отношений дистанции, но и в целом, так сказать, практические действия.

Поясним на примере. Требование к работодателю делать цели других своими может быть продуктивно понято лишь как требование обеспечить им достойные условия для работы. Аналогично со стороны работника оно может быть понято лишь как требование добросовестно выполнять требования,

предъявляемые работодателем, так как вряд ли ориентацию на получение им прибыли они могут сделать своей целью. Но такой тип взаимодействия легко может быть проинтерпретирован в терминах выстраивания отношений справедливости и взаимоуважения. Тогда использовать для описания такого типа отношений понятие любви означало бы привносить в них некий избыточный аспект, который мы там не обнаруживаем в силу природы данных отношений, или предполагать некоторые дополнительные специфические действия, которые, возможно, были бы желательны, но которые также не конституируются данным типом отношений. Иначе говоря, чтобы моральное взаимоотношение людей перешло на другой уровень (уровень взаимной любви), социальные отношения в целом должны быть перестроены (стать отношениями не конкуренции, а сотрудничества, к примеру, что позволило бы совершенно иначе истолковать тезис о том, чтобы сделать цели других своими). Но тогда для описания существующих и доминирующих в современном обществе отношений более уместным было использование понятия «достоинство» или «уважение». Так, конкуренты не могут любить друг друга в сфере, конституирующей отношения конкуренции, но обязаны уважать друг друга, и это возможно реализовать. Вот почему более уместным представляется использование понятия достоинства для описания требуемых моральных отношений.

Соответственно, встает вопрос: какую роль этот принцип может сыграть в формировании и развитии идеи исторической ответственности. Здесь начать стоит с прояснения самой этой идеи. Обычно под исторической ответственностью понимают ответственность за прошлое. Как представляется, трактовка данного положения предполагает два взаимосвязанных аспекта: а) в чем суть ответственности, б) как понимать прошлое. Что касается первого, то ответственность подразумевает, что мы должны взять на себя некоторые обязательства. В чем их суть? Обычно под ответственностью за прошлое понимается обязательство либо помнить, чтить память о понесенных жертвах и свершенных подвигах, либо взять на себя вину. Как правило, в современной литературе, посвященной теме памяти, доминирует тенденция перехода от героической истории к истории сожаления и раскаяния. Соглашаясь с такой динамикой памяти, которая, как кажется, представляет собой более глубокое понимание прошлого, тем не менее рискуем утверждать, что данный подход в целом загоняет мысль в своеобразную бинарную оппозицию, где всегда доминирует один из членов оппозиции, порождая взаимные упреки в постправде, и где прошлое видится только в свете только такой оппозиции, порождая вопрос, что делать тому, кто не был частью этих историй и поэтому как минимум сомневается в правомочности взять на себя вину за сделанное не им.

Как возможны обсуждение и перспективы решения темы исторической ответственности? Резонно полагать, что начать следует с истолкования самой сути прошлого, а именно с отказа от натуралистических истолкований, воспринимающих его как некоторую реальность, линейно (однаправленно) движущуюся во времени. При таком подходе время трактуется как необратимая линия из прошлого в будущее, а потомки безальтернативно предстают приемниками своих предков, принимающими на себя все грехи и доблести прошлого. Представляется, что перспектива преодоления таких представлений может быть связана с осознанием того обстоятельства, что прошлое существует только в наших знаниях о нем, поэтому трактовать его линейно или

как серию разрывов, как универсальную линию или как гетерогенность разнонаправленных временных потоков зависит, по сути, от убедительности тех или иных концепций истории.

Тогда трактовать те или иные аспекты прошлого как имманентную часть нашей идентичности или как иной, самостоятельный и самоценный мир зависит от нас. В рамках такого подхода мы можем утверждать, что, с одной стороны, временная дистанция еще не является основанием для превращения тех или иных событий в историю. Тем самым конструктивистская, по сути, концепция истории обеспечивает реализацию обратной процедуры, показывая, что временная удаленность сама по себе не является основанием для отмены срока давности для определенных типов преступлений. Поэтому в большинстве статей, анализирующих проблемы насилия, совершенного в прошлом, и способы осуществления справедливости по отношению к жертвам насилия, речь фактически идет о травматических событиях, остающихся скорее болезненной частью современности, чем делами давно минувших дней (см., напр.: [20]). Поэтому же автор указанной статьи отмечает значение так называемой судебной истины как части истины исторической, задача которой заключается в том, чтобы определить полноту фактов о нарушении человеческих прав [Ibid. P. 347], и подчеркивает роль комиссий по становлению истины как главного механизма правосудия в такого рода ситуациях.

Но, с другой стороны, понимание того, что прошлое дается нам лишь в формах знания о нем, позволяет существенно изменить наше отношение к нему. Речь идет прежде всего о формах нашей идентичности, а именно о том, стоит ли нам связывать свои жизни (ценностные ориентиры) с целями и ценностями другого времени. Определение того, как нам трактовать прошлое, конечно, не является одномоментным и волюнтаристическим актом (особенно для общественного сознания в целом), а требует весьма существенных и длительных усилий по изменению наших представлений и, возможно, форм жизни, но резонно предположить, что это является продуктивным направлением наших усилий. Что касается, в частности, отечественной истории, то речь может и, видимо, должна идти о трактовке событий XX в.

Важный аспект, как кажется, заключается в том, что отмеченное изменение наших установок отнюдь не является условием освобождения от исторической ответственности. Наоборот, оно позволяет придать ей общезначимый характер, хотя и меняет форму ответственности. В последующих рассуждениях по этому поводу мы можем воспользоваться и оттолкнуться от тезиса «помнить, чтобы не повторить». Во-первых, он обеспечивает придание смысла такому прошлому (причем общепонятного) или угла зрения, под которым стоит на него смотреть. Во-вторых, он обеспечивает более широкую и глубокую панораму видения прошлого, выходящую за пределы оценок действий отдельных людей и событий. Она заставляет видеть за человеческими действиями процессы и их последствия, а значит, позволяет давать более взвешенную оценку происшедшего. В-третьих, предложенная перспектива предпочтительна тем, что она не отрицает ни признания заслуг, ни принятия вины, но позволяет включить их в свои рамки по принципу часть–целое. В-четвертых, представляется, что на роль общей панорамы может претендовать идея трагического опыта, которая как раз и будет вбирать в себя более узкие, а потому предстающие односторонними (с точки зрения релевантно-

сти разнообразного эмпирического материала) трактовки прошлого. В-пятых, стоит отметить, что именно эта идея может выступить хорошим основанием для диалога между различными социальными и культурными позициями. Здесь следует заметить, что, возможно, в иных контекстах разнообразие можно трактовать как позитивную ценность, но в вопросе, который может породить конфликт, ведущий к расколу сообщества, видимо, стоит предпочесть достижение единства.

Ну и, наконец, как мы можем придать моральный статус так понятой исторической ответственности. Еще раз напомним, что предложенная дистанция, как представляется, не ослабляет, а, наоборот, повышает нашу ответственность. Ответственность лишь за заслуги наших предшественников или принятие вины вряд ли даст искомую степень общезначимости, но призыв взять на себя обязательства помнить о трагическом опыте, чтобы избежать его повторения, вполне может быть превращен в обязательство, которое в равной мере можно распространить на всех, требовать от всех и которое может быть принятым всеми.

Конечно, использование понятия «опыт» может быть воспринято с инструментальной точки зрения, а именно как средство, которое мы используем для достижения тех или иных целей. Но тогда встает вопрос о моральном статусе такого опыта. Первоначально нам тоже казалось, что такой путь создает затруднение для моральной трактовки исторической ответственности. Но, возможно, решение лежит в смене перспективы, а именно в возможность поместить память о прошлом в контекст более широкой формы ответственности. Иначе говоря, требование помнить о прошлом мы могли бы рассматривать как часть или структурный элемент ответственности за будущее. Речь, конечно, идет не о проекте возможного будущего, а, скорее, о совокупности действий в настоящем (т.е. предполагающем широкую временную перспективу) настоящем. Тем самым определенным образом организованная (в формате трагического опыта) память о прошлом должна предстать структурным элементом определенным образом организованных социальных отношений (интеракций или взаимоотношений). Принцип, который должен лежать в основе этих отношений, заключается в требовании обеспечить взаимоуважение или сохранение достоинства всех его участников, а также соответствующей организации основных социальных институтов. Тогда память о прошлом можно трактовать как необходимое средство обеспечения взаимного уважения, особенно в публичной сфере.

Литература

1. *Vogelmann F.* Keep score and punish: Brandom's concept of responsibility // *Philosophy and Social Criticism*. 2019. № 45 (6). P. 1–20.
2. *Hart H.L.A.* Punishment and Responsibility. *Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press, 1968. 277 p.
3. *Vincent N.A.* A Structured Taxonomy of Responsibility Concepts // *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism* / ed. by N.A. Vincent, I. van de Poel, J. van den Hoven. Springer Science + Business Media B.V., 2011. P. 15–36.
4. *Юнас Г.* Принцип ответственности: опыт этики для технологической цивилизации / пер. с нем., предисл. и примеч. И.И. Маханькова. М. : Айрис-Пресс, 2004. 480 с.
5. *Williams G.* Responsibility as a Virtue // *Ethical Theory and Moral Practice*. 2008. № 11. P. 455–470.
6. *Waller B.N.* Virtue unrewarded: Morality without moral responsibility // *Philosophia*. 2004. Vol. 31, № 3–4. P. 427–447.

7. Апресян П. О [не]допустимости лжи (об одном кантовском рассуждении) // *Философский журнал*. 2009. № 1 (2). С. 141–153.
8. *Schleiden S., Jungert M.C., Bauer R.H.* Mission: Impossible? On Empirical-Normative Collaboration in Ethical Reasoning // *Ethical Theory and Moral Practice*. Vol. 13, № 1. 2010. P. 59–71.
9. *Bayertz K.* Self-Enlightment of Applied Ethics // *Public reason and Applied Ethics: the Ways of Practical reason in Pluralistic Society* / ed. by A. Cortina, D. Garsia-Marza, J. Conill. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.
10. *Harper S.J.* Ethics versus morality A problematic divide // *Philosophy and Social Criticism*. 2009. Vol 35, № 9. P. 1063–1077.
11. *Radzik L.* A coherentist theory of normative authority // *The Journal of Ethics*. 2002. № 6. P. 21–42.
12. *Dancy J.* *Moral reasons*. Blackwell Publishers, 1993. 274 p.
13. *Audi R.* Ethical generality and moral judgment // *Challenging moral particularism* / ed. by M.N. Lance, M. Potrc, V. Strahovnik. Routledge, 2008. P. 31–52.
14. *Кант И.* Основоположение к метафизике нравов // *Сочинения* / подгот. к изд. Э. Соловьевым, А. Судаковым, Б. Тушлингом, У. Фогелем. М.: Моск. философ. фонд, 1997. Т. 3. С. 39–275.
15. *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие // пер. с нем. С.В. Шачина. СПб.: Наука, 2001. 384 с.
16. *Herfeld C., Schaubroeck K.* The Importance of Commitment for Morality: How Harry Frankfurt's Concept of Care Contributes to Rational Choice Theory // *What Makes Us Moral? On the capacities and conditions for being moral* / ed. by B. Musschenga, A. van Harskamp. Springer Science + Business Media Dordrecht, 2013. P. 51–72.
17. *Three Methods of Ethics: A Debate* by Marcia W. Baron (Author), Philip Pettit (Author), Michael A. Slote (Author). Wiley-Blackwell, 1997. 285 p.
18. *Swanton Ch.* *Virtue Ethics. A Pluralistic View*. Oxford University Press, 2005. 312 p.
19. *Кант И.* Метафизика нравов в двух частях // *И. Кант. Критика практического разума* / пер. с нем. С.Я. Шейнман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканьяна. СПб.: Наука, 1995. С. 259–505.
20. *Bakiner O.* One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory // *Memory Studies*. 2015. Vol. 8, № 3. P. 345–360.

Vasily N. Syrov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: narrat59@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 40–53.

DOI: 10.17223/1998863X/62/4

THE ROLE OF THE MORAL PRINCIPLE IN THE CREATION AND FUNCTIONING OF THE IDEA OF RESPONSIBILITY

Keywords: historical responsibility; memory of past; principle of dignity; respect for dignity; moral obligations

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00421.

The article analyzes the links between the idea of historical responsibility and the general moral principle. It is argued that the search for such a general moral principle is the relevant basis for interpreting the idea of responsibility. The article aims to determine the possible content of this principle. For this, the idea of responsibility is analyzed. It is shown that responsibility should be understood not as a consequence after an expected or required action, but as a structural element of the requirement itself. It is noted that the actualization of the idea of responsibility is linked with the transition from the dominance of theories of virtue to deontological theories and the formation of the concept of the individual during the Enlightenment. It is emphasized that the thesis of moral responsibility presupposes both the existence of appropriate principles or situations, recognized as moral, and the application of appropriate sanctions. It is argued that the implementation of this thesis is guaranteed by the application of a general moral principle. The modern approaches to the search for such a principle are considered, namely the widespread statement about the preference of coherentism rather than deductivism. The basic requirement of coherentism that moral judgments should mutually support each other is analyzed. It is argued that the most acceptable way to implement this approach is not the heterogeneity of moral judgments, but their submission to a general principle. It is argued that the principle should be considered as preferred if a) it can sum up other principles that claim the status of a general principle; b) it opens up broader prospects in the search for specific diverse norms, under

which various situations can be summed up. The thesis is formulated that the Kantian idea of dignity most corresponds to these requirements. These ideas were applied to the interpretation of historical responsibility. It is proposed to interpret historical responsibility as responsibility for preserving knowledge (memory) about the past. The connection of this interpretation with modern concepts of temporality, which asserts the heterogeneity and multidirectionality of time lines, is shown. It is emphasized that the use of Kantian interpretations of dignity and respect provides a search criterion for a moral attitude to the past and allows creating an appropriate framework for the interpretation of certain segments of the past. It is proposed to interpret the past as a tragic experience. It is argued that this interpretation of knowledge about the past makes it possible to give the idea of historical responsibility a universally significant meaning and become the basis for intercultural dialogue. It is shown that historical responsibility can be interpreted as a necessary means of achieving mutual respect, especially in the public sphere.

References

1. Vogelmann, F. (2019) Keep score and punish: Brandom's concept of responsibility. *Philosophy and Social Criticism*. 45(6). pp. 1–20. DOI: 10.1177/0191453719866243
2. Hart, H.L.A. (1968) *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.
3. Vincent, N.A. (2011) A Structured Taxonomy of Responsibility Concepts. In: Vincent, N.A., Poel, I. van de & Hoven, J. van den (eds) *Moral Responsibility. Beyond Free Will and Determinism*. Springer Science + Business Media B.V. pp. 15–36.
4. Jonas, H. (2004) *Printsip otvetstvennosti: Opyt etiki dlya tekhnologicheskoy tsivilizatsii* [Responsibility Principle: Ethics Experience for Technological Civilization]. Translated from German by I.I. Makhankov. Moscow: Ayris-Press.
5. Williams, G. (2008) Responsibility as a Virtue. *Ethical Theory and Moral Practice*. 11. pp. 455–470.
6. Waller, B.N. (2004) Virtue unrewarded: Morality without moral responsibility. *Philosophia*. 31(3–4). pp. 427–447. DOI: 10.1007/BF02385194
7. Apresyan, R. (2009) On the (In)admissibility of Lying: a Case in Kant. *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 1(2). pp. 141–153. (In Russian).
8. Schleidgen, S., Jungert, M.C. & Bauer, R.H. (2010) Mission: Impossible? On Empirical-Normative Collaboration in Ethical Reasoning. *Ethical Theory and Moral Practice*. 13(1). pp. 59–71. DOI: 10.1007/s10677-009-9170-x
9. Bayertz, K. (2008) Self-Enlightenment of Applied Ethics. In: Cortina, A., Garsia-Marza, D. & Conill, J. (eds) *Public Reason and Applied Ethics: the Ways of Practical reason in Pluralistic Society*. Ashgate Publishing, Ltd.
10. Harper, S.J. (2009) Ethics versus morality: A problematic divide. *Philosophy and Social Criticism*. 35(9). pp. 1063–1077. DOI: 10.1177/0191453709343388
11. Radzik, L. (2002) A coherentist theory of normative authority. *The Journal of Ethics*. 6. pp. 21–42. DOI: 10.1023/A:1015887107235
12. Dancy, J. (1993) *Moral Reasons*. Blackwell Publishers.
13. Audi, R. (2008) Ethical generality and moral judgment. In: Norris Lance, M., Potrc, M. & Strahovnik, V. (eds) *Challenging Moral Particularism*. Routledge. pp. 31–52.
14. Kant, I. (1997) *Sochineniya* [Works]. Vol. 3. Translated from German. Moscow: Moskovskiy filosofskiy fond. pp. 39–275.
15. Habermas, Ju. (2001) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral Consciousness and Communicative Action]. Translated from German by S.V. Shachin. St. Petersburg: Nauka.
16. Herfeld, C. & Schaubroeck, K. (2013) The Importance of Commitment for Morality: How Harry Frankfurt's Concept of Care Contributes to Rational Choice Theory. In: Bert Musschenga, B. & van Harskamp, A. (eds) *What Makes Us Moral? On the capacities and conditions for being moral*. Springer Science+Business Media Dordrecht. pp. 51–72.
17. Baron, M.W., Pettit, P. & Slote, M.A. (1997) *Three Methods of Ethics: A Debate*. Wiley-Blackwell.
18. Swanton, Ch. (2005) *Virtue Ethics. A Pluralistic View*. Oxford University Press.
19. Kant, I. (1995) *Kritika prakticheskogo razuma* [Critique of Practical Reason]. Translated from German S.Ya. Sheynman-Topstein, Ts.G. Arzakanyan. St. Petersburg: Nauka. pp. 259–505.
20. Bakiner, O. (2015) One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory. *Memory Studies*. 8(3). pp. 345–360. DOI: 10.1177/1750698014568245

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/62/5

Н.Ю. Чепелева

НАИХУДШИЙ ВОЗМОЖНЫЙ МИР. АРГУМЕНТ ШОПЕНГАУЭРА ПРОТИВ ЛЕЙБНИЦА

Обсуждается аргумент Лейбница в пользу тезиса о том, что мы живем в наилучшем из всех возможных миров, а также контраргумент Шопенгауэра, утверждающего, что мы живем в наихудшем из всех возможных миров. Поднимается вопрос о том, удалось ли Шопенгауэру победить в заочной дискуссии.

Ключевые слова: *наилучший возможный мир, наихудший возможный мир, Лейбниц, Шопенгауэр*

Введение: постановка проблемы

Одним из ключевых метафизических вопросов является вопрос о принципе устройства мироздания, и в качестве крайних позиций можно выделить теодицею Лейбница и патодицею Шопенгауэра. В соответствии с их идеями мир устроен либо наилучшим, либо наихудшим возможным образом.

Лейбниц утверждает, что наш мир – наилучший из всех возможных миров, между физическим царством природы и нравственным царством благодати существует совершенная гармония, а зло допускается из принципа целесообразности [1. С. 473]. Шопенгауэр в противовес Лейбницу доказывает, что наш мир – наихудший из всех возможных миров, всякая жизнь по существу есть страдание, и негативный характер носит не зло, а добро [2. Т. 2. С. 490].

Нельзя сказать, что обсуждаемая метафизическая проблема абстрактна и не имеет практических последствий: от того, какой ответ окажется предпочтительнее, зависит выбор этического идеала. Например, этический идеал Шопенгауэра – аскет – выглядит неуместным в наилучшем из возможных миров, поскольку первый шаг на пути к аскезе, по Шопенгауэру, – осознание жизни как череды страданий, смирение и сострадание всему живому в страдающем мире.

Проблема теодицеи может быть актуализирована в контексте современных дискуссий о свободе воли и моральной ответственности. Например, влиятельный современный философ П. ван Инваген обсуждает проблему существования зла и приходит к выводу, что апология на основании свободы воли может быть релевантной при условии, что Бог существует [3].

В данной статье будут проанализированы аргумент Лейбница и контраргумент Шопенгауэра, а также предложены возможные ответы на вопросы об их соотношении, релевантности и актуальности. Отдельный интерес представляет обсуждение вопроса о том, удалось ли Шопенгауэру победить в заочной дискуссии с Лейбницем.

1. Аргумент Лейбница

Положение Лейбница о том, что наш мир есть лучший из возможных миров, обосновывается у него двояким образом: с помощью теологии и космологии [4]. С одной стороны, бесконечно благой Бог избирает этот мир, поскольку в нем можно достичь наилучшего возможного баланса между простотой законов и богатством явлений. С другой стороны, этот мир наилучший, поскольку зло в нем является неотъемлемым элементом гармоничного миропорядка.

Доказательство наилучшего устройства мира Лейбниц формулирует в «Опытах теодицеи...»: «Я называю миром все следствия и всю совокупность существующих вещей, чтобы уже нельзя было утверждать, будто могут существовать еще многие миры в разные времена и в разных местах. Потому что все их в совокупности следует считать за один мир, или, если угодно, за один универсум. И когда все времена и все места в этом универсуме будут наполнены, все же остается верным, что их можно было бы наполнить бесконечно разнообразными способами и что существует бесконечное число возможных миров, из которых Бог необходимо избрал наилучший, потому что он все производит по требованию высочайшего разума» [1. С. 135–136].

С целью богооправдания Лейбниц утверждает, что Бог вовсе не желает зла, а лишь допускает его без ущерба для своей святости: «Бог, избрав совершеннейший из всех возможных миров, по своей премудрости допустил зло, соединенное с этим миром, что, однако же, не мешает тому, чтобы этот мир, рассмотренный и взвешенный во всех своих частях, не был наилучшим из всех достойных быть избранными» [Там же. С. 68].

Чтобы обосновать, каким именно образом Бог допускает зло в наилучшем мире, Лейбниц вводит два деления божественной воли [Там же. С. 471–472].

I. Предшествующая и последующая:

а) *предшествующая* (строгая и чистая воля, с которой Бог ненавидит грех, но не хочет смерти грешника, поскольку желает спасения всех);

б) *последующая* (возникает из стечения всех предшествующих волей и является собой наилучшее действие, какое только может быть произведено мудростью и могуществом).

Зло не может быть содержанием предшествующей воли Бога, однако оно иногда бывает косвенным предметом его последующей воли, когда при устранинии зла не может быть достигнуто большее благо.

II. Производящая и попускающая

а) *производящая* (касается собственных действий Бога);

б) *попускающая* (касается чужих действий, которые Бог допускает).

Сам Бог никогда не производит зла, но иногда его попускает.

Зло, как и добро, бывает трех типов: метафизическое, физическое и моральное. Каждому из них Лейбниц дает оправдание.

I. *Метафизическое зло* (несовершенство творения).

Тварь имеет пределы своим совершенствам, поскольку иначе она бы не отличалась от Бога. Именно метафизическое зло Лейбниц имеет в виду, когда пишет, что иногда композиторы допускают диссонанс, чтобы гармония была еще прекраснее.

II. *Физическое зло* (несчастливые события).

Часто добрые люди бывают несчастны, а злые – счастливы. Оправдывая эту несправедливость, Лейбниц пишет, что печали этого века недостойны сравнения с будущей славой, утверждая, что все несчастья не просто вознаграждаются, но и послужат основой для будущего счастья. Пшеничное зерно, упавшее на землю, не принесет плода, если не умрет.

III. *Моральное зло* (порочные поступки, зло вины).

Метафизическое и физическое зло, в отличие от морального, может быть *средством* для более значительного добра. Зло вины же допускается из принципа целесообразности и является собой необходимым *условием* для должного добра, например для устранения зла. Моральное зло никогда не бывает предметом производящей воли, Бог лишь иногда его попускает. Лейбниц утверждает, что грех непременно должен входить в наилучший возможный порядок вещей. Он верит, что «основание зла необходимо, тогда как происхождение зла случайно».

Чтобы обосновать, почему вообще существует зло, Лейбниц вводит также понятие свободы воли Бога. Божественное волевое действие является самопроизвольным и обдуманым, оно не детерминировано, а значит, возможны не только те вещи, которые Бог избирает. Количество возможных миров бесконечно, каждый из них в совершенстве познан божественной волей, и соотношение добра и зла в каждом из них варьирует. Единственный действительный мир, наилучший из всех возможных, не может обойтись без зла, но его взаимодействие с добром находится в совершенной гармонии.

Сегодня по-прежнему актуальна проблема анализа модальности в рассуждениях Лейбница о наилучшем мире. Например, обсуждается вклад Лейбница в формирование понятия возможных миров [5]. Лейбница нельзя назвать его создателем (в отличие от слова «теодицея», авторство которого приписывается Лейбницу), однако несомненно, что он придал богатое содержание концепции возможных миров.

О том, как Лейбниц понимает возможность, подробно пишет Б. Рассел в своей «Истории западной философии» [6]. Рассел показывает, что Лейбниц говорит о логической возможности: мир возможен, если не противоречит законам логики. Все возможное по своей природе требует существования. Сам аргумент Лейбница о наилучшем мире Рассел критикует: «У Лейбница решение проблемы зла, как и большинство его других общеизвестных теорий, логически возможно, но не очень убедительно... Фактически, конечно, мир частично хорош и частично плох и никакая „проблема зла“ не появляется, если только не отрицают этого очевидного факта» [6. С. 106–107].

2. Аргумент Шопенгауэра

Шопенгауэр оборачивает аргумент Лейбница против него самого, саркастично утверждая: «Аргумент, который Лейбниц не раз повторяет в оправдание зла в мире, состоит в том, что зло часто становится причиной добра: пример этого дает его собственная книга, ибо сама по себе она плоха, но стяжала величайшую заслугу тем, что позднее она дала повод великому Вольтеру написать его бессмертный роман „Кандид“» [2. Т. 6. С. 125]. Критика Лейбница у Вольтера [7] представляет собой *reducto ad absurdum*, и, как заметил

Г.Г. Майоров, наивный оптимизм Панглосса (карикатуры Вольтера на Лейбница) «имеет мало общего с аутентичным мнением философа» [8. С. 105].

Шопенгауэр продолжает эту линию критики, не скупясь на иронию и сарказм: «Есть люди, которые из одного патриотизма почитают даже философию Лейбница: они заслуживают того, чтобы их заперли среди сплошных монад и заставили там слушать предустановленную гармонию и созерцать спектакль *identitatis indiscernibilium*» [2. Т. 6. С. 190].

Помимо аргументов *ad hominem*, Шопенгауэр пытается провести конструктивную критику основного тезиса Лейбница. Он утверждает, что оптимизм – незаконное самовосхваление воли к жизни, самодовольно любующейся на себя в своем творении. Шопенгауэр оспаривает аргумент Лейбница о том, что зло может быть средством для более значительного добра, утверждая, что настоящее страдание никогда не уничтожается будущими радостями, ведь они так же наполняют свое время, как оно – свое. Сравнивая зло и добро в эссе «О ничтожестве и горестях жизни», Шопенгауэр заключает, что если бы «зла в мире было и во сто раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины... что бытие мира должно не радовать нас, а скорее печалить, что его небытие было бы предпочтительнее его бытия, что он представляет собою нечто такое, чему бы, в сущности, не следовало быть» [Там же. Т. 2. С. 484]. «Тысячи наслаждений не стоят одной муки», – цитирует он Петрарку. К системе оптимизма нельзя приспособить мир, в котором измученные существа пожирают друг друга, а всякий хищник представляет собой живую могилу тысячи других животных.

Отдельного интереса заслуживает рассуждение о том, что горы и долины в озарении солнца прекрасны, но мир – не панорама, созерцать объекты и быть ими – разные вещи. Р. Сафрански связывает эту идею с детскими воспоминаниями философа: во время путешествия с семьей по Европе молодой Шопенгауэр совершил несколько восхождений и был настолько впечатлен открывшимися видами, что на протяжении всей своей жизни сохранил восторженность от пейзажей. [9. С. 54–80]

У Шопенгауэра нет отдельного развитого учения о видах зла, которое можно было бы сравнить с учением Лейбница. Однако Шопенгауэр понимает «зло» весьма оригинально: как нечто противоположное воле к жизни [2. Т. 3. С. 446]. Злоба – это удовольствие от чужого страдания, один из трех основных импульсов человеческих поступков. Главное зло в мире – страдание, поэтому моральное поведение должно проявляться в непричинении зла другим и сострадании.

В свойственной ему афористичной манере Шопенгауэр утверждает, что *«явно софистическим доказательствам Лейбница, будто этот мир – лучший из возможных миров, можно вполне серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир – худший из возможных миров»* [Там же. Т. 2. С. 490].

С. Шапшей в своей «Реконструкции этики Шопенгауэра» [10. Р. 87] воспроизводит аргумент Шопенгауэра в пользу тезиса о том, что мы живем в наихудшем из всех возможных миров:

I. Астрономы сообщают, что в настоящее время в нашей планетной системе наблюдается неустойчивый физический баланс.

II. Геологи указывают на такой же шаткий баланс в структуре земной коры.

III. Метеорологи сказали бы нам, что незначительное изменение в атмосфере вызывает холеру, желтую лихорадку и чуму, а умеренное повышение температуры иссушит все реки и источники, сделав условия жизни невозможными.

IV. Если бы мир был физически организован таким образом, что был бы немного хуже, чем сейчас, то жизнь на этой планете вообще не могла бы существовать.

V. Поскольку жизнь в действительности существует на нашей планете, этот мир должен быть наихудшим (физически) из всех возможных миров.

С. Шапшей обращает внимание на то, что в этом аргументе Шопенгауэр не ссылается ни на волю к жизни, ни на учение об идеях, ни на какой-либо другой свой концепт.

Шопенгауэр показывает, что возможно построить метафизическую систему, основывающуюся на пессимистичном тезисе, противоположном предпосылке Лейбница. Мир неустойчив, а если бы он был еще немного хуже, он бы уже совсем не смог существовать. Мироздание постоянно балансирует на грани катастрофы, и высвобождение земных сил уничтожает обитателей поверхности, о чем свидетельствуют разрушение Помпеи, а также землетрясения в Гаити и Лиссабоне. Восхваляемые совершенства мироздания – лишь необходимые условия, минимально поддерживающие существования мира. Даже в жизнедеятельности биологических организмов Шопенгауэр находит программу, удовлетворяющую его системе: условия для жизни каждого существа даны в минимальном объеме, их хватает только для удовлетворения потребностей и поддержания потомства – после выполнения функции продолжения рода воля становится безразлична к индивиду, и он обречен на гибель. Окаменелости неведомых пород представляют собой доказательства иных миров, дальнейшее существование которых стало невозможным и которые, следовательно, были еще несколько хуже, чем худший из возможных миров.

Похоже, что Шопенгауэр понимает «возможный мир» иначе, нежели Лейбниц. Из пунктов IV и V ясно, что когда он говорит, что худший мир не существовал бы, он, похоже, имеет в виду, что не могли бы существовать живые существа. У Лейбница мир без живых существ оставался бы миром.

3. Комментарии к аргументам

Оригинальное критическое развитие аргумента Лейбница представлено у русского философа Н.О. Лосского. В своей работе «Бог и мировое зло» он использует идеи Лейбница в качестве основы аксиологической системы и продолжает обсуждение проблемы взаимодействия добра и зла. В отличие от добра, зло у него не является онтологически независимым: «Во-первых, оно существует только в тварном мире, и то не в первозданной сущности его, а первоначально, как свободный акт воли субстанциальных деятелей, и производно, как следствие этого акта. Во-вторых, злые акты воли совершаются под видом добра, так как направлены всегда на подлинную положительную ценность, однако в таком соотношении с другими ценностями и средствами для достижения ее, что добро подменяется злом. В-третьих, осуществление отрицательной ценности возможно не иначе, как путем использования сил

добра» [11. С. 346]. Интересно, что Лосский опровергает разделение зла на метафизическое, физическое и нравственное, утверждая, что первого типа не существует. Ничто не обязывает тварную личность оставаться в пределах своей ограниченности: теоретически (путем интуиции) и практически (путем любви). Метафизическая ограниченность – не зло, в ней нет ничего недостойного, и она не является препятствием к достижению абсолютной полноты бытия. С его критикой классификации типов зла можно поспорить: Лосский утверждает, что метафизического зла не существует, поскольку оно не препятствует достижению абсолютного добра, но из рассуждений Лейбница можно заключить, что добру не препятствует ни один из выделенных типов. Поэтому суждение Лосского о первом типе зла может быть полезным не как аргумент против Лейбница, а как еще один аргумент в защиту лейбницианского оптимизма.

Впрочем, оптимизм Лейбница построен на допущении существования Бога, тезис о бытии которого после кантовской трансцендентальной диалектики [12. С. 358–385] утратил свой статус в философии.

Шопенгауэр считает, что его собственное доказательство можно противопоставить явно софистическому доказательству Лейбница. Но явно софистический характер носит и рассуждение самого Шопенгауэра. Он не уничтожил оптимистичную метафизику Лейбница, и его аргументы не способны покончить с идеей наилучшего мира. Его риторические контраргументы можно оспорить.

Во-первых, суждение том, что страдание в настоящем не уничтожается радостями в будущем, поскольку они наполняют разное время, не разрушает основной аргумент Лейбница. Лейбниц не говорит о том, что страдания нет, не утверждает он и того, что страдание уничтожается. Лейбниц пишет, что действительное страдание может послужить причиной последующего счастья, это не противоречит интуиции Шопенгауэра о разном времени, которое наполняют несчастье и радость.

Во-вторых, Шопенгауэр утверждает, что всякий хищник – живая могила тысячи других животных, олицетворение запрограммированного характера страдания. Это явление можно приспособить к системе оптимизма, вспомнив о лейбницианском физическом зле: несчастья одних могут стать основой для счастья других. Например, санитары леса, убивая слабых и больных, дают возможность выживать другим животным.

В-третьих, Шопенгауэр пишет о том, что горы и долины в озарении солнца прекрасны. Но разве может быть что-либо прекрасным в наихудшем из возможных миров?

Доказательство Шопенгауэра не носит строгого характера и является скорее пародией на доказательство Лейбница, чем самостоятельным строго выверенным логическим построением.

Я думаю, на вопрос, удалось ли Шопенгауэру победить в заочной дискуссии с Лейбницем, нельзя ответить однозначно – и да, и нет.

Да, поскольку Шопенгауэр, развивая идею Вольтера, показал с помощью философии, что идея наилучшего мира утопична и слабо применима к реальности. Шопенгауэр не основывался на аксиоме божественного присутствия, и благодаря этому его рассуждение выглядит сегодня более актуальным. Наконец, любопытно то, что рассуждение Шопенгауэра о наихудшем воз-

можном мире оказалось востребованным и породило в конце XIX в. дискуссию о пессимизме, в которой не последнюю роль сыграли и российские философы. Учитывая, что шопенгауэровский контраргумент напоминает, скорее, пародию на доказательство Лейбница, его влияние оказалось колоссальным.

Нет, поскольку собственное доказательство Шопенгауэра с точки зрения логики и теории аргументации гораздо слабее доказательства Лейбница. Доказательство Шопенгауэра не согласуется с его собственной философией и выглядит искусственным построением, в то время как доказательство Лейбница стройно вписывается в его систему. Аргумент Шопенгауэра в пользу тезиса о наихудшем мире основывается на свидетельствах ненадежности физических условий жизни на планете. В этом аргументе Шопенгауэр не ссылается ни на волю к жизни, ни на учение об идеях, ни на какой-либо другой свой концепт. Двойственный характер шопенгауэровской системы, отмеченный большинством исследователей его философии [13], просматривается и в данном контексте. Появляется «философия для мира» – эвдемонистическое этическое учение Шопенгауэра, которое не сочетается со статусом основателя философского пессимизма. Тезис о наихудшем мире выглядит уместным в качестве фундамента теории нравственного поведения, при которой этическим идеалом выступает аскет. Но этика аскетизма не находит достаточного оправдания уже внутри самой системы Шопенгауэра [14].

Заключение

На основании анализа, представленного в данной статье, ясно, что обе системы нельзя назвать гармоничными. Критика Шопенгауэром лейбницианского оптимизма может иметь место, однако его собственный аргумент еще более софистичен. Несмотря на то, что аргумент Лейбница более строгий, он основывается на существовании всеблагого, всеведущего и всеильного существа. Сегодня такой постулат не может приниматься за аргумент в научном доказательстве. Тем не менее обе теории прошли проверку временем и до сих пор служат основой для новых размышлений о характере мироздания.

Несмотря на то, что свой аргумент Шопенгауэр строит в противовес аргументу Лейбница, нельзя сказать, что его философская доктрина носит лишь апофатический характер. Пессимистичная метафизика самодостаточна, а ее спор с лейбницианскими положениями касается различного толкования явлений. Метафизические основы двух систем имеют мало общего. Оптимизм Лейбница построен на идее о всеблагом Боге, устроившем этот мир наилучшим образом. Шопенгауэр не использует этой предпосылки, его мир – порождение бессознательной воли, которая не является квинтэссенцией всех возможных совершенств и не имеет цели устраивать мир наилучшим образом. Принцип бытия мира у Шопенгауэра не имеет никакого основания – это означает, что у нас нет гаранта существования благой цели, которой служит зло. Так как в основе двух доктрин лежат абсолютно разные предпосылки, на мой взгляд, нельзя говорить даже о противоположности этих систем. У всякого противоречия должен быть критерий, который в случае Лейбница и Шопенгауэра выделить затруднительно.

На одном полюсе оказывается философский оптимист Лейбниц, а на другом – философский пессимист Шопенгауэр. Но, как ни странно, в литературе существует мнение о том, что их взгляды на проблему теодицеи имеют

много общего. Например, В.В. Васильев в своей статье «Философия Артура Шопенгауэра» утверждает, что «едва ли можно говорить о полной противоположности взглядов этих мыслителей» [15. С. 24], ведь, рассуждая о наилучшем мире, Лейбниц имеет в виду всеобщую гармонию, а это не противоречит Шопенгауэру, который полагал, что совершенная гармония присутствует в мире идей.

Актуальный мир можно назвать одновременно наилучшим и наихудшим из всех возможных миров; таким образом, оба участника обсуждаемой в статье дискуссии выходят из нее победителями. В этом смысле очень удачным представляется вариант Эдуарда фон Гартмана, примиряющего Шопенгауэра с Лейбницем. По мнению пессимиста Гартмана, этот мир – наилучший из всех возможных миров [16. С. 246]. Лучший при этом – не значит безупречный. Наилучший мир может быть сколько угодно плох, и это не противоречит тому, что он лучший. Мир одновременно является и наилучшим, и наихудшим. В данном контексте можно упомянуть о довольно любопытном сатирическом оксюмороническом выражении «панглоссианский пессимизм» – это представление о том, что ничего из происходящего не может улучшиться, ведь мы уже живем в наилучшем из миров.

Современная эпоха допускает и даже предполагает перспективизм [17]. Но перспективизм не лейбницианского типа, при котором существует одна объективная реальность и множество точек зрения, а ницшеанский перспективизм, при котором сама действительность оказывается множественной. При такой онтологической установке допустимы разнообразие мировоззренческих установок и многообразие вытекающих из них этических идеалов.

Литература

1. *Лейбниц Г.В.* Сочинения : в 4 т. : пер. с франц. М. : Мысль, 1989. Т. 4.
2. *Шопенгауэр А.* Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. А. Чанышева. М. : Республика : Дмитрий Сечин, 2015.
3. *van Inwagen P.* The Problem of Evil. Oxford : Oxford University Press, 2006.
4. *Caro H.* The best of all possible worlds?: Leibniz's philosophical optimism and its critics 1710–1755. Leiden ; Boston : Brill, 2020.
5. *Крючкова С.Е.* Проблема возможных миров в философии Лейбница // Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика. М. : Канон+, 2011. С. 114–142.
6. *Рассел Б.* Лейбниц // История западной философии : в 2 т. Новосибирск : Изд-во Новосибир. ун-та, 1994. Т. 2. С. 98–112.
7. *Вольтер М.-Ф.* Кандид, или Оптимизм. СПб. : Пантеонь, 1909.
8. *Майоров Г.Г.* Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973.
9. *Сафрански Р.* Шопенгауэр и бурные годы философии. М. : Роузбэд Интерэктив, 2014.
10. *Shapshay S.* Reconstructing Schopenhauer's Ethics Hope, Compassion, and Animal Welfare. Oxford University Press, 2019.
11. *Лосский Н.О.* Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994.
12. *Кант И.* Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994.
13. *Schubbe D., Kofler M.* Schopenhauer – Handbuch : Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart ; Weimar, 2014.
14. *Чепелева Н.Ю.* Сострадание и одиночество в этике Шопенгауэра // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2020. № 1. С. 32–43.
15. *Васильев В.В.* Философия А. Шопенгауэра // Западная философия XIX в. : учебник / под ред. А.Ф. Зотова. М. : Высш. школа, 2005. С. 3–74.
16. *Гартман Э.* Сущность мирового процесса, или Философия Бессознательного. Метафизика Бессознательного. М. : Красанд, 2010. Т. 2: Метафизика бессознательного.

17. Миронов В. В. Философия как предельная герменевтическая интерпретация и диалог культур // Вопросы философии. 2019. № 9. С. 14–17.

Natalia Yu. Chepeleva, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: e.kuzmina@inno.mgimo.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 54–63.

DOI: 10.17223/1998863X/62/5

THE WORST POSSIBLE WORLD. SCHOPENHAUER'S ARGUMENT AGAINST LEIBNIZ

Keywords: best of all possible worlds; worst of all possible worlds; Leibniz; Schopenhauer

One of the key metaphysical questions is the question of the principle of the structure of the universe, and Leibniz's theodicy and Schopenhauer's pathodicy can be distinguished as extreme positions. According to their ideas, the world is arranged either in the best or the worst possible way. The problem of theodicy and evil in the world is being actualized in the context of modern discussions about free will and moral responsibility. In order to justify God, Leibniz argues that God does not desire evil at all, but only allows it without compromising his holiness. Evil cannot be the content of God's prior will, but evil can be an indirect consequence of his will, when no greater good can be achieved by eliminating evil. Schopenhauer disputes Leibniz's argument. He asserts that real suffering is never destroyed by future joys, because suffering fills its time as much as joy fills its own. Schopenhauer not only argues that the world is the best – he offers proof that our world is the worst. The vaunted perfections of the universe are only necessary conditions. They minimally support the existence of the world. Schopenhauer's proof is not rigorous in nature, it is more a parody of Leibniz's proof than an independent strictly verified logical construction. The question of whether Schopenhauer managed to win in the correspondence discussion with Leibniz cannot be answered unequivocally. On the one hand, Schopenhauer showed that the idea of the best of all possible worlds is utopian and poorly applicable to reality. He was not based on the axiom of the divine presence, and, because of this, his reasoning looks more relevant today. Schopenhauer's argument about the worst possible world turned out to be in demand and gave rise to a discussion about pessimism at the end of the 19th century. On the other hand, Schopenhauer's own proof from the point of view of logic and the theory of argumentation is much weaker than Leibniz's proof. Schopenhauer's proof does not agree with his own philosophy and looks like an artificial construction, while Leibniz's proof fits neatly into his system. Schopenhauer's criticism of Leibniz's optimism may take place, but his own argument is even more sophistical. The actual world can be called both the best and the worst of all possible worlds. In this sense, Eduard von Hartmann's version seems to be successful: the best world can be as bad as possible, but this does not contradict the fact that it is the best.

References

1. Leibniz, G.W. (1989) *Sochineniya: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Translated from French. Vol. 4. Moscow: Mysl'.
2. Schopenhauer, A. (2015) *Sobranie sochineniy: v 6 t.* [Collected Works: in 6 vols]. Translated from German. Moscow: Respublika: Dmitriy Sechin.
3. van Inwagen, P. (2006) *The Problem of Evil*. Oxford: Oxford University Press.
4. Caro, H. (2020) *The best of all possible worlds?: Leibniz's philosophical optimism and its critics 1710–1755*. Leiden; Boston: Brill.
5. Kryuchkova, S.E. (2011) Problema vozmozhnykh mirov v filosofii Leybnitsa [The problem of possible worlds in Leibniz's philosophy]. In: Dergalina, E.G. (ed.) *Vozmozhnye miry. Semantika, ontologiya, metafizika* [Possible Worlds. Semantics, Ontology, Metaphysics]. Moscow: Kanon+. pp. 114–142.
6. Russell, B. (1994) *Istoriya zapadnoy filosofii: v 2 t.* [History of Western Philosophy: in 2 vols]. Vol. 2. Translated from English. Novosibirsk: Novosibirsk State University. pp. 98–112.
7. Voltaire, M.-F. (1909) *Kandid, ili optimism* [Candide, or the Optimist]. Translated from French. St. Petersburg: Panteon.
8. Mayorov, G.G. (1973) *Teoreticheskaya filosofiya Gotfrida V. Leybnitsa* [Theoretical philosophy of Gottfried W. Leibniz]. Moscow: Moscow State University.
9. Safranski, R. (2014) *Shopengauer i burnye gody filosofii* [Schopenhauer and the stormy years of philosophy]. Moscow: Rouzbad Interektiv.

-
10. Shapshay, S. (2019) *Reconstructing Schopenhauer's Ethics Hope, Compassion, and Animal Welfare*. Oxford University Press.
 11. Lossky, N.O. (1994) *Bog i mirovoe zlo* [God and the World Evil]. Moscow: Respublika.
 12. Kant, I. (1994) *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Mysl'.
 13. Schubbe, D. & Koßler, M. (2014) *Schopenhauer – Handbuch: Leben, Werk, Wirkung*. Stuttgart; Weimar: Springer.
 14. Chepeleva, N.Yu. (2020) Sostradanie i odinochestvo v etike Shopengauera [Compassion and loneliness in Schopenhauer's ethics]. *Vestnik Moskov-skogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya*. 1. pp. 32–43.
 15. Vasiliev, V.V. (2005) *Filosofiya A. Shopengauera* [Schopenhauer's philosophy]. In: Zotova, A.F. (ed.) *Zapadnaya filosofiya XIX v.* [Western philosophy of the 19th century]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 3–74.
 16. Hartmann, E. (2010) *Sushchnost' mirovogo protsessa, ili filosofiya Bessoznatel'nogo. Metafizika Bessoznatel'nogo* [The essence of the world process, or the philosophy of the Unconscious. Metaphysics of the Unconscious]. Vol. 2. Translated from German. Moscow: Krasand.
 17. Mironov, V.V. (2019) *Filosofiya kak predel'naya germenevticheskaya interpretatsiya i dialog kul'tur* [Philosophy as the ultimate hermeneutic interpretation and dialogue of cultures]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 14–17. DOI: 10.31857/S004287440006312-8

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.34

DOI: 10.17223/1998863X/62/6

Т.В. Гаврилюк

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И СМЫСЛОВАЯ ПРИРОДА ТРУДА РАБОЧЕГО КЛАССА В СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ В ЗАРУБЕЖНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной России».

Статья посвящена исследованию специфики интерактивного сервисного труда в зарубежной социологии. Анализируются такие проблемы, как эмоциональный репертуар и субъективные смыслы сервисного труда, механизмы психологического дистанцирования от исполняемых ролей, ценностные основания работы в сфере обслуживания. Отдельное внимание уделяется гендерному измерению эмоционального труда в сервисной сфере.

Ключевые слова: рабочий класс, эмоциональный труд, сервис, сервисный труд, трудовые ценности

Введение

Становление и динамика нового типа экономики, базирующегося на доминировании сервисного сектора, является предметом теоретической рефлексии на протяжении нескольких десятилетий. Теоретики постиндустриального общества определяли накопление теоретического знания и рост количества работников, оказывающих высококвалифицированные услуги в сфере здравоохранения, образования, науки и управления, в качестве решающих факторов формирования общества нового типа, позволяющих преодолеть вызовы доиндустриальной и индустриальной стадий развития [1. Р. 15–20]. При этом реальная практика становления постиндустриального общества показала, что спрос возрос не только на интеллектуальные услуги, но и на низкооплачиваемый сервисный труд, поддерживающий функционирование среднего класса, – сотрудников ритейла, индустрии общественного питания, домашних работников [2. Р. 255]. В условиях деиндустриализации, когда крупные производства перемещаются в развивающиеся страны, рабочий класс западных обществ вынужденно переходит в сферу услуг, выполняя работу в сфере интерактивного клиентского сервиса или обслуживания юридических лиц.

Парадоксально, но рутинизированный сервисный труд находился вне поля зрения исследователей вплоть до 1990-х гг. Данная проблематика исторически игнорировалась в зарубежном социологическом дискурсе, так как

акцент делался на производительном труде. Тем не менее начиная с середины 2000-х гг. исследования сервиса, например, в британской социологии труда доминируют над исследованиями производства [3–8]. Очевидной становится и специфика так называемого интерактивного сервисного труда, предполагающего непосредственный контакт с потребителями услуг. Особый тип «эмоциональной работы», требуемый от рядовых сотрудников, трансформирует ценностно-смысловое содержание труда, результатом и продуктом которого становится успешность сервисного взаимодействия.

Опыт работников на должностных позициях в сфере обслуживания остается практически не изученным в российской социологии, несмотря на широкую востребованность и распространенность этой формы занятости. В рамках данной статьи мы обозначим основные векторы зарубежных исследований повседневных практик эмоционального труда, способов его проживания, механизмов психологического дистанцирования от исполняемых ролей, легитимации смыслов сервисной работы. Отдельное внимание уделяется гендерному измерению эмоционального труда в сервисной сфере. В качестве объекта рассматривается низшее звено интерактивных сервисных работников, чей труд плохо оплачивается, носит прекарный характер, имеет низкий уровень социальной защиты и привилегий [9. Р. 208]. Наряду с промышленными рабочими данная многочисленная социальная группа составляет сегодня новый рабочий класс постиндустриального общества [10–14].

Эмоциональный труд работников рутинизированного клиентского сервиса

Концепт эмоционального труда, признанный сегодня в мировой социологии, был предложен в первой половине 1980-х гг. А.Р. Хокшильд и определялся как «управление чувствами для создания публичного демонстрируемого выражения лица и телесных проявлений» [15. Р. 7]. Как и промышленные рабочие, сотрудники сервисных организаций не контролируют ни процесс, ни результат своего труда, но помимо этого они оказываются отчуждены и от собственных эмоций. В сфере обслуживания так называемые мягкие качества – манеры, особенности характера, неконфликтное поведение, умение демонстрировать услужливость и почтительное отношение – ценятся в большей степени, нежели формальные или технические знания [16. Р. 44].

А.Р. Хокшильд делит эмоциональный труд на профессии, где преобладают краткие, поверхностные проявления эмоций, и те виды деятельности, которые требуют более длительных и глубоких взаимодействий с клиентом, предполагают рефлексии работником собственных эмоциональных состояний [15]. С. Лопес расширяет эту дифференциацию до институционального уровня, концептуализируя «отчужденный эмоциональный труд» как типичный для коммерческой среды, а более гуманную «организованную эмоциональную заботу» (organized emotional care) относит к сфере деятельности некоммерческих или общественных организаций [17].

Авторы отмечают, что эмоции работников и так называемый «эмоциональный менеджмент» имеют непосредственное отношение к прибыли организации и ее рыночной конкурентоспособности [18]. Для достижения корпоративных задач используется понятие «эмоционального профессионализма», с помощью которого управляющие учат сотрудников дистанцироваться от

исполняемой роли, не принимать агрессию клиентов как личное оскорбление [19], и только те работники, которые смогут этого достичь, становятся успешными [15. Р. 188].

Гендерное измерение эмоционального труда в сервисной сфере

Необходимость непосредственного контакта с потребителем порождает представления о более или менее «подходящих» для той или иной работы сотрудниках. Тем самым присутствует угроза реификации расовой и гендерной стратификации. В соответствии с распространенными стереотипами женщины в большей степени склонны и должны проявлять заботу и участие, присущие оказанию услуг [20]. В результате трансляции подобных установок профессиональная сегрегация по половому признаку продолжается и по сей день. Расовая и этническая сегрегация также проявляется в неравенстве доступа к тем или иным видам сервисного труда. Следует отметить интерсекционный подход Э. Накано-Гленн к домашнему труду, где была произведена попытка примирить марксистское классовое понимание трудовых отношений с феминистскими и антирасистскими взглядами на одинаково важные «оси» гендерного и расового неравенства и феминизированные формы работы, которую марксистские рамки классифицировали как «непроизводительную» [21]. П. Ингланд разработала родственную концепцию «работы по уходу», описывающую, как обязанности переносятся из сферы домашнего труда в оплачиваемый контекст и почему подобный труд обычно бывает недооценен [22].

Несмотря на то, что гендер всегда был фундаментальным для капиталистического разделения труда, исследователи сервисной сферы подчеркивают его огромную роль в структурировании общественного восприятия, демографии и даже способов сопротивления тех, кто работает в этом секторе [23]. Поскольку эмоциональный труд гендерно окрашен и недооценен, возникающая в результате гендерная солидарность может усиливать классовую солидарность рабочих и профсоюзную активность [24]. Однако в большинстве случаев традиционные гендерные роли натурализованы и доминируют в самооценке самих рабочих – как мужчин, так и женщин [25].

Исследовательский вопрос о связи традиционных паттернов маскулинности и сервисного труда также распространен в зарубежной социологии. Например, австралийские исследователи Г. Шталь, С. МакДональд и Дж. Янг методом лонгитюдных кейс-стади исследовали роль трудовых практик в сервисной сфере в процессе становления самости, альтернативных идентичностей и образов желаемого будущего молодых людей из рабочего класса [26]. Авторы отмечают, что с переходом к постиндустриализму молодые люди с рабочим бэкграундом сталкиваются с необходимостью переоценки оснований доминирующего конструкта маскулинности и поиска новых позитивных оснований идентификации. Большинство молодежи переходит к макдональдизированной занятости (так называемые Mc.Jobs) [27. Р. 9] и «учится служить» [28] вместо более привычного действия – производить, создавать. Эмоциональный труд, требующий почтения, покорности, услужливости, обходительности, субординации, а также полный самоконтроль – новые поведенческие стандарты, необходимые для сферы обслуживания, которые бро-

сают вызов модели гегемонной маскулинности и чаще всего становятся фактором, мешающим самореализации молодежи в новых социально-экономических условиях [29].

Таким образом, интерактивный сервисный труд характеризуется специфическими атрибутами, которые в обыденном сознании считаются типично женскими [15, 30]. Например, утверждается, что послушание и почтение, часто требуемые в сервисном обслуживании, – характеристики, которые рассматриваются как женские по своей сути [31]. Это привело некоторых авторов к мысли, что рабочие места не являются гендерно нейтральными [32], а те, кто выполняют сервисную работу, также исполняют и гендерную роль [33]. Маскулинность в условиях сервисной занятости поддерживается как сознательным дистанцированием от исполняемой роли, так и подчеркиванием атрибутов мужественности. Например, безработные мужчины из рабочего класса могут не соглашаться на низкооплачиваемую работу в сервисном секторе, так как характеристики такого труда считаются феминными и идут вразрез с их гендерными конструктами [31].

Проблема конструирования смысла и ценности сервисного труда

Субъективный жизненный опыт сервисных работников во взаимодействии лицом к лицу с потребителем услуги является ключевым нераскрытым вопросом современной социологии труда. Авторы отмечают, что для исследования этой проблемы необходимо преодолеть разрыв между социологией труда и социологией потребления [3]. В рамках нового типа трудовых отношений три аспекта имеют наибольшее значение: эмоциональная терпимость работника к заказчику; относительная сила во взаимодействии двух сторон; степень, в которой взаимодействие между двумя сторонами повторяется. Высокий уровень отчуждения в этих взаимодействиях наблюдается, когда отношения являются инструментальными, клиент является доминирующей фигурой по отношению к работнику, а взаимодействия являются единичными. Низкий уровень отчуждения там, где наблюдается эмпатический труд по уходу, предполагающий неформальное общение, когда власть у сторон взаимодействия равна и взаимодействие требует регулярных повторяющихся встреч. Следовательно, необходимо различать виды сервисного труда по степени гуманизации отношений между работником и клиентом [Ibid. P. 956]. Дегуманизированные отношения лучше всего описывает литература по глобализации и социологии потребления, и это прежде всего сфера продаж, где главная цель – прибыль, а не сама услуга [34]. Более гуманные отношения с низкой степенью отчуждения анализируются теоретиками постфордизма, ратующими за рост нишевых рынков (объединяющих людей, принадлежащих к одной субкультуре) с более внимательными и долгосрочными отношениями с покупателями. Также к этой группе авторы относят работу по уходу и персонализированные медицинские услуги [17]. Следовательно, эмоциональный репертуар и, соответственно, субъективный смысл различен у разных видов труда и может зависеть от конкретного рабочего места.

Вместе с тем ценность сервисного труда снижается именно из-за его эмоциональной природы. Необходимо демонстрировать почтительность клиенту даже в ситуации, когда он проявляет неуважение или позволяет себе

прямые оскорбления [15. Р. 89]. Исследователи отмечают, что в американской культуре люди, выполняющие грязную работу, часто находят способы выстроить свой трудовой процесс так, чтобы он приносил чувство удовлетворения и имел ценность [35. Р. 240]. Например, присутствуют утверждения, что быть занятым стигматизированным трудом и выполнять его добросовестно полезно для развития твердости характера. Руководители подобных организаций также призывают работников проявлять моральную силу и твердость характера при столкновении с агрессивно настроенными клиентами. В американской культуре ценность труда, наличия постоянной работы высока для людей с низким социальным статусом, поэтому они должны проявлять стойкость ради сохранения рабочего места [36]. Для представителей других социальных групп, например студентов, временно занятых сервисным трудом, его смысл может существенно отличаться и быть артикулирован в категориях личностных достижений, уверенности в завтрашнем дне, быть маркером процесса взросления и обретения независимости.

Работники низшего звена интерактивного сервиса осознают, что ценность их вклада в рабочий процесс не сопоставима с условиями и оплатой труда, что является объективной причиной практик сопротивления. Вместе с тем по сравнению с работниками промышленности у сотрудников сервиса меньше возможностей для организованного и эффективного сопротивления. Исторически профсоюзная активность в сервисных отраслях была минимальной, а временный и текучий тип занятости препятствовал формированию аналогичных производственной сфере форм самоорганизации. Основы классового конфликта для сервисных работников более очевидны, так как они видят полезную и меновую стоимость оказываемой услуги, но при этом не могут повлиять на уровень оплаты труда или добиться более уважительного отношения [37. Р. 447]. Режимы управления, характеризующиеся строгим менеджерским контролем, могут включать насильственное принуждение, унижение, предвзятое отношение к работникам, отсутствие гибких договоренностей. Психологическое насилие и некомпетентность менеджеров приводят к сложностям в поиске смысла и достоинства в выполнении ежедневных заданий. Дж.Р. Ховард утверждает, что управленческий контроль может также опосредованно проявляться в действиях коллег [38. Р. 241]. В условиях взаимозависимости, когда вознаграждение зависит от уровня кооперации и взаимосвязанных усилий работников, сотрудники стремятся к взаимному контролю и влиянию на качество и эффективность работы друг друга. В условиях конкурентной борьбы или взаимозависимости это порождает дополнительные проблемы во взаимодействии сотрудников на рабочем месте.

Исследования старшего поколения сервисных работников в Америке демонстрируют ностальгию о прежних формах сервисной работы – например в супермаркетах: мальчик-подросток, чьей первой работой было укладывать мешки с продуктами в багажник машины, или опытный кассир, который знает всех своих клиентов по имени и каждую неделю работает в одну и ту же смену. Противопоставляются подобные описания современной картине постоянно меняющихся сотрудников, которые грубят покупателям, ходят в туалет по расписанию, получают штрафы к без того низкой зарплате и постоянно подвергаются обесцениванию [39].

Выводы

В отличие от индустриального труда, процесс которого относительно автономен, работа в сфере интерактивного клиентского сервиса полностью субъективна. Клиенты и менеджеры разделяют распространенные стереотипы относительно репрезентации телесности работника и материальных атрибутов исполнения роли, что поддерживает воспроизводство расовой и гендерной сегрегации. Работа по обслуживанию клиентов традиционно считается «женской» из-за необходимости демонстрации почитительности, терпимости и послушания, ввиду этого переход значительной части промышленного рабочего класса в сервисный сектор породил проблемы в поддержании и воспроизводстве конструкта гегемонной маскулинности, принятого в классовой культуре. Эмоциональный репертуар и субъективные смыслы различны для разных видов сервисного труда и могут варьировать в зависимости от условий конкретного рабочего места. Ключевым аспектом субъективного жизненного опыта сотрудников сферы обслуживания становится сопротивление дегуманизации, инструментализации и деидентификации их личности в рамках рабочего процесса. Это сопротивление чаще всего не выражается в организованной форме, а проявляется в виде отчуждения от процесса и результата труда, а также от собственных эмоций. Поиск смыслов подобного труда связан, как правило, с ценностью постоянного рабочего места, развитием жизненной стойкости и твердости характера, для молодежи – также с процессом взросления и обретения автономности.

Литература

1. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. New York : Basic Books, 1973.
2. Sassen S. Global Cities and Survival Circuits // Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy / ed. by B. Ehrenreich, A.R. Hochschild. New York : Metropolitan Books, 2002. P. 254–274.
3. Korczynski M. The Mystery Customer: Continuing Absences in the Sociology of Service Work // Sociology. 2009. Vol. 43 (5). P. 952–967. DOI: 10.1177/0038038509340725
4. Bolton S.C., Houlihan M. The (mis)Representation of Customer Service // Work, Employment and Society. 2005. Vol. 19 (4). P. 685–703. DOI: 10.1177/0950017005058054
5. Bishop V., Hoel H. The Customer is Always Right?: Exploring the concept of customer bullying in the British Employment Service // Journal of Consumer Culture. 2008. Vol. 8 (3). P. 341–367. DOI: 10.1177/1469540508095303
6. Brook P. The Alienated Heart: Hochschild's Emotional Labour Thesis and the Anti-capitalist Politics of Alienation // Capital and Class. 2009. Vol. 33 (2). P. 7–31. DOI: 10.1177/030981680909800101
7. Warhurst C., Thompson P., Nickson D. Labour Process Theory: Putting the Materialism Back into the Meaning of Service Work // Service Work: Critical Perspective / ed. by M. Korczynski, C.L. Macdonald. London : Routledge, 2009. P. 91–112.
8. Seymour D., Sandiford P. Learning Emotion Rules in Service Organizations // Work, Employment and Society. 2005. Vol. 19 (3). P. 547–564.
9. Hughes K.D., Tadic V. 'Something to Deal With': Customer Sexual Harassment and Women's Retail Service Work // Gender, Work and Organization. 1998. Vol. 5. P. 207–219. DOI: 10.1111/1468-0432.00058
10. Zweig M. The Working Class Majority: America's Best Kept Secret. Ithaca, NY : Cornell University Press, 2011.
11. Resnick S., Wolff R. The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond // Critical Sociology. 2003. Vol. 29 (7). P. 7–27.
12. Shalev M. Class Divisions among Women // Politics & Society. 2008. Vol. 36 (3). P. 421–444. DOI:10.1177/0032329208320570

13. *Roberts S.* Boys Will Be Boys... Won't They? Change and Continuities in Contemporary Young Working-class Masculinities // *Sociology*. 2013. Vol. 47 (4). P. 671–686. DOI: 10.1177/0038038512453791
14. *Bennett T., Savage M., Silva E., Warde A., Gayo-Cal M., Wright D.* Culture, Class, Distinction. London : Routledge, 2009.
15. *Hochschild A.R.* The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley : University of California Press, 1983.
16. *Moss P., Tilly C.* Stories Employers Tell: Race, Skill, and Hiring in America. New York : Russell Sage Foundation, 2001.
17. *Lopez S.* Emotional Labor and Organized Emotional Care // *Work and Occupations*. 2006. Vol. 33 (2). P. 133–160. DOI: 10.1177/0730888405284567
18. *Bolton S.C., Boyd C.* Trolley Dolly or Skilled Emotion Manager? Moving on from Hochschild's Managed Heart // *Work, Employment and Society*. 2003. Vol. 17 (2). P. 289–308. DOI: 10.1177/0950017003017002004
19. *Leidner R.* Emotional Labor in Service Work // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 1999. Vol. 561 (1). P. 81–95. DOI: 10.1177/000271629956100106
20. *Williams C.L.* Inside Toyland: Working Shopping, and Social Inequality. Berkeley, CA : University of California Press, 2006.
21. *Nakano-Glenn E.* From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Labor // *Working in the Service Society* / ed. by C.L. MacDonald, C. Sirrianni. Philadelphia : Temple University Press, 1996. P. 115–156.
22. *England P.* Comparable Worth: Theories and Evidence. New York : Aldine de Gruyter, 1992.
23. *Crocker J., Clawson D.* Buying time: Gendered patterns in union contracts // *Social Problems*. 2012. Vol. 59 (4). P. 459–480. DOI: 10.1525/sp.2012.59.4.459
24. *Cobble D.S.* Organizing the postindustrial work force: Lessons from the history of waitress unionism // *Industrial and Labor Relations Review*. 1991. Vol. 44 (3). P. 419–436.
25. *Moreton B.* To Serve God and Wal-Mart: The Making of Christian Free Enterprise. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2009.
26. *Stahl G., McDonald S., Young G.* Possible Selves in Transforming Economy: Upwardly Mobile Working Class Masculinities, Service Work and Negotiated Aspirations in Australia // *Work, Employment and Society*. 2020. Vol. 35 (1). P. 97–115. DOI: 10.1177/0950017020922336
27. *Bottero W.* Class in the 21st century // *Who Cares about the White Working Class?* / ed. by P. Sveinsson. London : Rnymmede Perspectives, 2009. P. 7–15.
28. *McDowell L.* Redundant Masculinities? Employment Change and White Working Class Youth. Malden, MA : Blackwell, 2003.
29. *Nixon D.* 'I can't put a smiley face on': Working-class masculinity, emotional labour and service work in the 'new economy' // *Gender, Work and Organization*. 2009. Vol. 16 (3). P. 300–322. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2009.00446.x
30. *Taylor S., Tyler M.* Emotional labour and sexual difference in the airline industry // *Work, Employment and Society*. 2000. Vol. 14. P. 77–95. DOI: 10.1177/09500170022118275
31. *Nixon D.* 'I just like working with my hands': Employment aspirations and the meaning of work for low-skilled unemployed men in Britain's service economy // *Journal of Education and Work*. 2006. Vol. 19 (2). P. 201–217. DOI: 10.1080/13639080600668051
32. *Acker J.* Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations // *Gender and Society*. 1990. Vol. 4 (2). P. 139–158. DOI: 10.1177/089124390004002002
33. *Kerfoot D., Korczynski M.* Gender and service: New directions for the study of 'frontline' service work // *Gender, Work and Organization*. 2005. Vol. 12 (5). P. 387–399. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2005.00280.x
34. *Oakes G.* The Soul of the Salesman. London : Humanities Press International, 1990.
35. *Adams T.L., Welsh S.* The Organization and Experience of Work. Toronto : Thomson Nelson, 2008.
36. *Newman K.S.* No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City. 1st ed. New York : Alfred A. Knopf and Russell Sage Foundation, 1999.
37. *Bélanger J., Edwards P.* The Nature of Front-Line Service Work: Distinctive Features and Continuity in the Employment Relationship // *Work, Employment and Society*. 2013. Vol. 27. P. 433–450. DOI: 10.1177/0950017013481877
38. *Howard J.R.* Peer Control in the Industrial Workplace // *Sociological Focus*. 1993. Vol. 26 (3). P. 241–256.

39. Schwartz R.A. “We Must Be out of That”: Deflective Labor and Frontline Service Work // *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*. 2016. Vol. 2. P. 1–10. DOI: 10.1177/2378023116680623

Tatiana V. Gavrilyuk, Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation).

E-mail: tv_gavrilyuk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 64–73.

DOI: 10.17223/1998863X/62/6

THE EMOTIONAL AND SEMANTIC NATURE OF WORKING CLASS LABOR IN A SERVICE ECONOMY: AN OVERVIEW OF THE PROBLEMATIC IN FOREIGN SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Keywords: working class; emotional labor; service; service labor; labor values

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 17-78-20062.

The article aims to review and analyze the studies of service labor specifics in foreign sociology. Attention is focused on the emotional and semantic nature of work of the lower level of interactive service workers. Along with industrial workers, this group constitutes the new working class of post-industrial society. The definition of “emotional labor” by A.R. Hochschild and its further conceptualization in foreign sociology have been explicated. It is argued that a special type of “emotional work” required from ordinary employees transforms the value-semantic content of labor, the result and product of which is the success of service interaction. Special attention is paid to the gender dimension of emotional labor in the service sphere. Service researchers highlight the enormous role of gender in structuring public perceptions, demographics, and even ways of resisting those in the sector. Clients and managers share common stereotypes about employee representation of physicality and material attributes of role performance, which support the reproduction of racial and gender segregation. Interactive service work is characterized by specific attributes that are considered typically feminine in everyday consciousness, for example, submissiveness, helpfulness, and courtesy. These new behavioral standards challenge the model of hegemonic masculinity and become a factor that hinders the self-realization of young people in the new socioeconomic conditions. Based on the findings of empirical studies, it is shown that the subjective meaning of service work is directly related to the emotional repertoire of the roles played. Consequently, the value-semantic content is different for different types of service labor and may depend on a specific workplace. Resistance to dehumanization, instrumentalization and de-identification of their personality within the framework of the work process becomes a key aspect of the subjective life experience of service workers. This resistance is most often not expressed in an organized form, but manifests itself through alienation from the process and result of labor, as well as from their own emotions. The search for the meanings of such work is associated, as a rule, with the value of a permanent job, the development of vitality and firmness of character, for young people also with the process of growing up and gaining autonomy.

References

1. Bell, D. (1973) *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.
2. Sassen, S. (2002) Global Cities and Survival Circuits. In: Ehrenreich, B. & Hochschild, A.R. (eds) *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*. New York: Metropolitan Books. pp. 254–274.
3. Korczynski, M. (2009) The Mystery Customer: Continuing Absences in the Sociology of Service Work. *Sociology*. 43(5). pp. 952–967. DOI: 10.1177/0038038509340725
4. Bolton, S.C. & Houlihan, M. (2005) The (mis)Representation of Customer Service. *Work, Employment and Society*. 19(4). pp. 685–703. DOI: 10.1177/0950017005058054
5. Bishop, V. & Hoel, H. (2008) The Customer is Always Right?: Exploring the concept of customer bullying in the British Employment Service. *Journal of Consumer Culture*. 8(3). pp. 341–367. DOI: 10.1177/1469540508095303
6. Brook, P. (2009) The Alienated Heart: Hochschild’s Emotional Labour Thesis and the Anti-capitalist Politics of Alienation. *Capital and Class*. 33(2). pp. 7–31. DOI: 10.1177/030981680909800101
7. Warhurst, C., Thompson, P. & Nickson, D. (2009) Labour Process Theory: Putting the Materialism Back into the Meaning of Service Work. In: Korczynski, M. & Macdonald, C.L. (eds) *Service Work: Critical Perspective*. London: Routledge. pp. 91–112.

8. Seymour, D. & Sandiford, P. (2005) Learning Emotion Rules in Service Organizations. *Work, Employment and Society*. 19(3). pp. 547–564.
9. Hughes, K.D. & Tadic, V. (1998) ‘Something to Deal With’: Customer Sexual Harassment and Women’s Retail Service Work. *Gender, Work and Organization*. 5. pp. 207–19. DOI: 10.1111/1468-0432.00058
10. Zweig, M. (2011) *The Working Class Majority: America’s Best Kept Secret*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
11. Resnick, S. & Wolff, R. (2003) The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond. *Critical Sociology*. 29(7). pp. 7–27.
12. Shalev, M. (2008) Class Divisions among Women. *Politics & Society*. 36(3). pp. 421–444. DOI: 10.1177/0032329208320570
13. Roberts, S. (2013) Boys Will Be Boys ... Won’t They? Change and Continuities in Contemporary Young Working-class Masculinities. *Sociology*. 47(4). pp. 671–686. DOI: 10.1177/0038038512453791
14. Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M. & Wright, D. (2009) *Culture, Class, Distinction*. London: Routledge.
15. Hochschild, A.R. (1983) *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.
16. Moss, P. & Tilly, C. (2001) *Stories Employers Tell: Race, Skill, and Hiring in America*. New York: Russell Sage Foundation.
17. Lopez, S. (2006) Emotional Labor and Organized Emotional Care. *Work and Occupations*. 33(2). pp. 133–160. DOI: 10.1177/0730888405284567
18. Bolton, S.C. & Boyd, C. (2003) Trolley Dolly or Skilled Emotion Manager? Moving on from Hochschild’s Managed Heart. *Work, Employment and Society*. 17(2). pp. 289–308. DOI: 10.1177/0950017003017002004
19. Leidner, R. (1999) Emotional Labor in Service Work. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 561(1). pp. 81–95. DOI: 10.1177/000271629956100106
20. Williams, C.L. (2006) *Inside Toyland: Working Shopping, and Social Inequality*. Berkeley, CA: University of California Press.
21. Nakano-Glenn, E. (1996) From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Labor. In: MacDonald, C.L. & Sirianni, C. (eds) *Working in the Service Society*. Philadelphia: Temple University Press. pp. 115–156.
22. England, P. (1992) *Comparable Worth: Theories and Evidence*. New York: Aldine de Gruyter.
23. Crocker, J. & Clawson, D. (2012) Buying time: Gendered patterns in union contracts. *Social Problems*. 59(4). pp. 459–480. DOI: 10.1525/sp.2012.59.4.459
24. Cobble, D.S. (1991) Organizing the postindustrial work force: Lessons from the history of waitress unionism. *Industrial and Labor Relations Review*. 44(3). pp. 419–436.
25. Moreton, B. (2009) *To Serve God and Wal-Mart: The Making of Christian Free Enterprise*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
26. Stahl, G., McDonald, S. & Young, G. (2020) Possible Selves in Transforming Economy: Upwardly Mobile Working Class Masculinities, Service Work and Negotiated Aspirations in Australia. *Work, Employment and Society*. 35(1). pp. 97–115. DOI: 10.1177/0950017020922336
27. Bottero, W. (2009) Class in the 21st century. In: Sveinsson, P. (ed.) *Who Cares about the White Working Class?* London: Runnymede Perspectives. pp. 7–15.
28. McDowell, L. (2003) *Redundant Masculinities? Employment Change and White Working Class Youth*. Malden, MA: Blackwell.
29. Nixon, D. (2009) ‘I can’t put a smiley face on’: Working-class masculinity, emotional labour and service work in the ‘new economy’. *Gender, Work and Organization*. 16(3). pp. 300–322. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2009.00446.x
30. Taylor, S. & Tyler, M. (2000) Emotional labour and sexual difference in the airline industry. *Work, Employment and Society*. 14. pp. 77–95. DOI: 10.1177/09500170022118275
31. Nixon, D. (2006) ‘I just like working with my hands’: Employment aspirations and the meaning of work for low-skilled unemployed men in Britain’s service economy. *Journal of Education and Work*. 19(2). pp. 201–217. DOI: 10.1080/13639080600668051
32. Acker, J. (1990) Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. *Gender and Society*. 4(2). pp. 139–158. DOI: 10.1177/089124390004002002
33. Kerfoot, D. & Korczynski, M. (2005) Gender and service: New directions for the study of ‘frontline’ service work. *Gender, Work and Organization*. 12(5). pp. 387–399. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2005.00280.x

-
34. Oakes, G. (1990) *The Soul of the Salesman*. London: Humanities Press International.
 35. Adams, T.L. & Welsh, S. (2008) *The Organization and Experience of Work*. Toronto, Canada: Thomson Nelson.
 36. Newman, K.S. (1999) *No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City*. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf and Russell Sage Foundation.
 37. Bélanger, J. & Edwards, P. (2013) The Nature of Front-Line Service Work: Distinctive Features and Continuity in the Employment Relationship. *Work, Employment and Society*. 27. pp. 433–450. DOI: 10.1177/0950017013481877
 38. Howard, J.R. (1993) Peer Control in the Industrial Workplace. *Sociological Focus*. 26(3). pp. 241–256.
 39. Schwartz, R.A. (2016) “We Must Be out of That”: Deflective Labor and Frontline Service Work. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*. 2. pp. 1–10. DOI: 10.1177/2378023116680623

УДК 316:314.6

DOI: 10.17223/1998863X/62/7

С.Н. Костина

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 19-011-00566 «Многодетность как социальный феномен».

Рассмотрены понятие и характеристики коллективных сетей поддержки многодетных семей в России. Такие сети могут носить «живой» и «виртуальный» характер, а отношения в них могут отличаться степенью формализации. Коллективные сети поддержки многодетных осуществляют трансферты различных реципроктивных ресурсов – материальных, информационных, консультационно-представительских, досуговых, психологических.

Ключевые слова: многодетность, социальные сети, коллективные сети поддержки, общественные объединения

Одной из наиболее уязвимых социальных групп российского общества, находящихся в ситуации ограниченного доступа к материальным и нематериальным ресурсам, выступают многодетные семьи [1]. Сложное социально-экономическое положение, в которое попадает значительная часть российских семей с появлением детей и которое усугубляется с каждым последующим ребенком [2], вызывает у них необходимость для решения своих проблем не только обращаться за помощью к формальным социальным институтам (прежде всего государственным), но и задействовать широкий круг неформальных связей.

Теоретические истоки изучения феномена сетей поддержки связаны с дискурсом социального взаимодействия и социальных сетей, который выступает одним из приоритетных направлений современной социологии. Хотя впервые понятие социальной сети было введено в социальные науки английским социологом Дж. Барнсом в 1954 г., теоретические предпосылки развития сетевой теории можно найти в представлениях классиков социологии о социальных связях в обществе – Г. Зиммеля («социальная ткань», «паутина отношений»), Ф. Тенниса (социальные связи), Э. Дюркгейма (социальная солидарность), Я. Морено и др. [3]. И.Е. Штейнберг выделил четыре основных теоретических концепта представлений о природе социальных сетей поддержки и их роли в обществе: сети как форма социального капитала (П. Бурдьё и Дж. Коулмен); сети как устойчивая совокупность взаимосвязей и отношений между участниками по обмену различными ресурсами (М. Грановеттер); сети как универсальный способ адаптации различных социальных групп к экстраординарным условиям существования; сети как внеинституциональные отношения (М. Кастельс, Р. Кроуз и Д. Норт) [4]. Кроме этого, развитие теории социальных сетей связано с работами Х. Уайта, М. Грановеттера, Р. Берта, С. Берковица, С. Вассермана, Б. Веллмана, М. Кастельса, Дж. Коулмена, П. Марсдена, Д. Ноука, Л. Фримана, У. Пауэлла, Д. Старка, Дж. Тернера, М. Буравого, Б. Робертса, Дж. Гершуни, А. Рона-Таса и др. Среди рос-

сийских ученых, которые занимались данной тематикой, можно выделить Т. Шанина, В. Радаева, С.Ю. Барсукову, Г.В. Градосельскую, И.Е. Штейнберга, И.О. Шевченко, Д.В. Лифинцева, С.В. Рзаеву, Ю.В. Бондаренко, С.Д. Дагбаеву, М.Н. Реутову и др.

Несмотря на довольно многочисленные исследования в данной области, единого определения понятия социальных сетей и сетей поддержки не сложилось. Как отмечает Д.В. Лифинцев, в основе понятия социальной сети лежат научные представления, в которых общество и социальные процессы предстают как результат отношений между людьми, а не как сумма характеристик и действий индивидуальных субъектов и интернализированных норм, при этом, как правило, определения социальных сетей сопровождаются указаниями их принадлежности к конкретной социальной группе или к определенному виду отношений [5]. Центральным элементом в определении понятия социальных сетей в работах отечественных авторов выступает реципрокность – отношения взаимобмена в социальных сетях [6, 7]. И.Е. Штейнберг отмечает, что включение индивидов в социальные сети дает им возможность компенсировать недостаточность индивидуальных социальных ресурсов за счет поддержки других участников социальных сетей [4].

Интерес отечественных ученых к неформальным сетевым взаимодействиям был вызван прежде всего проблемами, возникшими в результате социальных трансформаций, которые обусловили «институциональный дефицит», когда институциональные формы обмена и доверия разрушены либо не сформировались. Формой его преодоления стало появление новых социальных сетей поддержки, которые в научных работах также называют реципрокными сетями, или сетями выживания.

Их широкое распространение российские исследователи объясняют рядом факторов. Во-первых, в условиях, когда государственные институты не справляются с функцией перераспределения доходов, сети поддержки позволяют снизить уровень социальной уязвимости и бедности за счет перенаправления ресурсов от более обеспеченных к менее обеспеченным [8]. Во-вторых, этому способствуют недоверие в обществе к формальным социальным институтам (органам государственной власти и местного самоуправления, учреждениям социальной сферы, работодателям), отсутствие надежды на их помощь в трудной жизненной ситуации и одновременно низкий уровень солидарности, расчет исключительно на собственные ресурсы и возможности [8]. В таких условиях социальные сети поддержки рассматриваются в исследованиях российских ученых как «универсальный способ адаптации различных социальных групп к экстраординарным условиям существования» [9].

Согласно данным ряда отечественных исследований, неформальная сетевая взаимопомощь широко распространена в различных социально-демографических группах российского общества, в нее так или иначе включено большинство домохозяйств [6, 8, 10]. При этом отмечается, что в основном домохозяйства включались в эти солидарности без посредничества общественных или других формальных структур [11].

И.Е. Штейнберг вслед за Т. Шаниным и В. Радаевым, изучавшими неформальную экономику городских и сельских домохозяйств в 1999–2001 гг., трактует сеть социальной поддержки семьи как «особый род неформального

социального института, спонтанно возникшего на основе устойчивых связей кровного родства и дружбы членов семей и их ближнего окружения, на взаимном интересе и личном выборе» [9].

Ю.В. Бондаренко в своем исследовании говорит о «сетях выживания» малоимущих граждан. По мнению автора, сетевая социальная поддержка представляет «комплекс стабильных связей и интеракций, обращенных на то, чтобы оказывать моральную или материальную помощь гражданам или группам, попавшим в нелегкие житейские обстоятельства» [12].

С.Д. Дагбаева определяет социальные сети поддержки как «устойчивую совокупность взаимосвязей и отношений между ее участниками по обмену различными ресурсами» [13]. Автор рассматривает сеть поддержки как адаптационный механизм, который компенсирует недостатки формальных социальных институтов в повседневной жизни. По мнению С.Д. Дагбаевой, сеть поддержки может включать в себя неформальные отношения, основанные не только на кровном родстве, но и на дружеских, приятельских или этнических связях. Включенность в сеть поддержки может приносить индивидам и домохозяйствам как сиюминутную, так и отложенную пользу [Там же].

Как видим, в трактовках содержания понятия сетей поддержки представлены различные подходы к определению круга агентов (от только кровнородственных до достаточно широких связей и отношений, связывающих не только родственников, но и малознакомых людей, этнические и иные сообщества, негосударственные организации [4]), а также их целей (от помощи в трудной жизненной ситуации до получения неопределенной пользы). В современных условиях формируются новые формы солидарности, которые основаны не на родственных связях, а на других точках соприкосновения. Семейно-родственные сети поддержки в ряде ситуаций не могут предоставить необходимые в данный момент (или в долгосрочной перспективе) ресурсы в силу различных обстоятельств, например когда кровнородственные отношения отсутствуют или не поддерживаются из-за различных причин (ближайшие родственники умерли, произошел полный разрыв или ухудшение отношений) либо родственники проживают достаточно далеко для оказания отдельных видов помощи или не располагают необходимыми ресурсами. Например, можно говорить о снижении роли семейно-родственных отношений в реципроктных обменах по уходу и присмотру за детьми, связанном с переоценкой роли «института бабушек» [14].

В таком случае индивид или домохозяйство вынуждено включаться в иные сети поддержки, которые обычно называют коллективными, формируемыми благодаря взаимодействиям между людьми, не являющимися родственниками [7]. Необходимость включения домохозяйства в такую сеть, безусловно, актуализируется в определенных жизненных обстоятельствах, которые могут вызывать потребность в реципроктных трансфертах разного рода – как кратковременных, так и достаточно длительных. Такие сети могут носить как «живой» характер (например, клубы многодетных, общественные организации), так и виртуальный (сообщества в социальных сетях).

«Живые» сети поддержки многодетных (ЖСП) могут иметь различную степень формализации. Во-первых, это «клубы по интересам», которые носят обычно неформализованный характер. Оценить распространенность таких сетей достаточно сложно. Во-вторых, это формализованные (официально зарегистри-

стрированные) общественные объединения. В данном случае можно обратиться к официальной статистике. В реестре Министерства юстиции РФ на 30 декабря 2019 г. было зарегистрировано 314 общественных объединений, у которых в названии есть упоминание многодетности (<http://unro.minjust.ru/NKO.aspx>). Наибольшее количество таких общественных объединений представлено в Москве (62), Московской области (33), Краснодарском крае (10). Кроме этого, существует достаточно много общественных объединений, для которых многодетные семьи также выступают в качестве объекта интереса – их деятельность направлена на поддержку семей, детей, социально незащищенных групп населения (например, инвалидов), отдельных социальных групп (например, семей участников боевых действий). Так, в Реестре Минюста зарегистрировано 9 853 организаций, в названии которых присутствует упоминание детей, 1 594 организаций с упоминанием семьи. Также достаточно много общественных объединений, специализирующихся в отдельных сферах (духовного или религиозного воспитания, здоровьесбережения и др.), в сферу интересов которых так или иначе попадают многодетные семьи. Несмотря на то, что данные объединения получили формальный статус, значительная часть связей в них между агентами, скорее, неформальная (не предполагает официальных отношений).

Второй вариант сетей поддержки многодетных – это «виртуальные» сети поддержки (ВСП). ВСП также могут носить специализированный характер, направленный исключительно на многодетных, либо ориентироваться на какую-то сферу, например родительство. Проведенные исследования показали, что в наиболее массовой в Рунете социальной сети ВКонтакте зарегистрировано более тысячи российских тематических групп с ключевым словом «многодетность» с численностью до 40 тыс. участников [15]. Участие в сетевых онлайн-сообществах дает возможность быстрого нахождения необходимых ресурсов. Как отмечает Е.А. Степанова в своем исследовании интернет-ресурсов, ориентированных на матерей и отцов, такие сообщества «создают и аккумулируют социальный капитал, способствующий достижению целей молодых родителей, связанных, прежде всего, с получением информационной и психологической помощи» [16].

Живые и виртуальные сети поддержки нельзя рассматривать как изолированные виды: как сетевые сообщества иногда переходят из онлайн- в офлайн-пространство для достижения своих целей [Там же], так и «живые» сообщества многодетных представлены в интернет-пространстве [17].

Коллективные сети поддержки могут достаточно долго функционировать как неформальные взаимодействия. Однако с увеличением количества агентов для стабильного функционирования как живых, так и виртуальных сетей необходим координатор (или группа координаторов), который выступает посредником в реципрокных обменах [9], формирует «ядро» сети. Доступ к отдельным видам ресурсов требует не просто выделения координатора(ов), но иногда и получение формального статуса. Как показали результаты исследования, проведенного нами в Уральском федеральном округе, такой формой сетей поддержки для многодетных семей выступают общественные организации, которые создаются в основном самими многодетными.

В данной статье мы сосредоточили свое внимание на изучении формализованных сетей поддержки многодетных. Эмпирическое исследование про-

водилось методом полуструктурированного интервью с учредителями или руководителями общественных организаций многодетных во всех субъектах Уральского федерального округа. Необходимо отметить, что количество «специализированных» общественных организаций поддержки многодетных семей в различных регионах УрФО значительно отличается. Так, например, в Свердловской области на начало 2020 г. была только одна зарегистрированная организация, в названии которой есть упоминание многодетности, в Тюменской области – две, а Ханты-Мансийском автономном округе – шесть. Опрашивались представители одной-двух зарегистрированных общественных организаций, работающих с многодетными семьями, из каждого субъекта УрФО (N = 10). Среди них – «специализированные» организации многодетных «Радость», «Планета7Я», «МногоНас», «Многодетные семьи Урала», «Многодетки из Югры», а также региональные организации крупных российских НКО, для которых многодетные семьи выступают в качестве одного из ряда объектов поддержки (например, Российский детский фонд).

Прежде всего обращает на себя внимание сравнительно небольшой срок существования специализированных региональных организаций многодетных в УрФО. «Старейшая» из формализованных организаций на уровне отдельной территории, попавшая в фокус нашего исследования, осуществляет свою деятельность начиная с 2010 г. Безусловно, история объединения многодетных семей для защиты своих интересов в России носит достаточно длительный характер, однако в данной статье мы не ставим своей задачей ее изучение. Отметим только, что «неспециализированные» организации имели более продолжительный период существования, например Российский детский фонд является одной из старейших российских благотворительных организаций.

Что касается современного периода развития данного явления, то, на наш взгляд, на процесс формализации сетей поддержки многодетных (как и других НКО) влияет ряд факторов. Во-первых, это проблемы официальной регистрации – не все сети поддержки многодетных в силу ряда причин (как объективных, так и субъективных) доходят в своем развитии до данной стадии. Многое в этом вопросе зависит от «лидера» сети поддержки, а также от тех целей, которые данная сеть ставит перед собой. Формализации требуют прежде всего цели, связанные не с однократной материальной помощью нуждающимся, а направленные на улучшение положения данной группы (многодетных семей) в целом. Учредители (руководители) общественных организаций следующим образом описывают процесс создания официально зарегистрированных НКО: «...Ну мы собрались пять учредителей, решили, что общественная организация нужна. До этого был просто клуб многодетных семей...» или «...Мы, естественно, начали возмущаться. А возмущаться когда начали, собрались, вычислили, что у нас проблем-то много... Мы создали организацию с целью изменения законодательства в пользу многодетных и приемных семей...»

Одна из причин формализации социальной сети поддержки – возможность для «ядра» (или лидера сети) привлечь большее количество агентов и ресурсов. Например, создание формальной организации позволяет более активно взаимодействовать с органами власти и местного самоуправления для решения определенных проблем: «...Я приехала сюда, обратилась в администрацию. Почему так получается? (Они ответили – текст автора)

Создавайте общественную организацию, вы будете владеть информацией. Мы же не знаем, где у вас активные...» А в некоторых случаях формализация позволяет менять «позицию» в отношениях с властью с подчиненной, просящей на партнерскую и даже контролирующую: «...проходило совещание, по мою душу пригласил министр культуры и спорта и они отчитывались передо мной как институтом многодетства... как они себя ведут, как они себя позиционируют. Господи, да это же счастье великое!».

Вторая проблема, которая ограничивает круг формализованных сетей поддержки, – необходимость ведения ежегодной официальной отчетности, вследствие чего ряд организаций периодически находится в процессе перерегистрации или осуществляет свою деятельность полулегально (о чем в том числе говорили эксперты в своих интервью). Это делает еще более значимой роль лидера такой сети, требует от него некоторой «профессионализации» данной деятельности. В большинстве случаев лидерами (и в дальнейшем – руководителями) таких «специализированных» сетей выступали многодетные матери, которые столкнулись на собственном опыте с определенными проблемами и пытались их решить «институциональными» средствами. В подобных случаях зачастую общественная деятельность для многодетной мамы – лидера организации становилась основной: «В настоящий момент еще руковожу местным отделением национально-родительской ассоциации... Есть интернет-портал забавный, я там в одном из разделов модератор, мы собирали льготы для различных многодетных...»

Рассмотрим характеристики формализованных коллективных сетей поддержки многодетных. В теоретической литературе присутствуют различные подходы к выделению свойств и характеристик сетей поддержки. Так, И.О. Шевченко в качестве основных компонентов сетей предложила рассматривать 5 составляющих: агенты взаимодействия; материальный или нематериальный обмен между этими агентами; социальная поддержка; добровольность участия; культурная укорененность (повторяемость) [6]. Д.В. Лифинцев, опираясь на работы Дж. Митчелла, выделил четыре основных параметра социальных сетей: структура сети, процессы, выполняемые функции, состав участников [5].

Помимо этого, выделяется еще целый ряд свойств сетей: размер; географическая концентрация; открытость; плотность; степень кластеризации; степень однородности [Там же]. Достаточно подробно в теории социальных сетей рассмотрены также процессуальные характеристики связей – их частота, взаимность, долговечность, степень близости, способ поддержания, интенсивность и др. [Там же].

Коллективные социальные сети могут обладать достаточно большим разнообразием по своим характеристикам – размеру, географической концентрации и т.д. Масштабы таких сетей могут значительно отличаться – от местных до региональных и федеральных. Достаточно часто коллективная сеть поддержки носит локальный характер, функционирует в границах одного поселения: например, в Уральском федеральном округе это местные общественные организации многодетных семей Кондинского района «София», города Муравленко «Семья Муравленко», а также региональные организации, которые в основном работают в административных центрах – «Семья Арктики», «Многодетки из Югры». Такие сети носят достаточно ограничен-

ный характер: «...У нас уже даже 32 семьи. Есть которым постоянно уже помогаем, у которых большое количество детей, шесть, например... У нас одноразовые обращения есть. Мы можем единоразово помочь, но мы их не регистрируем, а факт помощи регистрируем, анкету не заводим...» Региональная НКО может включать несколько сотен или тысяч агентов: «...Ну для начала это 600 семей нашей организации... Это около пяти тысяч человек...» При этом количество временных участников сети может быть значительно больше: «...есть уникальные наши отчеты за прошедший год... более 5 000 благополучателей, и это нематериального характера...» В качестве примера таких НКО можно привести региональные организации «Радость» (Тюменская область), МногоНас (Челябинская область). Можно выделить и коллективные сети поддержки, географически представленные на значительной части территории РФ, – Центр помощи многодетным семьям «МногоМама», Российский детский фонд и др.

Ключевыми элементами сетей поддержки выступают социальные агенты. В российских исследованиях предлагается различная типология социальных агентов в соответствии с их ролью в реципроктных обменах. С этой точки зрения можно выделить доноров (предоставляющих трансферты), реципиентов (получающих трансферты), обменивающихся (получающих и предоставляющих трансферты) и независимых (не получающих и не предоставляющих трансферты) [18]. В свою очередь, доноры и реципиенты в зависимости от характера реципроктных обменов могут быть радикальными, умеренными или хроническими [19].

Реципиентами коллективных сетей поддержки в основном становятся многодетные семьи, попавшие в трудные жизненные обстоятельства: «...Допустим, у нас вот была мама, у которой ее родственника осудили, маму лишили родительских прав. И ей в наследство сразу три ребеночка досталось: двойняшки две и еще одна девочка. И у ней у самой двое детей. Плюс сестра тоже от такой же семьи. В общем такой сбор полный детей. И вот... Вы сами знаете, что очень долго оформляются опекунские документы и никаких средств к существованию нет...» Вопреки сложившимся представлениям, это не только семьи, где один или оба родителей ведут асоциальный образ жизни (алкоголики или наркоманы), но попавшие в затруднительную ситуацию вследствие различных обстоятельств – переезда, потери работы, развода, пожара и тому подобного: «...Мы всем городом ей помогаем... Она не из пьющих, у нее просто судьба не сложилась... ей помогают, потому что она очень ответственная. Ну как сказать... Ведущая положительный образ жизни. Она занимается детьми...» Зачастую это приезжие, которые не могут получить помощь от государства официально: «...Кто приезжает, например, с Казахстана, у нас есть подопечные. Либо приехали с другого города и нет прописки, получается у них нет поддержки и социальной помощи...» В отношении таких реципиентов коллективные социальные сети пытаются ограничить трансферты во времени: «...мы стараемся на постоянной основе не помогать, а лишь какой-то период, чтобы не было иждивенчества. Три-четыре месяца помогаем, ну там по обстановке...»

В качестве доноров в коллективных сетях поддержки многодетных могут выступать коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и учреждения, а также отдельные домохозяйства (в том числе сами многодет-

ные). Например, домохозяйства приносят оставшуюся детскую одежду, мебель и т.д., предприниматели и коммерческие организации могут предоставлять излишки товаров (например, остатки непроданных коллекций одежды), продуктовые наборы и др. При этом предоставление ресурсов может быть одноразовой или периодической акцией, т.е. такие доноры могут быть агентами с разной интенсивностью связи в данной сети. Например, эти связи могут носить интенсивный постоянный характер: «...Наша организация заключила партнерские соглашения. То есть работаем на взаимовыручке...» или «...Мы дружим с многими другими организациями некоммерческими и коммерческими, которые нам, допустим, просто дарят...» В качестве доноров часто выступают малознакомые или ранее незнакомые люди: «...Или вот если совсем такая криминальная прямо обстановочка, тогда пишу прям в группе, что срочно нужно. И привозят люди. Сами мы ездим...» Донорами в коллективных сетях поддержки многодетных выступают также волонтеры и сами координаторы: «У нас есть волонтеры, собирающие вещи по районам... Потому что не все далеко могут привезти вещи...»

В ряде случаев реципиенты становятся со временем «обменивающимися» или переходят в разряд доноров: речь идет о многодетных семьях, получивших поддержку в трудной жизненной ситуации, которые впоследствии отдают свои ресурсы в виде различных услуг (обычно волонтерского характера) или материальных ресурсов (в том числе вещей): «...Значит получают от нас удовольствие разного рода многодетные приемные семьи... я думаю, что больше 100, 150. А остаются с нами дружить... Ну как сказать, не то, что дружить, а традиционно уже становятся волонтерами семейными, конечно, меньшее количество...»; «...Кстати, наши многодетные семьи очень хорошо участвуют в акции благотворительной социальной как волонтеры „Подарок другу“...»

В качестве одной из основополагающих характеристик социальной сети рассматриваются особенности связей между агентами. В теории социальных сетей значительное место занимают исследования, посвященные изучению их силы. М. Грановеттер определяет ее как комбинацию продолжительности, эмоциональной интенсивности, близости (или взаимного доверия) и реципрокных услуг [20]. Сильные связи существуют между ограниченным числом участников, отношения которых строятся на персонифицированном доверии друг к другу, имеют большую плотность, формируют сплоченность на локальном уровне. Слабые связи («мосты») представляют собой единственную связь между двумя каким-либо участниками, имеют небольшую плотность, тем не менее они позволяют увеличить количество агентов, ресурсов, задействованных в сети, а также способствуют социальной сплоченности. В соответствии с этим агенты с большим числом взаимных связей образуют «ядро» – сеть с более высокой плотностью и силой связей, а агенты с малым числом взаимных связей могут присутствовать в сети в статусе «пассивного члена», «резервиста», которых «имеют в виду на крайний случай» и т.п. [4]. «Ядро» коллективной сети поддержки выступает не только организующей силой (координатором), но очень часто и радикальным донором: «...Ну только вот мы начали года два, материальной такой у нас нет поддержки, спонсоров нет. Все, что мы делаем, мы делаем своими руками, своими силами...»

Реципрокные трансферты в коллективных сетях поддержки многодетных носят достаточно разнообразный характер. В научной литературе можно

встретить различные классификации видов ресурсов, которые являются предметом реципрокных сетевых обменов: начиная от деления на материальные и нематериальные, заканчивая более сложными классификациями, представленными в работах ряда зарубежных и отечественных авторов. Так, например, Г.В. Градосельская в качестве ресурсов реципрокных трансфертов выделяет деньги, продукты, информацию и связи, труд и услуги [18]. С.Ю. Барсукова описывает только трансферты, имеющие безусловную и однозначно понимаемую количественную оценку – продуктовые, денежные, долговые и трудовые трансферты [19]. В ряде других исследований реципрокные ресурсы описываются более подробно, например, выделяются: психологическая поддержка, безвозмездная и долговая материальная помощь; помощь в ведении хозяйства (уборке, ремонте или строительстве, на садово-огородном участке), помощь транспортом; помощь продуктами; уход, присмотр за ребенком; помощь в трудоустройстве, оказание профессиональных консультаций и других услуг [8, 21].

Одним из наиболее часто представляемых коллективными сетями поддержки ресурсов выступают услуги, направленные на защиту прав многодетных семей. В ряде случаев сеть поддержки консультирует и представляет интересы реципиента во взаимодействиях с формальными институтами – органами власти и местного самоуправления, учреждениями социальной сферы и даже банками: «...И трудоустройство, и устройства в садики, и в школы, и пособия, и постановка на очередь на земельный участок, и жилье, ипотека. Очень много обращений, что помогите, мы ипотеку платили, теперь банк забирает квартиру...». Значительную роль в таких трансфертах играет наличие неформальных связей с представителями данных институтов, а также других структур гражданского общества – политическими партиями, СМИ и др.: «...начальник управления соцзащиты, молодец, со мной отработывает вопросы по этой части... У нас все отработывается, вопросов по опеке много. ЖКХ, если допустим есть задолженность по какой-то причине, чтобы рассрочку платежей...»; «...Сейчас обращаются как к общественной организации. Я могу посоветовать, куда именно обратиться в СМИ, потому что работать с местными это тоже не весело, но могу обратиться к кому-то из коллег, которые это дело куда-то вытаскают...». При этом связи могут устанавливаться не только с местными агентами, но и достаточно удаленными как в географическом, так и социальном плане: «Решения уже идут по каждой семье, конкретика, конкретные задачи. Вплоть до того, что я с конкретными обращениями многодетных уезжаю в Администрацию Президента и там с советниками президента работаю по каждой заявке, по каждому обращению...».

Второй достаточно значимый ресурс реципрокных обменов в коллективных сетях поддержки многодетных – это информация: «...Очень много вопросов, если какое законодательство меняется, мы созваниваемся, приглашаем специалистов. Надо соц. выплаты – к нам приезжают и все объясняют, надо пенсионный – пожалуйста, надо службу занятости. У нас постоянно встречи с чиновниками, круглые столы, заседания, меня приглашают...».

Безусловно, важнейшими ресурсами реципрокных трансфертов выступают материальные – продукты, одежда, обувь, другие вещи: «...К нам они обращаются за материальной помощью. Вещи, продуктовые наборы, коляс-

ки...»; «...Ну основная наша помощь – это вот помощь материальная. В каком-то смысле даже не финансовая. Это вот одежда...» Материальные трансферты могут носить возвратный характер, предоставляться «в аренду»: «...У нас есть пункт проката. Мы навсегда не отдаем, это им не нужно. Ими попользовались и возвращают...»

Также материальные трансферты могут быть направлены не на конкретного реципиента, а сразу захватывать целый круг агентов, носить «акционный» характер: «...у нас была акция „Хочу учиться“. То есть мы собирали для детей в школах рюкзак, канцтовары, школьную форму...»

Результаты исследования показали, что все большее значение для многодетных семей в коллективных сетях поддержки приобретают нематериальные ресурсы, связанные с организацией общения, досуга и обучения: «Когда люди имеют возможность и душевно отдохнуть, когда они понимают, что они... не должны стоять 12 часов либо за гладкой бельем, либо на кухне у плиты, и так далее. Ну вот имеется возможность, с одной стороны, отдохнуть, а с другой стороны, себя самореализовать, потому что у мам и пап тоже есть разные таланты, и творческие, и спортивные, и разные. И дети счастливы и горды тем, что они присутствуют...» или «...Мы стараемся попасть в эту струю, чтобы наши многодетные детки допустим спокойно сходили. Потому что билеты, ну за пределами. Никакая многодетная мать себе не может позволить сводить, допустим, шесть детей на концерт, в цирк или еще куда-то. Потому что это очень дорого. А им хочется. Потому что город небольшой, не так много у нас интересных мест и развлечений таких вот...»

Коллективные сети поддержки все чаще начинают выполнять психологические функции: «...Но самое важное – это не только добрые хорошие посиделки у костра, создающие атмосферу дружбы, романтики, приятельских отношений, песен и так далее. Но и взаимобмен опытом, это и профилактика эмоционального выгорания самих родителей, которые 24 на 7 работают мамами и папами, и это в том числе обмен...»

В итоге можно сформулировать следующие выводы. В современных условиях все более востребованными становятся коллективные сети поддержки многодетных, где в основе лежат не кровно-родственные связи, а отношения с малознакомыми или даже незнакомыми агентами по определенным проблемам. Коллективные сети поддержки могут как носить неформализованный характер (в виде сообществ в социальных сетях, клубов и групп по интересам), так и приобретать формальное закрепление в общественных объединениях. Формализация сети поддержки обусловлена рядом факторов – это наличие целей, требующих взаимодействия с официальными агентами (органами власти, СМИ, коммерческими организациями), а также наличие лидера, который готов к осуществлению практически профессиональной деятельности по руководству данной сетью. Формализация позволяет расширить сеть агентов сети как в географическом, так и социальном пространстве, в том числе активно взаимодействовать с органами власти, привлечь дополнительные ресурсы и сделать реципрокные обмены более разнообразными и эффективными.

Литература

1. Социальная уязвимость в региональном сообществе: эксклюзия и современные механизмы ее преодоления / кол. авт. под рук. В.И. Ильина. Вологда : ВолНЦ РАН, 2018. 340 с.

2. *Банных Г.А., Кузьмин А.И., Костина С.Н., Зайцева Е.В.* Феномен многодетности в России: социологический анализ изменений // Вопросы управления. 2019. №1 (37). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mnogodetnosti-v-rossii-sotsiologicheskii-analiz-izmeneniy> (дата обращения: 31.01.2020).

3. *Незговорова М.И.* Развитие зарубежной социологической теории социальных сетей // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2011. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zarubezhnoy-sotsiologicheskoy-teorii-sotsialnyh-setey> (дата обращения: 28.01.2020).

4. *Штейнберг И.Е.* Парадигма четырех «к» в исследованиях социальных сетей поддержки // Социологические исследования. 2010. № 5. С. 40–50.

5. *Лифищев Д.В.* Социальные сети и практика социальной работы // Идеи и идеалы. 2011. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-i-praktika-sotsialnoy-raboty> (дата обращения: 14.01.2020).

6. *Шевченко И.О.* Социальные сети и практики взаимопомощи в семьях с маленькими детьми // Вестник РГГУ. Сер. Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 2 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-i-praktiki-vzaimopomoshchi-v-semyah-s-malenki-mi-detmi-1> (дата обращения: 13.01.2020).

7. *Рзаева С.В.* Социальная сеть как категория социологического анализа: теоретическое представление и подходы к изучению // Известия АлтГУ. 2014. № 2 (82). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-set-kak-kategoriya-sotsiologicheskogo-analiza-teoreticheskoe-predstavlenie-i-podhody-k-izucheniyu> (дата обращения: 14.01.2020).

8. *Белокрылова О.С., Филоненко Ю.В., Фурса Е.Вл.* Неформальное сетевое взаимодействие в снижении рисков бедности и социальной уязвимости (на примере Ростовской области) // JER. 2013. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnoe-setevoe-vzaimodeystvie-v-snizhenii-riskov-bednosti-i-sotsialnoy-uyazvimosti-na-primere-rostovskoy-oblasti> (дата обращения: 23.01.2020).

9. *Штейнберг И.Е.* Процесс институционализации сетей социальной поддержки в межсемейных и дружеских обменах // Экономическая социология. 2009. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-institutsionalizatsii-setey-sotsialnoy-podderzhki-v-mezhsemeynyh-i-druzheskih-obmenah> (дата обращения: 28.01.2020).

10. *Барсукова С.* Сетевая взаимопомощь российских домохозяйств: теория и практика экономики дара // Мир России. 2003. № 2. С. 81–90.

11. *Реутов Е.В., Реутова М.Н.* Реципрокность ожиданий: практики благотворительности // Научные ведомости БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. 2018. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/retsiproknost-ozhidaniy-praktiki-blagotvoritelnosti> (дата обращения: 28.01.2020).

12. *Бондаренко Ю.В.* Реципрокные сети малоимущих жителей Ставропольского края (по результатам интервьюирования) // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2018. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/retsiproknnye-seti-maloimuschi-h-zhiteley-stavropolskogo-kraja-po-rezultatam-intervyuirovaniya> (дата обращения: 14.01.2020).

13. *Даббаева С.Д.* Социальные сети поддержки в адапционных стратегиях населения Бурятии // Вестник БГУ. 2012. № 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-podderzhki-v-adaptatsionnyh-strategiyah-naseleniya-buryatii> (дата обращения: 13.01.2020).

14. *Сорокин Г.Г.* Бабушки современной России // Женщина в российском обществе. 2014. № 1 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/babushki-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 29.01.2020).

15. *Bannykh G.A., Kostina S.N.* Representation of the Large Families Phenomenon in Social Networks // First International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 2019). URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ficehs-19/125932309> (accessed: 13.01.2020).

16. *Степанова Е.А.* Теория и методология сетевого подхода в исследованиях российских онлайн-сообществ // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-metodologiya-setevogo-podhoda-v-issledovaniyah-rossiyskikh-onlayn-soobschestv> (дата обращения: 29.01.2020).

17. *Kostina S., Bannykh G.* Social networks as a tool of public relations of nonprofit organizations working with large families in Russia // 34th IBIMA conference: 13–14 November 2019, Madrid, Spain.

18. *Градосельская Г.В.* Социальные сети: обмен частными трансфертами. URL: <http://www.nir.ru/sj/sj/sj99-grado.html> (дата обращения: 13.01.2020).

19. *Барсукова С.Ю.* Нерыночные обмены между российскими домохозяйствами: теория и практика реципрокности. Препринт WP4/2004/02. М. : ГУ ВШЭ, 2004. 52 с.

20. Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sila-slabyh-svyazey> (дата обращения: 22.01.2020).

21. Реутова М.Н. Обмен ресурсами в сетях взаимопомощи: реализация принципа реципрокности // Дискурс. 2018. № 4 (18). С. 177–187.

Svetlana N. Kostina, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: kostinasn@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 74–86.

DOI: 10.17223/1998863X/62/7

COLLECTIVE SOCIAL NETWORKS OF LARGE FAMILY SUPPORT

Keywords: large families; social networks; collective support networks; public associations

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00566.

Large families are one of the most vulnerable social groups in Russian society due to the deterioration of their socioeconomic situation with the birth of each subsequent child. This situation makes them need to seek help not only from formal social institutions (primarily state ones) for help, but also to engage a wide range of informal ties. Despite quite a lot of research in this area, a single definition of the concept of social networks and support networks has not been worked out. Collective social networks of large family support are based on interactions between agents not related by blood relations. “Live” support networks for large families can have varying degrees of formalization: these can be informal “interest clubs” or formalized (officially registered) public associations. The second version of multi-child family support networks is “virtual” networks, which can be specialized in nature – aimed exclusively at large families, or focus on some area, for example, parenthood. Formalization of the social support network allows it to attract more agents and resources. Collective social networks can be quite diverse in terms of their characteristics – size, geographic concentration, etc. The scale of such networks can vary significantly – from local to regional and federal. The key elements of support networks are social agents. Recipients in collective social networks of large family support are, first of all, large families that find themselves in difficult life circumstances. Donors may be commercial and non-profit organizations, authorities and institutions, as well as individual households (including large families themselves). In some cases, recipients become “exchanging” or donors over time. Reciprocal transfers in collective support networks for large families are quite diverse. The main resources of reciprocal exchanges are: services aimed at protecting the rights of large families; information; material resources (products, clothes, shoes, other things); intangible resources related to the organization of communication, leisure and training, psychological support.

References

1. Ilin, V.I. et al. (2018) *Sotsial'naya uyazvимость' v regional'nom soobshchestve: eksklyuziya i sovremennyye mekhanizmy ee preodoleniya* [Social vulnerability in the regional community: exclusion and modern mechanisms for overcoming it]. Vologda: RAS.

2. Bannykh, G.A., Kuzmin, A.I., Kostina, S.N. & Zaitseva, E.V. (2019) The phenomenon of large families in Russia: a sociological analysis of changes. *Voprosy upravleniya – Management Issues*. 1(56). (In Russian). [Online] Available from: <https://journal-management.com/en/issue/2019/01/03> (Accessed: 31st January 2020).

3. Nezgovorova, M.I. (2011) Razvitie zarubezhnoy sotsiologicheskoy teorii sotsial'nykh setey [Development of foreign sociological theory of social networks]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 1. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zarubezhnoy-sotsiologicheskoy-teorii-sotsialnyh-setey> (Accessed: 28th January 2020).

4. Steinberg, I.E. (2010) Paradigma chetyrekh “k” v issledovaniyakh sotsial'nykh setey podderzhki [The paradigm of four “k” in research of social networks of support]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 40–50.

5. Lifintsev, D.V. (2011) Social networks and social work practice. *Idei i idealy – Ideas and Ideals*. 3(1). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-i-praktika-sotsialnoy-raboty> (Accessed: 14th January 2020).

6. Shevchenko, I.O. (2013) Sotsial'nye seti i praktiki vzaimopomoshchi v sem'yakh s malen'kimi det'mi [Social networks and mutual assistance practices in families with small children]. *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskuststvovedenie*. 2(103). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-i-praktiki-vzaimopomoshchi-v-semyah-s-malenkimi-detmi-1> (Accessed: 13th January 2020).
7. Rzaeva, S.V. (2014) Sotsial'naya set' kak kategoriya sotsiologicheskogo analiza: teoreticheskoe predstavlenie i podkhody k izucheniyu [Social network as a category of sociological analysis: theoretical representation and approaches to the study]. *Izvestiya AltGU – Izvestiya of Altai State University*. 2(82). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-set-kak-kategoriya-sotsiologicheskogo-analiza-teoreticheskoe-predstavlenie-i-podhody-k-izucheniyu> (Accessed: 14th January 2020).
8. Belokrylova, O.S., Filonenko, Yu.V. & Fursa, E.VI. (2013) Informal network interaction in reducing the risk of poverty and social vulnerability (on the example of Rostov region). *JER*. 4. (In Russian). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnoe-setevoie-vzaimodeystvie-v-snizhenii-riskov-bednosti-i-sotsialnoy-uyazvimosti-na-primere-rostovskoy-oblasti> (Accessed: 23rd January 2020).
9. Shteinberg, I.E. (2009) Institutionalization of Support Networks in the Inter-Family and Friendly Exchanges. *Ekonomicheskaya sotsiologiya – Journal of Economic Sociology*. 2. pp. 62–75. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-institutsionalizatsii-setey-sotsialnoy-podderzhki-v-mezhsemeynyh-i-druzheskih-obmenah> (Accessed: 28th January 2020).
10. Barsukova, S. (2003) Setevaya vzaimopomoshch' rossiyskikh domokhozyaystv: teoriya i praktika ekonomiki dara [Network mutual assistance of Russian households: theory and practice of the economy of the gift]. *Mir Rossii – Universe of Russia*. 2. pp. 81–90.
11. Reutov, E.V. & Reutova, M.N. (2018) Reciprocity of expectations: charity practices. *Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo – Belgorod State University Scientific Bulletin*. Philosophy. Sociology. Law. 2. (In Russian). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/retsiproknost-ozhidaniy-praktiki-blagotvoritelnosti> (Accessed: 28th January 2020).
12. Bondarenko, Yu.V. (2018) Reciprocal networks of the low-income population of the Stavropol territory (according to the interviewing results). *Vestnik Maykopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta*. 3. (In Russian). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/retsiproknye-seti-maloimuschih-zhiteley-stavropolskogo-kraya-po-rezultatam-intervyuirovaniya> (Accessed: 14th January 2020).
13. Dagbaeva, S.D. (2012) Social networks in the adaptation strategies of the Buryat population. *Vestnik BGU – The BSU Bulletin*. 14. (In Russian). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-podderzhki-v-adaptatsionnyh-strategiyah-naseleniya-buryatii> (Accessed: 13th January 2020).
14. Sorokin, G.G. (2014) Grandmothers of modern Russia. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 1(70). pp. 78–81. (In Russian).
15. Bannykh, G.A. & Kostina, S.N. (2019) Representation of the Large Families Phenomenon in Social Networks. *First International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 2019)*. [Online] Available from: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ficehs-19/125932309> (Accessed: 13th January 2020).
16. Stepanova, E.A. (2018) The theory and methodology of the network approach in researches of Russian onlinecommunities. *Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk – South-Russian Journal of Social Sciences*. 2. pp. 50–66. (In Russian).
17. Kostina, S. & Bannykh, G. (2019) Social networks as a tool of public relations of nonprofit organizations working with large families in Russia. *34th IBIMA Conference*. November 13–14, 2019. Madrid, Spain.
18. Gradoselskaya, G.V. (n.d.) *Sotsial'nye seti: obmen chastnymi transfertami* [Social networks: the exchange of private transfers]. [Online] Available from: <http://www.nir.ru/sj/sj/sj99-grado.html> (Accessed: 13th January 2020).
19. Barsukova, S.Yu. (2004) *Nerynochnye obmeny mezhdru rossiyskimi domokhozyaystvami: teoriya i praktika retsiproknosti* [Non-market exchanges between Russian households: theory and practice of reciprocity]. Preprint WP4/2004/02. Moscow: HSE.
20. Granovetter, M. (2009) The Strength of Weak Ties. Translated from English by Z.V. Kotelnikova. *Ekonomicheskaya sotsiologiya – Journal of Economic Sociology*. 4. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sila-slabyh-svyazey> (Accessed: 22nd January 2020).
21. Reutova, M.N. (2018) Obmen resursami v setyakh vzaimopomoshchi: realizatsiya printsipa retsiproknosti [Resource exchange in networks of mutual assistance: implementation of the reciprocity principle]. *Diskurs*. 4(18). pp. 177–187.

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/62/8

С.Э. Мартынова, П.В. Сазонова

ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: ОЦЕНКИ ГРАЖДАН РОССИИ

Представлены результаты социологического исследования, цель которого – определить, в какой степени публичные коммуникации российских официальных органов отражают характеристики современных кризисных коммуникаций, и выявить факторы, влияющие на эффективность публичных коммуникаций в период пандемии COVID-19. Выделены факторы, влияющие на эффективность коммуникаций. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Ключевые слова: публичные кризисные коммуникации, пандемия COVID-19, качественное социологическое исследование

Введение

Современные подходы к публичным кризисным коммуникациям претерпели серьезные изменения по сравнению с 80–90-ми гг. XX в., когда в мировой научной литературе наблюдался рост числа соответствующих работ. Многие положения, разработанные в тот период, представляются уже не соответствующими новой социальности и современным принципам публичного управления. Так, новое общество (постиндустриальное, общество знаний, информационное общество, общество постмодерна) характеризуется как многосубъектное и децентрализованное [1; 2. С. 49–50], акторы признают не диктат или опеку, а равноправие, стремятся к активному участию в общественной жизни с целью создания условий для самореализации и удовлетворения своих потребностей. В деятельности государства ведущими принципами становятся открытость, партисипативность [3. Р. 2380; 4. Р. 2024; 5. Р. 20; 6], «сервисная» ориентация [7–12].

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет любому общественному и индивидуальному актору стать держателем канала информации и вступать в многообразные коммуникации с другими членами общества и органами публичного управления. Исследователи отмечают, что распространение информационно-коммуникационных технологий повлияло на развитие рациональности современного актора [13. Р. 114], который должен проявлять активность при выборе собственных путей получения знаний на электронных ресурсах [14. Р. 502], сопоставлять и делать выводы. Постиндустриальный период ознаменовался развитием глобализации с формированием единого не только экономического, но и информационного пространства и увеличением числа акторов, которые влияют на общество национальных государств.

В этой связи отметим, что прежняя модель кризисных коммуникаций предусматривала централизацию коммуникативных потоков в руках органа власти или организации [15. С. 199, 205; 16]. Исследователи отмечают, что

даже в 80-е гг. XX в. односторонняя модель публичных кризисных коммуникаций преобладала [17. Р. 236]. Такая централизация обеспечивала все ожидаемые в тот период времени эффекты: возможность говорить в кризис «одним голосом» [18. С. 104], игнорирование СМИ и аудитории при некоторых обстоятельствах (аудитории оценивались с позиций того, стоит ли тратить на них усилия, а выбор медиаканала зависел от уровня расположенности организации к СМИ [15. С. 203]), удержание однозначной оценочности информационного поля. Все эти положения уже не только не соответствуют характеристикам современной социальности, но и практически не реализуемы.

Таким образом, в современной модели публичных кризисных коммуникаций должны учитываться:

- децентрализация, многосубъектность и многоканальность коммуникаций;
- ориентация на общественные интересы;
- персонализация / адресность публичной коммуникации;
- интерактивность;
- готовность общества к активному участию в общественной жизни и, соответственно, задача вовлечения акторов;
- ориентация на рациональное мышление коммуниканта;
- глобальность информационного пространства.

Актуализация задачи использования современных подходов к кризисным коммуникациям остро встала в период пандемии COVID-19. В наблюдениях зарубежных исследователей, изучающих коммуникации в этот период, можно увидеть отражение указанных выше характеристик: многоканальность – прямая конкуренция сетей по отношению к традиционным СМИ [19], многосубъектность и вовлеченность гражданских акторов – создание платформ, где общественные акторы дополняют информацию официальных органов [20], ориентация на общественные интересы и адресность – создание сообщений, интегрированных в обстоятельства людей [21].

Цель нашего исследования – определить, в какой степени публичные коммуникации российских официальных органов отражают характеристики современных кризисных коммуникаций, а также выявить факторы, влияющие на эффективность публичных коммуникаций в период пандемии COVID-19. Сопутствующая заданность по выявлению факторов обусловлена тем, что в условиях слабой предсказуемости и даже беспрецедентности как самого кризиса, вызванного пандемией, так и сопровождающих его коммуникативных стратегий существует дефицит знаний о том, как предпринимаемые коммуникативные усилия официальных органов отражаются на установках и поведении граждан.

Дизайн и результаты исследования

Исходя из социальной природы коммуникаций, выявление характеристик и факторов эффективности публичных кризисных коммуникаций в период пандемии COVID-19 проведено на основании мнения граждан. Методом сбора данных выбрано глубинное сфокусированное интервью [22, 23], которое позволяет обстоятельно изучить мнение, в достаточной мере раскрыть установки информантов, за счет интерактивного характера беседы прояснить те аспекты (о мотивах, моделях поведения и ожиданиях), которые могут быть

неочевидны из контент-анализа самих коммуникативных материалов или документов, декларирующих характеристики информационной политики.

Исследование осуществлено в феврале–марте 2021 г. Всего проведено 18 глубинных сфокусированных интервью: 8 – с мужчинами, 10 – с женщинами. Информантами выступили лица разных возрастных групп, проживающие в населенных пунктах разного типа (город, село) в 7 из 8 федеральных округов РФ. Сфера деятельности информантов разнообразна: работа в бизнесе, государственных учреждениях, на фрилансе. Среди информантов также есть пенсионеры и домохозяйки. В результате выборка приближена к характеристикам генеральной совокупности «население в целом».

Интервью проходили в формате «лицом к лицу», а также с использованием информационно-коммуникационных технологий. Предлагаемые ниже результаты исследования структурно соответствуют разделам гайда, содержащего пять тематических блоков; в качестве иллюстрации предлагаются некоторые высказывания информантов.

1. Предпочтительные каналы и жанры коммуникации, мотивы предпочтений

Предпочтительным каналом для получения информации о COVID-19 является Интернет: сайты, соцсети. Приоритет Интернета обусловлен большим количеством сообщений, их дискуссионностью и альтернативностью, интерактивностью, удобством поиска, разнообразием форм подачи, оперативностью обновления информации:

– Я использую только Интернет. В Интернете все оперативно, всего много. Можно посмотреть разные сайты, с разным мнением. Можно найти и детальную, и общую информацию. М., 37 лет, Майкоп.

Официальные сайты востребованы в единичных случаях (4 человека из 18), причем преимущественно в совокупности с ресурсами Интернета (российскими и зарубежными) или альтернативными СМИ:

– Интернет использую как повседневный источник новостей и по работе. А на официальных сайтах всегда есть актуальная информация административного плана. М., 43, Москва.

– Данные оперативного штаба и «Эхо Москвы» – там уже более объективно Венедиктов рассказывает. Сравниваю, что оперативный штаб говорит, что по факту происходит. М., 57, Томск.

Предпочтения к традиционным СМИ: ТВ, радио, – высказали часть информантов (5 человек из 18), причем в половине случаев СМИ упомянуты в сочетании с интернет-ресурсами:

– Россия-24, и по ТВ, и в Интернете. Ж., 52, пос. Новый быт.

– Местные и центральные ТВ-новости, радио тоже слушала (я всегда его слушаю). По ТВ смотрю преимущественно обзор новостей. Ж., 75, Волгоград.

Более подробное рассмотрение отношения к официальным каналам (федеральным и региональным) продемонстрировало, что большинство информантов не доверяют этим источникам и, соответственно, не обращаются к ним. Причины такого поведения связаны с представлениями о том, что эти каналы искажают состояние дел:

– *Не обращаюсь совсем, потому что не доверяю... Математики говорят, что не может так меняться динамика значений.* М., 57, Томск.

В отдельных случаях наблюдается предпочтение к региональным каналам, в том числе независимым. Такие источники представляются заслуживающими доверия в большей степени:

– *Федеральным каналам информирования я не доверяю, это мое мнение. Региональные каналы дают возможность высказать мнение простым гражданам, которых я могу встретить на улице и быть уверенной, что их мнение не купили.* Ж., 19, Красноярск.

Кроме того, более удобным для граждан является обращение к Интернету, поэтому официальные каналы уже не входят в информационное пространство, которое формирует для себя современный актор.

Незначительная часть информантов (4 человека из 18) высказали доверие к официальным источникам (в 2 случаях речь шла о ТВ-каналах), отметили наличие актуальных данных и документов.

Сообщения от оперштабов, органов власти на официальных сайтах большинство информантов не читают. Причины – незнание о существовании оперштабов, представление о недостоверности сведений, предпочтительность других каналов.

Впечатление, которое возникает от выступлений и сообщений официальных лиц о пандемии, у большей части информантов негативное. Причины – представления о том, что состояние дел искажается, в частности, чтобы создать видимость эффективной работы официальных органов:

– *Все же понимают, что статистика «липовая». Вот мы сами болели: кто-то легко и к доктору не обращался, кто-то тяжелее, но нас никто никуда не заносил, не контролировал, поэтому все эти выступления – профанация.* Ж., 75, Волгоград.

– *Не все правдиво говорят. Иногда кажется, что недоговаривают, а иногда – что специально нагнетают.* Ж., 52, пос. Новый быт.

Другие мотивы негативной оценки связаны как с отрицательным отношением к самим мерам, которые предпринимают официальные органы, утаиванием последствий принятых решений, так и с противоречивостью информации, некомпетентностью официальных лиц («не являются экспертами в вопросах пандемии»):

– *Некоторые моменты в официальной информации мне непонятны. Например, вакцинация. Одни источники говорят, что надо обязательно обследоваться перед вакцинацией... Другие не требуют обследования... Думаю, что после этого мнения людей тоже разделяются на два лагеря.* Ж., 44, Комсомольск-на-Амуре.

Часть информантов вообще демонстрируют отчуждение от такой коммуникации: признают, что не помнят таких выступлений, не обращают на них внимания, не задумываются об услышанном / увиденном, даже переключают канал, если в поле зрения попадают подобные кадры.

Свою оценку информанты иллюстрируют примерами, доказывающими недостоверность информации, ее несоответствие фактам, отсутствие внимания к людям со стороны официальных лиц, беспомощность официальных органов:

– Я один только раз помню: губернатор по телевизору выступал с обращением к жителям. Это был пик – сентябрь-октябрь – крик души, решил обратиться, припекает, тяжело власти стало... Типа «я на вас надеюсь», соблюдайте правила, ношение масок, перчаток, дистанции. М., 57, Томск.

Часть информантов (5 человек из 18) примеров сообщений и выступлений привести не смогли, поскольку устроились от подобной коммуникации или не вспомнили соответствующих выступлений, не поняли, о чем шла речь («слова непонятные и какое-то объяснение непонятное»).

Впечатление, которое возникает от официальных сообщений на сайтах и в Интернете, также у большей части информантов негативное. Причинами вновь названы представления о том, что состояние дел искажается («в официальных сообщениях мне врут», «во всем мире все плохо, а у нас хорошо»), в частности, чтобы создать видимость эффективной работы официальных органов («все ладно и гладко у них получается, а в реальности почему-то не так»).

Информанты также ссылаются на противоречивость сообщений, их неконкретный и однообразный характер:

– Эти заявления по большей части носят сиюминутный характер, чрезвычайно быстро меняются, противоречат друг другу. М., 43, Москва.

Часть информантов определяют свое отношение как безразличное / нейтральное или ссылаются на то, что не встречают таких сообщений:

– Что за сообщения? [после пояснений] Ну... это я должен зайти на сайт оперштаба, а я туда не захожу. М., 41, Нижний Новгород.

Положительная оценка выявлена в единичных случаях (2 человека из 18) и мотивирована соображениями о том, что преувеличение опасности необходимо в целях защиты граждан («иначе граждане начнут чересчур легкомысленно относиться к проблеме»).

Отношение к информации от всемирных организаций и зарубежных стран. Большая часть информантов высказали положительное отношение к сообщениям ВОЗ. Мотивы доверия сводятся к следующему: организацию представляют авторитетные эксперты, ведутся научные исследования, ВОЗ обладает большим объемом информации, менее коррумпирована, ориентирована на потребности общества, информация соответствует действительности:

– Ну, вот ВОЗ... [Отношусь к этой информации] более доверительно, чем к информации каких-то российских федеральных каналов. М., 41, Нижний Новгород.

Часть информантов не видят разницы между подходом к формированию сообщений со стороны ВОЗ и российских официальных органов, отмечают ту же противоречивость и стремление создать видимость эффективной работы:

– Никак не отношусь. А чем они отличаются от нашей информации? Та же схема. Ж., 51, пос. Шерегеш.

Только двое информантов не встречали сообщений от этой организации.

Сведения о положении в зарубежных странах получают большинство информантов. Они ссылаются на примеры Германии, Италии, США, Китая. Подчеркиваются более жесткие ограничения, но в то же время – более весомая государственная помощь гражданам:

– Они заботятся о своем населении, но меры защиты очень жесткие. Все же уровень доверия к ним значительно выше, чем к нашим властям. М., 33, Дербент.

Не доверяют информации, поступающей из-за рубежа, только двое информантов, объясняя это тем, что все государства преследуют пропагандистские цели.

Источниками информации о положении дел за рубежом служат свидетельства знакомых, которые там живут, собственные наблюдения в момент пребывания в других странах, во многом – сообщения в Интернете (на сайтах и в соцсетях) и в единичном случае – по ТВ. Только один информант сообщил, что не встречал сведений о состоянии дел в других странах.

Источники, информация из которых представляется наиболее достоверной и полезной. Часть информантов (3 человека: лица на руководящих позициях в крупных компаниях и сотрудник вуза) отметили научные публикации:

– Если объективно, то необходимо обращаться к научной литературе, в особенности к западной. М., 36, Казань.

Немногим более распространено (5 человек из 18) доверие к представителям медицинского сообщества (ВОЗ, Минздрав, врачи), хотя и они подозреваются в обнародовании информации, нужной официальным органам:

– Наверное, когда врачи говорят. Но они же тоже могут быть медийными личностями и говорить «как надо». Нет ощущения достоверности. Ж., 51, пос. Шерегеш.

Схожая распространенность доверительной оценки выявлена в отношении сведений от других людей. Эти сведения информанты получают непосредственно от знакомых, а также из соцсетей («люди сообщают то, что видят, слышат, знают»). В целом информация от известных блогеров, в социальных сетях и мессенджерах представляется еще части информантов более достоверной по причине независимости источника.

СМИ как источник, которому доверяют, назвали 3 человека, причем один упомянул официальный канал, а другой – независимый.

Часть информантов подчеркнули, что подход к получению и осмыслению информации изменился и требует от человека самостоятельного анализа сведений из нескольких источников:

– Получение информации в Интернете так и построено, что ты получаешь сразу много всякой информации, из массы источников, и делаешь выводы сам. М., 41, Нижний Новгород.

Основания для оценки сообщений о COVID-19 как ложных. Больше всего информанты (6 человек из 18) обращают внимание на статистические сведения. Критериями недостоверности данных воспринимаются: 1) постоянство во времени одних и тех же значений; 2) резкое или, наоборот, незначительное изменение значений; 3) связь во времени динамики значений с событиями, инициированными органами власти в целях борьбы с пандемией (например, начало прививочной кампании); 4) существенные расхождения с динамикой значений, характерной для других стран:

– Если статистические данные меняются слишком резко... Сравнивая со статистикой течения эпидемии в других странах, возникают вопросы. М., 43, Москва.

Близким к этим критериям является несоответствие официальных заявлений собственным наблюдениям информантов и фактам:

– *На основании несоответствия количества больных людей в действительности с тем, что говорят официальные источники.* Ж., 22, Иркутск.

Другим критерием является источник информации. Официальные источники (статистика, официальные заявления и СМИ) не пользуются доверием. В этой связи если сообщения официальных каналов расходятся с сообщениями независимых источников, информанты воспринимают официальную информацию как ложную. В то же время пример недостоверной информации в соцсетях привел только один информант.

Играет роль и удельный вес информации: если разные источники преподносят схожие данные, они воспринимаются как правдивые:

– *Просто в голове складывается какая-то картина, потому что одной информации больше, чем другой. Значит, что [первая], наверное, более верная.* М., 41, Нижний Новгород.

Часть информантов рассматривают информацию как ложную на основании собственного анализа («мои размышления, сам анализирую») или даже неосознанных мотивов («по привычке, инстинктивно»).

Не склонны анализировать сведения с позиций истинности / ложности незначительное число информантов (3 человека из 18): «слушаю как фон», «не задумывалась об этом», в том числе анализ не дается по причине отсутствия компетентности в этом вопросе.

Привлекательные по содержанию, форме подачи сообщения. В содержании приветствуются научные данные из авторитетных журналов, подтвержденные факты и цифры (например, число заболевших), прогнозы, свидетельства компетентных людей, а также очевидцев и знакомых. Эта информация должна быть изложена обстоятельно:

– *Наверное, от первоисточника: кто был в ситуации.* Ж., 51, пос. Шерегеш.

– *Те, которые подаются как официальная информация... чтобы с датами и ссылками на документы или какие-то исследования.* Ж., 32, Краснодар.

Упоминается и утилитарный характер информации: ее значимость для защиты от вируса.

Часть информантов (5 человек из 18) выдвигают на первый план новизну, даже сенсационность (но рационального характера), и общественную значимость сообщения:

– *Шокирующая информация или что-то совершенно новое, научные факты.* М., 33, Дербент.

В отношении формы подачи ожидаемы современные символы, используемые в Интернете (хэштеги, позволяющие понять адресность сообщения), видеоматериалы с выступлениями («Картинка. Кто-то выступает, что-то говорит. Так более понятно»).

Значительная часть информантов (5 человек из 18) отметили стилистические особенности сообщений – приветствуются лаконичность, доступность для понимания, отсутствие неясных терминов:

– *[...] как прогноз погоды... Информация должна быть простой, с простыми словами, без терминов и непонятных, пугающих слов.* Ж., 49, Сочи.

2. Образ кризиса и власти в период кризиса; факторы, повлиявшие на эти представления

Представление о пандемии COVID-19 и ее последствиях. Значительная часть информантов (6 человек из 18) в своих представлениях о пандемии обозначили ее высокую опасность для здоровья людей и неподготовленность систем здравоохранения:

– *Это серьезное, даже системное заболевание. Оно дает очень много осложнений и серьезные последствия.* Ж., 44, Комсомольск-на-Амуре.

Почти в той же мере информанты (5 человек из 18) охарактеризовали пандемию как системный кризис, даже предостережение людям за необдуманное поведение («ки лезут туда, куда не надо... и делают там, что не надо. Не зажрались ли вы, товарищи»), затрагивающий все сферы жизнедеятельности и имеющий долгосрочные последствия:

– *Вирус прошелся по планете... Теперь много последствий, с которыми нужно работать, справляться. Жизнь не будет прежней.* Ж., 49, Сочи.

Часть информантов (4 человека из 18) образ кризиса охарактеризовали с политических позиций – неподготовленность и неуверенность действий государств мира, а со стороны российского государства – отсутствие достаточной поддержки граждан и бизнеса, стремление к манипуляции ограничительными мерами:

– *Из того, что запомнилось с начала эпидемии, – это неуверенная первая реакция государств, не только нашего. Потом – перегиб с ограничительными мерами.* М., 42, Москва.

– *У меня сложилось мнение, что наше государство было не готово к подобным ситуациям, не было поддержки бизнеса, граждан.* Ж., 21, Санкт-Петербург.

– *Такое впечатление, будто ее поддерживают из политических соображений. Когда надо – про нее вспоминают, когда не надо – про нее забывают.* М., 57, Томск.

В представлениях отдельных информантов (3 человека из 18) пандемия оказалась, прежде всего, кризисом социальных контактов, явлением, вызвавшим паническую социальную реакцию («массовый психоз»):

– *Кризис общения. Это самое плохое и губительное. Все закрылись в своих норках, боялись друг друга.* М., 52, Самара.

Недооценка серьезности пандемии («просто такой новый грипп») на первоначальном этапе ее развития отразилась в высказываниях только одного информанта.

Представление об официальных органах страны и региона в период пандемии. Подавляющее большинство информантов (13 человека из 18) отметили, что представление об официальных органах сложилось негативное. Мотивы такого отношения – представления о растерянности и бездействии властей, в частности региональных, об отсутствии результативности мер, продуманных и оперативных решений, о неполноте и противоречивости информации, манипуляции статистическими данными, о недостаточном внимании к людям, помощи зарубежным странам, а не российским гражданам, о «двойных стандартах» – запретах для одних и разрешениях для других:

– В моем регионе, я считаю, вообще ничего не было... как будто просто власть сидит и ждет, когда само пройдет. М., 41, Нижний Новгород.

– Ну, никаких конкретно мер не принимали. Больше помогли зарубежным странам: персонал туда посылали, оборудование. М., 57, Томск.

Меньшая часть информантов одобрительно или хотя бы снисходительно отнеслись к действиям российским официальным органам. Однако и эти лица почти все отметили недостатки: не всегда достижение результата («не все получалось, но работу вели»), отсутствие координации в работе учреждений, неадекватность статистических данных о заболевших даже с точки зрения самих медицинских работников:

– Молодцы, стараются. Но очень много недоработок, есть большая неслажанность в работе медучреждений. К статистике о заболеваемости и умерших тоже есть вопросы. Ж., 44, Комсомольск-на-Амуре.

Факторы, повлиявшие на представления о пандемии и работе официальных органов. У значительной части информантов (9 человек из 18) представления сформировались на основании собственных наблюдений (о работе учреждений, скорой помощи и врачей, случаях заболевания и смерти в окружении человека, доступности лекарств, поведении людей в маршрутках, работе досуговых учреждений, проведении выборов и пр.), собственного опыта жизнедеятельности в условиях ограничений, общения с другими людьми:

– Я общаюсь с людьми, которые пострадали от ограничительных мер. Бизнес закрывается, людей увольняют, это показывает неэффективность работы власти. М., 33, Дербент.

– Как люди ездили в маршрутках в час пик без масок, без перчаток – так и продолжали ездить. М., 57, Томск.

– Необходимость проходить обязательную регистрацию, чтобы ходить на работу и просто перемещаться по городу. М., 43, Москва.

– Окружающая ситуация, много смертей... на фоне гладких отчетов от официальных лиц. Ж., 22, Иркутск.

Отдельные информанты сослались на свои умозаключения, приведшие к оценке действий официальных органов как непоследовательных и нецелесообразных:

– Не закрывать парки и стадионы, как они поступили. Наоборот, надо было призывать... идите, люди, худейте, занимайтесь! Болезнь бьет по сосудам... А они выгнали ППС-ников, чтобы они нас на улице отлавливали и штрафовали. Ж., 38, Новокузнецк.

– Государство должно сначала вводить меры помощи гражданам и только потом – ограничения. М., 36, Казань.

Часть опрошенных (причем эти лица вынесли положительное мнение) сослались на сообщения СМИ о сдерживании прогрессирования вируса, разработке вакцины.

3. Модели поведения в пандемию и факторы, способствующие их формированию

Информанты придерживались рекомендаций носить маски (все опрошенные), сохранять социальную дистанцию, отказаться от поездок. Побудительными причинами стало большое число заболевших и опасение заразиться

самому, заразить близких и коллег, желание скорее вернуться к прежнему образу жизни, а также (в 3 случаях) – штрафы за нарушение режима или ограничения в обслуживании:

– *Да, ввиду того что пожилые родители у нас. Вот только ради них. А самой хотелось переболеть побыстрее... чтобы не пугаться общества.* Ж., 38, Новокузнецк.

В отношении рекомендации ставить вакцину, напротив, половина информантов не склонны ей следовать по причине недоверия к ее производству («на коленке собрали») и неясности последствий.

Социальное участие проявляли лишь несколько информантов (4 человека из 18). Это участие заключалось в медицинской помощи, доставке еды. В основном такие действия были направлены на поддержку родственников и знакомых и только в одном случае имели характер волонтерства, мотивируемого личными убеждениями и возможностью помочь.

4. Оценки эффективности официальных коммуникаций; ожидания, связанные с информацией от официальных органов

Часть опрошенных (5 человек из 18) негативно оценили влияние официальных сообщений. Причины – возбуждение под воздействием этой информации панических настроений, агрессии:

– *Говорили только о том, чего нельзя... поэтому многие люди стали агрессивно реагировать на сообщения.* Ж., 22, Иркутск.

В такой же мере (5 человек из 18) информанты оценили влияние положительно, поскольку соотнесли с ним формирование конструктивного поведения граждан, снижение заболеваемости и психологической напряженности:

– *В целом положительно. Потому что вижу, что люди справились. Снизилась заболеваемость, пройден пик.* М., 37, Майкоп.

Один опрошенный отметил, что информация никак не повлияла, поскольку на фоне ее достаточности не было контроля за соблюдением рекомендаций.

Часть опрошенных (7 человек из 18) сосредоточились на оценках самой информации, характеризуя ее преимущественно негативно: как правдивую отчасти, поскольку сведения расходились с собственными наблюдениями; противоречивую, недостаточную, не ориентированную на население («люди теряли средства к существованию, а власти просили их подождать, пока все наладится»), не соответствующую характеру разных аудиторий:

– *В первые месяцы было очень страшно, не хватало информации о том, как точно влияет заболевание на людей разных возрастов, как именно следует лечиться, куда обращаться, если заболел.* Ж., 19, Красноярск.

Признали, что влияние могло быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от установок реципиента, еще двое опрошенных («довольные [действиями властей] становились еще более довольными, недовольные – еще более недовольными»).

Ожидания, связанные с информацией от официальных органов страны и региона в период пандемии. Основная часть информантов (9 человек из 18) заинтересованы в достоверных сведениях о развитии заболеваемости и мерах защиты: о симптомах болезни, о необходимых действиях в случае подозрения на заражение, о степени разработанности вакцин и местах, где

можно поставить прививку, об ограничениях по регионам и стране. Особо выдвигаются требования к правдивости информации, подтвержденной фактами и мнениями специалистов, к многоканальности информирования:

– *Четкие и подробные схемы действий в случае заболевания – если сам заболел, если родственники заболели. Какие-то телефоны для информирования, куда можно позвонить в случае, если человек пожилой и не умеет пользоваться Интернетом. Должны использоваться все каналы связи с населением, а не только те, которые проще и удобнее.* М., 43, Москва.

Для отдельных опрошенных важны также рекомендации о том, чем можно заняться в изоляции.

Немаловажными являются сведения о мерах поддержки граждан, в том числе снижающие психологическое напряжение. К информации предъявляется требование оперативного, ежедневного обновления:

– *Думаю, люди нуждались в ежедневной информации от официальных представителей, которая могла бы успокоить... сказать им: «Не волнуйтесь, мы со всем разберемся».* Ж., 19, Красноярск.

Информанты обращают внимание на современные подходы к формированию доверия у аудитории:

– *[Если] строишь свою информационную повестку, начинать надо с малого... аудиторию надо как-то завоевать... Это же как работает: кто-то попробовал, а если не заработало – рассказал всем.* М., 41, Нижний Новгород.

Отдельные участники опроса скептически относятся к информации любого рода («все равно искомверкают», «а был ли от нее толк?»).

Выводы

Подытожим результаты в соответствии с целью исследования.

1. Российские граждане демонстрируют поведение современного актора в части рационального анализа информации, предпочтений к дискуссионному и альтернативному контенту, многоканальности информирования, интернет-ресурсам; граждане включены в глобальное информационное пространство.

2. Что касается публичных коммуникаций, то они не обеспечивают дискуссионности, адресности (персонализации), многоканальности информирования, содержат слабо ориентированный на общественные интересы контент (прежде всего с позиций достоверности информации, важной для общества), не учитывают аналитические возможности акторов в эпоху общества знаний, не направлены на вовлечение граждан (в обмен информацией, социальное участие). В результате оценки граждан влияния официальных сообщений невысоки.

3. Факторы, определяющие эффективность публичных коммуникаций в период пандемии, можно классифицировать следующим образом.

Первый фактор – использование каналов, предпочтительных для общества: сайты (не только и столько официальные) и соцсети, причем не только российские, но и зарубежные. Важно транслирование информации по максимально широкому спектру каналов.

Второй фактор – содержание сообщений. Оно должно включать сведения о действенных и обширных мерах поддержки граждан, сообщать об ожи-

даемых последствиях принимаемых решений, излагать ясные рекомендации по защите от заболевания и поведению в изоляции, производить впечатление достоверности, исключать противоречивые сведения и акценты только на запретах. Для создания впечатления о достоверности необходимо подавать информацию как математически оправданную, соотнесенную с динамикой развития пандемии в других странах, содержащую научные данные из авторитетных источников, подтвержденные факты и цифры. Приветствуются разносторонний характер освещения проблемы, опора на большой объем информации.

Третий фактор – выбор спикеров, компетентных в вопросах пандемии: авторитетные эксперты, ученые, представители медицинского сообщества – лица, воспринимаемые как объективно освещающие ситуацию, не аффилированные с официальными органами. В этой связи для коммуникации в соцсетях продуктивно также установление контактов с известными блогерами, с гражданами, удовлетворенными лечением и помощью со стороны государства, с целью мотивации их к публичным отзывам.

Четвертый фактор – стилистика сообщений: конкретность, лаконичность, понятность.

Пятый фактор – оперативность обновления информации в ежедневном режиме, яркая новизна сообщений.

Шестой фактор – форма подачи сообщений, включающая видеоматериалы с выступлениями, современные символы (хэштеги).

Седьмой фактор – адресность: подстройка сообщений под особенности разных аудиторий.

4. Деятельность официальных органов в период пандемии – один из самых весомых факторов, влияющих на восприятие сопровождающей эти действия информации. Доверие к сообщениям будет сформировано при условии реализации оперативных, скоординированных и результативных решений, направленных на поддержку граждан, при отсутствии расхождений между наблюдаемым в реальной действительности и декларируемым.

Литература

1. *Espinosa E.L.* Reflexive sociology? No, reflexive society. Three pre-conditions of sociological thought // *Acta sociológica*. 2015. № 67. P. 51–83.
2. *Ленский В.Е.* Эволюция представлений об управлении (методологический и философский анализ). М. : Когито-Центр, 2015. 107 с.
3. *Mingal Jiang.* Public Participation and Administrative Law // *Chinese Legal Science*. 2004-02. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGFX200402002.htm
4. *Gonzalez R., Llopis J., Gasco J.* Innovation in public services: The case of Spanish local government // *Journal of Business Research*. 2013. № 66. P. 2024–2033.
5. *Qvist M.* Activation Reform and Inter-Agency Co-operation – Local Consequences of Mixed Modes of Governance in Sweden // *Social Policy & Administration*. 2016. Vol. 50, № 1. P. 19–38. DOI: 10.1111/spol.12124
6. *Casula M.* Opportunity Structures for Citizens' Participation in Italian Regions: A Case Study // *Journal of Public Deliberation*. 2015. Vol. 11, is. 2. Article 6.
7. *Asmu'i R.F.* Applying interactive planning on leadership in the organization: the case of transforming public transport services in Banjarmasin // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2014. Vol. 115. P. 283–295.
8. *Djellal F., Gallouj F., Miles I.* Two decades of research on innovation in services: Whichplace for public services? // *Structural Change and Economic Dynamics*. 2013. Vol. 27. P. 98–117.

9. *Guardiola J., González-Gomez F., García-Rubio M.A.* Is time really important for research into contracting out public services in cities? Evidence for urban water management in Southern Spain // *Cities*. 2010. Vol. 27. P. 369–376.
10. *Kruks-Wisner G.* Seeking the local state: gender, caste, and the pursuit of public services in Post-Tsunami India // *World Development*. 2011. Vol. 39, № 7. P. 1143–1154.
11. *Sobaci M.Z., Karkin N.* The use of twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public services? // *Government Information Quarterly*. 2013. Vol. 30. P. 417–425.
12. *Pyon C.U., Lee M.J., Park S.C.* Decision support system for service quality management using customer knowledge in public service organization // *Expert Systems with Applications*. 2009. Vol. 36. P. 8227–8238.
13. *Ledesma E.T.* Reflexivity of the Technological Forms of Life in Scott Lash. I // *Acta sociológica*. 2015. № 67. P. 11–139.
14. *Hladkiewicz W., Gawłowicz P.* Information Technologies in the Postindustrial Society // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2013. № 103. P. 500–505. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.366
15. *Алешина И.* Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. М.: Тандем: ГНОМ-ПРЕСС, 1997. 256 с.
16. *Crisis Management* // Seitel P.F. *The Practice of Public Relations*. New York: Macmillan, 1992.
17. *Frandsen F., Johansen W.* Public Sector Communication: Risk and Crisis Communication // *The Handbook of Public Sector Communication* / ed. by V. Luoma-aho, M.-J. Canel. Wiley Blackwell, 2020. P. 229–244.
18. *Почепцов Г.Г.* Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. М.: Центр, 1998. 352 с.
19. *Pérez-Escoda A., Jiménez-Narros C., Perlado-Lamo-de-Espinosa M., Pedrero-Esteban L.M.* Social Networks' Engagement During the COVID-19 Pandemic in Spain: Health Media vs. Healthcare Professionals // *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2020. Vol. 17, № 14. P. 5261.
20. *Criado J.I., Guevara-Gomez A., Villodre J.* Using Collaborative Technologies and Social Media to Engage Citizens and Governments during the COVID-19 Crisis. The Case of Spain // *Digital Government: Research and Practice*. 2020. Vol. 1 (4). Article 30. 7 p.
21. *Dai B., Fu D., Meng G., Liu B., Li Q., Liu X.* The Effects of Governmental and Individual Predictors on COVID-19 Protective Behaviors in China: A Path Analysis Model // *Public. Admin. Rev.* 2020. Vol. 80. P. 797–804.
22. *Белановский С.* Глубокое интервью и фокус-группы. М.: Литрес, 2019. 532 с.
23. *Ильин В.И.* Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интгерсоцис, 2006. 256 с.

Svetlana E. Martynova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: status_sm@mail.ru

Polina V. Sazonova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: lukinapv@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 87–101.

DOI: 10.17223/1998863X/62/8

PUBLIC COMMUNICATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: RESPONSES FROM RUSSIA

Keywords: public crisis communications; COVID-19 pandemic; qualitative case study

The article presents the results of a sociological research with the aim to determine the extent to which public communications of Russian official bodies reflect the characteristics of modern crisis communications, as well as to identify factors affecting the effectiveness of public communications during the COVID-19 pandemic. The data analyzed are eighteen in-depth focused interviews that were conducted in February–March 2021 in seven out of eight federal districts of the Russian Federation. The interview guide included five sets of questions on the following topics: (1) preferred channels and genres of communication, and the motives of these preference; (2) the image of the crisis and the authorities during the crisis, and the factors that influenced these perceptions; (3) patterns of behavior during the pandemic and factors contributing to their formation; (4) evaluation of the effectiveness of official communications during the pandemic, and expectations related to the messages from authorities. The analysis revealed that Russian citizens demonstrate the behavior of a modern actor in

such aspects as a tendency towards rational analysis of information, preference for discussive content, multi-channel information, and involvement in the global information space. With regard to public communications, it is argued that they do not provide space for discussions, do not take into account the analytical capabilities of the knowledge society actors, do not provoke the community involvement (in the exchange of information, social participation); their content is poorly focused on public interests and calls for personalization. Based on the informants' assessments, factors influencing the effectiveness of communications were identified. Among them are the use of channels preferred by the community, selection of competent speakers, laconic style of messages, promptness of information update, targeting, and others.

References

1. Espinosa, E.L. (2015) Reflexive sociology? No, reflexive society. Three pre-conditions of sociological thought. *Acta sociológica*. 2015. 67. pp. 51–83.
2. Lepskiy, V.E. (2015) *Evolutsiya predstavleniy ob upravlenii (metodologicheskii i filosofskii analiz)* [Evolution of ideas about management (methodological and philosophical analysis)]. Moscow: Kogito-Tsentr.
3. Mingan Jiang. (2004) Public Participation and Administrative Law. *Chinese Legal Science*. 2. [Online] Available from: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGFX200402002.htm.
4. Gonzalez, R., Llopis, J. & Gasco, J. (2013) Innovation in public services: The case of Spanish local government. *Journal of Business Research*. 66. pp. 2024–2033. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.02.028
5. Qvist, M. (2016) Activation Reform and Inter-Agency Co-operation – Local Consequences of Mixed Modes of Governance in Sweden. *Social Policy & Administration*. 50(1). pp. 19–38. DOI: 10.1111/spol.12124.
6. Casula, M. (2015) Opportunity Structures for Citizens' Participation in Italian Regions: A Case Study. *Journal of Public Deliberation*. 11(2). Article 6. DOI: 10.16997/jdd.236
7. Asmu'i, R.F. (2014) Applying interactive planning on leadership in the organization: the case of transforming public transport services in Banjarmasin. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 115. pp. 283–295. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.02.436
8. Djellal, F., Gallouj, F. & Miles, I. (2013) Two decades of research on innovation in services: Which-place for public services? *Structural Change and Economic Dynamics*. 27. pp. 98–117. DOI: 10.1016/j.strueco.2013.06.005
9. Guardiola, J., González-Gomez, F. & García-Rubio, M.A. (2010) Is time really important for research into contracting out public services in cities? Evidence for urban water management in Southern Spain. *Cities*. 27. pp. 369–376. DOI: 10.1016/j.cities.2010.05.004
10. Kruks-Wisner, G. (2011) Seeking the local state: gender, caste, and the pursuit of public services in Post-Tsunami India. *World Development*. 39(7). pp. 1143–1154. DOI: 10.1016/j.worlddev.2010.11.001
11. Sobaci, M.Z. & Karkin, N. (2013) The use of twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public services? *Government Information Quarterly*. 30. pp. 417–425. DOI: 10.1016/j.giq.2013.05.014
12. Pyon, C. U., Lee, M. J. & Park, S.C. (2009) Decision support system for service quality management using customer knowledge in public service organization. *Expert Systems with Applications*. 36. pp. 8227–8238. DOI: 10.1016/j.eswa.2008.10.021
13. Ledesma, E.T. (2015) Reflexivity of the Technological Forms of Life in Scott Lash. I. *Acta sociológica*. 67. pp. 11–139.
14. Hładkiewicz, W. & Gawłowicz, P. (2013) Information Technologies in the Postindustrial Society. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 103. pp. 500–505, p. 502. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.366
15. Aleshina, I. (1997) *Pablik rileyshnz dlya menedzherov i marketerov* [Public relations for managers and marketers]. Moscow: Association of Authors and Publishers “Tandem”: GNOM-PRESS.
16. Seitel, P.F. (1992) *The Practice of Public Relations*. New York: Macmillan.
17. Frandsen, F. & Johansen, W. (2020) Public Sector Communication: Risk and Crisis Communication. In: Luoma Aho, V. & Canel, M.-J. (eds) *The Handbook of Public Sector Communication*. Wiley Blackwell. pp. 229–244.
18. Pocheptsov, G.G. (1998) *Pablik rileyshnz, ili kak uspešno upravlyat' obshchestvennym mneniem* [Public relations, or how to successfully manage public opinion]. Moscow: Tsentr.
19. Pérez-Escoda, A., Jiménez-Narros, C., Perlado-Lamo-de-Espinosa, M. & Pedrero-Esteban, L.M. (2020) Social Networks' Engagement During the COVID-19 Pandemic in Spain: Health Media

-
- vs. Healthcare Professionals. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 17(14). pp. 52–61. DOI: 10.3390/ijerph17145261
20. Criado, J.I., Guevara-Gomez, A. & Villodre, J. (2020) Using Collaborative Technologies and Social Media to Engage Citizens and Governments during the COVID-19 Crisis. The Case of Spain. *Digital Government: Research and Practice*. 1(4). Article 30.
21. Dai, B., Fu, D., Meng, G., Liu, B., Li, Q. & Liu, X. (2020) The Effects of Governmental and Individual Predictors on COVID-19 Protective Behaviors in China: A Path Analysis Model. *Public Administration Review*. 80. pp. 797–804. DOI: 10.1111/puar.13236
22. Belanovskiy, S. (2019) *Glubokoe interv'yu i fokus-gruppy* [In-depth interviews and focus groups]. Moscow: Litres.
23. Ilin, V.I. (2006) *Dramaturgiya kachestvennogo polevogo issledovaniya* [Qualitative field research dramaturgy]. St. Petersburg: Intersotsis.

УДК 316.37

DOI: 10.17223/1998863X/62/9

Л.А. Осьмук, О.Б. Незамаева

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КРУПНОМ ГОРОДЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Рассматривается социальная активность пожилых, исследуется влияние городской среды на жизнь людей в возрасте от шестидесяти лет и старше. Используются результаты социологического исследования активности и самочувствия пожилых людей, проживающих в г. Новосибирске (формализованное структурированное интервью, n = 670). Рассматриваются разные аспекты социальной активности, включение пожилых в новые социальные практики.

Ключевые слова: *активность, самочувствие, пожилые люди, городская среда, расширение социального пространства*

Рост активности пожилых людей связывают с кардинальными сдвигами в возрастной структуре населения развитых стран, имеющих относительно высокую ожидаемую продолжительность жизни, и с изменившимся образом жизни людей в возрасте, что определяется новыми возможностями, которые открывает современное общество. В свою очередь, новые демографические тренды приводят к постановке вопроса о новых концепциях и стратегиях в области социальной политики в отношении пожилых [1, 2].

С макросоциологической точки зрения современное общество стареет и ищет адекватные принципы самоорганизации, в основании которых – продление активной жизни человека (см.: Доклад Всемирного банка *Averting the Old Age Crisis* (1994)). Но поскольку в современном индивидуализированном обществе базовой ценностью становится человек, то и его активная жизнь начинает рассматриваться как базовая социальная потребность. В связи с этим актуализируются вопросы, связанные с ценностью индивидуального здоровья и долголетием (М.Г. Колосницына, А.Н. Низамова, А.В. Филлипова, Н.А. Хоркина и др.), преодолением стереотипизации старения и эксклюзией пожилых (Т.В. Локосов, Т.В. Смирнова и др.), ростом социальных потребностей и изменением экономического поведения группы от 60 лет и старше (М.А. Герасименко, П.Н. Коломиец, И. Цапенко и др.), продлением мотивации к самореализации и трудовой занятости людей, вышедших на пенсию (И.А. Григорьева, Л.А. Видясова, Н.Т. Вишневецкая, Д.Г. Владимиров и др.).

Согласно известному докладу ВОЗ (2015), количество пожилых к середине XXI столетия удвоится, с чем согласны большинство экспертов. В России доля граждан в возрасте старше трудоспособного в 2018 г. составляла 25,4% от общей численности населения страны с учетом изменения пенсионного возраста [3], а на начало 2036 г., по прогнозам демографов, эта категория будет составлять 30,1% от общей численности населения [4]. Одновременно, в соответствии с национальным проектом «Демография», ожидаемая продолжительность здоровой жизни до 2024 г. должна вырасти до 67 лет

(к 2030 г. – до 80 лет) [5], что значительно увеличит при определенных условиях и долю социально активных. В создавшихся условиях российская социальная политика перестраивается с учетом тенденции к длительному сохранению активности и повышению качества жизни, что подтверждается государственной программой «Активное долголетие». Данный социальный вызов требует сфокусировать внимание исследователей [6] на связи между самочувствием и активностью пожилых [7].

Изменения в социальном поведении пожилых, наблюдаемые в последнее время, приводят к тому, что в описании современных процессов старения все большую популярность приобретают позитивные по своему содержанию теории: «активная теория оптимального старения» (Р. Хэвигхарт), «концепция успешного старения» (Дж. Роуи и Р. Кан), отечественные теоретические модели человеческого капитала / потенциала (В.Г. Доброхлеб, И.Г. Васильев, И.П. Потехина и др.). Активность пожилых рассматривается как процесс, на который можно влиять. Факторы, обеспечивающие уровень, динамику и содержание физической, психической и социальной активности, можно разделить на внутренние (субъективные) и внешние (объективные), среди этих факторов значительную роль играет место проживания человека (территория). Условия, создаваемые для повышения качества жизни пожилых на территориях, задают определенный микроклимат того социокультурного пространства, к которому пожилой человек, как правило, устойчиво адаптирован и который он боится потерять (переезд в другое место для постоянного проживания представляет стресс для человека, тем более сильный, чем он старше). Урбанизация и распространение городского образа жизни делают самочувствие и активность пожилых, живущих в больших городах, отдельной темой. Появление данного дискурса заставляет обратить внимание на специфическую среду большого города, которая с начала XX столетия описывается как агрессивная (Р. Парк). Но город дает и возможности для проявления личностного потенциала.

В целях выявления особенностей активности / активного образа жизни пожилых в крупном (миллионном) городе в июне–октябре 2019 г. в г. Новосибирске с населением 1 млн 612 тыс. человек на 2020 г. [8] было проведено исследование социальной активности пожилых людей от 60 лет и старше с использованием метода формализованного, структурированного интервью. В исследовании применялась многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора ($n = 670$), в которую попали пожилые, проживающие в центре города, на периферии и между центром и периферией (учитывался тип застройки: центр города, промышленная зона, спальный район, частный сектор). Контекст крупного города исследовался ранее через выявление психологических аспектов восприятия городской среды жителями Новосибирска [9] без выделения пожилых в качестве отдельного эмпирического объекта.

Цель исследования, проведенного в июне–октябре 2019 г., заключалась в выявлении особенностей активности (физической и социальной) трех групп пожилых, проживающих в большом городе: 1) пожилые, находящиеся на надомном обслуживании (способные самостоятельно передвигаться и психически здоровые); 2) пожилые, не состоящие на надомном обслуживании, но получающие социальные услуги в учреждениях социальной защиты более или менее регулярно; 3) пожилые, не обращающиеся / редко обращающиеся

в социальные учреждения. Деление на группы было обусловлено усилившейся дифференциацией социально-демографической группы пожилых [10].

Было выдвинуто предположение, что каждая из выделенных целевых групп социальной политики в отношении пожилых имеет некоторый общий уровень активности, связанный с самочувствием: низкий, средний и высокий. Другими словами, чем активнее человек, тем меньше он обращается за помощью. Первая группа, к которой относятся пожилые, находящиеся на надомном обслуживании, не относится к занятым и физически / финансово зависима; вторая группа, как правило, занята частично, но не имеет постоянной работы и относительно зависима; третья группа пожилых продолжает работать и / или может позволить себе быть независимой.

Объективным фактором снижения активности является выход на пенсию. Однако здесь не все так однозначно и связано с ожиданиями и планированием своей жизни. Если большинство людей (65%) спокойно относятся к новому статусу или воспринимают его как неизбежность, то другие тяжело воспринимают прекращение работы. Таким образом, имеются две примерно одинаковые группы, проявляющие повышенные эмоции в отношении перехода: 11% тех, кто с нетерпением ждал пенсии, и 16% тех, кто, напротив, воспринимал уход тяжело. Можно предположить, что 11% уходящих на пенсию уже как-то видят, или планируют свою жизнь после пенсии, рассчитывают на высвобождение времени под активную жизнь, интересный досуг, самореализацию. Но тогда возникает вопрос, насколько удовлетворимы данные экспектации, т.е. созданы ли условия для их удовлетворения. Более сильно в результате переживаемой фрустрации может измениться активность и самочувствие 16%, для кого выход на пенсию – стресс.

Поскольку каждый из пожилых людей рано или поздно сталкивается с возрастными ограничениями, оказывать помощь пожилым в рамках социальной политики можно и нужно исходя из уровня активности выделенных групп, поскольку социальное поведение, образ жизни, потребности, а также восприятие себя и мира зависят от уровня активности: в последнее время большинством экспертов признается необходимость дифференциации социальной политики в отношении пожилых как неоднородной социально-демографической группы [11]. Например, исследование потенциала старшего поколения, проведенное в Центральном федеральном округе, подтвердило разницу в ответах между работающими (можно предположить, более активными) и неработающими пожилыми [6]. Естественно, если первые в большей степени самореализуются и проявляют активность в коллективах организаций, то вторые видят себя больше в семье (если таковая есть), на которую и направлена их активность.

Поскольку собственный образ включен в стратегию поведения, важно не только какой образ пожилого исторически формируется в каждом конкретном обществе (П. Ласлетт) [12], но и как пожилые люди оценивают сами себя. Изучение категориальных структур обыденного сознания в отношении авто- и гетеро-стереотипов пожилого человека выявило существенную разницу между самооценкой «себя в старости», «близкого человека в старости» и «пожилых людей в целом». Если себя в старости оценивают идеалистично, то в отношении пожилых в целом срабатывают «негативные стереотипы: пожилые ведут затворнический образ жизни, склонны к нравоучениям, любят

поплакаться, пожаловаться на свои болезни, у них ухудшаются мышление и внимание, и они чаще задумываются о смысле жизни и логическом конце» [13. С. 47]. С одной стороны, это подтверждает существование устойчивого стереотипа «пожилого» как пассивного человека, с другой – надежду на собственную долгую активную жизнь.

Как показало исследование, чувство бодрости более или менее часто испытывают только 7% пожилых, проживающих в городе; большинство, или примерно половина всех опрошенных, чувствуют себя хорошо или нормально (здесь следует отметить, что в большинстве опросов пожилые не любят жаловаться и демонстрируют позитивное настроение); больше четверти пожилых испытывают проблемы с самочувствием, а 19% чувствуют себя плохо. Поскольку у половины пожилых выявлены проблемы с самочувствием, можно предположить, что только вторая половина, чувствующая себя хорошо и нормально, может проявлять более или менее высокую активность. Но, так как активность проявляется прежде всего через деятельность, вопрос относительно того, «на что хватает сил», рассматривался в качестве одного из индикаторов объективного состояния активности. Скорее всего, к активным можно отнести только 35% пожилых, у которых сил на что-то хватает, т.е. поставленный вопрос значительно сократил группу «активных». Важно отметить, что есть 30% тех, кто признается в отсутствии сил. Таким образом, оценка самочувствия оказывается более позитивной, чем оценка собственного потенциала активности. Показательно, что по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) только 16,1% пожилых нетрудоспособного возраста считают, что способны вести активный образ жизни [14], т.е. когда речь идет о постоянной активности, а не о самочувствии, самооценка пожилыми своих способностей снижается.

С точки зрения пожилых, существует целый ряд факторов, влияющих на самочувствие и снижающих активность. Основными раздражителями ожидаемо стали «рост цен, дорогие и некачественные товары в магазинах» и «постоянный негатив и плохие новости по телевизору». Вторыми в рейтинге негативных факторов оказались «плохая погода и изменяющийся климат» и «плохая экология, шум, грязь в подъезде и др.», в число сильных раздражителей попало и «неуважительное отношение к пожилым», что расценивается нами как один из индикаторов эйджизма. В целом городская среда рассматривается пожилыми как агрессивная, приводящая к одиночеству и ощущению социальной и психологической депривации, и это при том, что Новосибирск признан не самым агрессивным городом в России (20-е место в антирейтинге) [15].

По результатам исследования (открытые вопросы), пожилые люди, проживающие в городе, в определенной степени стремятся к самоизоляции: «а кто сказал, что одиночество – плохо», «благодарна родственникам, что живу одна в своей квартире» и др. Стратегия «скрыться от всех в своей квартире» может рассматриваться в качестве психологической защиты, демонстрирующей отношение к внешнему враждебному, раздражающему миру. Но есть и другая сторона одиночества: оно негативно влияет на физическую и социальную активность, ухудшая самочувствие.

Вопрос о частоте возникновения чувства одиночества («Как часто возникает у Вас чувство одиночества?») показывает, скорее, степень одиночества,

т.е. насколько одинок человек. Причем чем чаще возникает чувство одиночества, тем чаще человек оказывается в ситуации, ограничивающей или фрустрирующей его активность, и наоборот. В соответствии с полученными данными, глубокое чувство одиночества переживают 11% пожилых, проживающих в Новосибирске, при этом для пожилых, находящихся на надомном обслуживании, чувство одиночества более стабильно, в то время как для пожилых людей, в меньшей степени нуждающихся в постоянных услугах института социальной защиты, одиночество – ситуативное состояние.

Чувство одиночества связано с включением в социальные отношения, наличие которых определяет дискурс проявления активности. Для пожилых очень важным является внимание со стороны близких, для многих именно оно заменяет утраченные социальные связи, но в крупном городе контакты с близкими, равно как соседские практики, существенно ограничены. Работающие родственники (дети, внуки, племянники и др.) включены в мейнстрим социальной жизни слишком интенсивно, чтобы из него выбраться для постоянных связей с оказавшимися на периферии, в результате чего практически 43% пожилых в той или иной степени не чувствуют внимания со стороны близких. Поскольку пожилые люди не видят выхода для своей активности за границы близкого круга, пространство активности оказывается ограниченным. Вместе с тем, как показал опрос, для пожилых даже в большей мере, чем принимать заботу, важно самим заботиться о родственниках и знакомых. Причиной тому выступает чувство независимости, достаточно сильное у пожилых даже преклонного возраста; аналогичные результаты показали и другие исследования [16].

Один из факторов, влияющих на состояние социальных связей и социального капитала в современном обществе, – наличие домашнего компьютера / ноутбука / смартфона и владение коммуникационными и информационными технологиями. Среди пожилых, проживающих в крупном городе, больше половины не имеют компьютера / ноутбука / планшета, а чуть меньше не имеют и смартфона, пользуясь старыми моделями телефонов. Данная ситуация автоматически выбрасывает свыше 50% пожилых на периферию современной социальной жизни. В ходе исследования обнаружилось, что социальные связи после выхода на пенсию обрываются для кого-то постепенно, для кого-то – резко, и, несмотря на наличие новых коммуникационных технологий (61% имеют постоянную связь с друзьями / знакомыми, используя современные средства коммуникации), есть 35% тех пожилых, кто редко или вообще не общается с друзьями / знакомыми. Из тех, кто имеет компьютеры / ноутбуки / планшеты, активными пользователями социальных сетей являются 33%, т.е. только шестая часть пожилых может быть включена в новые социальные практики. Однако подавляющее большинство, даже имея компьютеры / ноутбуки / планшеты, не пользуются социальными сетями. Из пользователей социальных сетей есть только единицы среди пожилых, находящиеся на надомном обслуживании, крайне мало пользуются социальными сетями и пожилые, эпизодически обращающиеся в службы. Можно говорить о серьезном разрыве между социальными капиталами исследуемых групп; скорее всего, те, кто не обращается или редко обращается в социальные службы, имеют перспективу дольше сохранять свой социальный капитал по мере старения.

Вопрос о способности / неспособности понять современное поколение является в большей степени субъективным и эмоциональным. В ходе проведения исследования данный вопрос неоднозначно воспринимался респондентами, однако налицо была попытка ответить на него искренне. Вопрос направлен на выявление самоидентичности, понимание своего психологического и активного возраста. Пожилые люди, считающие себя способными понять молодое поколение, скорее всего, готовы принять новые социальные практики или попытаться это сделать. Выявленный процент (35%) тех, кто считает себя неспособным понять молодое поколение и полагающих, что «это совершенно другое поколение», является серьезным аргументом в пользу наличия разрыва между поколениями и социальной эксклюзии пожилых. При этом такое суждение свидетельствует о самоэкслюзии. Конечно, есть 58% тех, кто считает себя способными в той или иной степени понять молодое поколение, среди них подавляющее большинство пожилых с высоким уровнем активности. Данный вопрос связан и с готовностью пожилых принять и признать современные социальные практики.

Осваивая изменяющееся социальное пространство, пожилые люди в большей степени, чем все остальные возрастные группы, привязаны к физическому пространству, или территории: своему городу, району / микрорайону, двору, своей квартире, своему креслу / дивану и др. Значимое место в жизни многих пожилых занимает двор (в случае его наличия). Если двор огорожен (забор или просто четкие территориальные границы – насаждения, строительные сооружения и др.), имеет места для отдыха пожилых (хотя бы скамейки), если он является комфортным и воспринимается как комфортный, – он расширяет жизненное и социальное пространство пожилых, т.е. является условием для проявления активности. Считается, что в последнее время пожилые все больше готовы заниматься благоустройством двора.

В свою очередь, готовность подкрепляется соседскими практиками, которые, однако, разрушаются с увеличением города и строительством многоэтажных домов. Большинство пожилых испытывают ностальгические чувства по исчезающим соседским практикам, находя их сильным стимулом к благоустройству. Исследование показало, что только 14% пожилых активны в благоустройстве и часто выступают в качестве инициаторов или реже – лидеров данного движения, 21% подключаются к благоустройству периодически. В отношении 37% не принимающих участие важно рассмотреть, по каким причинам это происходит. Около трети «не участвующих» – пожилые с низким уровнем активности («надомники»), испытывающие проблемы со здоровьем, но более существенной причиной бездействия выступает одиночество (см. выше), определяющее низкую мотивацию и готовность к какому-либо проявлению активности. Как следствие, пожилой человек (таких – 60% «участвующих редко» и «не участвующих») не может заставить себя выйти во двор, особенно если эта среда для него дискомфортна.

Степень активности для пожилых связана с их пространственной мобильностью, с тем, насколько часто и насколько далеко они покидают свою квартиру и свой двор. В соответствии с полученными данными 54% респондентов имеют в городе любимые места для отдыха, но только половина периодически посещает эти места, 43% не имеют таких мест, ограничиваясь квартирой / двором или предпочитая дачу. С точки зрения респондентов,

существует дефицит мест в городе, где пожилой человек мог бы отдохнуть, 57% утверждают, что комфортных мест для пожилых нет вообще. Маршрут пожилых людей в своем пространстве часто ограничивается поликлиникой, магазином, аптекой и тому подобным, этот маршрут повторяется и характеризует поведенческие особенности изучаемой группы.

Получается, что город наиболее открыт и приспособлен для активных пожилых, но и среди них есть группа «не выходящих в город». Для достаточно большой группы пожилых (22%) границы пространства ограничиваются микрорайоном, прежде всего для тех, кто является жителем так называемых спальных микрорайонов. Респонденты дают достаточно положительную оценку своим микрорайонам, отмечая наличие мест для отдыха, которыми они пользуются, – 23%, наличие спортивных площадок, приспособленных для пожилых, куда они ходят, – 22%. При этом отмечается потребность в расширении своего пространства, поскольку большинство (80%) хотели бы получать более подробную информацию относительно услуг, мероприятий и мест отдыха для пожилых.

Итак, исследование подтвердило существенные отличия в уровне и проявлениях активности пожилых, относящихся к трем выбранным группам. Группа пожилых, не обращающихся или редко обращающихся за поддержкой, наиболее активна: старается не выпасть из современной культуры, признает новые социальные практики, имеет больший круг социальных потребностей. Активность двух других групп в значительной степени ограничена, более того, группа тех, кто периодически обращается в социальные учреждения, вызывает опасение в связи с быстрой утратой социальных связей и исключением из новых социальных практик. Необходимость в разработке системы социального сопровождения в крупном городе с учетом неоднородности социально-демографической группы пожилых и разного уровня активности у выделенных групп подтверждается результатами исследования. Концепция успешного старения [17] детализируется с учетом особенностей территории и стратегий активности пожилых.

Литература

1. Григорьева И.А. Смена парадигмы в понимании старения // Социологические исследования. 2016. № 11. С. 154–155.
2. Григорьева И.А., Парфенова О.А., Петухова И.С. Занятость и социальное исключение пожилых граждан (обзор европейских конференций) // Социологические исследования. 2018. № 5. С. 157–159.
3. Старшее поколение // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://www.gks.ru/folder/13877> (дата обращения: 10.03.2021).
4. Демография // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://www.gks.ru/folder/12781> (дата обращения: 10.03.2021).
5. Концепция активного долголетия: как улучшить качество жизни пожилых людей. URL: asi.org.ru (дата обращения: 10.03.2021).
6. Потехина И.Н., Чижов Д.В. Потенциал старшего поколения как составляющая национального человеческого капитала (по материалам исследования в регионах ЦФО) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 2. С. 2–23.
7. Доброхлеб В.Г. Ресурсный потенциал пожилого населения России // Социологические исследования. 2008. № 8. С. 55–61.
8. Официальный сайт города Новосибирска. URL: <http://novo-sibirsk.ru> (дата обращения: 12.01.2021).

9. Шемелина О.С. Аспекты психологического восприятия современной городской среды // Ценности и смыслы. 2009. № 1. С. 72–89.
10. *Handbook of sociology of aging* / ed. by R.A. Settersten, jr., J.L. Angel. New York : Springer, 2011.
11. Дудченко О.Н., Мытиль А.В. Специфика группы пожилых как объекта социальной политики: Социологическая наука и социальная практика. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spe-tsifika-gruppu-pozhilyh-kak-obekta-sotsialnoy-politiki> (дата обращения: 12.01.2021).
12. Laslett P. *A Fresh Map of Life: the Emergence of the Third Age*. London, 1990.
13. Омельченко Д.А., Максимова С.Г., Гончарова Н.П., Ноянзина О.Е. Альтернативный подход к анализу факторной инвариантности в социально-демографических группах: на примере исследования образов пожилых людей // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2015. № 41. С. 47–48.
14. *Пожилые* население России: проблемы и перспективы : социальный бюллетень, март 2016 // Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: <https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/8485.pdf> (дата обращения: 10.01.2021).
15. *Федеральный социологический опрос* (июнь 2019) // Независимое агентство Zoom Market. URL: www.mazm.ru (дата обращения: 10.01.2021).
16. Warburton J., Sik Hung N.G., Shardlow S.M. Social inclusion in an ageing world: Introduction to the special issue // *Ageing and Society*. 2013. Vol. 33, № 1. P. 1–15.
17. Havighurst R. J. Successful aging // *The Gerontologist*. 1961. Vol. 1, № 1. P. 8–13.

Ljudmila A. Osmuk, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation).
E-mail: osmuk@mail.ru

Olga B. Nezamaeva, Department of Social Policy of the Mayor's Office of Novosibirsk (Novosibirsk, Russian Federation).
E-mail: olga.nezamaeva@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 102–110.
DOI: 10.17223/1998863X/62/9

SOCIAL ACTIVITY OF ELDERLY PEOPLE LIVING IN A LARGE CITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Keywords: activity; well-being (state of health); elderly people; urban environment; expansion of social space

The problem of elderly people's activity is actualized by changes in the age structure of the population and the changed way of life determined by the capabilities of modern society. These trends lead to the question of new social policy strategies. The issue of the activity of the elderly living in a large city requires a separate consideration. The elderly do not fully use the opportunities of the city, and their activity is rather suppressed by an aggressive environment. This hypothesis is confirmed by a study conducted in 2019 in Novosibirsk ($n = 670$). The aim of the study was to identify the characteristics of the three groups of elderly people: 1) the elderly who are on home-based care; 2) the elderly who are not on home-based care, but receive social services more or less regularly in social institutions; 3) the elderly who do not apply or rarely apply to social institutions. The assumption that each of the selected groups has a common level of activity associated with state of health (well-being) – low, medium and high – was confirmed. The third group tries not to fall out of modern culture, recognizes new social practices and has a wide range of needs. The activity of the other two groups is significantly limited; moreover, the group of those who periodically apply to social institutions raises concerns due to the rapid loss of social ties and exclusion from new social practices. Retirement is an objective factor in reducing activity. While 65% are calm about the new status or perceive it as inevitable, the activity of 16% may change as a result of the frustration experienced. Despite the positive reaction, the feeling of cheerfulness is more or less often experienced by only 7% of the elderly living in the city, while a quarter of the elderly experience problems with well-being (health), and 19% feel bad. The study showed that, most likely, only 35% of the elderly can be considered active, having the strength “for doing something”, while the elderly's assessment of well-being (state of health) was more positive than the self-assessment of the potential for activity. Elderly people in the city often find themselves alone; their knowledge of information technology is unsatisfactory and does not allow restoring communications. The territory (microdistrict, yard) is not adapted to support the activity of the elderly, and social activity practices are more desirable than real. At the same time, there is a need to expand the space for the manifestation of activity.

References

1. Grigorieva, I.A. (2016) Paradigm change in understanding aging. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Research*. 11. pp. 154–155. (In Russian).
2. Grigorieva, I.A., Parfenova, O.A. & Petukhova, I.S. (2018) Employment and social exclusion of senior citizens (review of European conferences). *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Research*. 5. pp. 157–159. (In Russian). DOI: 10.7868/S013216251805015X
3. The Federal State Statistics Service. (n.d.) [Online] Available from: <https://www.gks.ru/folder/13877> (Accessed: 10th March 2021).
4. The Federal State Statistics Service. (n.d.) [Online] Available from: <https://www.gks.ru/folder/12781> (Accessed: 10th March 2021).
5. The Social Information Agency. (n.d.) *Kontseptsiya aktivnogo dolgoletiya: kak uluchshit' kachestvo zhizni pozhilykh lyudey* [The concept of active aging: how to improve the quality of life of senior people]. [Online] Available from: asi.org.ru (Accessed: 10th March 2021).
6. Potekhina, I.N. & Chizhov, D.V. (2016) Potentsial starshego pokoleniya kak sostavlyayushchaya natsional'nogo chelovecheskogo kapitala (po materialam issledovaniya v regionakh TsFO) [The potential of the senior generation as a component of national human capital (based on research materials in the regions of the Central Federal District)]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 2. pp. 2–23.
7. Dobrokhele, V.G. (2008) Resource potential of Russia's ageing population. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Research*. 8. pp. 55–61. (In Russian).
8. The official site of Novosibirsk. [Online] Available from: <http://novo-sibirsk.ru> (Accessed: 12th January 2021).
9. Shemelina, O.S. (2009) Aspekty psikhologicheskogo vospriyatiya sovremennoy gorodskoy sredy [Aspects of psychological perception of the modern urban environment]. *Tsenosti i smysly*. 1. pp. 72–89.
10. Settersten, R.A. & Angel, J.L. (eds) (2011) *Handbook of Sociology of Aging*. New York: Springer.
11. Dudchenko, O.N. & Mytil, A.V. (2018) The Particular Characteristics of the Elderly as a Subject of Social Policy. *Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika*. 1(21). (In Russian). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-gruppy-pozhilyh-kak-obekta-sotsialnoy-politiki> (Accessed: 12th January 2021).
12. Laslett, P. (1990) *A Fresh Map of Life: the Emergence of the Third Age*. London: Weidenfeld and Nicolson.
13. Omelchenko, D.A., Maksimova, S.G., Goncharova, N.P. & Noyanzina, O.E. (2015) Al'ternativnyy podkhod k analizu faktornoy invariantnosti v sotsial'no-demograficheskikh gruppakh: na primere issledovaniya obrazov pozhilykh lyudey [An alternative approach to the analysis of factor invariance in socio-demographic groups: a case study of older people's images]. *Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie*. 41. pp. 47–48.
14. The Analytical Center for the Government of the Russian Federation. (2016) Pozhiloe naselenie Rossii: problemy i perspektivy [The Elderly Population of Russia: Problems and Prospects]. *Sotsial'nyy byulleten'*. March. [Online] Available from: <https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/8485.pdf> (Accessed: 10th January 2021).
15. Independent agency Zoom Market. (2019) *Federal'nyy sotsiologicheskii opros (iyun' 2019)* [Federal sociological survey (June 2019)]. [Online] Available from: www.mazm.ru. (Accessed: 10.01.2021).
16. Warburton, J., Sik Hung, N.G. & Shardlow, S.M. (2013) Social inclusion in an ageing world: Introduction to the special issue. *Ageing and Society*. 33(1). pp. 1–15.
17. Havighurst, R.J. (1961) Successful aging. *The Gerontologist*. 1(1). pp. 8–13.

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/62/10

Е.В. Петрова

МОНИТОРИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ: ОЦЕНКА ЭКСПЕРТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)», № 121031000243-5).

Анализируется состояние межнациональных отношений, выявляются риски ухудшения межнационального согласия, а также факторы для его поддержания и улучшения. Делается вывод о создании условий, необходимых для воспроизводства межнационального согласия в республике, связанных с ростом показателей социально-экономического развития региона, равным доступом всех категорий населения к ограниченным ресурсам, более эффективной работой системы образовательно-воспитательного пространства.

Ключевые слова: межнациональные отношения, Республика Бурятия, социологический мониторинг

Введение

Основные стратегические документы Российской Федерации отражают ориентированность национальной политики на поддержание межнационального согласия и учет этнокультурных традиций народов, проживающих на территории страны, инструментами реализации которой являются эффективное государственное управление, работа общественных организаций и воспитательно-образовательных институтов, этническое саморегулирование, а также использование результатов научных исследований по выявлению консенсусного потенциала межэтнического взаимодействия [1, 2].

Особую роль духовных лидеров и огромный опыт религиозных организаций в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма на территории страны отмечал Президент России В.В. Путин на встрече с представителями различных конфессий, посвященной Дню народного единства 4 ноября 2020 г. Он подтвердил приверженность российского государства и общества концепции диалога культур, которая формирует традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и ценности, способность сохранять культурное своеобразие [3].

Для предотвращения межэтнической и межконфессиональной напряженности необходим постоянный мониторинг тенденций развития межэтнического взаимодействия и социального самочувствия населения. В первую очередь это касается полиэтнических регионов, прежде всего территорий РФ, имеющих статус республик, где возрастает значимость специфики регио-

нального управления межэтническими отношениями в зависимости от исторических условий их формирования.

В Республике Бурятия, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., проживает более 160 национальностей, большинство составляют русские (66%) и буряты (30%), 4% приходится на представителей иных национальностей. Общий фон межэтнических взаимодействий на протяжении многих десятилетий отличался стабильностью. По состоянию на 1 января 2021 г. постоянное население составило 985 431 человек, городское – 582 603 тыс. (в г. Улан-Удэ проживают 437 528 человек), сельское – 402 828 [4].

Методы исследования

В рамках реализации концептуальных положений социологического мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, разработанного Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации, и методических рекомендаций по его проведению социологами ИМБТ СО РАН по инициативе Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в Бурятии в течение четырех лет проводился социологический мониторинг.

Сбор эмпирической информации осуществлялся в ходе индивидуального анкетирования экспертов и населения, организации и проведения фокус-групповых дискуссий и глубинных интервью. За все годы в опросе экспертов принял участие 421 человек: в 2016 г. – 131 (110 в анкетировании, 21 в фокус-группах), в 2017 г. – 136 (116 в анкетировании, 20 в фокус-группах), в 2019 г. – 154 (123 в анкетировании, 26 в фокус-группах, 5 в глубинных интервью). В состав экспертов отбирались представители органов государственной и муниципальной власти, образования, культуры, СМИ, бизнеса, НКО, спорта, туризма из городской и сельской местности республики¹. Каждый год тематика экспертных опросов менялась, так же как и состав экспертов, но оставались сквозные вопросы, которые мы задавали ежегодно. Поэтому за все годы был получен большой массив эмпирической информации не только о состоянии межнациональных отношений в республике, но и о воспитательно-образовательном направлении в этой сфере, проблемах сохранения традиционных этнических культур, этнобрендах, этнокультурном многообразии, этнотуризме, отношении местного населения к мигрантам.

В 2018 г. был проведен массовый опрос населения республики, опрошено 744 респондента (710 в индивидуальном анкетировании, 24 приняли участие в трех фокус-группах, 10 в глубинных интервью). Выборка многоступенчатая, на последней ступени отбора – квотная (пол, возраст, образование, национальность), репрезентативна генеральной совокупности по заданным признакам (N = 883 627 человек). Многие вопросы из анкет экспертов были включены в анкету массового опроса для осуществления сравнительных оценок. В ходе социологического мониторинга использовали наработанные методики ФНИСЦ РАН [5].

¹ Более подробно о выборке см.: *Петрова Е.В., Бильтрикова А.В., Дашибалова И.Н., Жалсанова В.Г.* Межнациональные отношения в Республике Бурятия: по материалам мониторинговых исследований 2016–2018 гг. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. С. 10–14.

Оценка состояния и перспектив межнациональных отношений

Результаты мониторинговых исследований заслушивались на научных конференциях и сессиях, Совете национальностей при Главе Бурятии, Совете по межнациональным отношениям при мэре г. Улан-Удэ, итоговом форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой РФ. Группой исследователей опубликовано более 30 статей, издана коллективная монография, каждый год разрабатывались научно-практические рекомендации для органов государственной власти, многие из которых уже реализованы.

В целом полученные данные позволяют говорить о воспроизводстве стабильных межнациональных отношениях в Бурятии – подавляющее большинство опрошенных экспертов и населения позитивно охарактеризовало их состояние и перспективы развития в ближайшие годы. Только от 1 до 4% сочли их «напряженными». Причем ситуация в республике по сравнению с Российской Федерацией в целом была оценена как более благоприятная – в анкете респондентам мы задавали вопрос об оценке и перспективах развития межнациональных отношений не только в Бурятии, но и в России. Так, в 2016, 2018, 2019 гг. от 34 до 40,7% опрошенных охарактеризовали ситуацию в России как «доброжелательную и спокойную», в то время как в Бурятии от 51 до 63%. Как более «напряженную» ситуацию и эксперты, и население в большей мере видят также в целом в России, а не в Бурятии (табл. 1).

Таблица 1. Оценка состояния межнациональных отношений, % от числа опрошенных

Вариант ответа	Эксперты					Население	
	2016		2017	2019		2018	
	В Бурятии	В России	В Бурятии	В Бурятии	В России	В Бурятии	В России
Доброжелательные и спокойные	59,09	34,54	62,93	51,21	35,77	57,15	40,73
Внешне спокойные, но внутренне напряженные	39,09	53,64	28,45	42,28	53,66	30,98	41,30
Напряженные	1,82	7,27	3,45	4,07	5,69	4,38	9,62
На грани открытых столкновений	–	0,91	–	2,44	2,44	0,85	1,56
Затрудняюсь ответить	–	3,64	5,17	–	2,44	6,64	6,79

Примечание. Составлено автором по результатам мониторинга.

Межнациональные отношения в Бурятии вызывали беспокойство у значительной части опрошенных, но в большей мере у экспертов (77,2% – 2016 г., 63% – 2017 г., 72,2% – 2019 г.), чем у населения (51% – 2018 г.). В то же время подавляющее большинство экспертов (более 80%) и 52,8% населения беспокоит то, как складываются межнациональные отношения в России.

Рассматривая перспективы развития межнациональных отношений в Бурятии в ближайшие годы большинство склонялись к положительным оценкам (табл. 2).

Большая часть опрошенных экспертов (54,5% в 2016 г., 59,5% в 2017 г. и 48,8% в 2019 г.) посчитала, что они «останутся на прежнем уровне». Думали, что «улучшатся» – 26,5% в 2016 г., 21,5% в 2017 г., 20,3% в 2019 г., причем у населения оценки выглядели примерно так же – 51,7% были уверены, что межэтнические отношения «останутся на прежнем уровне» и 26,5% – что они «улучшатся».

Таблица 2. Перспективы развития межнациональных отношений, % от числа опрошенных

Вариант ответа	Эксперты					Население		
	2016		2017		2019		2018	
	В Бурятии	В России	В Бурятии	В Бурятии	В России	В Бурятии	В России	
Улучшатся значительно	5,45	2,73	6,03	4,07	2,44	10,0	9,90	
Улучшатся незначительно	20,91	26,36	15,52	16,26	16,26	16,48	18,39	
Останутся на прежнем уровне	54,55	47,27	59,48	48,78	47,97	51,7	38,19	
Ухудшатся незначительно	11,82	11,82	11,21	17,89	17,07	8,03	13,15	
Ухудшатся значительно	2,73	5,45	1,72	7,32	7,32	2,25	4,53	
Затрудняюсь ответить	4,54	6,37	6,04	5,68	8,94	11,54	15,84	

Примечание. Составлено автором по результатам мониторинга.

При этом следует отметить, что резонансные события сентября 2019 г. на площади Советов Улан-Удэ [6, 7] повлияли на оценки экспертов (опрос экспертов проводился в октябре 2019 г.), и по сравнению с предыдущими годами (2016, 2017) они стали менее оптимистичными – в 2019 г. об ухудшении отношений в Бурятии думала уже четверть экспертов (25,2%), в то время как в 2016–2017 гг. таких было в два раза меньше (12–13%). Среди населения (2018) были уверены в ухудшении отношений 10,3% и примерно столько же затруднились с ответом (11,6%).

Также эксперты стали менее оптимистичны в оценке перспектив развития межнациональных отношений в России – выросла доля тех экспертов, которые стали считать, что они ухудшатся (с 17% в 2016 г. до 24% в 2019 г.), и, наоборот, уменьшилась доля тех, кто посчитал, что они улучшатся (с 29% в 2016 г. до 19% в 2019 г.).

Факторы сохранения межнационального согласия и возможного ухудшения ситуации

Несмотря на то, что межнациональные отношения в республике в целом оценивались положительно экспертами и населением, и те и другие отмечали, что для их сохранения и поддержания необходимо прилагать серьезные усилия и осуществлять целенаправленную системную работу. Поэтому в исследованиях мы ставили задачу выяснить проблемные моменты для сферы межнациональных отношений, а также основные направления деятельности и мероприятия, которые будут способствовать сохранению межнационального согласия в республике.

Основой для сохранения бесконфликтных и ненапряженных межэтнических отношений в Бурятии респонденты (как эксперты, так и население) называли позитивный исторический опыт взаимодействия основных этнических групп, учитывающий их этнокультурные, этноконфессиональные традиции, работу государственных структур по регулированию межнациональных отношений, деятельность этнически ориентированных общественных организаций.

Вместе с тем опрошенные отмечали, что ухудшение социально-экономической ситуации в стране и республике на фоне мирового экономического кризиса, санкций, а также непопулярные меры правительства, направленные в том числе и на их преодоление, привели к снижению уровня жизни граждан, углублению социального расслоения, оказали негативное влияние на

уровень социального самочувствия населения и, соответственно, рост критических оценок межэтнических отношений.

Это подтверждают и данные анкетирования. По мнению экспертов, в большей мере могут повлиять на ухудшение межнациональных отношений в республике «социальное расслоение общества» (2016 г. – 52,7%; 2017 г. – 50,8%; 2019 г. – 44,7%) и «социально-экономический кризис в стране» (2016 г. – 47,3%; 2017 г. – 38%; 2019 г. – 61%). А «снижение уровня жизни населения республики» (2016 г. – 47,71%; 2017 г. – 55,17%; 2018 г. – 46%; 2019 – 53,66%) является одной из основных угроз для возможного ухудшения межэтнических и межконфессиональных отношений в республике.

На фокус-групповых дискуссиях это мнение также прозвучало: *«И самая большая проблема, самый большой риск и угроза – на мой взгляд, это социально-экономическое положение Республики Бурятия. Оно позитивно у нас, можно даже фиксировать, как оно скачкообразно где-то повышается, где-то уменьшается, но в целом наблюдается стабильное понижение многих показателей. И на фоне как раз этого дисбаланса могут происходить различные конфликты... А в плане напряжения, напряжение даже в моноэтнической среде всегда будет. Оно больше в плоскости все-таки социально-экономической, т.е. есть люди бедные, есть богаче.... Поэтому... в экономике проблема, в бедности, в повальной бедности населения. Люди бедные – злые»* (канд. полит. наук, БГУ, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ).

«...Власти должны особое внимание обратить на социально-экономическое положение... в республике у нас уровень бедности высокий, а уровень жизни достаточно низкий, к сожалению, мы лидируем по отрицательным показателям и по положительным показателям мы в конце... И у населения возникают вопросы, имея такие огромные ресурсы – лес, Тугнуйский уголь, озеро Байкал, почему мы бедствуем.... Вопрос социальной справедливости. Например, одинаково работая, учитель получает здесь 20 тысяч, а в Москве 200 тысяч, условно говоря. Где справедливость? В китайском обществе говорят, что по всей стране получают одинаковую зарплату. Это тоже важный показатель, потому что федерализация, с одной стороны, предусматривает развитие территории, отдельных регионов, но в то же время какая-то справедливость должна быть, т.е. работая одинаково, должны получать зарплату одинаковую, казалось бы...» (канд. социол. наук, ИМБТ СО РАН, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ).

Наряду с экономическим фактором были выявлены и другие, которые также могут привести к ухудшению ситуации в сфере межэтнических отношений в республике. Среди них – этносоциальное неравенство и влияние национальности на возможности вертикальной восходящей мобильности (табл. 3).

Как видим из табл. 3, значительная часть экспертов (от 51 до 62%) и населения (от 64 до 67%) в равной мере считает, что в республике существует этноизбирательность при реализации возможности «*устроиться на лучшую работу*» или «*занять высокий пост в органах власти*». Причем анализ этого вопроса (массовый опрос 2018 г.) в зависимости от национальности показал, что как среди русских (соответственно 69 и 66%), так и среди бурят (66,5 и 62%) доля тех, кто так считает, составляет большинство. В то же время для населения, в отличие от экспертов, остаются проблематичными и зависими-

ми от влияния этнического фактора такие возможности, как «открыть свое дело», «получить квалифицированную медицинскую помощь», «получить высшее образование».

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, может ли национальность влиять на...?», % от опрошенных

Национальность может влиять на...	Вариант ответа							
	«Да» и «Скорее да»				«Нет» и «Скорее нет»			
	Эксперты			Население	Эксперты			Население
	2016	2017	2019	2018	2016	2017	2019	2018
возможность устроиться на лучшую работу	51,8	52,6	61	67,4	43,63	43,1	35	26,2
возможность занять высокий пост в органах власти	61,8	57,8	62,6	64,1	34,6	34,5	33,3	27,2
возможность открыть свое дело	13,2	17,2	11,4	34,4	84	79,3	83	54,5
возможность получить квалифицированную медицинскую помощь	12,04	10,4	12,2	29,7	87,0	83,6	80	61
возможность получить высшее образование	7,4	10,3	8,1	20,1	91,7	87,1	87	69,2
возможность получить кредит на льготных условиях	6,5	15,5	1,6	17,3	88	83,6	84,6	71,9

Примечание. Составлено автором по результатам мониторинга, можно было выбрать любое число ответов, поэтому сумма не равна 100%.

Кроме того, эксперты были уверены, что в республике происходит «распределение должностей по этническому, земляческому, родственному признакам» (2016 г. – 63,6 %; 2017 г. – 62,9 %; 2019 г. – 58,5%) и отсутствует прозрачная кадровая политика, что в итоге ведет к скрытому накоплению межэтнического недовольства и взаимным претензиям, которые нередко озвучиваются через СМИ. На этом факторе эксперты также акцентировали внимание: «А что касается рекомендаций, я бы предложил органам государственной, муниципальной власти республики быть более прозрачными при принятии кадровых решений... Неоднократно предпринимаются попытки создать кадровый резерв в Правительстве Республики Бурятия. Там проходят какие-то процедуры, собеседования, тесты и так далее, а после этого на пост назначается человек, который ничего этого не проходил, пришел с улицы, что называется. Почему его назначали, откуда он появился? И любое такое непрозрачное назначение, оно может быть разыграно в национальном плане. Это болезненная вещь с точки зрения национальных интересов. Будь это более прозрачным, институционализированным каким-то образом, возможно, будет меньше возникать поводов для национальных конфликтов или напряжений в этой сфере...» (канд. социол. наук, БГУ, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ).

То есть полученные данные позволяют говорить о том, что, несмотря на стабильные межэтнические отношения, эксперты и население отмечали значимость влияния этнического фактора в республике и признавали его использование в стратегиях социальной мобильности в качестве ресурса и канала продвижения. В то время как для стабильности межэтнического взаимодействия необходимо сокращать социальную дистанцию между контактирующими этногруппами, способствуя их интеграции через согласованность интересов и равный доступ к ограниченным ресурсам.

По мнению экспертов (2019) катализатором межэтнических конфликтов в республике потенциально может стать «деятельность личностей, провоци-

рующих общественность на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни» (49,59%) и «использование политических технологий для межэтнических конфликтов, создания ситуации межэтнической напряженности» (38,21%), как это происходило в других регионах РФ. Эксперты в ходе фокус-групповых дискуссий обозначили эту проблему: «И еще один момент, что является риском или угрозой, это когда в политических каких-то процессах, в том числе и в ходе выборов, начинает использоваться национальная карта... Национальная карта – это та мотивация, которая на самом деле крайне опасна и крайне неконструктивна... национальную карту берут в козыри, как некий довод, политики, у которых нет других доводов... И когда начинают делить людей по происхождению, по расе, по языку – это деление, которое объективно, оно дано, и оно не совсем коррелирует с тем, насколько человек может взаимодействовать с другими людьми... Любой политик может эту карту использовать... Но эти вещи никогда не приведут к развитию, к эволюции... Это не эволюционный путь» (канд. пед. наук, ИМБТ СО РАН, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ). Комментируя события осени 2019 г. на площади Советов в Улан-Удэ эксперты отмечали: «Насколько я понимаю, там вопрос лежал не совсем в национальной плоскости, но пытались использовать в национальной плоскости. Любой вопрос можно перевернуть в национальную плоскость, было бы желание, были бы для этого заинтересованные люди...» (канд. социол. наук, БГУ, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ).

Опрошенные также отмечали «негативное влияние Интернета и распространение через социальные сети идей экстремизма и терроризма» (2016 г. – 62,39%; 2017 г. – 58,62%; 2019 г. – 36,6%; 2018 г., массовый опрос – 33,95%), которое может способствовать ухудшению межэтнических и межконфессиональных отношений в республике. Участники фокус-групп говорили о серьезных возможностях виртуального пространства для политической мобилизации: «Интернет – это же инструмент мобилизации. На что мобилизовать? Как инструмент, он хороший. Можно мобилизовать на межнациональные конфликты, а можно на какие-то другие дела. Зависит от того, кто мобилизует, как профессионально это делает... Интернет более эффективно используется в больших городах, где слой тех, кто пользуются им, более широк, кто регулярно общается, постоянно читает, обсуждает. У нас, в Бурятии, я не думаю, что так все хорошо с Интернетом, с Фейсбуком и участием в нем большого количества людей» (канд. социол. наук, БГУ, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ). «На самом деле весь конфликт в Республике Бурятия (осень 2019 г.) был сделан буквально двумя-тремя пабликами крупными. То есть это „Криминальная Бурятия“, „Бурятия Онлайн“ и еще там заинтересованными...» (лидер молодежных движений республики, ФГ № 3, октябрь 2019 г., г. Улан-Удэ).

В рейтинге потенциальных угроз стабильности межэтнического взаимодействия в республике деструктивное влияние Интернета ежегодно в ходе мониторинга занимало места с первого по четвертое и было выделено в качестве основной среди «тенденций в области межэтнических и межконфессиональных отношений, характерных для ряда регионов России, которые могут быть наиболее опасными для Бурятии» (2016 г. – 47,4%; 2017 г. – 51,4%; 2019 г. – 47,2%; 2018 г., массовый опрос – 33,4%).

Практически все эксперты выражали обеспокоенность процессом политизации этничности и этнической мобилизации, всплеск которых наблюдается в период предвыборных кампаний (как правило, через Интернет и СМИ) и которые стали инструментом обострения социально-политической ситуации в республике после сентябрьских выборов 2019 г. Также в этот период был отмечен рост протестных настроений среди молодежи, мобилизованной на митинги протеста с помощью интернет-коммуникаций. Соответственно, звучали пожелания: о контроле виртуального пространства с целью исключения сайтов, направленных на межэтническую рознь и вражду, об использовании широких возможностей Интернета для воспитания патриотизма, интернационализма, межэтнического уважения и согласия, в первую очередь в системе образования и воспитания. Образовательно-воспитательная работа была выделена респондентами как консолидирующий этнические группы Бурятии фактор, который способствует стабильности межнационального согласия (2016 г. – 62,7%; 2017 г. – 46,6%; 2019 г. – 65,04%), однако его роль в настоящее время серьезно снижена (2016 г. – 62,75%; 2017 г. – 41,38%; 2018 г. – 48,37%; 2019 г. – 50,41%) [8. С. 76].

Отношение местного населения к иностранным мигрантам

Еще один блок, который нас интересовал при проведении мониторинга, – отношение местного населения к иностранным мигрантам, поэтому в исследовании 2018 г. (массовый опрос) в анкету мы включили блок вопросов о мигрантах. В результате мнения разделились, но особого желания у местного населения принимать мигрантов обнаружено не было. При этом позитивнее были настроены местные жители к мигрантам из стран бывшего СССР, чем из дальнего зарубежья или КНР. Основными преимуществами пребывания мигрантов в республике опрошенные называли обеспечение жителей Бурятии фруктами и овощами (как правило, мигрантами из Средней Азии), а также возможность привлекать их в сферу строительства. К негативным моментам, связанным с мигрантами, респонденты отнесли ограничение рынка труда, возникающие криминальные ситуации, вероятность межэтнических конфликтов и нагрузку на социальную сферу республики.

Однако следует отметить, что в первую очередь для республики характерна массовая внутрорегиональная миграция, которая составляет более 60% в общем миграционном потоке, и в основном преобладает перемещение из сельской местности в городскую. Также распространена миграция межрегиональная (более 30%), когда население уезжает из республики в регионы РФ с высоким качеством жизни, в то время как на международную приходится менее 10%. Несмотря на то что республика является приграничным регионом, который имеет государственную границу с Монголией, а Китай – это ближайший сосед, в силу объективных причин (невысокий уровень заработных плат, ограниченный и небольшой рынок труда, суровые климатические условия) Бурятия не считается особо привлекательным для мигрантов регионом, включая выходцев из Монголии и Китая. И это подтверждают данные официальной статистики. В табл. 4 представлена динамика международной миграции, и наибольшие показатели были отмечены в 2019 г. Доля международной миграции в 2020 г. составила 5,9%, из зарубежных стран в республи-

ку прибыли 1 668 человек, выбыли 1 836, при этом больше всего выехали в Китай – 372 человека [9].

Таблица 4. Международная миграция в Республике Бурятия

	2000	2005	2010	2015	2018	2019
Всего прибыло в республику из зарубежных стран	537	122	278	1045	414	3013
в том числе:						
из стран СНГ	490	106	236	891	315	1777
из МНР	6	1	7	45	22	240
из КНР	3	–	25	60	56	892
Всего выбыло из республики в зарубежные страны	420	139	69	376	829	804
в том числе:						
в страны СНГ	192	50	40	305	690	526
в МНР	6	7	3	18	39	103
в КНР	–	8	2	17	41	111
Всего миграционный прирост, убыль	117	–17	209	669	–415	2209
в том числе:						
страны СНГ	298	56	196	586	–375	1251
МНР	–	–6	2	27	137	–17
КНР	3	–8	18	43	15	781

Примечание. Составлено по: Международная миграция в Республике Бурятия. 2020. URL: <http://www.gks.ru>

Таким образом, подводя итоги мониторинговых исследований, проведенных в Бурятии в течение нескольких лет, можно сделать вывод, что благодаря усилиям государственных структур, общественных организаций, менталитету и традициям жителей республики, имеющим исторически длительный опыт взаимодействия друг с другом, эти отношения продолжают сохраняться стабильными. В то же время существуют негативные тенденции и факторы, которые могут повлиять на хрупкий баланс межэтнического мира и привести к его нарушению.

Определяющую роль играет уровень социально-экономического развития республики, который отражается на социальном самочувствии граждан и их оценках межэтнических отношений. К сожалению, республика является дотационным регионом и во всевозможных рейтингах качества жизни среди субъектов РФ (уровень доходов, закредитованность населения, работа транспорта, медицинское обслуживание, загрязненность воздуха и др.) находится в последнем десятке. Поэтому необходима комплексная систематическая работа, направленная на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, развитие частно-государственного партнерства, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса и предпринимательства, создание новых рабочих мест, снижение миграционных настроений населения, в первую очередь среди молодежи. В последние годы в этом существенную поддержку оказывает финансирование в рамках федеральных программ, связанное с включением Бурятии в состав ДФО (ноябрь 2018 г.), благодаря чему уже началось строительство долгожданных социально значимых объектов.

Литература

1. *Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года*, утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. URL: <http://kremlin.ru/acts/news/17165> (дата обращения: 17.09.2020).

2. Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». URL: <http://static.government.ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf> (дата обращения: 17.09.2020).

3. Встреча Президента РФ Путина В.В. с представителями конфессий 04.11.2020 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64336> (дата обращения: 16.09.2020).

4. Численность населения на 1 января // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. URL: http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/statistics/population/ (дата обращения: 15.11.2020).

5. Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измерении. Социокультурный и религиозный контексты / отв. ред. Л.М. Дробижева. М. : ФНИСЦ РАН, 2018. 552 с.

6. Хронология протеста в Улан-Удэ. URL: <https://www.infpol.ru/204735-khronologiya-protesta-v-ulan-ude/> (дата обращения: 16.09.2020).

7. Эксперты: протестные акции в Бурятии могут продолжиться. URL: <http://club-rg.ru/03/detail/3469> (дата обращения: 16.09.2020).

8. Петрова Е.В., Бильтрикова А.В., Дашибалова И.Н., Жалсанова В.Г. Межнациональные отношения в Республике Бурятия: по материалам мониторинговых исследований 2016–2018 гг. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. 130 с.

9. Миграция населения Республики Бурятия : пресс-выпуск // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. URL: <https://burstat.gks.ru/statcurrentevents/document/105448> (дата обращения: 05.04.2021).

Elena V. Petrova, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russian Federation).

E-mail: elenapet_05@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 111–121.

DOI: 10.17223/1998863X/62/10

MONITORING OF INTERETHNIC INTERACTION IN THE REPUBLIC: ASSESSMENT OF STABILITY FACTORS BY EXPERTS AND THE PUBLIC

Keywords: interethnic relations; Republic of Buryatia; sociological monitoring

The study is carried out under the state assignment, Project No. 121031000243-5.

Modern challenges, threats and risks associated with accelerating migration flows, interethnic conflicts, facts of terrorism and extremism dictate the need for continuous monitoring of trends in the development of interethnic interaction in the Russian Federation. This is especially true for multiethnic regions. The article analyzes the data of a sociological research conducted in Buryatia in 2016–2019. It considers experts' and population's assessments of interethnic relations, prospects for their development, as well as the influence of ethnicity on vertical upward mobility opportunities. Factors that pose a threat to stable interethnic harmony in the region are identified; these include the deterioration of the socioeconomic situation in the country amidst the global economic crisis and sanctions, low living standards of the local population, the use of political technologies during election campaigns to politicize ethnicity and ethnic mobilization, the destructive influence of Internet communications which spread protest sentiments. The conclusion is made about the need to increase the level of the socioeconomic development of the republic, which is reflected in the citizens' quality of life, their social well-being and assessments of inter-ethnic relations. There is also the need to strengthen the potential of interethnic harmony in the republic as a resource for consolidating society, to prevent interethnic tensions, and to work more effectively and comprehensively in the educational sphere of the republic on creating an effective system of patriotic and international education.

References

1. Russia. (2012) *Strategiya gosudarstvennoy natsional'noy politiki Rossiyskoy Federatsii naperiod do 2025goda, utv. Ukazom Prezidenta RF ot19dekabrya 2012 g. № 1666* [Strategy of the state national policy of the Russian Federation up to 2025, approved by Decree No. 1666 of the President of the Russian Federation of December 19, 2012]. [Online] Available from: <http://kremlin.ru/acts/news/17165> (Accessed: 17th September 2020).

2. Russia. (n.d.) *Federal'naya tselevayaprogramma "Ukrepnenie edinstva rossiyskoy natsii i etnokul'turnoe razvitie narodov Rossii (2014–2020 gody)"* [Federal Target Program "Strengthening

the Unity of the Russian Nation and Ethnocultural Development of the Peoples of Russia (2014–2020)"] [Online] Available from: <http://static.government.ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf> (Accessed: 17th September 2020).

3. Russia. (2020) *Vstrecha Prezidenta RF Putina V.V. s predstavatelyami konfessiy 04.11.2020 g.* [Meeting of the President of the Russian Federation V.V. Putin with representatives of confessions on November 4, 2020]. [Online] Available from: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64336> (Accessed: 16th September 2020).

4. The Federal State Statistics Service for the Republic of Buryatia. (n.d.) *Chislennost' naseleniya 1 yanvarya* [Population on January 1]. [Online] Available from: http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/statistics/population/ (Accessed: 15th November 2020).

5. Drobizhev, L.M. (ed.) (2018) *Mezhnatsional'noe soglasie v obshcherossiyskom i regional'nom izmerenii. Sotsiokul'turnyy i religioznyy konteksty* [Interethnic harmony in the all-Russian and regional dimensions. Sociocultural and religious contexts]. Moscow: FNISTS RAS.

6. Infopol.ru. (2019) *Khronologiya protestav Ulan-Ude* [of the protest in Ulan-Ude]. [Online] Available from: <https://www.infopol.ru/204735-khronologiya-protesta-v-ulan-ude/> (Accessed: 16th September 2020).

7. Club-rf.ru. (2019) *Eksperty: protestnye aktsii v Buryatii mogut prodolzhit'sya* [Experts: protest actions in Buryatia may continue]. [Online] Available from: <http://club-rf.ru/03/detail/3469> (Accessed: 16th September 2020).

8. Petrova, E.V., Biltrikova, A.V., Dashibalova I.N. & Zhalsanova, V.G. (2019) *Mezhnatsional'nye otnosheniya v Respublike Buryatiya: po materialam monitoringovykh issledovaniy 2016–2018 gg.* [Interethnic relations in the Republic of Buryatia: based on monitoring studies 2016–2018]. Ulan-Ude: SB RAS.

9. The Federal State Statistics Service for the Republic of Buryatia. (n.d.) *Migratsiya naseleniya Respubliki Buryatiya: press-vypusk* [Migration of the population of the Republic of Buryatia: press release]. [Online] Available from: <https://burstat.gks.ru/statcurrentevents/document/105448> (Accessed: 5th April 2021).

УДК: 316.34

DOI: 10.17223/1998863X/62/11

А.Б. Рахманов

РОБОТЫ, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ КУХНЯ И ЧИЛИЙСКИЙ ПАРАДОКС: ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЛЕТАРСКОГО КЛАССА

В современную эпоху глобального капитализма возникает глобальный пролетарский класс. Рассматриваются концепции американских исследователей И. Несса, Д. Струны и М. Эннера, посвященные различным аспектам этого процесса. Автор предпринимает исследование продолжительности рабочего времени, производительности труда и продолжительности жизни как основных характеристик социального бытия пролетарских классов ведущих стран мира.

Ключевые слова: транснациональные классы, глобальный пролетариат, роботы, труд, продолжительность жизни, климат, кухня

Введение

В нашу эпоху на планете формируется глобальный капитализм, который предполагает становление глобальной (транснациональной) классовой структуры, включающей в себя глобальные классы, объемлющие все человечество и существующие поверх границ. С точки зрения неомарксизма речь идет о транснациональном (глобальном) капиталистическом классе (ТКК) и транснациональном (глобальном) пролетарском классе. Второй сформирован в меньшей степени, чем первый, – американские ученые У. Робинсон и Д. Харрис еще в 2000 г. отметили, что транснациональный пролетариат пока еще является классом-в-себе, тогда как транснациональный капиталистический класс уже представляет собой класс-в-себе-и-для-себя [1, 2]. Если о ТКК существует масса исследований, то глобальный пролетарский класс изучен намного меньше. Американский ученый Д. Струна констатировал еще в 2009 г., что «глобальный пролетариат остается недообъясненным явлением, и теоретических исследований, касающихся его, недостает» [3. Р. 232]. Это наблюдение остается верным и сейчас.

Работа, посвященная изучению глобального пролетарского класса, тем не менее продвигается. Исследователи, в частности, затрагивают отношения глобального капитала и глобального труда [4], различные аспекты труда в мировой высокотехнологической промышленности [Ibid], глобальный труд в цифровом контексте [5], глобальный академический пролетариат [6], особенности труда в глобальной швейной промышленности [7], трудовые отношения в индустрии фаст-фуда ведущих стран мира [8], гендерные аспекты транснационального информационного труда [9], положение китайских высококвалифицированных работников на глобальном рынке труда [10], профсоюзное и рабочее движение в глобальной экономике [11]. Рассмотрим более подробно некоторые из этих исследований глобального пролетарского класса.

Глобальный пролетарский класс и его исследование

Американский ученый И. Несс вступил в спор с распространенными в социальных науках идеями о пришествии постиндустриального общества, о конце промышленности, труда, индустриального рабочего класса и т.д. [12]. Он полагает, что в последние десятилетия произошла трансформация пролетарского класса западных стран: лица наемного труда превратились из промышленных армий в массу работников сервисного и торгового труда, что привело к ослаблению профсоюзов в странах Севера, к превращению этих стран в периферию глобального рабочего класса. Несс указывает, что ученые в развитых странах делают акцент на изучении неструктурированных и нерегулируемых рынков труда – прекариате, представителях домашнего труда, сексуальных работниках, уличных торговцах, торговцах фаст-фудом из мобильных киосков, таксистах и других категориях, занятых главным образом в неформальной экономике. Но это только небольшая часть трудящихся планеты.

Несс подчеркивает, что индустриальный рабочий класс в современном глобальном обществе не исчез, а был воспроизведен в странах глобального Юга, причем в невиданных доселе масштабах, – пролетариат глобального Юга в начале XXI в. по своей численности превосходит рабочий класс глобального Севера времен его расцвета в середине XX в. Развитие глобального капитализма и политика неолиберализма после 1980-х гг. привели к перемещению индустриальных производств с глобального Севера на глобальный Юг, причем деиндустриализация западных стран сопровождалась индустриализацией глобального Юга и ростом мирового рабочего класса. Глобальный капитал привлекает дешевизна рабочей силы в этом макрорегионе и готовность трудящихся развивающихся стран работать на кабальных условиях.

Важную роль в формировании глобального рабочего класса играет массовая трудовая миграция – как с глобального Юга на глобальный Север, так и внутри этих макрорегионов. Трудовая миграция в развитые страны поощряется для того, чтобы увеличить резервную армию труда и поддерживать в них низкий уровень оплаты и тяжелые условия труда. Индустриализация Европы и Северной Америки в XIX–XX вв. в значительной мере зависела от притока рабочих-иммигрантов, чаще всего из сельской местности. Подобно этому, пишет Несс, современная индустриализация глобального Юга зависит от наличия огромных масс рабочих, мигрирующих из сельских территорий в индустриальные зоны. Бывшие сельские жители, вырванные из контекста традиционных социальных связей, став атомизированными, не осведомленными о своих правах и неорганизованными работниками, становятся наиболее эксплуатируемой и бесправной частью глобального рабочего класса.

Несс пишет, что глобальный неолиберальный капитализм эксплуатирует расовые, этнические, возрастные, кастовые и гендерные различия среди трудящихся с целью создания иерархической системы, которая предполагает фаворитизм для немногих (трудящиеся глобального Севера) и низкую заработную плату и тяжелые условия труда для большинства (трудящиеся глобального Юга). Уровень эксплуатации труда на глобальном Юге намного выше, чем в развитых странах. Условия труда и быта рабочих в странах глобального Юга напоминают картины, встающие со страниц книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Несс полагает, что стремительное капиталистическое развитие глобального Юга вновь сделало актуальными марксистские дебаты о природе рабочего класса. Индустриальное производство, ориентированное на экспорт, создает классовую структуру, развертывающуюся поверх национально-государственных границ. Несс полагает, что модели организации рабочего класса, сформированные в развитых странах в XX в. и нацеленные на мобилизацию рабочего класса в границах национальных государств, малоэффективны в условиях глобального капитализма и, более того, являются препятствиями для развития рабочего движения. Промышленные рабочие глобального Юга для защиты своих интересов должны прибегать к широкому спектру действий как внутри профсоюзов, так и вне их. Традиционные профсоюзы зачастую не способны защитить интересы трудящихся в условиях глобального капитализма – они либо возникли в другую эпоху (случай Индии), либо связаны с государством (случай Китая). По мере индустриализации стран глобального Юга в качестве ответа на жесткую эксплуатацию движение трудящихся по защите своих интересов будет возникать с неизбежностью, замечает И. Несс.

Американский ученый Д. Струна полагает, что классовый анализ в современную эпоху не устарел, а должен быть преобразован в соответствии с реалиями глобального капитализма [3]. Это предполагает выделение различий внутри глобального пролетарского класса. Таковыми являются, во-первых, физическая мобильность, развертывающаяся в национальном или всемирном масштабе, и, во-вторых, географические границы использования рабочей силы работников в рамках производственных циклов. Первое касается того, перемещается ли работник к месту производства или же он зафиксирован на этом месте, второе – того, перемещаются ли продукты труда к работнику (случай транснациональных производственных цепочек) или же продукты являются фиксированными географически (случай локальных производственных цепочек). В соответствии с этим Струна подразделяет глобальный пролетариат на шесть фракций.

Динамически-глобальная фракция включает работников, чья производственная активность и продукты труда диффузны по отношению к фирмам и национальным государствам, т.е. развертываются за их пределами. Работники этого типа мобильны, регулярно пересекают границы государств – их рабочая сила используется в рамках транснациональных производственных цепочек. К этой фракции относятся менеджеры среднего звена, координаторы проектов, профессионалы в области ИТ, журналисты, работники авиакомпаний. Природу этой фракции Струна выражает формулой «работник гибко движется к месту производства» [Ibid. P. 259].

Статически-глобальная фракция состоит из работников, производственная активность которых является географически фиксированной внутри национальных государств, но продукты их труда диффузны, распространяясь за их пределы. Работники этого типа жестко фиксированы в территориальном отношении в определенном звене транснациональной производственной цепи. Зарплата работников в этом случае может значительно варьировать в зависимости от места нахождения, квалификации и позиции в производственной цепочке. В связи с этим уровень развития классового сознания внутри фракции очень разный. К этой фракции относятся работники ИТ, сотрудники

call-центров, которые принимают звонки с разных континентов в течение суток, работники автосборочных конвейеров, работники транспорта и сферы услуг, члены голливудской гильдии сценаристов. Суть этой фракции – «продукт последовательно движется к работнику» [З. Р. 259].

Диаспорально-глобальная фракция включает работников, производственная деятельность которых диффузна в географическом отношении благодаря их трансграничным миграциям, причем продукты труда работников этого типа могут быть и не быть диффузными по отношению к фирмам и национальным государствам. Работники этого типа, как и представители первой фракции, перемещаются через границы государств, но их труд является нелегальным. Они трудятся в тяжелых условиях и являются объектом жесткой эксплуатации, причем капитал использует расовые и культурные различия внутри пролетариата. Существуют заметные различия в оплате и условиях труда работников этого типа в разных регионах мира. К этой фракции относятся сельскохозяйственные рабочие, работники сборочных конвейеров заводов, работники домашнего труда и сферы услуг. «Работник движется к месту производства» – резюмирует Струна [Ibid].

Динамически-локальная фракция включает работников, производственная деятельность которых диффузна по отношению к фирмам, но происходит внутри определенных национальных государств. Рабочая сила используется в рамках национальных производственных цепочек. К этой фракции относятся работники, связанные с торговлей, менеджеры, водители грузовиков, инженеры, работники железных дорог, врачи и другие профессионалы. Струна замечает: «Работник гибко движется к месту производства» [Ibid. P. 260].

Статически-локальная фракция включает в себя работников, производственная активность и продукты труда которых являются фиксированными в географическом отношении в рамках фирм и национальных государств. Представители этой фракции работают в промышленности и сфере услуг. Главным образом эта фракция существует в развивающихся странах, поскольку в развитых странах мало работников, включенных только в национальное разделение труда и ориентированных только на национальный рынок. «Продукт может (или не может) двигаться к работнику внутри локальных контекстов» [Ibid].

Диаспорально-локальная фракция включает в себя работников, производственная деятельность и продукты труда которых в географическом отношении диффузны внутри национальных государств. К этой фракции относятся работники, оторванные от своих прежних мест труда в результате экономических кризисов, стихийных бедствий. Примером могут послужить работники из так называемого «Ржавого пояса» штатов США, которые мигрировали в другие штаты. «Работник движется к местам производства внутри государств» [Ibid].

Динамически-глобальная фракция образует высший слой глобального пролетариата в силу высокой заработной платы, значительной автономии труда (в том числе по отношению к национальным государствам) и того, что ее представители нередко выполняют управленческие функции. При этом самой массовой является статическо-глобальная фракция. Если эта фракция окажется способной к транснациональной организации, то она сможет доминировать внутри мирового пролетарского класса. Если же диаспорально-

глобальная фракция сможет организовать в транснациональном масштабе и улучшить условия трудовой мобильности, а также обеспечить соблюдение прав мигрантов, то она сможет доминировать во внутриклассовой иерархии и стать авангардом борьбы глобального пролетарского класса за свои интересы.

Американский ученый М. Эннер на примере ситуации в мировой швейной промышленности выделил модели контроля над трудом и паттерны сопротивления трудящихся [13]. Эннер исходит из анализа 10 азиатских и латиноамериканских стран, являющихся ведущими экспортёрами швейной продукции в мире, что вполне логично, поскольку швейное производство в эпоху глобализации сконцентрировано главным образом в развивающихся странах. Эннер полагает, что в мировой швейной промышленности существуют три модели контроля над трудом: 1) контроль со стороны авторитарного государства; 2) контроль со стороны деспотического рынка; 3) репрессивный контроль предпринимателей.

Первая модель характерна для развивающихся стран с авторитарными государствами. В рамках этой модели труд контролируется с помощью системы законных и незаконных механизмов, призванных предотвратить или ограничить независимые организации работников и их коллективные действия по защите своих интересов. В этих странах нет эффективных независимых профсоюзов, а официальные профсоюзы выполняют второстепенные и декоративные функции. Это случай Китая и Вьетнама.

Вторая модель характерна для бедных развивающихся стран со слабыми государствами и низким уровнем жизни населения. В этих странах существует избыток дешевой рабочей силы. В таких странах рабочие не только получают очень низкую заработную плату, но и трудятся в тяжелых условиях, например при нарушении норм безопасности на рабочем месте, в аварийных зданиях, что нередко приводит к обрушению производственных сооружений и массовой гибели работников. В этих странах труд контролируется с помощью жесткого рынка труда: любой протест работников приводит к увольнению и последующей длительной безработице. Страх быть уволенным сдерживает протестную активность и организацию трудящихся. Это случай Бангладеш и Индонезии.

Третья модель характерна для развивающихся стран со слабыми и коррумпированными государствами и традициями вооруженной партизанской борьбы. Эта модель предполагает использование предпринимателями физического насилия против организаций трудящихся, профсоюзных и пролетарских активистов. Против активных участников пролетарского протеста используются избиения, похищения, убийства и иные формы насилия, что сдерживает участие трудящихся в борьбе за свои права. В качестве средства насилия предприниматели используют парамилитарные формирования, в состав которых входят, как правило, отставные или действующие в свободное от работы время военные, полицейские и сотрудники спецслужб. Эта модель главным образом характерна для Латинской Америки, и ее представляют случаи Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Колумбии.

Эннер подчеркивает, что вычленение трех режимов контроля над трудом служит эвристическим приемом, и эти модели являются идеальными типами в духе М. Вебера. В одной и той же стране они довольно часто сочетаются,

но все же можно говорить о преобладании той или иной модели в данной стране. Например, в Бангладеш доминирует рыночный контроль над трудом, но в этой стране рабочих нередко убивают во время трудовых конфликтов. Во Вьетнаме преобладает государственный контроль над трудом, но существует и контроль над ним со стороны деспотического рынка.

Эннер выделяет три паттерна протестной активности работников, указывая, что последние отчасти определяются моделями контроля над трудом. Во-первых, это стихийные забастовки, которые организуются быстро, являясь неожиданностью для предпринимателей, в силу чего их трудно предотвратить; во-вторых, международные соглашения, касающиеся прав трудящихся; в-третьих, трансграничная организация акций по защите интересов трудящихся. Работникам из стран с авторитарными государствами в большей степени подходят стихийные забастовки. В этом случае работники не склонны к международным акциям в духе пролетарского интернационализма – им важно «перехитрить» официальные профсоюзы. В странах с деспотическим рынком труда необходимостью является обращение к международным соглашениям с тем, чтобы использовать внешнее давление на свое государство. Трансграничные акции протеста адекватны условиям стран, в которых доминирует модель репрессий против труда. Эннер указывает, что сопротивление трудящихся в глобальной швейной промышленности нередко приводит к внушительным успехам.

Очевидно, что выделенные Эннером модели контроля над трудом и паттерны сопротивления применимы к любой отрасли экономики развивающихся стран, но не к развитым странам, в которых существуют мощные традиции защиты труда и где решение конфликтов между трудом и капиталом принимает цивилизованные формы.

Продолжительность рабочего времени

Рассматривая глобальный пролетариат, предпримем собственное исследование ряда аспектов его социального бытия. Важнейшими характеристиками положения пролетарского класса любой страны являются средние продолжительность труда, производительность труда и продолжительность жизни. Первая характеристика говорит о том, сколько приходится работать среднему работнику, вторая – сколько богатства он создает в единицу времени, следовательно, насколько развиты производительные силы страны, об уровне развитости и сложности труда, о том, насколько высок уровень квалификации и образования среднего работника, следовательно, насколько развита система образования и насколько интеллектуален средний работник, третья – о том, какие блага он получает за свой труд, в каких условиях приходится трудиться, что и приводит к удлинению или сокращению жизни. Средняя продолжительность жизни касается населения в целом, но в большинстве стран мира большинство населения – это лица наемного труда, и, следовательно, по этому показателю мы можем судить о продолжительности жизни именно пролетарских классов разных стран.

Если говорить о средней продолжительности труда, то, очевидно, наиболее показательными являются данные о ее среднегодовом измерении, что позволяет учесть выходные дни, праздники и отпуска в течение года, которые могут серьезно различаться в разных странах. Рассматривать продолжитель-

ность среднегодового рабочего времени в ведущих странах мира мы можем с помощью статистики сайта Our World in Data, который агрегирует официальные данные статистических ведомств ведущих стран мира. Сведения о производительности труда в этих странах мы можем почерпнуть, обратившись к статистике Международной организации труда, сведения о средней ожидаемой продолжительности жизни нам предоставит статистика Всемирного банка. В первом случае самые свежими являются данные за 2017, во втором – за 2019, в третьем – за 2018 г. Сведем эти данные воедино (таблица). Страны ранжированы по продолжительности труда в 2017 г.

Продолжительность рабочего времени, производительность труда и продолжительность жизни в ведущих странах мира*

Страна	Среднегодовая продолжительность рабочего времени, часы		Производительность труда в 2019 г., \$/час	Продолжительность жизни в 2018 г., годы
	В 2017 г.	Изменение с 2000 по 2017 г.		
Мексика	2 255	-56	41,55	74,99
Сингапур	2 238	-225	151,52	83,15
Малайзия	2 238	-65	61,29	76,00
Бангладеш	2 232	+15	10,07	72,32
ЮАР	2 209	-167**	42,21	63,86
Таиланд	2 185	-318	31,20	76,93
Китай	2 174	+84	32,00	76,70
Вьетнам	2 170	-224	11,97	75,32
Филиппины	2 149	+62	20,43	71,10
Индия	2 117	+30	21,18	69,42
Пакистан	2 096	-90	15,29	67,11
Южная Корея	2 063	-446	71,12	82,63
Польша	2 028	-54	64,49	77,60
Индонезия	2 024	+111	25,41	71,51
Греция	2 017	-91	69,82	81,79
Тайвань	1 990	-190	91,60	н/д
Россия	1 974	-8	52,97	72,66
Чили	1 974	-289	49,46	80,04
Израиль	1 921	-114	76,94	82,80
Португалия	1 863	-54	61,36	81,32
Турция	1 832	-105	72,30	77,44
Чехия	1 776	-120	68,25	79,03
США	1 757	-88	116,38	78,54
Япония	1 738	-121	75,38	84,21
Австралия	1 731	-123	91,13	82,75
Италия	1 723	-128	92,30	83,35
Бразилия	1 709	-129	32,23	75,67
Канада	1 696	-83	85,73	81,95
Аргентина	1 692	-170	42,09	76,52
Испания	1 686	-67	84,69	83,43
Великобритания	1 670	-23	81,37	81,26
Австрия	1 613	-185	94,64	81,69
Швеция	1 609	-33	95,16	82,56
Уругвай	1 552	-152	45,02	77,77
Бельгия	1 544	-51	103,78	81,60
Франция	1 514	-36	96,45	82,72
Нидерланды	1 430	-32	97,62	81,81
Дания	1 400	-66	97,70	80,95
Германия	1 354	-98	90,49	80,89

* Составлено и подсчитано по: [14–16].

** С 2001 по 2017 г.

Продолжительность рабочего времени в 2017 г. в разных странах мира сильно различалась. Свыше 2 000 часов в год в среднем трудились работники в Мексике, странах Восточной и Южной Азии, ЮАР, Польше и Греции. Заметим, что Греция является единственной из развитых стран, характеризующихся подобным сверхтрудом. Примечательно, что продолжительность труда в группе стран сверхтруда примерно соответствует уровню развитых стран 1938 г. – в этом году в Нидерландах трудились 2 281, в Дании – 2 203, в Великобритании – 2 200, во Франции – 2 198, в Бельгии – 2 196, в Германии – 2 187, в Италии – 2162, Швеции – 2 131 час. Лидирующее положение Мексики в группе стран сверхтруда позволяет нам более многопланово понять массовую эмиграцию мексиканцев в США – уехать на север от Рио-Гранде означает не только больше зарабатывать, но и меньше работать: средний мексиканец в 2017 г. работал на 498 часов больше, чем средний американец.

Менее 1 700 часов в 2017 г. в среднем длился труд в странах Западной Европы, а также в Канаде, Аргентине и Уругвае. Лидеры по кратковременности труда – страны континентальной Западной Европы – являются бастионом социал-демократического варианта капитализма, «капитализма с человеческим лицом», который в политической риторике США часто называют «социализмом». В 2017 г. средний немец трудился на 901 час меньше, чем средний мексиканец, и на 403 часа меньше, чем средний американец. Почти все «малоработающие» страны относятся к числу развитых. Исключения – Аргентина и Уругвай, с конца XIX и начала XX в. являющиеся наиболее передовыми странами Латинской Америки, к тому же населенными практически исключительно потомками европейских иммигрантов.

Израиль, Тайвань, Россию, Чили, Португалию, Турцию, Чехию, США, Японию, Австралию, Италию и Бразилию условно можно отнести к странам со средней продолжительностью труда (свыше 1 700 и менее 2 000 часов). В эту группу входят как развитые, так и развивающиеся страны. Заметим, что Россия лишь немного не дотянула до отметки в 2 000 часов, но, принимая во внимание значительный объем теневой экономики в нашей стране, то, что немалая часть работников трудится на двух-трех-четырёх работах, из которых статистика учитывает только одну, скорее всего, Россия по этому показателю уверенно входит в число самых работающих наций.

Статистика продолжительности рабочего времени позволяет скорректировать некоторые этнические гетеростереотипы, в частности широко распространенное представление о японцах как о нации работооголиков. В соответствии с этим стереотипом принято ссылаться на то, что в Японии нередки случаи смерти от переутомления на рабочем месте («кароси»). Однако статистика показывает, что современные японцы не относятся к числу самых трудолюбивых наций – они работают меньше, чем жители Турции, США, России, Чили, Чехии, Греции, не говоря уже о Мексике и странах Юго-Восточной Азии. Изучение динамики продолжительности труда во второй половине XX в. позволяет понять, как возник этот гетеростереотип. В 1950 г. японцы трудились меньше, чем жители почти всех западноевропейских стран, правда, немного больше, чем американцы, но уже в 1960 г. Япония по продолжительности труда опередила большинство западных стран, и ее пребывание в числе лидеров по продолжительности среди развитых стран продолжалось примерно до 2014 г. С 2015 г. японцы работают уже меньше, чем

американцы, но больше, чем западноевропейцы. При этом японцы после Второй мировой войны всегда работали меньше, чем греки, португальцы, латиноамериканцы, тайваньцы и южнокорейцы [14].

Заметим, что сопоставление продолжительности и производительности труда в разных странах обнаруживает, что, как правило, они связаны обратной пропорциональной зависимостью. В подавляющем большинстве случаев высокая производительность труда говорит о высоком уровне развития страны, поскольку за ним стоит применение передовых средств производства, высокая квалификация работников, высокий уровень развития образования и т.п.¹ Лишь в Сингапуре, Южной Корее и на Тайване значительная продолжительность труда сочетается с высокой производительностью, что говорит о высокой степени эксплуатации рабочей силы, и это является одним из оснований стремительного роста этих стран в последние десятилетия XX в.

Показательны данные о динамике продолжительности труда. В большинстве стран с 2000 по 2017 г. произошло сокращение среднегодового рабочего времени, причем в некоторых случаях оно было очень значительным (в Южной Корее, Таиланде, Чили, Сингапуре и Вьетнаме). Заметно уменьшилось время труда в развитых странах, в которых оно и без того было не столь значительным. В России сокращение продолжительности труда было очень незначительным, можно сказать, что оно практически не изменилось. Это означает, что нынешнему поколению работников приходится трудиться столько же, сколько и их родителям. В Китае, Индии, Бангладеш, Индонезии и на Филиппинах ситуация выглядит еще более драматичной: среднее рабочее время увеличилось. Заметим, что это страны, которые в недавнем прошлом либо осуществили промышленную революцию, либо близки к этому.

Продолжительность труда и развитие производительных сил

В развитых странах снижение продолжительности труда началось еще во второй половине XIX или в начале XX в. В 1870 г. средняя продолжительность труда в промышленности развитых стран была огромной и намного большей, чем ныне в Мексике и Юго-Восточной Азии – 3 483 часа в Бельгии, 3 436 в Швеции, 3 434 в Дании, 3 284 в Германии, 3 168 во Франции, 3 096 в США, 2 755 часов в Великобритании [Ibid]. Британские ученые Ч. Жаттино, Э. Ортис-Эспина и М. Розер, ссылаясь на историческую статистику, касающуюся западноевропейских стран и США, указывают, что осуществление промышленной революции во второй половине XIX и начале XX в. вело к последующему снижению продолжительности рабочего времени в этих странах [Ibid]. Впоследствии продолжительность труда неуклонно сокращалась, хотя и нелинейно. В частности, после Второй мировой войны произошел всплеск продолжительности труда в странах – участницах войны, особенно в побежденных странах – Германии, Италии и Японии, что вполне объяснимо.

¹ Исключением служат находящиеся вне орбиты нашего анализа небольшие страны с исключительными географическими условиями – громадной концентрацией полезных ископаемых (нефти и газа) – Катар, Кувейт, ОАЭ, Бруней и др. В их случае высокий среднедушевой ВВП и высокая производительность труда обусловлены не высоким уровнем развития производительных сил страны, а огромной природной рентой. Отчасти это относится и к Сингапуру, поскольку его высокие показатели обусловлены во многом территориальной рентой, связанной с выгодным положением на пересечении транспортных коммуникаций.

Случаи Китая, Индии, Бангладеш, Вьетнама и Филиппин, а еще ранее – Южной Кореи, показывают более сложную ситуацию: завершение промышленной революции приводит на первых порах (на 10–20 лет) к росту продолжительности труда, и лишь потом время труда начинает снижаться. По всей вероятности, это связано с тем, что индустриализация стран Южной и Восточной Азии происходила и происходит в условиях острой конкуренции в глобальной экономике, тогда как в эпоху индустриализации Западной Европы и США глобальной конкуренции еще не существовало.

В чем причина всемирного сокращения продолжительности труда в ходе последнего века? Марксисты-догматики объяснили бы ее, вероятно, результатами классовой борьбы, а сокращение времени труда в период с 1917 по 1991 г. связали бы с влиянием примера СССР и других стран социализма, что, безусловно, отчасти верно¹. Но, как представляется, большее значение имела другая причина, а именно прогресс производительных сил. И это, кстати, вполне логично вытекает из «Капитала» К. Маркса.

Развитие производительных сил, о котором мы судим по росту производительности труда, предполагает применение все более совершенных средств производства, превращение науки в непосредственную производительную силу, точнее, взаимопроникновение науки и производства, распространение наукоемких / высокотехнологических отраслей экономики, что требуют более образованного и квалифицированного работника. Это, в свою очередь, означает высокий уровень фундаментальной и прикладной науки, а также системы образования. Развитие труда обуславливает необходимость освоения работником духовной культуры человечества.

В современном мире одним из важнейших индикаторов развития производительных сил является использование промышленных роботов, т.е. самоуправляющихся машин. Практическое применение промышленных роботов началось в 1961 г. в США, и с того времени их количество во всем мире непрерывно росло. В 2019 г. в мире эксплуатировалось 2,722 млн промышленных роботов – больше, чем когда-либо [17. Р. 8]. В 2020 г. было введено в эксплуатацию еще 373 тыс. новых промышленных роботов [Ibid. Р. 12]. Более всего роботы в 2019 г. применялись в автомобильной промышленности – 923 тыс., в электротехнической и электронной промышленности – 672 тыс., в металлургии и машиностроении – 281 тыс., в производстве пластмасс и химической промышленности – 182 тыс., в пищевой промышленности – 81 тыс. штук [Ibid. Р. 10]. Роботы применялись для выполнения рутинных операций, которые часто либо требуют недостижимой для человека быстроты, точности и однородности, либо происходят в опасных для человека условиях. Речь идет о погрузочно-разгрузочных работах, сварке, сборке, уборке производственных помещений с высокими технологическими требованиями к чистоте, фасовке, а также обработке сырья и полуфабрикатов.

Промышленные роботы применялись в мире крайне неравномерно: 73% используемых промышленных роботов приходилось всего на 5 стран – Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию, что и позволяет считать

¹ Возникновение и развитие СССР, а затем и других социалистических стран, по всей вероятности, косвенно воздействовало на сокращение продолжительности рабочего времени в развитых капиталистических странах: сокращение территории мировой капиталистической системы (экстенсивный фактор) подталкивало развитие производительных сил (интенсивный фактор).

их 5 ведущими индустриальными державами современного мира. В 2019 г. в Китае было введено в эксплуатацию 140,5 тыс., в Японии – 49,9, в США – 33,3, в Южной Корее – 27,9, в Германии – 20,5, в Италии – 11,1, во Франции – 6,7, на Тайване – 6,4, в Мексике – 4,6, в Индии – 4,3, в Испании – 3,8, в Канаде – 3,6, в Таиланде – 2,9, в Польше – 2,6, в Чехии – 2,6 тыс. промышленных роботов [17. Р. 16].

Важным показателем, помимо абсолютного количества применяемых промышленных роботов, является плотность их применения. В 2019 г. в среднем в мире на 10 тыс. работников приходилось 113 промышленных роботов. Самая большая плотность их использования была характерна для Сингапура – 918 штук на 10 тыс. работников. Далее следовали: Южная Корея (855), Япония (364), Германия (346), Швеция (277), Дания (243), Гонконг (242), Тайвань (234), США (228), Италия (212), Бельгия и Люксембург (211), Нидерланды (194), Испания (191), Австрия (189), Китай (187), Франция (177), Словакия (169), Канада (165), Швейцария (161), Словения (157) [ibid. Р. 17]. Для России характерно чрезвычайное отставание в области роботизации не только от лидеров, но и от стран со средним уровнем роботизации: в 2017 г. в российской промышленности использовалось всего 4 (!) робота на 10 тыс. работающих [18]. При этом только 4% промышленных роботов, установленных в нашей стране, были произведены в России [19]. Мы видим, что, как правило, существует закономерность: чем выше плотность применения промышленных роботов, чем выше уровень развития производительных сил и меньше продолжительность труда. Исключения – Сингапур, Южная Корея и Тайвань, что уже было пояснено выше.

Применение промышленных роботов является наиболее типичной формой проявления автоматизации производства. Начало автоматизации труда обуславливает, во-первых, тенденцию завершения перехода от физического к умственному труду, во-вторых, начало перехода от рутинного умственного к частично или даже преимущественно творческому труду¹.

Труд, который в той или иной степени является творческим, предполагает тенденцию полного внутреннего подчинения работника процессу труда в связи с тем, что творчество означает всестороннее развитие личности работника, и труд, в котором заметную роль играют творческие компоненты, становится внутренней потребностью работника. В отличие от этого труд, основанный на господстве рутинных операций, предполагает лишь одностороннее развитие или даже несет вред личности работника, и такой труд может быть лишь внешней необходимостью и осуществляться ради его результатов – чаще всего денег. Труд, основанный на господстве творческих операций, осуществляется ради единства процесса и его результатов. Творческая деятельность, означающая развитие личности индивидуума, отрицает временные пределы труда, происходит исчезновение границ между рабочим временем и временем жизни, поскольку работник посвящает поиску решения творческих задач все свое время, в том числе возникает и соответствующая ориентация всего сознания человека, включая сферу бессознательного. Ра-

¹ Любой физический труд является рутинным, т.е. основанным на господстве повторяющихся операций, тогда как умственный труд может быть как рутинным, так и творческим. При этом творческий труд в некоторых случаях сопряжен со значительными физическими усилиями. Примером может послужить труд скульптора.

ботник творческого труда тяготеет к превращению в некое подобие великого химика Д.И. Менделеева, который видел сны, содержащие решения обуревавших его научных задач. Развитие производительных сил постепенно снимает одну из кантовских антиномий чистого разума – антиномию о свободе и необходимости в духе тезиса: человек оказывается подчиненным уже не только причинности по законам природы, необходимости (труду ради заработка), но и свободе (творческому саморазвитию). Творчество – это и есть свобода.

Однако в условиях капитализма задачи творчеству ставит в первую очередь капитал, хотя и он не может полностью его себе подчинить, поскольку природа капитала противоречит творчеству. Это обусловлено тем, что капитал есть бесконечное накопление стоимости посредством присвоения прибавочной стоимости, т.е. однородной субстанции, которая поддается калькуляции (количественному анализу). Отношения капитализма и творчества противоречивы: с одной стороны, зрелый капитализм порождает творчество как относительно массовое явление, с другой – ограничивает его, стремится держать его под уздой присвоения прибавочной стоимости, с третьей – сдерживать творчество капитализму удастся лишь отчасти. При капитализме будет доминировать тенденция подчинения творчества повторяющемуся труду. В частности, это проявляется в стремлении превращать интеллектуальный продукт в частную собственность и в явлении интеллектуального пиратства. Все это выступает как современная форма открытой К. Марксом и Ф. Энгельсом еще в «Немецкой идеологии» диалектики производительных сил и производственных отношений.

Работник с развитием производительных сил, ростом автоматизации продолжает работать и вне рабочего места, а возникающее свободное время становится формально свободным. В этих условиях формальное сокращение продолжительности труда может сопровождаться его реальным увеличением. Таким образом, сокращение продолжительности рабочего времени в мире во многом обусловлено не столько тем, что люди начинают меньше работать, а тем, что происходит преобразование труда – форма, предполагающая деятельность на рабочем месте на территориально ограниченном предприятии и под непосредственным контролем капитала, вытесняется формой, предполагающей деятельность вне предприятия (на предприятии, рассеянном в пространстве) и под опосредствованным контролем капитала. Труд в современную эпоху не исчезает, а трансформируется. Яркими примерами такого труда является деятельность фрилансеров, которые уже полностью отделены от рабочего места на предприятии, труд ученых, преподавателей университетов, конструкторов, журналистов и ряда других профессиональных групп. Это показывает ограниченность идеи «конца труда» в духе Д. Рифкина¹ [20], которая к тому же не учитывает существования глобальной экономики, глобального разделения труда и возникновения глобального пролетарского класса, на что справедливо указал И. Несс.

¹ Д. Рифкин обосновывал «конец труда», в частности, ссылкой на рост безработицы в результате технологического прогресса. Однако он в этом оказался не прав: в 2005 г. доля безработных в странах Организации экономического сотрудничества и развития составляла 6,83%, в 2019 г. – 5,39% экономически активного населения. В США этот показатель был равен 5,07 и 3,67% соответственно [21].

Развитие производительных сил, автоматизация производства и рост творческого содержания труда предполагают рост уровня интеллекта работников. В эпоху автоматизации производства пожизненное совершенствование образования и самообразования работников становится необходимостью. Высокий интеллект, собственно, и означает способность решать нестандартные задачи, т.е. творить. Работник автоматизированного производства лучше, чем любой другой работник в истории, понимает закономерности, осознает свои интересы и сложнее поддается манипуляции, что означает коренное изменение положения трудящихся классов. Таким образом, положение Гегеля об истории как о прогрессе разума и свободы находит еще одно подтверждение.

Продолжительность жизни и ее факторы

Как показывает таблица, существует тенденция сопряженности высокой продолжительности жизни с высокой производительностью труда, что вполне закономерно: больший уровень развития производительных сил общества обуславливает больший уровень богатства страны и ее среднего гражданина, более благоприятный (с точки зрения и количества, и качества) уровень потребления, более высокий уровень медицинской помощи и образования, наконец, более высокий уровень интеллекта населения, что и результируется в более высокой продолжительности жизни.

Однако обусловленность высокой продолжительности жизни высокой производительностью труда является тенденцией, а не абсолютным законом, поскольку есть немало случаев, когда страна с более высокой производительностью труда характеризуется более низкой продолжительностью жизни. Например, производительность труда в США, Германии и Дании выше, чем в Японии, Испании, Израиле, Южной Корее, Греции и Португалии, но последние по продолжительности жизни заметно превосходят первых.

Особый интерес представляет случай Чили. Россия, едва превосходя Чили по производительности труда (при полностью тождественной продолжительности труда), значительно уступает ей по продолжительности жизни. США превосходит Чили по производительности труда более чем в два раза, чилийцы работают заметно больше, чем американцы, но американцы живут меньше, чем чилийцы. Чили ненамного превосходит соседние с ней Аргентину и Уругвай по производительности труда, но заметно опережает их по продолжительности труда. Это беспрецедентный случай и своего рода чилийский парадокс: уровень богатства – как в развивающихся, продолжительность жизни – как в развитых странах.

На мой взгляд, подобное несоответствие следует объяснить тем, что, хотя уровень социально-экономического развития и является основным фактором продолжительности жизни в любой стране, на нее влияют также и природные и природно-социальные факторы, а именно географическое положение, климат и во многом связанные с ними кулинарные традиции. Анализ вышеназванных случаев заставляет предполагать, что благотворно действуют на здоровье людей и способствуют удлинению жизни, с одной стороны, мягкий климат и близость теплого моря (океана), а с другой – обусловленные этим особенности кухни, т.е. потребление пищи, включающей обилие рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. Речь идет о типе кухни, которую принято называть средиземноморской. Суровый климат, удален-

ность от теплого моря (океана), кухня, основанная на потреблении в первую очередь мяса, картофеля, мучных изделий, равно как и фастфуда, воздействуют на здоровье людей не столь благотворно и не столь способствуют росту продолжительности жизни, как средиземноморская пища.

Чилийский парадокс, на мой взгляд, может быть объяснен аналогичным образом. Для этой латиноамериканской страны характерны средиземноморский климат и выход к теплому Тихому океану. Индикатором мягкости чилийского климата является то, что в этой стране развито виноградарство и виноделие, а чилийское вино ценится во все мире. Чили представляет собой очень длинную и узкую полосу тихоокеанского побережья, и, если использовать такой индикатор, как отношение площади страны к протяженности побережья, то эта страна является, вероятно, самой морской в мире. Благодаря этому Чили можно условно считать даже в большей степени средиземноморской страной, чем страны собственно Средиземноморья. Особенности географического положения страны обуславливают огромную роль в чилийской национальной кухне рыбы, морепродуктов, водорослей, овощей и фруктов, что вкупе с мягким климатом благотворным образом воздействует на здоровье ее граждан, включая, разумеется, и трудящийся класс. Следовательно, положение пролетарского класса в разных странах планеты обусловлено не только социально-экономическими, но и природными и социально-природными факторами.

Заключение

Глобальный капитализм XXI в. делает неизбежным формирование глобального пролетарского класса, интегральными компонентами которого являются трудящиеся классы всех стран мира, причем их национальная принадлежность в силу включения в мировое разделение труда и благодаря растущим миграциям и удаленной работе размывается с каждым днем. Для адекватного исследования положения глобального трудящегося класса в первую очередь следует рассматривать развитие производительных сил, мировое разделение труда, социально-классовую структуру, социально-классовые отношения и другие социальные факторы, что обычно и делают ученые, изучающие развитие этого класса. Однако необходимо снять социологизаторскую ограниченность, которая присуща большинству социологических и социально-философских концепций, включая классический марксизм и неомарксизм. Большое значение для положения работников имеют и природные факторы, как показало наше исследование. В частности, относительная невысокая продолжительность жизни в России обусловлена не только неблагоприятными социально-экономическими факторами (бедность большинства населения, невысокое качество пищи, недостаточное развитие системы здравоохранения, неблагоприятная экология и т.п.), но и суровостью климата и особенностями национальных традиций питания. Исследование диалектики социальных и природных факторов необходимо для улучшения положения трудящихся классов. Развивая производительные силы, автоматизацию производства и интеллектуализацию труда, защищая интересы трудящихся классов, следует учитывать и природные факторы, которые в немалой степени влияют на качество жизни и на ее продолжительность. Безусловно, климат и географическое положение той или иной страны не поддаются из-

менению, и мы не в силах, например, перенести ту или иную страну к теплому морю, но кулинарно-гастрономические традиции, будучи вполне историчными, поддаются корректировке. Проблема влияния географических и кулинарных факторов на продолжительность жизни человека подлежит дальнейшему изучению.

Литература

1. *Robinson W., Harris J.* Toward a Global Ruling Class. Globalization and the Transnational Capitalist class // *Science & Society*. 2000. Vol. 64, № 1. P. 11–54.
2. *Robinson W.* Global Capitalism and the Crisis of Humanity. New York : Cambridge University Press, 2014.
3. *Struna J.* Toward a Theory of Global Proletarian Fractions // *Perspectives on Global Development and Technology*. 2009. № 8. P. 230–260.
4. *Lüthje B., Hürtgen S., Pawlicki P., Sproll M.* From Silicon Valley to Shenzhen. Global Production and Work in the IT Industry. Lanham : Rowman & Littlefield, 2014.
5. *Dyer-Witheford N.* Cyber-Proletariat. Global Labour in the Digital Vortex. Toronto : Pluto Press, 2015.
6. *Gypsy Scholars, Migrant Teachers and the Global Academic Proletariat. Adjunct Labour in Higher Education* / ed. by R. Teeuwen, S. Hantke. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2007.
7. *Towards Better Work. Understanding Labour in Apparel Global Value Chains* / ed. by A. Rossi, A. Luinstra, J. Pickles. New York : Palgrave Macmillan, 2014.
8. *Labour Relations in the Global Fast-Food Industry* / ed. by T. Royle, B. Towers. London ; New York : Routledge, 2002.
9. *Gender in Transnational Knowledge Work* / ed. by H. Peterson. Switzerland : Springer International Publishing, 2017.
10. *Lu Y., Samaraturunge R., Härtel C.E.J.* Skilled Migration, Expectation and Reality. Chinese Professionals and the Global Labour Market. Burlington : Gower, 2015.
11. *Global Perspectives on Workers' and Labour Organizations* / ed. by M. Atzeni, I. Ness. Singapore : Springer, 2018.
12. *Ness I.* Southern Insurgency. The Coming of the Global Working Class. London : Pluto Press, 2016.
13. *Anner M.* Labor Control Regimes and Worker Resistance in Global Supply Chains // *Labor History*. 2015. Vol. 56, № 3. P. 292–307.
14. *Giattino C., Ortiz-Espina E., Roser M.* Working Hours. URL: <https://ourworldindata.org/working-hours> (accessed: 21.12.2020).
15. International Labour Organization. Statistics on labour productivity. URL: <https://ilo-stat.ilo.org/topics/labour-productivity/> (accessed: 10.12.2020).
16. World Bank. Life expectancy at birth, total (years) URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN> (accessed: 06.12.2020).
17. *Presentation World Robotics 2020* // International Federation of Robotics. URL: https://ifr.org/downloads/press2018/Presentation_WR_2020.pdf (accessed: 04.12.2020).
18. *Five Trends in Russian Robotics* // International Federation of Robotics. URL: <https://ifr.org/post/five-trends-in-russian-robotics> (accessed: 04.12.2020).
19. *Industrial Robots Market in Russia Remains Small Despite Significant Growth* // *Russia Business Today*. 2019. September 20. URL: <https://russiabusinesstoday.com/manufacturing/industrial-robots-market-in-russia-remains-small-despite-significant-growth/> (accessed: 04.12.2020).
20. *Rifkin J.* The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. New York : G.P. Putnam's Sons, 1995.
21. *Unemployment rate* // OECD. Data. URL: <https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm> (accessed: 12.05.2021).

Azat B. Rakhmanov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: azrakhmanov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 122–138.

DOI: 10.17223/1998863X/62/11

ROBOTS, FREE TIME, MEDITERRANEAN CUISINE AND CHILEAN PARADOX: DEVELOPMENT OF THE GLOBAL PROLETARIAN CLASS

Keywords: global capitalism; transnational classes; global proletariat; robots; work; life expectancy; climate, cuisine

The genesis of global capitalist society envisages the appearance of classes embracing the whole humanity – transnational (global) capitalist class and transnational (global) proletarian class. The concepts of American scholars I. Ness, D. Strun and M. Enner, dedicated to various aspects of existence of the global proletarian class, are discussed in the article. The author undertakes a research on the duration of working time, productivity of work and life time as the main characteristics of the social being of proletarian classes in the leading world countries. One of the indexes of development of the country's productive powers is the use of industrial robots. The productive powers development and work productivity growth result in gradual displacement of manual work by intellectual work and in increase of the creative content of work. These processes lead to a decrease of working time and appearance of the free time phenomenon. The labor and trade union movement in Western countries and the example of the social policy in the USSR also contributed to a decrease in the duration of working time, but were of secondary significance. At the same time, the decrease of the set duration of labor at enterprises does not mean the “end of labor” since creative labor technically fills in the free time. The border between working time and free time in the conditions of high-tech economy vanishes. The analysis of the leading world countries demonstrates that life time depends not only on social and economic factors (income, quality and quantity of commodities, level of medicine and education, etc.), which is finally determined by the level of the country's productive powers development. The geographic location (proximity to a warm sea or an ocean), climate and nature of national nutrition traditions influence life time. It is prompted by the paradox of Chile: being a developing country with an average level of work productivity, life time in the country is close to developed countries or even overpasses them.

References

1. Robinson, W. & Harris, J. (2000) Toward A Global Ruling Class. Globalization and the Transnational Capitalist class. *Science & Society*. 64(1). pp. 11–54.
2. Robinson, W. (2014) *Global Capitalism and the Crisis of Humanity*. New York: Cambridge University Press.
3. Struna, J. (2009) Toward a Theory of Global Proletarian Fractions. *Perspectives on Global Development and Technology*. 8. pp. 230–260.
4. Lüthje, B., Hürtgen, S., Pawlicki, P. & Sproll, M. (2014) *From Silicon Valley to Shenzhen. Global Production and Work in the IT Industry*. Lanham: Rowman & Littlefield.
5. Dyer-Witheford, N. (2015) *Cyber-Proletariat. Global Labour in the Digital Vortex*. Toronto: Pluto Press.
6. Teeuwen, R. & Hantke, S. (2007) *Gypsy Scholars, Migrant Teachers and the Global Academic Proletariat. Adjunct Labour in Higher Education*. Amsterdam, New York: Rodopi.
7. Rossi, A., Luinstra, A. & Pickles, J. (2014) *Towards Better Work. Understanding Labour in Apparel Global Value Chains*. New York: Palgrave Macmillan.
8. Royle, T. & Towers, B. (eds) (2002) *Labour Relations in the Global Fast-Food Industry*. London, New York: Routledge.
9. Peterson, H. (2017) *Gender in Transnational Knowledge Work*. Switzerland: Springer International Publishing.
10. Lu, Y., Samarunge, R. & Härtel, C.E.J. (2015) *Skilled Migration, Expectation and Reality. Chinese Professionals and the Global Labour Market*. Burlington: Gower.
11. Atzeni, M. & Ness, I. (2018) *Global Perspectives on Workers' and Labour Organizations*. Singapore: Springer.
12. Ness, I. (2016) *Southern Insurgency. The Coming of the Global Working Class*. London: Pluto Press.
13. Anner, M. (2015) Labor Control Regimes and Worker Resistance in Global Supply Chains. *Labor History*. 56(3). pp. 292–307. DOI: 10.1080/0023656X.2015.1042771
14. Giattino, C., Ortiz-Espina, E. & Roser, M. (n.d.) *Working Hours*. [Online] Available from: <https://ourworldindata.org/working-hours> (Accessed: 21st December 2020).
15. International Labour Organization. (n.d.) *Statistics on labour productivity*. [Online] Available from: <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/> (Accessed: 10th December 2020).

16. World Bank. (n.d.) *Life expectancy at birth, total (years)* [Online] Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN> (Accessed: 6th December 2020).
17. International Federation of Robotics. (2018) *Presentation World Robotics 2020*. [Online] Available from: https://ifr.org/downloads/press2018/Presentation_WR_2020.pdf (Accessed: 4th December 2020).
18. International Federation of Robotics. (n.d.) *Five Trends in Russian Robotics*. [Online] Available from: <https://ifr.org/post/five-trends-in-russian-robotics> (Accessed: 4th December 2020).
19. *Russia Business Today*. (2019) Industrial Robots Market in Russia Remains Small Despite Significant Growth. 20th September. [Online] Available from: <https://russiabusinesstoday.com/manufacturing/industrial-robots-market-in-russia-remains-small-despite-significant-growth/> (Accessed: 4th December 2020).
20. Rifkin, J. (1995) *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. New York: G. P. Putnam's Sons.
21. OECD. (n.d.) *Unemployment Rate. Data*. [Online] Available from: <https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm> (Accessed: 12th May 2021).

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 321+325.2

DOI: 10.17223/1998863X/62/12

Н.В. Полякова

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ «УКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ РЕСПУБЛИКАНИЗМА»: ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Анализируется роль школьного образования в контексте эволюции французского политического республиканизма. Делается вывод, что на современном этапе во Франции можно наблюдать реактуализацию традиции по защите республиканских ценностей посредством школы. Отмечается, что система школьного образования используется в качестве инструмента по «укреплению республиканских принципов», подвергаясь реформированию с целью адаптации к новым вызовам национальной идентичности.

Ключевые слова: Франция, республиканизм, образование, школа, светскость

Свое практическое воплощение принципы республиканизма получили во Франции в период Великой Французской революции, когда были заложены конституционные и политико-культурные основания Республики, нашедшие дальнейшее развитие во французских республиканских образцах в последующие периоды ее политической истории, вплоть до современной, Пятой Республики (с 1958 г. по настоящее время). В своих истоках этот революционный республиканизм подпитывался и вдохновлялся «опытом Античности», в первую очередь исторической традицией Римской республики: «Римская республика оказала на деятелей революции еще более сильное влияние, чем греческая демократия, а такие консерваторы, как Катон и Брут, защищавшие устои республиканской конституции, стали символами антимонархических революций» [1. С. 35]. При этом для основателей французского политического республиканизма само понятие «республика», с одной стороны, наполнялось новым, близким к современному политическим смыслом, связанным с определенными институциональными особенностями и принципами управления, а с другой – сохраняло в себе традиционные, характерные еще для древнеримского контекста символические аспекты, ориентированные на ценности сообщества граждан, на «общее дело», «общий интерес»: «Для римлян последнего века Республики *res publica* было ценностным понятием, ассоциировавшимся с приоритетом интересов гражданской общины над чьими бы то ни было личными интересами, с верховенством традиции и закона, с *libertas*, связанной с функционированием народных собраний, сената и магистратур» [2. С. 11]. Как отмечают в связи с этим исследователи, «важно подчеркнуть, что в конкретной языковой практике *res publica* (как нечто „общее“, „общественное“, имеющее отношение ко всем!) семантически противостоит

ges privata (как „частному“, имеющему отношение к кому-то конкретно, отдельному лицу)» [3. С. 141].

В условиях крайне поляризованного на протяжении всей своей постреволюционной истории французского общества, характеризующегося в действительной жизни особой гетерогенностью, одним из важнейших вопросов, стоявшим перед политической элитой этой страны, был вопрос о том, как добиться гомогенности нации на политико-правом уровне, «каким образом интегрировать эти различные и противоборствующие силы в единый властный механизм, в единую политическую систему, чтобы последняя сохраняла стабильность и имела потенциал роста?» [4. С. 215]. Одним из вариантов ответа на этот вопрос во многом и стал политический проект республиканизма, вдохновляемый модернистской верой «в необходимость построения публичного республиканского пространства» на национальном уровне [5. С. 267]. В последующем, даже в условиях перманентных реформ, революций, конституционных и правительственных кризисов и смен политических режимов, этот проект преемственно, хотя и с растянувшейся почти на столетие временной отсрочкой, продолжал реализовываться во французском контексте в форме «Франции-республики», или «нации-республики». В своем монографическом исследовании отечественный историк и политолог А.М. Салмин обращал особое внимание на специфику французского республиканизма: «Идеал гомогенного политического сообщества, прочно овладевший общественным сознанием, но постоянно ставившийся под сомнение реальной пестротой общественной жизни, вызвал к жизни удивительное явление: Франция – едва ли не единственная страна Запада, в которой идея республики – нечто большее, чем форма государственного устройства и даже чем просто политический идеал...» [6. С. 169]. Великая Французская революция 1789 г., будучи, как в свое время точно подметил в своем труде «Старый порядок и революция» А. де Токвиль, по своему характеру социально-политической, но действуя по образцу религиозных революций, смогла впитать в себя универсалистский пафос христианства, который впоследствии придал французской версии республиканизма почти мессианское оформление и статус новой государственной религии – религии «без Бога, без культа и без иной жизни»: «Французская революция в отношении мира сего действовала совершенно так же, как действовали религиозные революции относительно мира иного; она рассматривала гражданина отвлеченно, вне любых частных сообществ, так же как и религии рассматривают человека вообще, независимо от страны и времени. Она пыталась определить не только особое положение французского гражданина, но и общие обязанности и права человека в политической области» [7. С. 23].

В свою очередь, изначально в рамках французского проекта республиканизма «...на первый план выходит идея светской революционной культуры как целостности, с определенного момента отождествляемой с идеями нации и республики» [6. С. 156]. Принцип светскости, выкристаллизовавшийся в революционном противостоянии церкви, общества и государства, становится одним из важнейших столпов, поддерживающих с самого начала свод Французской Республики (République Française). Как отмечает известный исследователь этой темы Морис Барбье, светскость – это «вопрос по преимуществу политический, а не религиозный» [8. Р. 14]. Разделение религиозного

и политического происходило во Франции на самом деле длительно и трудно: началось еще в предреволюционный период, утверждалось в ходе революционных потрясений и, растянувшись почти на целое столетие, было доведено до завершения только в период III республики – в законе 1905 г. о полном отделении церкви от государства, в результате чего религия была объявлена сугубо частным делом, независимым от действий светской власти, а утверждение принципа свободы вероисповедания дополнялось индифферентизмом государства к вопросам религии. В настоящее время, согласно Конституции 1956 г., Франция является светским государством и определяется как «светская Республика» (*République laïque*). Так, французский историк Клод Николе, один из видных специалистов в области изучения основ французского республиканизма и республиканской идеи в целом, утверждал, что «интериоризированная светскость» является «истинным путем Республики, которая, чтобы утвердиться в городе, должна сначала укорениться в сердце и разуме гражданина» [9. Р. 518]. Ведь формирование республиканского политического пространства черпает свои силы «в культурной однородности общества и его исторической преемственности» [10]. Поэтому одной из самых значимых сфер применения принципа светскости, заложенного в основание французской республиканской традиции, стало народное образование, которое было постепенно выведено из-под власти духовенства и церковных структур и передано в руки государства.

Во второй главе своей книги «О революции» Х. Арндт обращает внимание не на социальный, а в первую очередь на политический характер подхода к вопросу об образовании, который изначально сложился в среде «революционеров той поры»: «...образование считалось вопросом огромной важности не потому, что оно предоставляло каждому гражданину возможность подняться по социальной лестнице, а потому, что благосостояние страны и работа ее политических институтов напрямую зависели от образования ее граждан» [11. С. 93]. Действительно, уже в первые революционные годы вопрос об образовании политизируется и приобретает во французском контексте острое звучание, становясь важнейшим элементом как конституционных проектов, так и общественно-политических дискуссий в формате выступлений, докладов и публицистических текстов, стержнем которых выступала идея создания внесловной общенациональной системы школьного образования, соответствующей новым республиканским реалиям. Многие виднейшие деятели французской революции (например, Ш.-Л. Талейран, Ж.-А. Кондорсэ, Э. Сийес и др.) в эти годы разрабатывали и предлагали для публичного обсуждения проекты реформирования образовательной системы в целях формирования гомогенности нации и воспитания граждан в духе преданности родине.

Так, в своем известном докладе «Об образовании», представленном в 1791 г. Учредительному собранию, Шарль Морис де Талейран, рассматривая школы как своеобразные центры распространения национальной культуры, сформулировал главную задачу начального образования – воспитать детей как добрых граждан и счастливых людей. «Необходимо, чтобы декларация прав и принципы конституции сделались в будущем новым катехизисом детства, изучающимся с самых низших школ...» – призывал автор доклада, видя в изучении истории и конституции действительное основание

для новой системы образования [12]. В этом контексте особый интерес вызывают утверждения Талейрана о том, что задача школ не только в том, чтобы дать знания о конституции, но и научить ее защищать и даже совершенствовать. В рамках данного доклада школьные учреждения планировались как светские, но при этом преподавание «принципов религии» объявлялось обязательным, что, наряду с ограничением женского образования только начальным этапом, послужило причиной непринятия его проекта в революционных кругах. Учредительное собрание ограничилось только лишь включением в «Декларацию прав человека и гражданина», ставшую введением в Конституцию 1791 г., одного пункта из его доклада, согласно которому утверждались принципы всеобщности и бесплатности образования: «...будет обеспечено и организовано народное образование, общее для всех граждан, бесплатное в части, необходимой для всех людей...» [13. С. 115].

Развитие данной темы нашло свое продолжение в разработанном в недрах Комитета народного просвещения проекте философа-просветителя и политического деятеля революционной эпохи Жана Антуана де Кондорсэ, который принял самое деятельное участие в реформе народного образования, представив свой доклад Законодательному собранию в апреле 1792 г. В этом более демократическом по своей сути по сравнению с проектом Талейрана программном докладе, предполагавшем две ступени элементарного образования – начальную и повышенную, уже намечалась преемственность ступеней обучения, устранялись различия по половому признаку, полностью изымались элементы религиозного воспитания, а также провозглашался принцип бесплатности образования при его необязательном характере. Озвучив идею независимости образования от «всех политических влияний», Кондорсэ тем не менее считал необходимым сохранять зависимость школ от «собрания народных представителей» и определял их основной задачей формирование способностей «к выполнению общественных обязанностей». Кроме того, в своем выступлении философ-просветитель акцентировал особое внимание на принципе светскости в организации образования как важной гарантии воспитания граждан в духе государственной целесообразности: «Безусловно необходимо отделить от морали принципы каждой религии и не включать в народное образование преподавания какой бы то ни было религии» [14].

В этом же направлении развивались и предложения в области реформы образования еще одного крупного деятеля Великой французской революции Э.-Ж. Сийеса (аббата Сийеса), автора знаменитой брошюры «Что такое третье сословие?» (1789), которая произвела накануне революционных событий во Франции колоссальное впечатление на умы и стала своеобразным идейным символом борьбы третьего сословия за свои права. В июне 1793 г. Сийес принял участие в работе Комитета народного просвещения и разработал свою программу школьного образования, в соответствии с которой национальные школы должны были стать необходимой составной частью государственного устройства, обеспечивая «образование, необходимое для граждан Франции» (цит. по: [15. С. 98]). «Несомненно, пришло время принять меры по одной из самых настоятельных и самых запущенных нужд республики; поспешим же заново установить систему образования, но на основе плана более натурального, более национального, более сопоставимого с равенством, истиной и пользой, одним словом, более ценного для нашего общего будущего», – пи-

сал Сийес в Газете общественного просвещения, которую издавал в июне 1793 г. вместе с Кондорсе и др. (цит. по: [15. С. 100]). Настаивая на том, что образование – это «огромное, национальное учреждение», призванное посредством централизованного государственного управления и содержательного единообразия программ, использующих одни и те же учебники, обеспечивать систему единого в национальном пространстве просвещения, этот политический деятель следовал уже намеченной ранее общей тенденции определения роли школ как национальных агентств по развитию общественных добродетелей и обеспечению гомогенности общественной жизни. Его план явился еще одним шагом на пути выстраивания оснований для оформления специфики французской системы образования на национальном уровне. В рамках всех этих, а также многих других проектов был заложен фундамент и сформулированы важнейшие принципы организации образования на французской почве – принципы всеобщности, светскости, бесплатности и др., а также определены задачи системы образования как важной сферы государственного устройства, призванной формировать и укреплять общественные добродетели французских граждан.

Таким образом, уже изначально в рамках республиканской традиции организация школьного образования объявляется обязанностью и долгом государства перед своими гражданами. Самыми значимыми для становления системы школьного образования во Франции в практическом контексте уже в период III Республики стали реформы Ж. Ферри, министра образования при президенте-республиканце Жюле Гриви с 4 февраля 1879 г. по 20 ноября 1883 г., который на законодательном уровне закрепил все вышеобозначенные принципы, став, по устоявшемуся выражению, «архитектором», «отцом» республиканской школы, построенной на трех «китах»: светскости, бесплатности и обязательности. Два закона, внесенные Жюлем Ферри: закон о бесплатном школьном образовании от 16 июня 1881 г., устанавливающий бесплатное начальное образование в государственных школах, и закон об обязательном и светском начальном образовании от 28 марта 1882 г., согласно которому дети обоих полов в возрасте от 6 до 13 лет обязаны были посещать школу, а также принятый несколько позднее закон об организации начального образования от 30 октября 1886 г., получивший название закона Гобле по имени министра образования в 1885–1886 гг. Р. Гобле и предписывавший постепенную секуляризацию персонала государственных школ, стали важными этапами становления республиканского школьного образования на французской почве. В этих законодательных актах были определены принципы построения светской школы во Франции и преподавания в ней нравственности на светских принципах [16]. «Создатель светской школы во Франции Жюль Ферри больше ста лет назад произнес фразу, которая во Франции стала отражением содержания категории „светскость“ (la laïcité): „Светскость – это конец безупречности любой религии и конец безупречности государства“, понимая под этим прежде всего запрет на установление какой-либо религии или нерелигиозной идеологии в качестве общеобязательной», – отмечает в своей монографии российский исследователь И.В. Понкин [17. С. 21]. В сознании республиканцев 1880-х гг. консолидация республиканского политического режима, конституционно родившегося в 1875 г., должна была проходить именно через государственное образование: секуляризируя и демо-

кратизируя школу, они стремились освободить сознание граждан от влияния Церкви и сформировать общий гражданский дух.

Фигура Ж. Ферри, как и его деятельность на посту министра народного образования, которая первоначально вызывала далеко не однозначные оценки во французском обществе, приобрела впоследствии символический характер: принято не только ассоциировать его имя с самой известной во Франции реформой образования, заложившей основания республиканской школы как своеобразной «образовательной Республики» [18], но даже видеть в нем чуть ли не основателя самой Республики [19]. В аннотации к своей книге, посвященной Ж. Ферри, известный французский специалист по истории III республики Мона Озуф обращает внимание, что этот республиканский политик и законодатель был озабочен невозможностью прочного укоренения Республики в разделенной после революции стране и стремился своей образовательной политикой объединить французов, формируя умиротворенное видение прошлого, чтобы нарисовать общее будущее [20]. Действительно, основным результатом осуществления школьной реформы Ферри становится формирование во Франции на рубеже XIX–XX вв. общенационального культурного пространства республиканской политики, что имело долгосрочные положительные последствия для республиканской традиции в целом: «Обновленная Ферри школа заложила фундамент республиканского сознания нового поколения французов, чему утвержденный конституционно в 1875 г. шаткий политический режим во многом и оказался обязан своим долголетием» [21. С. 231].

На протяжении всей последующей эволюции с конца XIX в. до настоящего времени французская система школьного образования неоднократно претерпевала кризисы, корректировалась и дополнялась в своих законодательных, организационно-структурных и содержательных моментах, но всегда оставалась верна тем принципам «республиканской школы», которые были заложены в предшествующий период ее развития, и в первую очередь в «эпоху Ж. Ферри»: «Преамбулой Конституции Французской Республики 1958 г. подтверждается необходимость организации общественного бесплатного и светского образования всех ступеней, что является долгом государства, а также Кодексом об образовании» [22. С. 318]. Но в постколониальный период, с 60-х гг. XX в., страна столкнулась с новым обличьем старой проблемы культурной однородности нации-республики уже в лице этноконфессиональных иммигрантских сообществ. Политика ассимиляции, а затем интеграции иммигрантов проводилась во французском контексте в этот период по республиканской модели, или модели «республиканского универсализма», которая выстраивалась исключительно на индивидуальной основе без групповых посредников между индивидом и государством: «Республиканские принципы предполагают преодоление различий путем ассимиляции всех в одну „легитимную“ культуру, т.е. культуру принимающей французской нации» [23. С. 122]. При этом «...„абсорбция“ иммигрантов мыслилась как их социализация, и по мере становления республиканской системы образования все большая роль отводилась школе» [24. С. 13]. Но, как отмечают сегодня специалисты, опыт нескольких последних десятилетий XX – начала XXI в. показал, что такая модель, даже позднее дополненная некоторыми элементами мультикультурализма (например, в правовой сфере), на практике оказа-

лась малоэффективной (см.: [25]). Франция столкнулась с процессом создания внутри своего общества этнорелигиозных иммигрантских сообществ с собственной субкультурой, не соответствующей идеалам французской республиканской традиции национального единства, когда иммигранты «...компенсируют нестабильность своего социального положения, возвращаясь к своей культуре, религии, традициям, утверждая свою особую, нефранцузскую, идентичность» [26. Р. 38].

При этом классическая республиканская модель школьного обучения, основанная на принципе светскости, которая должна была традиционно сыграть основную роль в процессе социализации и интеграции детей иммигрантов во французское общество через приобщение к республиканским ценностям, не дала в итоге ожидаемых результатов. «Несмотря на официальную риторику равенства шансов и постановку задач формирования классов из учеников, принадлежащих к разным социальным кругам, велика поляризация между различными учебными заведениями – как по происхождению учеников, так и по итогам учебной деятельности. Усиливающиеся социальное расслоение учащихся, пауперизация пригородов привели к росту подростковой преступности и насильственных действий в учебных заведениях, токсикомании, увеличению числа столкновений на этнической почве и оттоку из ряда школ представителей благополучных слоев населения», – отмечает в своей статье российский исследователь специфики французской модели интеграции иммигрантов А.А. Преображенская, обращая внимание на ряд существенных проблем в системе школьного образования, ограничивающих потенциал школы как инструмента социализации и приобщения к республиканским ценностям [27. С. 27]. Это послужило поводом для новой волны публичных дискуссий во французском обществе и привело к очередным попыткам законодательного урегулирования сложившейся в школьном образовании проблемной ситуации, связанной, в частности, с деформацией республиканского принципа светскости. Так, например, чтобы гарантировать его соблюдение в новых для французского республиканизма условиях, в публичном пространстве долго дебатировался вопрос о допустимости использования религиозной символики в государственных образовательных учреждениях, вызвавший массовые протесты со стороны представителей мусульманской общины страны. В итоге закон, запрещающий в государственных школах, колледжах и лицеях ношение символов или элементов одежды, с помощью которых учащиеся могли бы демонстрировать свою религиозную принадлежность, известный более как «закон о хиджабах», был одобрен обеими палатами парламента подавляющим большинством голосов, 15 марта 2004 г. подписан президентом Франции Жаком Шираком, а 2 сентября того же года вступил в силу и начал активно применяться в государственной системе начального и среднего образования. Но, как отмечают сегодня некоторые исследователи, его принятие, направленное на конкретизацию закона 1905 г. об отделении церкви от государства и укрепление принципа светскости в школьной среде, не решило, а, скорее, усугубило проблему нарушения гомогенности французского общества как необходимой предпосылки республиканской традиции: «Закон 2004 г. гарантирует и обеспечивает светский характер школьного образования. Но школы превратились в „островки Рес-

публики“, за пределами которых развивается совершенно другая, зачастую чуждая республиканским нормам жизнь» [28. С. 6].

Во второй половине 2020 г., на фоне усиления внутри страны террористической активности со стороны радикальных исламистов, проблема школьного образования во Франции в очередной раз оказалась в центре политических и общественных дискуссий в связи с разработкой и утверждением нового закона «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению его инициаторов, в первую очередь действующего президента страны Эммануэля Макрона, призван защитить одну из важнейших республиканских ценностей – принцип светскости. Первоначально законопроект носил иное название – «О борьбе с исламским сепаратизмом», поскольку фактически по своему содержательному контенту был направлен против исламского радикализма, против создания «параллельных» сообществ внутри французского общества, которые живут вне его правил и законов, но под давлением общественности это название было переведено позднее в более политкорректную форму, а сам текст откорректирован на предмет прямых упоминаний об исламе. В программной речи «О сепаратизмах», произнесенной 2 октября 2020 г. в парижском пригороде Ле Мюро, Э. Макрон, анонсировав этот новый законопроект и описав его основные контуры, обратил внимание на то, что радикальный исламизм занимает пространство, «не занятое Республикой», «устанавливая свои законы, которые превалируют над законами Республики» [29]. В своей речи президент Французской Республики сделал ставку на два основных направления политики правительства по борьбе с радикальным исламизмом и реконструкции «республиканского порядка»: с одной стороны, ужесточение реакции со стороны государства на любые проявления такого «сепаратизма», противоречащие «республиканским принципам», а с другой – обещание новых образовательных возможностей в рамках государственной школы для тех, кто оказался по разным причинам удален от «республиканских ценностей».

Законопроект «Об укреплении республиканских принципов» в своей последней редакции содержит более 50 статей, которые направлены против роста в стране религиозного экстремизма, а также призваны противодействовать созданию «контробщества», состоящего из закрытых иммигрантских сообществ (например, контроль деятельности религиозных организаций и прозрачности их финансирования, меры по борьбе с разжиганием ненависти в социальных сетях, развитием практики полигамии и др.). Одна из статей нового законопроекта посвящена теме школьного образования как основного инструмента защиты подрастающего поколения от экстремистской идеологии и предполагает, что все дети с трехлетнего возраста должны будут в обязательном порядке посещать государственные школы (так называемая «материнская школа» как подготовка к начальной школе – *ecoles maternelles*), а также ставит под строгий контроль со стороны государства домашнее обучение, которое будет разрешено с 2022 г. только в исключительных случаях, например по медицинским показаниям. По отношению к частным школам, не получающим финансирования от государства, требования также будут усилены: в частности, тщательнее будут проверяться источники финансирования, содержание программ обучения и даже биографии сотрудников, что облегчит закрытие тех школ, где не будут соблюдаться принятые ими

обязательства уважения законов Республики [30]. Таким образом, власти хотят прекратить практику обучения детей мусульман внутри радикальных религиозных общин и вновь делают ставку на систему государственных школ как главный инструмент приобщения к «республиканским ценностям», сценаризированным принципом светскости.

Инициированный Э. Макроном законопроект, который эксперты рассматривают как один из шагов по повышению рейтинга действующего президента среди консервативно и националистически настроенного электората и связывают с предстоящими весной 2022 г. президентскими выборами, вызвал бурную ответную реакцию в обществе и достаточно жесткую критику как слева, так и справа. В левом спектре оппозиции данная правительственная инициатива разворачивается в основном по линии защиты мусульманского сообщества в стране: речь идет о риске его «стигматизации» в связи с новой правительственной инициативой. Но критика звучит и с правого фланга, в том числе со стороны представителей традиционных религиозных групп французского общества, например католиков и протестантов, которые опасаются, что принятие данного законопроекта значительно ограничит их конфессиональную деятельность, в том числе на уровне воспитания и образования. Лидер «Национального Объединения» Марин Ле Пен, главный соперник Э. Макрона на предыдущих президентских выборах и, как отмечают эксперты, один из основных конкурентов на предстоящих в 2022 г., при сохранении традиционно критической установки в отношении французской миграционной политики высказалась по поводу этого пункта нового законопроекта резко отрицательно, посчитав необходимым сохранить право родителей выбирать для своего ребенка форму образования, и саркастически отметила в одном из своих публичных выступлений, что правительство «...берет огромную мухобойку и бьет всех, вместо того чтобы убить комара» [31]. Раздавались критические голоса и среди специалистов в области французского образования, отмечающих, что данная статья нового законопроекта нарушает традиции «республиканской школы», поскольку до настоящего времени начальное школьное обучение, согласно закону Жюль Ферри от 28 марта 1882 г., было во Франции светским и обязательным для детей обоих полов с шести до шестнадцати лет, при этом в законе отмечалось, что оно может осуществляться «в государственных или частных школах или в семье», что было основным принципом его организации до новой законодательной инициативы [31]. По словам самого инициатора данного законодательного проекта, президента Франции Э. Макрона, это одно из «самых радикальных решений со времен законов 1882 г. и закона об объединении в школе мальчиков и девочек» [32]. Вероятно, поэтому и момент для рассмотрения его правительством был выбран символический – 9 декабря 2020 г., день 115-й годовщины принятия закона 1905 г. об отделении церкви от государства, а уже 16 февраля 2021 г. законопроект одобрило большинство голосов Национальное собрание Франции (документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65). 30 марта 2021 г. законопроект поступил на рассмотрение в верхнюю палату французского парламента – Сенат, где был принят в первом чтении, но некоторые его положения в результате обсуждения и интенсивных консультаций были на этом этапе скорректированы с тем, чтобы не создавать «неоправданных ограничений», в

том числе и по вопросу об образовании в семье (посредством отказа от преобразования нынешнего режима отчетности в режим разрешения). В итоге работы объединенной паритетной комиссии французского парламента, которая не пришла к соглашению по этим спорным положениям, законопроект должен быть заново пересмотрен в Национальном Собрании, а затем в Сенате [33].

Как утверждают исследователи, «...политика Пятой республики в образовательной сфере проделывает в последнее столетие путь от принципа равенства и четкого соответствия республиканским идеалам до попыток демократизации происходящих процессов и в конце концов к постановке „меньшинства“ в центр школьной программы, что неизбежно ведет к повышению влияния различных этноконфессиональных групп на всю систему образования в целом» [34. С. 75]. Но на современном этапе, в условиях усиления во французском обществе центробежных тенденций, которые разрушают «публичное республиканское пространство», можно говорить о попытках со стороны правящей элиты, подпитываясь «якобинской мечтой о единстве» [35], осуществить посредством системы школьного образования реактуализацию традиций по защите республиканских ценностей, когда, с одной стороны, школа продолжает рассматриваться в качестве важнейшего инструмента по «укреплению республиканских принципов», а с другой – подвергается реформированию, которое призвано адаптировать ее к новым условиям, создающим угрозу «национальной однородности» Французской Республики, ее национальной идентичности. Как утверждает французский социолог и политолог, член Конституционного совета Франции в 2001–2010 гг. Д. Шнаппер, «политика интеграции будет успешна в той мере, в какой французское общество проявит способность к реформированию и одновременно сохранит собственные ценности, не поддаваясь демагогии» [36. С. 471–472].

Литература

1. Егоров А.Б. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические системы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. Сер. 2. Вып. 4. С. 34–47.
2. Межеричский Я.Ю. Республиканская монархия: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М. : Калуга, 1994. 442 с.
3. Шистеров М.В. RES publica римского народа и универсалистское понимание государства: к дискуссии о «Римской республиканской государственности» // Вопросы всеобщей истории. 2013. № 15. С. 134–144.
4. Каневский П.В. Несколько уроков из истории развития французского республианизма // Пространство и Время. 2012. № 3 (9). С. 214–221.
5. Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М. : Институт Общегуманитарных Исследований, 2012. 288 с.
6. Салмин А.М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты (опыт Франции в сравнительной перспективе). М. : Наука, 1992. 333 с.
7. Токвиль А. де. Старый порядок и революция. СПб. : Алетейя, 2008. 248 с.
8. Barbier M. La laïcité. Paris : L'Harmattan, 1995. 312 p.
9. Nicolet Cl. L' idée républicaine en France. Paris : Gallimard, 2004. 528 p.
10. Республика – это община граждан : интервью с М. Ремизовым, 11.02.2016 г. // Русская идея : сайт консервативной мысли. URL: <https://politconservatism.ru/thinking/respublika-eto-obshhina-grazhdan> (дата обращения: 10.04.2021).
11. Арендт Х. О революции. М. : Европа, 2011. 464 с.
12. де Перигор Т., Морис Ш. Доклад о народном образовании // Педагогические идеи Великой Французской революции: речи и доклады Мирабо, Таллейрана-Перигора, Кондорсе и др.

/ пер. и вступ. статья О.Е. Сыркиной; под ред. и с предисл. А.П. Пинкевича. М. : Работник просвещения, 1926 // Исторические материалы. URL: https://istmat.info/files/uploads/28666/fr_projets-education_o-syrkina.pdf (дата обращения: 15.04.2021).

13. *Конституция* 3 сентября 1791 г. // Документы истории Великой Французской революции : в 2 т. / отв. ред. А.В. Адо. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. Т. 1. С. 112–141.

14. *Кондорсе Ж.Н.А.* Доклад об общей организации народного образования // Педагогические идеи Великой Французской революции: речи и доклады Мирабо, Таллейрана-Перигора, Кондорсе и др. / пер. и вступ. статья О.Е. Сыркиной; под ред. и с предисл. А.П. Пинкевича. М. : Работник просвещения, 1926 // Исторические материалы. URL: https://istmat.info/files/uploads/28666/fr_projets-education_o-syrkina.pdf (дата обращения: 15.04.2021).

15. *Дейсен Г.Дж. ван.* Сийес: его жизнь и национализм // Аббат Сийес: от Бурбонов к Бонапарту / сост., пер., вступ. ст. М.Б. Певзнера. СПб. : Алетейя, 2003. 224 с.

16. *Боберо Ж.* Светскость: французская исключительность или универсальная ценность? // Научный атеизм. URL: http://www.atheism.ru/library/Bobero_1.phtml (дата обращения: 24.04.2021).

17. *Понкин И.В.* Правовые основы светскости государства и образования. М. : Про-Пресс, 2003. 416 с.

18. *Lelièvre Cl.* Jules Ferry: la République éducatrice. Paris : Hachette éducation, 1999. 126 p.

19. *Jules Ferry*, fondateur de la République / F. Furet (dir.). Paris : EHESS, 1985. 256 p.

20. *Ozouf M.* Jules Ferry. La liberté et la tradition. Paris : Gallimard, 2014. 128 p.

21. *Бодров А.В.* «Лакей Бисмарка»? Жюль Ферри и Германия // Петербургский исторический журнал. 2014. № 1. С. 231–242.

22. *Кананыкина Е.С.* История французского законодательства об образовании XX века // Актуальные вопросы современной науки. 2012. № 22. С. 246–325.

23. *Соколова Т.С.* Политика интеграции иммигрантов: ассимиляционный подход // Власть. 2009. № 11. С. 121–123.

24. *Гордон А.В.* Ислам во Франции: опыт интеграции // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9. Востоковедение и африканистика : реферативный журнал. 2019. № 3. С. 5–53.

25. *Шмелева Н.В.* Республиканская модель или мультикультурализм? Политика Франции по интегрированию иммигрантов // Аллея науки. 2019. № 2 (29). С. 121–126.

26. *Viet V.* La France Immigrée: Construction d'une Politique, 1914–1997. Paris : Fayard, 1998. 510 p.

27. *Преображенская А.А.* Французская модель интеграции иммигрантов: испытание временем // Человек. Сообщество. Управление. 2017. Т. 18, № 3. С. 18–36.

28. *Осинов Е.А.* «Пока все хорошо. Но главное приземление». 15 лет закону о запрете ношения религиозной одежды во французской школе // Политика и общество. 2019. № 3. С. 1–7.

29. *Борьба с «исламистским сепаратизмом» во Франции: Макрон предложил решения // Международное французское радио (RFI). 2020. 2 октября. URL: <https://rfi.my/6dEG> (дата обращения: 23.04.2021).*

30. *Séparatisme: Macron annonce que l'école à domicile sera «strictement limitée» à la rentrée 2021 // Le Figaro. 2020. 2 octobre. URL: <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/emmanuel-macron-annonce-que-l-ecole-a-domicile-sera-strictement-limitee-a-la-rentree-2021-2020100> (accessed: 25.04.2021).*

31. *École obligatoire: de Condorcet à Jules Ferry, un débat français // Le Figaro. 2020. 6 octobre. URL: <https://www.lefigaro.fr/vox/societe/ecole-obligatoire-de-condorcet-a-jules-ferry-un-debat-francais-20201006> (accessed: 25.04.2021).*

32. *Projet de loi contre le séparatisme: l'instruction à l'école obligatoire des 3 ans // La Chaîne Info (LCI). 2020. 2 octobre. URL: <https://www.lci.fr/politique/projet-de-loi-contre-le-separatisme-l-instruction-a-l-ecole-obligatoire-des-3-ans-2166165.html> (accessed: 25.04.2021).*

33. *Principes de la République // Site officiel du Sénat. URL: https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/principes_de_la_republique.html (accessed: 14.05.2021).*

34. *Осинов Е.* Фактор национальной идентичности в современной Франции // Международная жизнь. 2016. № 12. С. 68–80.

35. *Валлерстайн И.* Беспорядки во Франции: восстание низших слоев общества // Скепсис : научно-просветительский журнал. URL: https://scepisis.net/library/id_410.html (дата обращения: 26.04.2021).

36. *Schnapper D.* Par delà de burka: les politiques d'intégration // Études. 2010. Т. 413, № 11. P. 461–472.

Natalia V. Poliakova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: belnata70@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 139–152.

DOI: 10.17223/1998863X/62/12

SCHOOL EDUCATION IN FRANCE AS A TOOL FOR “REINFORCING THE PRINCIPLES OF THE REPUBLIC”: RENEWING TRADITIONS

Keywords: France; republic; republicanism; education; school; secularism; general obligation

The article analyzes the role of school education in the context of the origin and subsequent evolution of French political republicanism, which was implemented in the form of “France-republic” or “nation-republic”. As noted in the article, the need to achieve the homogeneity of the nation at the political-right level in the conditions of the heterogeneous French society in reality brought to the fore the topic of the formation of a republican political culture cemented by the principle of secularism. One of the most significant areas of application of the principle of secularism, laid down in the foundation of the French republican tradition, was school education. Through various cases, both historical and modern, the article defines the French specifics of the use of the school as a tool for asserting republican values and maintaining the cultural homogeneity of the republican polity. Noting that since the 1789 French Revolution, the issue of school education in France has been politicized, the author of the article demonstrates how this problem has become an important element of sociopolitical discussions in the format of speeches, reports and journalistic texts (for example, the projects of Ch. M. de Talleyrand, N. de Condorcet, E. J. Sieyès, etc.), and in the practical plane was formalized in various constitutional and legislative acts. It is emphasized that the top of the legislative process in this area was the “laws of J. Ferry”, who is rightly considered the architect and creator of the French “republican school”. Thus, the foundations were laid and the most important principles of the organization of education – universal, secular, free of charge, etc. – on French soil were formulated, as well as the tasks of the education system as an important sphere of state structure designed to form and reinforce the public virtues of French citizens. Within the framework of the republican tradition, the organization of school education is declared an obligation and duty of the state to its citizens. Special attention is paid to the new draft bill “Reinforcing Republican Principles”, which was initiated in 2020 by French President Emmanuel Macron with the aim of reconstructing the “republican order” and protecting one of the most important republican values – the principle of secularism. It is concluded that, at the present stage in France, one can observe the reactualization of the tradition of protecting republican values through school. The school system is used as a tool of “reinforcing republican principles”, but is undergoing reform to adapt to the new challenges of national identity.

References

1. Egorov, A.B. (2009) Antichnaya demokratiya i rimskaya politicheskaya sistema (antichnye i sovremennye politicheskie sistemy) [Ancient democracy and the Roman political system (ancient and modern political systems)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta – Vestnik of St. Petersburg University*. 2(4). pp. 34–47.
2. Mezheritskiy, Ya.Yu. (1994) *Respublikanskaya monarkhiya: metamorfozy ideologii i politiki imperatora Avgusta* [Republican Monarchy: Metamorphoses of the Ideology and Politics of Emperor Augustus]. Moscow: Kaluga.
3. Shisterov, M.V. (2013) RES publica rimskogo naroda i universalistskoe ponimanie gosudarstva: k diskussii o “Rimskoy respublikanskoy gosudarstvennosti” [RES publica of the Roman people and the universalist understanding of the state: towards the discussion of the “Roman republican statehood”]. *Voprosy vseobshchey istorii*. 15. pp. 134–144.
4. Kanevskiy, P.V. (2012) Several Lessons from the History of the French Republicanism. *Prostranstvo i Vremya – Space and Time*. 3(9). pp. 214–221. (In Russian).
5. Korm, J. (2012) *Religioznyy vopros v XXI veke. Geopolitika i krizis postmoderna* [Religious question in the 21st century. Geopolitics and the postmodern crisis]. Translated from French by D.Yu. Kralachkin. Moscow: Institute of Humanitarian Research.
6. Salmin, A.M. (1992) *Sovremennaya demokratiya: genезis, struktura, kul'turnye konfliktki (Opyt Frantsii v sravnitel'noy perspektive)* [Modern Democracy: Genesis, Structure, Cultural Conflicts (French Experience in a Comparative Perspective)]. Moscow: Nauka.
7. Tocqueville, A. de. (2008) *Staryy poryadok i revolyutsiya* [The Old Regime and the Revolution]. Translated from French. St. Petersburg: Aleteyya.

8. Barbier, M. (1995) *La laïcité*. Paris: L'Harmattan.
9. Nicolet, Cl. (2004) *L'idée républicaine en France*. Paris: Gallimard.
10. Remizov, M. (2016) *Respublika – eto obshchina grazhdan. Interv'yu s M. Remizovym, 11.02.2016 g.* [The republic is a community of citizens. Interview with M. Remizov, February 2, 2016]. [Online] Available from: <https://politconservatism.ru/thinking/respublika-eto-obshhina-grazhdan> (Accessed: 10th April 2021).
11. Arendt, H. (2011) *O revolyutsii* [On Revolution]. Translated from English by I. Kosich. Moscow: Evropa.
12. de Périgord, T. & Maurice, Ch. (1926) Doklad o narodnom obrazovanii [Report on public education]. In: *de Périgord, T. et al. Pedagogicheskie idei Velikoy Frantsuzskoy revolyutsii: Rechi i doklady Mirabo, Talleyrana-Perigora, Kondorse i dr.* [Pedagogical ideas of the Great French Revolution: Speeches and reports of Mirabeau, Talleyrand-Perigord, Condorcet, etc.]. Translated from O.E. Syrkina. Moscow: Rabotnik prosveshcheniya. [Online] Available from: https://istmat.info/files/uploads/28666/fr_projets-education_o-syrkina.pdf (Accessed: 15th April 2021).
13. Ado, A.V. (ed.) (1990) *Dokumenty istorii Velikoy frantsuzskoy revolyutsii: v 2 t.* [Documents of the History of the Great French Revolution: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Moscow State University. pp. 112–141.
14. Condorcet, J.N.A. (1926) Doklad ob obshchey organizatsii narodnogo obrazovaniya [Report on the General Organization of Public Education]. In: *de Périgord, T. et al. Pedagogicheskie idei Velikoy Frantsuzskoy revolyutsii: Rechi i doklady Mirabo, Talleyrana-Perigora, Kondorse i dr.* [Pedagogical ideas of the Great French Revolution: Speeches and reports of Mirabeau, Talleyrand-Perigord, Condorcet, etc.]. Translated from O.E. Syrkina. Moscow: Rabotnik prosveshcheniya. [Online] Available from: https://istmat.info/files/uploads/28666/fr_projets-education_o-syrkina.pdf (Accessed: 15th April 2021).
15. Deissen, G. (2003) Dzh. van. Siyes: ego zhizn' i natsionalizm [J. van. Sieyes: his life and nationalism]. In: Pevzner, M.B. (ed.) *Abbat Siyes: ot Burbonov k Bonapartu* [Abbot Sieyes: from the Bourbons to Bonaparte]. Translated by M.B. Pevzner. St. Petersburg: Aleteyya.
16. Bobero, J. (n.d.) *Svetskost': frantsuzskaya isklyuchitel'nost' ili universal'naya tsennost'* [Secularity: French exclusivity or universal value?]. [Online] Available from: http://www.atheism.ru/library/Bobero_1.phtml (Accessed: 24th April 2021).
17. Ponkin, I.V. (2003) *Pravovye osnovy svetskosti gosudarstva i obrazovaniya* [Legal foundations of the secularity of the state and education]. Moscow: Pro-Press.
18. Lelièvre, Cl. (1999) *Jules Ferry: la République éducatrice*. Paris: Hachetteéducation.
19. Furet, F. (ed.) (1985) *Jules Ferry, fondateur de la République*. Paris: EHESS.
20. Ozouf, M. (2014) *Jules Ferry. La liberté et la tradition*. Paris: Gallimard.
21. Bodrov, A.V. (2014) “The Bismarck lackey”? Jules Ferry and Germany. *Peterburgskiy istoricheskiy zhurnal – Petersburg Historical Journal*. 1. pp. 231–242. (In Russian).
22. Kananykina, E.S. (2012) Istoriya frantsuzskogo zakonodatel'stva ob obrazovanii XX veka [History of French legislation on education of the 20th century]. *Aktual'nye voprosy sovremennoy nauki*. 22. pp. 246–325.
23. Sokolova, T.S. (2009) Politika integratsii immigrantov: assilyatsionnyy podkhod [The policy of integration of immigrants: an assimilation approach]. *Vlast' – The Authority*. 11. pp. 121–123.
24. Gordon, A.V. (2019) Islam in France: the experience of integration. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 9: Vostokovedenie i afrikanistika*. 3. pp. 5–53. (In Russian).
25. Shmeleva, N.V. (2019) Respublikanskaya model' ili mul'tikul'turalizm? Politika Frantsii po integrirovaniyu immigrantov [Republican model or multiculturalism? France's policy on the integration of immigrants]. *Alleya nauki*. 2(29). pp. 121–126.
26. Viet, V. (1998) *La France Immigree: Construction d'une Politique, 1914–1997*. Paris: Fayard.
27. Preobrazhenskaya, A.A. (2017) The French model of integration of immigrants: test of time. *Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie – Human. Community. Management*. 18(3). pp. 18–36. (In Russian).
28. Osipov, E.A. (2019) “Everything is good so far. But most important is the landing”. The French law on secularity and conspicuous religious symbols in schools turns 15 years. *Politika i obshchestvo – Politics and Society*. 3. pp. 1–7. (In Russian). DOI: 10.7256/2454-0684.2019.3.29533
29. French Radio International (RFI). (2020) *Bor'ba s “islamistskim separatizmom” vo Frantsii: Makron predlozhit resheniya* [Fighting “Islamist Separatism” in France: Macron Proposed Solutions]. 2nd October. [Online] Available from: <https://rfi.my/6dEG> (Accessed: 23rd April 2021).

30. *Le Figaro*. (2020a) Séparatisme: Macron annonce que l'école à domicile sera "strictement limitée" à la rentrée 2021. 2nd October. [Online] Available from: <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/emmanuel-macron-annonce-que-l-ecole-a-domicile-sera-strictement-limitee-a-la-rentree-2021-2020100> (Accessed: 25th April 2021).

31. *Le Figaro*. (2020b) École obligatoire: de Condorcet à Jules Ferry, un débat français. 6th October. [Online] Available from: <https://www.lefigaro.fr/vox/societe/ecole-obligatoire-de-condorcet-a-jules-ferry-un-debat-francais-20201006> (Accessed: 25th April 2021).

32. La Chaîne Info (LCI). (2020) *Projet de loi contre le séparatisme: l'instruction à l'école obligatoire des 3 ans*. 2nd October. [Online] Available from: <https://www.lci.fr/politique/projet-de-loi-contre-le-separatisme-l-instruction-a-l-ecole-obligatoire-des-3-ans-2166165.html> (Accessed: 25th April 2021).

33. France. (n.d.) *Principes de la République*. [Online] Available from: https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/principes_de_la_republique.html (Accessed: 14th May 2021).

34. Osipov, E. (2016) Faktornatsional'noy identichnostiv sovremennoy Frantsii [The factor of national identity in modern France]. *Mezhdunarod'naya zhizn' – The International Affairs*. 12. pp. 68–80.

35. Wallerstein, I. (n.d.) *Besporyadki vo Frantsii: vosstanie nizshikh sloev obshchestva* [Riots in France: the uprising of the lower strata of society]. [Online] Available from: https://scep-sis.net/library/id_410.html (Accessed: 26th April 2021).

36. Schnapper, D. (2010) Par delà de burka: les politiques d'intégration. *Études*. 413(11). pp. 461–472.

УДК 328.188

DOI: 10.17223/1998863X/62/13

А.С. Тузовский

ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНЫХ GR-КОММУНИКАЦИЙ: НЕОПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Показано, что современные корпоративные структуры пользуются всеми возможностями территории присутствия и могут лоббировать свои интересы через чиновников и депутатов, использовать ресурсы СМИ и поддерживать протестную активность. Осмыслению и систематизации подвергся неоплюралистический подход к взаимосвязи субстанциональной потребности в профессиональном GR и динамики отношений с властной средой на региональном уровне.

Ключевые слова: GR-коммуникация, неоплюралистический подход, корпорация, конкуренция, эффективность

Благо при всех обстоятельствах зависит от соблюдения двух условий: одно из них – правильное установление задачи и конечной цели всякого рода деятельности, второе – отыскание всякого рода средств, ведущих к конечной цели.

Аристотель. Политика. Книга VII. 1331b.

Активизация роли корпораций в региональном политическом процессе и растущая востребованность историй успеха в сфере коммуникаций с органами власти определили поиск закономерностей корпоративного целеполагания при выстраивании отношений с правительством (GR). Необходимо отметить, что общепринятым в политической науке стало предположение, что выстроенные GR-коммуникации во многом имманентны той управленческой системе, в которой они работают, т.е. плюралистические практики, преобладающие в Соединенных Штатах Америки, во многом неприменимы к корпоративистским структурам европейских государств. Наиболее последовательно описанная несовместимость объясняется характеристиками формальных и неформальных институтов, окружающих компанию. При этом мы имеем определенный дефицит трактовок того, почему институциональные различия остаются внешним фактором для теорий, интерпретирующих выбор тех или иных технологий взаимодействия с властной средой и в конечном итоге указывающих на цели субъектов GR. Таким образом, в то время как отношения с властными структурами остаются одним из краеугольных исследовательских вопросов политологии, глубокий разрыв в понимании роли заинтересованных организаций в процессе принятия государственных решений сохраняется.

Проблему рассмотрения оснований готовности организации поддерживать осуществление GR-функции можно проследить напрямую из эволюции литературы о представительстве частных интересов в последние несколько десятилетий. В этот период произошло два переворота в восприятии усилий

негосударственных субъектов по наведению «мостов» с государственным аппаратом.

Первой революционной идеей о движущих силах GR-коммуникаций следует признать обменную рамку отношений между политическими акторами и группами интересов, или транзакционный подход. Логическим итогом применения логики обменов является своеобразный захват механизма принятия государственных решений наиболее сильными и гибкими группами и корпорациями [1, 2].

Второе кардинальное изменение вектора исследований в сфере отношений с властью было связано с неоплюрализмом, который рассматривался в качестве комплексного инструмента анализа эмпирических данных, демонстрирующих противоречия теории обмена / транзакционизма [3]. Главной особенностью неоплюралистического подхода является повышенное внимание к сложностям и препятствиям, стоящим на пути построения «долгосрочной, комфортной, предсказуемой системы связей с профильными для компании политическими стейкхолдерами» [4]. Господствующая в массовом сознании убежденность в результативности лоббистского поведения предположительно основана на постоянном притоке соответствующих сообщений средств массовой информации (СМИ) и конкурентных конфликтов в корпоративной среде как аргументов транзакционизма. Соответственно, группы частных интересов постоянно оказывают чрезмерное влияние на государственный механизм.

Проведенные в 1990-х – начале 2000-х гг. на Западе исследования не представили сколько-нибудь однозначных доказательств прямой взаимосвязи между затратами на GR-коммуникацию и политическими результатами проведенных мероприятий. Если формулировать точнее, то не были обнаружены необратимые последствия GR-деятельности в ситуациях, потребовавших взаимодействия с большим числом стейкхолдеров, вливания огромных ресурсов и выстраивания профессиональных линий защиты интересов корпорации. Напротив, возможности бенчмаркинга в сфере взаимодействия с органами власти могут быть в полной мере реализованы в случае проработки проблем в среде с минимальной конфликтогенностью [5, 6].

Представляется, что Сибирский федеральный округ (СФО) может являться весьма показательным примером успешной реализации корпоративной политики в силу совпадения на его территории нескольких факторов:

1. Существование регионов с экстремальными уровнями моноэкономической специализации и отсутствием внутренней конкуренции между политическими и экономическими игроками [7. С. 34].

2. Перманентная конкуренция региональных элит за «внимание» федерального центра [8. С. 90], в рамках которой оцениваются отлаженность выборного процесса, своевременность купирования протестной активности, контролируемость политической повестки в СМИ.

3. Географическая удаленность пространств принятия и реализации политических решений, что влечет искажение информации при ее передаче от субъектов к объектам GR [9. С. 215–216]. В результате сохранения этого объективного барьера могут быть предотвращены или актуализированы конфликты, сопровождающие GR-коммуникации.

Одним из основных вопросов неоплюралистического анализа являются эффективность GR-деятельности и установление условий использования коммуникационных технологий. Исходя из того, что корпоративная политика представляет собой длящееся явление, которое конструируется в ходе процессов коммуникации с различными стейкхолдерами (в частности, органами власти, конкурентами, СМИ, потребителями, работниками и др.), исследованию были подвергнуты воспроизводящиеся взаимодействия бизнеса и власти в региональном политическом пространстве и сведения о них.

В качестве наиболее выверенных с точки зрения субъектов GR источников сведений о свершившихся и планируемых взаимодействиях мы рассматриваем официальные документы, опубликованные от имени государственных органов и бизнес-структур. Далее из полученного массива данных были выбраны документы, формально и / или содержательно относящиеся к дискреционным полномочиям власти в отношении корпораций СФО, и проведен анализ конфликтного потенциала и рисков GR-коммуникаций.

Обращение к примерам описания политических рисков в нефинансовой отчетности компаний, ведущих производственную либо другую основную деятельность на территории СФО, позволило выявить ряд конфликтогенных характеристик GR, реализация которых препятствует формализации связей с регионом присутствия либо способствует поиску механизмов / посредников в деле налаживания взаимовыгодных коммуникаций. Указанная проблематика описана в отчетах по комплаенсу и отчетах об устойчивом развитии следующих компаний: ПАО «ГМК „Норильский никель“» [10], Объединенной компании РУСАЛ [11. С. 49], ПАО «СИБУР Холдинг» [12. С. 8]. ПАО «Мечел» в отчете по форме 20-F за 2020 г., подготовленном для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, отмечает, что «местная и международная пресса сообщала о высоком уровне коррупции в России, в том числе о незаконных требованиях государственных чиновников с целью проведения проверок... В сообщениях прессы также описаны случаи, когда правительственные чиновники избирательным образом проводили проверки и преследования в коммерческих интересах определенных правительственных чиновников или определенных компаний или отдельных лиц. Кроме того, есть сообщения о том, что российские СМИ публикуют порочащие статьи за плату» [13. С. 51–52].

Взаимодействие с судебной ветвью власти нередко сопряжено с борьбой компрометирующих данных и соответствующими репутационными рисками, сказывающимися на прибыли и устойчивости компании. Здесь точечным образом используется такой протестный инструмент, как внепроцессуальное обращение, которое с правовой точки зрения является недопустимым влиянием на позицию судьи по рассматриваемому делу в форме, не предусмотренной процессуальным законодательством. Особенностью данного института является то, что в качестве санкции внепроцессуальные обращения подлежат опубликованию на интернет-странице суда. В результате могут быть преданы гласности персональные данные заявителя, лиц, участвующих в деле, вопросы, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, объекты интеллектуальной собственности и т.п. Региональными арбитражными судами за 2017–2019 гг. было опубликовано 158 внепроцессуальных обращений [14]. Из них в 30% случаев с обращением выступали фир-

мы или предприниматели, в 22% – чиновники или депутаты, остальными адресантами были граждане (48%), напрямую не представляющие интересов бизнеса или государства. Примечательно, что на четыре региона (Кемеровская, Омская, Иркутская области и Красноярский край) приходится без малого 75% всех попыток давления на судей арбитражных судов субъектов РФ, входящих в СФО. Представляется, что в первую очередь это связано с более высоким уровнем экономической активности в указанных регионах, но при этом не следует исключать и факторы, связанные с правовой культурой и иными средствами разрешения экономических споров.

Следующими воспроизводимыми практиками, направленными на преодоление политических неопределенностей, выступают прямая кооптация действующих топ-менеджеров и собственников бизнес-структур в состав представительных органов власти и различных консультационно-совещательных советов, а также механизм «вращающихся дверей». К примеру, один из ключевых комитетов Законодательного Собрания Новосибирской области – комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности – возглавляет бывший генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» [15], в региональном парламенте Кемеровской области заместителем комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений является генеральный директор угледобывающего предприятия АО «Черниговец» [16], должность председателя комитета финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области занимает генеральный директор АО «Омскгазстройэксплуатация» [17]. Указанные кейсы с высокой долей вероятности могли бы быть использованы конкурентами по отрасли или же заинтересованными СМИ в рамках обсуждения конфликта интересов, недопустимость которого признана российским законодательством. Из этого следует, что исследуемые технологии в СФО на сегодняшний день результативны, только, скорее всего, в их задачи преимущественно входит обеспечение обратной отдачи от политической системы в условиях, когда всего лишь одна или несколько взаимосвязанных организаций вовлечены в решение интересующих вопросов вне поля зрения общества.

Таким образом, лучшие результаты GR-коммуникации достигаются в специальном контексте – когда конкуренция и конфликтогенность ограничены и обсуждаемые вопросы не доводятся до общественности. В случае разворачивания взаимоотношений негосударственных субъектов с политической властью в направлении коммерческих обменов или борьбы противоположных сил возрастают риски потери ресурсов, а соответственно, и витальные риски организации, при этом угрозы могут уравниваться определенными преимуществами среды.

В СФО сложились условия, описанные выше, когда многие из тысяч относительно спокойных взаимодействий, организованных профессиональными GR-специалистами, между одной или несколькими организациями и одним или несколькими лицами, принимающими государственные решения, могут быть охарактеризованы как профессиональная деятельность законодателей в интересах избирателей или экспертное сопровождение решения исполнительного или судебного органа власти. Безусловно, периодически в публичном пространстве возникают конфликты по поводу внешнего влияния

на эти виды взаимодействий. При ограниченной конкуренции ресурсов и мнений такое влияние сложно ассоциировать с давлением или коррупцией. Как отмечается в американском исследовании начала XXI в., «...влияние формально представляет собой обслуживание демократических требований избирателей, организаций или участников судебных процессов официальными лицами, обладающее легитимным характером взаимодействия в рамках демократических политических институтов» [18. Р. 547].

К выводам и перспективным направлениям развития данного исследования мы относим следующее:

1. Эффективность GR-коммуникаций и условия использования GR-технологий являются предельно значимыми параметрами при выборе формата взаимодействия с властью, а значит, и при принятии решения о создании в компании GR-подразделения или передаче GR-функции на аутсорсинг. Критерии целесообразности того или иного варианта работы должны стать предметом будущих научных изысканий.

2. Ключевой элемент парадоксальности GR-коммуникаций заключается в том, что формализованное влияние корпораций на государство при прочих равных условиях отрицательным образом связано с интенсивностью политической борьбы. Учитывая, что вероятность эквивалентности характеристик среды невысока, необходимо более глубокое рассмотрение элементов контекста GR-деятельности. Посредством этого и раскрывается неоплюралистическая методология анализа взаимоотношений частного сектора и государства.

Литература

1. Mitchell W.C., Munger M.C. Economic models of interest groups: an introductory survey // American Journal of Political Science. 1991. Vol. 35. P. 512–546.
2. Zingales L. Towards a political theory of the firm // Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 31, № 3. P. 113–130.
3. McFarland A.S. Neopluralism: the evolution of political process theory. Lawrence : University Press of Kansas, 2004. 208 p.
4. Толстых П.А. Профессиональный словарь лоббистской деятельности // Российский профессиональный портал о лоббизме и GR. URL: http://www.lobbying.ru/dictionary_word.php?id=6 (дата обращения: 05.04.2021).
5. Smith M.A. American business and political power: public opinion, elections and democracy. Chicago : University of Chicago Press, 2000. 245 p.
6. Witko C. PACs, issue context and congressional decisionmaking // Political Research Quarterly. 2006. Vol. 59, № 2. P. 283–295.
7. Чурун С.Н. [и др.]. Взаимодействие с органами региональной власти на примере Кемеровской области: проблемы и технологии // Власть. 2018. Т. 26, № 7. С. 33–38.
8. Ветренко И.А. «Ресурсное проклятие» и системные проблемы политического управления в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История, регионведение, международные отношения. 2015. № 6. С. 88–92.
9. Фельдман П.Я. К вопросу о конфликтогенности лоббистской деятельности // Конфликтология / NOTA BENE. 2015. № 2. С. 212–217.
10. Отчет об устойчивом развитии ПАО «ГМК „Норильский никель“» за 2019 год. URL: <https://csr2019.nornickel.ru/ru/management/> (дата обращения: 05.04.2021).
11. Отчет об устойчивом развитии РУСАЛ за 2019 год. URL: <https://www.rusal.ru/upload/iblock/d3c/d3c309f8e8fa639ba074024f22abc9e4.pdf> (дата обращения: 05.04.2021).
12. Отчет по комплаенс-системе СИБУРа за 2019 год. URL: <https://www.sibur.ru/compliance/SIBUR-AR-Complaens-system-2019.pdf> (дата обращения: 05.04.2021).
13. Годовой отчет ПАО «Мечел» по форме 20-F за 2020 год. URL: <https://www.mechel.com/upload/iblock/f89/f8960334d3892b4b0028d066bb342827.pdf> (дата обращения: 05.04.2021).

14. *Федеральные арбитражные суды Российской Федерации*. URL: <http://arbitr.ru/as/subj/> (дата обращения: 05.04.2021).

15. *Законодательное Собрание Новосибирской области*. Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. URL: <http://znsno.ru/komitet-po-byudzhethnoy-finansovo-ekonomicheskoy-politike-i-sobstvennosti-7-sozuv> (дата обращения: 05.04.2021).

16. *Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса*. Комитет по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений. URL: <https://www.zskuzbass.ru/komitety-i-komissii/komitet-po-voprosam-promyshlennoy-politiki,-zhilishhno-kommunalnogo-xozyajstva,-imushhestvennyx-otnoshenij-i-ekologii/sostav-komiteta.html> (дата обращения: 05.04.2021).

17. *Законодательное Собрание Омской области*. Комитет финансовой и бюджетной политики. URL: <http://www.omsk-parlament.ru/?sid=2896> (дата обращения: 05.04.2021).

18. *Chin M.L., Bond J.R., Geva N.* A foot in the door: an experimental study of PAC and constituency effects on access // *The Journal of Politics*. 2000. Vol. 62, № 2. P. 534–549.

Anatoliy S. Tuzovskiy, Siberian Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: astuzovskiy@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 153–159.

DOI: 10.17223/1998863X/62/13

DYNAMICS OF CORPORATE GR-COMMUNICATIONS: A NEOPLURALISTIC ANALYSIS IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Keywords: GR-communication; neopluralistic approach; corporation; competition; efficiency

The article shows that modern corporate structures utilize all the possibilities of the territory of their presence and can lobby their interests through officials and deputies, use media resources and support protest activity. The neopluralistic approach to the relationship of the substantive need for professional GR and the dynamics of relations with the power environment at the regional level has undergone comprehension and systematization. Corporate policy is interpreted as a space constructed in the course of communication processes with various stakeholders. By analyzing the reproducing interactions between business and government at the regional level, conflictogenic factors and risks of GR-communications were revealed. As sources of information about GR, official documents of state bodies and business structures were examined. Non-financial reports of large companies operating in the Siberian Federal District contain information on corruption and risks of spot checks by officials. In these cases, officials can represent their commercial interests or the interests of competitors and others. Mass media can also prepare publications of a commissioned nature. In the framework of court proceedings, attempts are made to influence the judge outside the procedure, which is prohibited by law, but in 30% of cases such appeals are made by commercial organizations and entrepreneurs. Such protest behavior is associated with economic activity in the territory, factors of legal culture and the availability of other means of resolving disputes. Corporate structures ensure direct representation of their interests in the regional parliament when this is not limited by the actions of competitors and the attentive public. In the Siberian Federal District, GR-communications are effective due to the limitations of the conflict nature of the political environment, the exclusion of the public from the discussion of many issues. As a result, GR-technologies are difficult to distinguish from the professional activities of legislators and experts in the interests of voters. The conclusion of the study is that the effectiveness and conditions of GR-communication are important for a holistic understanding of the mechanisms of representation of interests. It is also necessary to consider in more detail the reasons for the paradoxicality of GR-activity, which are rooted in the contextual characteristics of interaction with the authorities.

References

1. Mitchell, W.C. & Munger, M.C. (1991) Economic models of interest groups: an introductory survey. *American Journal of Political Science*. 35. pp. 512–546.
2. Zingales, L. (2017) Towards a political theory of the firm. *Journal of Economic Perspectives*. 31(3). pp. 113–130. DOI: 10.1257/jep.3L3.113
3. McFarland, A.S. (2004) *Neopluralism: the evolution of political process theory*. Lawrence: University Press of Kansas.

4. Tolstykh, P.A. (n.d.) *Professional'nyy slovar' lobbistskoy deyatel'nosti* [Professional dictionary of lobbying activity]. [Online] Available from: http://www.lobbying.ru/dictionary_word.php?id=6 (Accessed: 05.04.2021).

5. Smith, M.A. (2000) *American business and political power: public opinion, elections and democracy*. Chicago: University of Chicago Press.

6. Witko, C. (2006) PACs, issue context and congressional decisionmaking. *Political Research Quarterly*. 59(2). pp. 283–295. DOI: 10.1177/106591290605900210

7. Chirun, S.N. et al. (2018) Vzaimodeystvie s organami regional'noy vlasti na primere Kemerovskoy oblasti: problemy i tekhnologii [Interaction with regional authorities on the example of the Kemerovo region: problems and technologies]. *Vlast' – The Authority*. 26(7). pp. 33–38.

8. Vetrenko, I.A. (2015) “Resursnoe proklyatie” i sistemnye problemy politicheskogo upravleniya v Rossii [“Resource curse” and systemic problems of political governance in Russia]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya, regionovedenie, mezhdunarodnye otnosheniya – Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations*. 6. pp. 88–92.

9. Feldman, P.Ya. (2015) On the issue of lobbying as a conflictogene activity. *Konflik-tologiya / NOTA BENE – Conflict Studies. NOTA BENE*. 2. pp. 212–217. (In Russian). DOI: 10.7256/2409-8965.2015.2.14756

10. Nornickel. (n.d.) *Otchet ob ustoychivom razvitiy PAO GMK “Noril'skiy nikel” za 2019 god* [Report on sustainable development of PJSC MMC Norilsk Nickel for 2019]. [On-line] Available from: <https://csr2019.nornickel.ru/ru/management/> (Accessed: 5th April 2021).

11. RUSAL. (n.d.) *Otchet ob ustoychivom razvitiy RUSAL za 2019 god* [RUSAL Sustainability Report 2019]. [Online] Available from: <https://www.rusal.ru/upload/iblock/d3c/d3c309fbc8fa639ba074024f22abc9e4.pdf> (Accessed: 5th April 2021).

12. SIBUR. (n.d.) *Otchet po komplains-sisteme SIBURa za 2019 god* [Report on SIBUR's compliance system for 2019]. [Online] Available from: <https://www.sibur.ru/compliance/SIBUR-AR-Komplaens-system-2019.pdf> (Accessed: 5th April 2021).

13. Mechel. (n.d.) *Godovoy otchet PAO “Mechel” po forme 20-F za 2020 god* [Annual Report of PAO Mechel in Form 20-F for 2020]. [Online] Available from: <https://www.mechel.com/upload/iblock/f89/f8960334d3892b4b0028d066bb342827.pdf> (Accessed: 5th April 2021).

14. Russia. (n.d.) *Sayty Arbitrazhnykh sudov sub"ektov RF* [Sites of the Arbitration Courts of the constituent entities of the Russian Federation]. [Online] Available from: <http://arbitr.ru/as/subj/> (Accessed: 5th April 2021).

15. The Legislative Assembly of Novosibirsk region. (n.d.) *Komitet po byudzhethnoy, finansovoye-ekonomicheskoy politike i sobstvennosti* [Committee on Budgetary, Financial and Economic Policy and Property]. [Online] Available from: <http://zsnso.ru/komitet-po-byudzhethnoy-finansovoye-ekonomicheskoy-politike-i-sobstvennosti-7-sozyv> (Accessed: 5th April 2021).

16. The Legislative Assembly of the Kemerovo Region – Kuzbass. (n.d.) *Komitet po voprosam promyshlennoy politiki, zhilishhno-kommunal'nogo khozyaystva i imushchestvennykh otnosheniy* [Committee on Industrial Policy, Housing and Communal Services and Property Relations]. [Online] Available from: <https://www.zskuzbass.ru/komitety-i-komissii/komitet-po-voprosam-promyshlennoy-politiki,-zhilishhno-kommunal'nogo-xozyaystva,-imushchestvennykh-otnosheniy-i-ekologii-sostav-komiteta.html> (Accessed: 5th April 2021).

17. The Legislative Assembly of Omsk region. (n.d.) *Komitet finansovoy i byudzhethnoy politiki* [Financial and Budgetary Policy Committee]. [Online] Available from: <http://www.omsk-parlament.ru/?sid=2896> (Accessed: 5th April 2021).

18. Chin, M.L., Bond, J.R. & Geva, N. (2000) A foot in the door: an experimental study of PAC and constituency effects on access. *The Journal of Politics*. 62(2). pp. 534–549. DOI: 10.1111/0022-3816.00024

УДК 323.2; 316.654
DOI: 10.17223/1998863X/62/14

Я.Ю. Шашкова, Т.А. Асеева, О.С. Киреева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РФ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОКОЛЕНИЯ «BORN DIGITAL» (КЕЙС СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Модели и траектории политической идентификации школьников и студентов регионов РФ в условиях информационного общества (на примере регионов СФО и ДФО)» № 20-011-31061.

На основе массового опроса учащихся 8–11-х классов школ и 1–2-х курсов вузов, проведенного осенью 2020 г. в регионах Сибирского федерального округа, выявляются оценка государственной молодежной политики поколением «Born Digital», степень влияния на нее информированности молодежи о проектах государственной молодежной политики. Определяются предпочтительные для молодежи направления взаимодействия с государством и формы желаемой государственной поддержки молодежи.

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, поколение «Born Digital», лидеры мнений, Сибирский федеральный округ

1. Постановка проблемы исследования

Современные тенденции развития общества, связанные с глобализационными, информационными и технологическими прорывами, обуславливают ориентацию молодежи на принципиально иные формы коммуникации между собой и с государственными институтами. В современных условиях молодые люди гораздо активнее включаются в политический процесс, о чем свидетельствуют не только участвовавшие неконвенциональные формы политического участия, но и широкая интеграция молодого поколения в деятельность различных политических сил. Это ставит перед государством задачу пересмотра традиционных форм взаимодействия с молодежью, так как именно этот социальный слой впоследствии станет основой государственной стабильности. В настоящий момент государство демонстрирует интерес к молодежи, пытаясь адаптировать нормативно-правовую базу под специфику нового поколения и с учетом тенденций общественного развития, о чем свидетельствует принятый 23 декабря 2020 г. Федеральный закон № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [1].

В данном исследовании в качестве одной из методологических основ более глубокого понимания специфики изучаемого сегмента молодежи используется теория межпоколенческих размежеваний У. Штрауса и Н. Хоува [2]. Предложенные ими типология и характеристика поколений не теряют своей актуальности и на современном этапе. Эта теория активно используется исследователями и практиками отдельных направлений работы с молодежью в разных государствах, однако ее содержание не следует абсолютизировать.

Другой методологической основой выступила двухступенчатая модель коммуникации, предложенная П. Лазарсфельдом и его коллегами Б. Берельсоном и Х. Годэ [3]. Авторы данного подхода еще в 40-е гг. XX в. обратили внимание на закономерность, в соответствии с которой информация, поступающая населению через СМИ, спустя определенное время усиливается, а не ослабевает. По их мнению, «массовая аудитория» усваивает информацию не сразу, а через некоторое время, и большую роль в этом процессе играют «лидеры мнений». В результате авторы приходят к выводу, что информационный поток проходит две ступени: сначала (на первой ступени) СМИ осуществляют свое влияние на «лидеров мнений», а затем (на второй ступени) они воздействуют на аудиторию. Такая модель вполне применима для анализа эффективности государственной молодежной политики, поскольку в ее оценках заметно влияние референтных лиц.

В научный дискурс проблематика особенностей межпоколенческих размежеваний вошла в начале 90-х гг. XX в. благодаря работе американских авторов У. Штрауса и Н. Хоува [2]. Однако Н.П. Попов указывает на опасность полных прямых аналогий между характеристиками американских и российских поколений, подчеркивая, что данную концепцию часто используют только как привлекательный контент в маркетинге, зачастую преувеличивая трансформацию значимых характеристик выделяемых поколений [4].

Особенности поколения Y (миллениалов) и поколения Z («Born Digital»), обусловленные развитием научно-технического прогресса и информационных технологий, наиболее активно обсуждаются в педагогической науке в связи с необходимостью поиска новых форм взаимодействия с этими поколениями в образовательном процессе [5]. В.А. Захарова рассматривает межпоколенческую теорию как методологию, на основе которой можно выстроить эффективный диалог со студентами [6]. В социологии обобщающей работой по изучению поколения миллениалов стала монография В. Радаева [7]. М.А. Ядова рассматривает миллениалов как потенциальную силу, способную в ближайшей перспективе обеспечить социально-политическую модернизацию общества [8]. Активизация современного поколения молодежи в качестве потребителей товаров и услуг обуславливает интерес к нему маркетологов [10–13].

При этом следует отметить, что в научной литературе отсутствует единое мнение о четком временном разграничении между поколениями Y и Z, так как переход от одного поколения к другому определяется уровнем социально-экономического и информационного развития регионов. Существует подход, согласно которому к Z уже относят молодежь, рожденную после 2000 г. В связи с этим можно предположить, что изучаемая нами категория молодежи больше относится к поколению «Born Digital» [9]. Дистанционное обучение и самоизоляция, обусловленные мерами безопасности для борьбы с пандемией, вероятнее всего, приблизили более молодых представителей поколения Y к поколению Z, так как в этот период особо актуализировались виртуальные коммуникации.

Тема молодежной политики актуальна как в зарубежных, в первую очередь европейских, так и в отечественных исследованиях. Можно выделить обобщающие работы, в которых определяется понятие «молодость». Так, Р. Нандигири [14], А.Л. Фернандес-Алькантара [15] характеризуют данную

дефиницию не только в социальном, но и в политическом разрезе. Анализ основных направлений государственной молодежной политики Европейского Союза в целом и отдельных государств Европы представлен в работах Д. Поточника и Х. Вильямсона [16], Т. Дибуа [17] и Д. Морчиано, Ф. Скардиньо, А. Манути, С. Пасторе [18]. В странах Западной Европы значимое внимание уделяется образовательной политике молодежи, в этом плане интерес представляют работы Х. Эшворта [19], К. Капура, В. Вираккоди, А. Шредера [20]. Что касается отечественных исследований, то в общем виде государственная молодежная политика анализируется в публикациях Е.В. Андрушиной, Е.А. Пановой [21], П.А. Гнездиловой [22], З.Г. Харисовой [23]. Отдельные направления молодежной политики рассматриваются в статьях Д.М. Сапаровой [24], Е.Н. Малик, В.В. Соколова [25], Т.Д. Сулейманова [26]. Оценка эффективности государственной молодежной политики дается Т.Н. Ланец, О.В. Якиной [27], О.В. Поповой, Е.В. Негровым [28], Т.Б. Шигаковой [29], Т.А. Асеевой, Я.Ю. Шашковой [30].

В целом анализ результатов научных исследований показал, что изучение проблем государственной молодежной политики в РФ на современном этапе носит фрагментарный характер и в большинстве случаев основано на данных миллениалов. В связи с этим представляется необходимым посмотреть на государственную молодежную политику с позиций поколения «Born Digital», оценить особенности восприятия им данной политики и видение желаемых направлений взаимодействия с государством.

Эмпирической базой статьи выступили результаты массового опроса молодежи регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проведенного коллективом кафедры политологии Алтайского государственного университета осенью 2020 г. (опрошены 2 500 учащихся 8–11-х классов школ и 1–2-х курсов вузов; выборка – квотная с контролем признаков возраста, типа населенного пункта и региона проживания; сбор информации осуществлялся методом анкетирования). В Сибирском федеральном округе (СФО) опрос проводился в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Кемеровской области, Новосибирской области, Республиках Алтай и Тыва.

2. Информированность и оценки учащейся молодежи государственной молодежи политики РФ

Для изучаемого нами сегмента молодежи характерны следующие черты: самоуверенность, обусловленная возможностями быстрого доступа к информации с помощью сети Интернет; нежелание брать на себя ответственность; минимальный горизонт планирования, ориентация на получение результата в кратчайшие сроки; отделение себя от государства и отсутствие интереса к реальной жизни. Как следствие, преобладание интернет-идентичности, коллажное или клиповое мышление, т.е. отсутствие системного видения ряда проблем, завышенные ожидания в отношении своей личности, обусловленные спецификой общения с родителями. Помимо этого, достаточно часто данному поколению приписывают еще одно качество – гиперкогнитивность, под которой понимают высокую способность не только к переработке, но и к восприятию различного рода информации сразу из нескольких источников. Приоритетными источниками информации для учащейся молодежи являются

социальные сети и мессенджеры, а также информационные интернет-ресурсы, новостные ленты, видео. Традиционные СМИ значительно им уступают. Не менее важной характеристикой этого поколения является их отношение к политике, в частности к государственной молодежной политике.

По результатам опроса можно увидеть, что лишь незначительное количество респондентов разного возраста дают высокую положительную оценку государственной молодежной политике. Наиболее скептически в ее оценке оказались настроены студенты 2-го курса. Можно предположить, что, столкнувшись непосредственно с необходимостью решения каких-либо проблем (например, решение жилищного вопроса и т.п.), они не нашли необходимой поддержки государства (табл. 1).

Таблица 1. Оценка эффективности государственной молодежной политики в стране учащейся молодежью СФО, % по столбцу

Оценка государственной политики	Категория обучающихся					
	Ученик, класс				Студент, курс	
	8-й	9-й	10-й	11-й	1-й	2-й
Эффективная	3,8	3,5	2,6	2,5	2,6	2,5
Скорее эффективная	24,2	23	23,81	25,1	27,4	16,1
Скорее неэффективная	18,9	19,2	22,7	21	21	26,3
Не эффективная	8,8	10,84	10,6	9,3	5,1	11,1
Мне ничего о ней не известно	44,3	43,4	40,3	40,1	44	44

Большое влияние на оценку государственной молодежной политики оказывает слабая информированность учащихся и студентов о реализуемых проектах. Как показали данные опроса, молодежь недостаточно информирована о государственной молодежной политике. Не смогли вспомнить ни одной из реализуемых государственных программ в молодежном секторе 58,6% оценивших государственную молодежную политику как эффективную, 60,5% – как «скорее эффективную», 72,4% – как «скорее не эффективную», 77,5% – как неэффективную. В группе же затруднившихся оценить эффективность государственной молодежной политики количество не назвавших ни одной программы достигает 89,7%.

Среди оценивших государственную молодежную политику как эффективную в качестве известных им государственных молодежных программ 13,8% указали волонтерство, 7% – РДШ, по 3,4% – Юнармию, проект «Молодая семья», экологические программы и спортивные соревнования, без конкретизации мероприятий. По 1,7% респондентов отметили проекты в сфере патриотического воспитания, «Волонтеры победы», «Билет в будущее», «Мы против наркотиков», «Твое время», «Сельская молодежь», «Пионеры», «Росмолодежь», КВН и т.д. Таким образом, респонденты продемонстрировали единичные упоминания реализующихся федеральных или региональных проектов, что свидетельствует о несистемности информирования и вовлечения молодежи в реализацию данных проектов.

Оценившие государственную молодежную политику как «скорее эффективную» упоминали РДШ (9,3%), проект «Молодая семья» (4,6%), Юнармию (3,6%), патриотическое воспитание (2,9%). В то же время снижается количество упоминаний волонтерства (8,3%) и появляется проект «Молодежь России» (2,7%). Помимо этого, были названы проекты разного уровня, упоминания которых составило не более 1%: «Молодая гвардия», программы дополнительного

образования, «Проезд в общественном транспорте», экологические программы, «Молодой лидер», «Молодежный парламент», «обучение по обмену» и др.

Респонденты, оценившие молодежную политику как «скорее неэффективную», по сравнению с предыдущей группой меньше называли РДШ (4,6%), проект «Молодая семья» (4,3%), волонтерство (3,8%), Юнармию (1,3%), но чаще упоминали молодежный парламент (1,6%), «обучение по обмену» (1,4%). Остальные ответы касались таких проектов и программ, как «Образовательный кредит», программы дополнительного образования, «Молодежный бизнес России», «Молодой лидер», патриотическое воспитание, «Сириус», «Кадры будущего для регионов» и другие, каждый из которых получил менее 1% упоминаний.

Посчитавшие молодежную политику неэффективной в качестве известных им программ указывают РДШ (6%), «Юнармию» (3%), проекты «Молодежь России» (1,8%), «Молодая гвардия» (1,2%), программы «Молодая семья» (2,4%), «Молодежная карта» (1,2%), патриотическое воспитание (1,2%), волонтерство (1,8%). Менее популярны среди этой группы молодежи такие проекты, как «Развитие городского общественного транспорта», «Молодой лидер», «Волонтеры Победы», «Молодежный парламент», «Билет в будущее», «льготный проезд в транспорте», «Бизнес-молодость», получившие каждый менее 1% упоминаний.

В ходе проведенного исследования удалось зафиксировать, что в блоке оценивших государственную молодежную политику как неэффективную появляются указания на деятельность политических сил, которые не относятся к государственной молодежной политике, более того носят оппозиционный характер. Так, в данном блоке учащаяся молодежь называет ЛДПР – 2,4% респондентов, штаб Навального – 1,2%, «Соколов ЛДПР» – 0,6%, КПРФ – 0,6%, Яблоко – 0,6%, команду Е. Жукова – 0,6%, Национально-освободительное движение – 0,2%. В совокупности они составляют 6,2% против 21,6% назвавших проекты, реализуемые государством, и 77,5% не назвавших ничего. Фактически это свидетельствует о том, что в результате негативной оценки взаимодействия с государством молодежь для реализации своих интересов вовлекается в сферу публичной политики, пытается примкнуть к различным политическим силам. Также на низкую эффективность государственной молодежной политики указывает причисление к ней молодежью негосударственных проектов. По сути, наблюдаются политическая дезориентация и подмена понятий. При анализе распределения ответов в разрезе возраста и категорий обучающихся данная тенденция явно проявляется среди школьников 9–11-х классов.

Интересно, что некоторая информированность о молодежных проектах присутствует и среди затруднившихся дать оценку эффективности государственной молодежной политике. Так, ими были названы РДШ (3,2%), «Билет в будущее» (0,9%), «Молодая семья» (0,8%), волонтерство (0,7%), патриотическое воспитание (0,7%), «Молодежь России» (0,5%), «Юнармия» (0,5%), «Молодежный парламент» (0,5%), «Волонтеры Победы» (0,4%), «Россия будущего» (0,3%), «Молодой лидер» (0,3%) и еще более 10 мероприятий на уровне единичных упоминаний. В данном блоке уже нет указаний на «громкие» негосударственные проекты.

В целом можно констатировать, что лишь незначительная часть респондентов ориентируется в направлениях реализации молодежной политики. Но и здесь отмечаются особенности, которые напрямую связаны с недостаточной информированностью учащейся молодежи. Например, 1,4% респондентов называли федеральную целевую программу «Молодежь России», которая на современном этапе не реализуется, а 0,5% отнесли к проектам молодежной политики «Молодежную карту Сбербанка».

Таблица 2. Распределение оценок эффективности государственной молодежной политики в стране в целом среди субъектов СФО, % по столбцу

Оценка государственной политики	Регион проживания						
	Кемеровская область	Республика Алтай	Республика Тыва	Алтайский край	Новосибирская область	Иркутская область	Красноярский край
Эффективная	3,9	3,2	5,7	2,3	3,8	4,1	2,5
Скорее эффективная	19,5	25,4	30,2	22,6	28,4	24,3	19,9
Скорее неэффективная	20,5	12,7	16	21,6	25,3	18	25,8
Неэффективная	11,2	4,8	6,6	11,2	8,4	10,4	9,8
Мне ничего о ней не известно	45,7	54	41,5	42,3	34,1	43,2	42

Если детализировать оценки государственной молодежной политики в разрезе субъектов СФО, то можно увидеть, что положительное мнение о ее эффективности больше сосредоточено в Республике Тыва (5,7%), а в Алтайском крае такая оценка набирает самый низкий процент (2,3%). Среди оценивших молодежную политику как «скорее эффективную» наивысшее значение по группе наблюдается в Республике Тыва (30,2%) и Новосибирской области (28,4%). На этом фоне для всех субъектов СФО характерно преобладание низкой оценки эффективности государственной молодежной политики, но в разном процентном соотношении. Наиболее категорично оценили ее как неэффективную в Алтайском крае и Кемеровской области (по 11,2% опрошенных). При этом в Республике Алтай больше всего респондентов, которым ничего не известно о молодежной политике (54%), и, наоборот, в Новосибирской области таких респондентов меньше всего – 34,1%. В остальных субъектах СФО доля респондентов, которым ничего о ней неизвестно, примерно одинакова (табл. 2).

3. Желаемые траектории взаимодействия молодежи поколения «Born Digital» с государством

Так как респонденты в большинстве своем не ориентируются в существующих программах и проектах молодежной политики, актуализируется вопрос о том, в каких сферах, по их мнению, должно осуществляться взаимодействие государства с молодежью. Распределение ответов на этот вопрос несколько различается по категориям школьников и студентов. Данные опроса свидетельствуют, что для всей совокупности респондентов приоритетным направлением взаимодействия выступает образование, и с возрастом эта потребность только увеличивается. Так, поддержка государством сферы образования является важной для 74,5% учеников 8-го класса, 77,2% школьников 9-го класса; 81,3% учащихся 10-го класса и 85,6% – 11-го класса. Причем при смене статуса ученика на студента эта потребность только возрастает: ее отметили 87,2% студентов 1-го курса и 89,5% студентов 2-го курса.

Второй по частоте упоминаемости стала поддержка в трудоустройстве как элемент государственной молодежной политики. На нее указали 50% учеников 8-го класса, 62,2% – 9-го класса, 65,2% – 10-го класса, 75,2% – 11-го класса. Особенно это значимо для 82,8% студентов 1-го курса и 81,4% – 2-го курса.

Ожидание поддержки от государства в приобретении жилья продемонстрировали 52,5% учеников 8-го класса, 51,3% – 9-го класса, 53,8% – 10-го класса, 54,1% одиннадцатиклассников. О необходимости такой формы высказались 54,8% студентов 1-го курса, 69,4% – 2-го курса. Как видим, на первом курсе эта потребность остается примерно на таком же уровне, что и у учеников 11-го класса. Ко 2-му курсу виден значительный рост в желании получить данную форму поддержки.

Требование государственной поддержки в сфере здравоохранения актуально для 43,1% учеников 8-го класса, 47,1% – 9-го класса, 51% – 10-го класса, 53,5% – 11-го класса. Что касается студентов, то среди представителей 1-го курса на такую форму поддержки надеются 56,7%, а на 2-м курсе уже 63,8%.

На этом фоне молодежью меньше востребовано содействие государства в развитии бизнеса. Данную форму реализации государственной молодежной политики указали 42,7% учеников 8-го класса, 36,1% – 9-го класса, 39,6% – 10-го класса, 51,3% – 11-го класса, 42% студентов 1-го курса и 48,2% – 2-го.

На последнем месте находится необходимость взаимодействия в сфере политического участия. Причем студенты, в отличие от школьников, больше заинтересованы в таком взаимодействии. Мнения респондентов распределились следующим образом: 16,6% учеников 8-го класса, 17,5% – 9-го класса, 23,1% – 10-го класса, 25,6% – 11-го класса, 36,3% студентов 1-го курса и 37,2% – 2-го курса.

В целом из всех исследуемых групп студенты 2-го курса демонстрируют наибольший запрос на поддержку со стороны государства по всем предложенным направлениям, лишь в вопросах трудоустройства отдавая первенство студентам 1-го курса, а в вопросах поддержки развития бизнеса – ученикам 11-го классов. При этом важно заметить, что именно студенты 2-го курса чаще других оценивали молодежную политику как неэффективную. Показательным является и тот факт, что среди респондентов, оценивших государственную политику как эффективную, наблюдается самый минимальный запрос на поддержку государства (3,3%), тогда как среди учащейся молодежи, не обладающей информацией о содержании и реализации государственной молодежной политики на современном этапе, в значительной степени преобладают ожидания поддержки от государства по всем предложенным категориям (42,56%).

Ответы на вопрос о предпочтительных формах государственной поддержки выявили наличие в молодежной среде одинаково высокого запроса на создание условий для карьерного роста, независимо от рода занятий респондентов. Так, на это указали 54,1% учеников 8-го класса, 61,1% учеников 9-го класса, 68,9% учеников 10-го класса, 78,6% учеников 11-го класса, 75,8% студентов 1-го курса и 79,4% студентов 2-го курса.

Второе место в рейтинге предпочтений молодежи занимает финансирование организаций, работающих с молодежью. Ожидания данной формы

поддержки государства обозначили 55% учеников 8-го класса, 46,9% учеников 9-го класса, 51% учеников 10-го класса, 55,7% учеников 11-го класса, 56% студентов 1-го курса и 49,2% студентов 2-го курса.

Распределение ответов на вопрос «Какая государственная поддержка, по вашему мнению, необходима молодежи в настоящее время?» по регионам проживания демонстрирует максимальное сходство мнений молодежи и в территориальном аспекте. Во всех исследуемых субъектах СФО запрос на создание условий для карьерного роста очень высок (в Иркутской области его обозначили 71%, в Алтайском крае – 70,8%, в Кемеровской области – 70,1%, Республике Алтай – 69%, в Красноярском крае – 68,1%, в Республике Тыва – 64,2%). На этом фоне выделяется только Новосибирская область, где меньший процент школьников и студентов (59%) отметили необходимость такой формы поддержки, что, вероятнее всего, обусловлено более высоким социально-экономическим статусом данного региона.

Корреляция ответов на вопросы «Как вы оцениваете государственную молодежную политику на современном этапе в стране в целом?» и «Какая государственная поддержка, по вашему мнению, необходима молодежи в настоящее время?» позволяет выяснить, какие формы поддержки позволят улучшить мнение учащейся молодежи о государственной молодежной политике. Распределение ответов отчетливо показало, что независимо от оценки государственной молодежной политики большинство молодых людей в качестве основных методов ее реализации видят создание условий для карьерного роста молодежи, финансирование организаций, работающих с молодежью, и развитие молодежного самоуправления. Информационная поддержка, несмотря на достаточно высокий процент упоминаний, оказалась далеко не на первом месте рейтинга, чаще занимая четвертое, пятое и шестое места (табл. 3). При этом готовность к участию в молодежных проектах, поддерживаемых государством, выразили 46,7% респондентов, 17% отнесли к этой идее отрицательно, 36,2% затруднились ответить на данный вопрос.

Таблица 3. Распределение ожидаемых молодежью СФО форм государственной поддержки по уровням оценки ее эффективности, % по столбцу

Какая государственная поддержка, по вашему мнению, необходима молодежи в настоящее время	Как вы оцениваете государственную молодежную политику на современном этапе в стране в целом?				
	Эффективная	Скорее эффективная	Скорее неэффективная	Неэффективная	Мне ничего о ней не известно
Индивидуальная грантовая поддержка	25,9	33,2	34,3	37,3	26,6
Финансирование организаций работающих с молодежью	51,7	53,6	53,5	47,3	51,1
Информационная поддержка молодежи	37,9	36,8	30,5	36,7	31,6
Создание условий для карьерного роста	65,5	68,5	73,2	70,4	64,7
Кредиты и социальные субсидии	19	25,6	23,5	29	18,9
Квоты для молодежи на выборах и государственной службе	32,7	23	21,3	27,2	15,3
Развитие молодежного самоуправления	51,7	43,9	43,2	40,2	30,4
Нет ответа	5,2	5,1	3,2	6,5	7,2

Как видим, для исследуемого сегмента молодежи важна прежде всего самореализация, что совпадает с ключевыми характеристиками поколения «Born Digital». К тому же результаты опроса отчетливо показывают завышенные ожидания молодежи в отношении государства.

Принимая во внимание общепризнанное использование современной молодежью в качестве основных коммуникационных и информационных ресурсов социальных сетей и мессенджеров, особой проблемой становится выбор эффективных каналов, релевантных персон, способных довести до молодых людей информацию о государственной молодежной политике и сформировать их отношение к ней. Опрос показал, что при оценке общественных проблем школьники и студенты в первую очередь ориентируются на мнение родителей и родственников, а во вторую – на свое собственное мнение, а уже затем идет мнение друзей, блогеров, известных политиков и общественных деятелей. Влияние родителей и родственников достаточно сильно для учеников 8–11-х классов, затем (к первому и второму курсам) оно немного ослабевает, но незначительно. Интересно, что начиная с 1-го курса происходит рокировка лидеров мнений. По-прежнему значимыми остаются мнение родителей и своя собственная точка зрения, а мнение друзей заменяется взглядами известных политиков и общественных деятелей, но все равно оно опережает релевантность блогеров, СМИ, известных людей, лидеров различных партий / движений, лидеров молодежных организаций, депутатов и государственных деятелей (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Чье мнение для вас наиболее значимо при обсуждении общественных проблем?», % по столбцу

Чье мнение для вас наиболее значимо при обсуждении общественных проблем?	Ваш род занятий					
	Ученик, класс				Студент, курс	
	8-й	9-й	10-й	11-й	1-й	2-й
Родителей, родственников	58,2	53,1	55,7	42,3	36,3	36,1
Друзей	27,4	25,7	26,2	26,8	24,8	22,6
Известных политиков, общественных деятелей	10,4	13	12,5	19,4	26,1	26,6
Лидеров молодежных организаций	7	5	4,8	5	10,2	10,6
Депутатов и государственных деятелей	7,6	5,8	5,1	7,6	6,4	8,5
Учителей	10,4	7,3	11	11,3	5,1	8
Лидеров различных политических партий	4,4	6,6	5,9	10,1	14,7	11
Блогеров	14,5	15,9	14,3	12,7	17,8	12,6
Средств массовой информации	10,7	9	11,4	13,2	11,5	7,5
Известных людей (спортсменов, бизнесменов и т.д.)	7,6	10,6	10,3	13,2	13,4	12,6
Только собственное	24,8	28,5	35,2	37,2	33,1	38,7
Другое	0,6	0,4	1,8	0,6	1,3	1

Государство традиционно привлекает учителей в качестве агентов, вовлекающих молодежь в реализацию проектов молодежной политики, но, согласно результатам опроса, учителя не относятся к лидерам мнений в молодежной аудитории, и государство должно учитывать данную особенность, выстраивая коммуникацию с поколением «Born Digital».

Выводы

Таким образом, оценка эффективности государственной молодежной политики поколением «Born Digital» в первую очередь обуславливается спецификой их коммуникационных связей. Результаты исследования позволили

обнаружить следующую зависимость: чем ниже информированность о государственной молодежной политике, тем негативнее ее оценка среди представителей изучаемой группы и тем выше ожидания респондентов в отношении государства. Данная корреляция прослеживается во всех субъектах СФО, что подтверждает репрезентативность данного утверждения. Среди молодежи существует запрос на взаимодействие с государством в первую очередь в сфере образования, трудоустройства, приобретения жилья, здравоохранения и в меньшей степени – в сфере политического участия молодежи. Что касается желаемых форм государственной поддержки, то прежде всего отмечаются создание условий для карьерного роста, финансирование организаций, работающих с молодежью, и развитие молодежного самоуправления. При этом информационная поддержка для учащейся молодежи не является первостепенной. Несмотря на преобладание интернет-коммуникаций, лидерами мнения для них остаются родители, точка зрения которых, в свою очередь, опосредована собственными знаниями, опытом и влиянием других лидеров мнений.

Существующий на современном этапе нормативно-правовой подход в реализации молодежной политики показывает свою неэффективность, несмотря на значительную работу государства в данной сфере, поскольку государство пытается воздействовать на молодежный сегмент через традиционных агентов социализации (школа, учителя, СМИ и другие государственные институты) и с применением традиционных директивных методов. Как следствие – низкие информированность и участие молодежи. Поэтому перед органами государственной власти стоит важнейшая задача по реформатированию взаимодействия с новым поколением, диверсификации молодежной политики с учетом черт этого поколения и востребованных им траекторий коммуникаций с государством.

Литература

1. *О молодежной политике в Российской Федерации* : федеральный закон № 489-ФЗ от 23.12.2020. URL: <http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202012300003> (дата обращения: 20.01.2021).
2. *Strauss W., Howe N. Generations: The History of Americas Future, 1584 to 2069.* New York, 1991. 538 p.
3. *Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign.* New York : Columbia University Press, 1968. 178 p.
4. *Понов Н.П.* Российские и американские поколения XX века: откуда пришли миллениалы? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 309–323.
5. *Пошехонова В.А.* Образовательная гуманитарная технология цифрового поколения // Педагогическое образование в России. 2018. № 5. С.13–20.
6. *Захарова В.А.* Студенты поколения Z: реальность и будущее // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2019. № 4. С. 47–55.
7. *Радаев В.* Миллениалы: как меняется российское общество. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 224 с.
8. *Ядова М.А.* Поколение миллениалов в российском обществе: в поисках другой молодежи // Полис. Политические исследования. 2020. Т. 29, № 6. С. 181–188. DOI: 10.17976/jpps/2020.06.14
9. *Якимова З.В., Масилова М.Г.* Поколение Z как потенциальный сегмент рынка труда // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. № 4 (21). С. 341–345.
10. *Асташова Ю.В.* Теория поколений в маркетинге // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8, № 1. С. 108–114.
11. *Трубникова Н.В., Порудчикова А.В.* О равнозначности познавательных систем: парадигма коммуникативного континуума // Коммуникология. 2018. Т. 6, № 3. С. 93–103. DOI: 10.21453/2311-3065-2018-6-3-93-103

12. *Palfrey Дж., Гассер У.* Дети цифровой эры / пер. с англ. Н.Г. Яцюк. М. : Эксмо, 2011. 364 с.
13. *Prensky M.H.* Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom // *Innovate: Journal of Online Education*. 2009. № 5 (3). URL: <https://www.learn-techlib.org/p/104264/> (accessed: 20.01.2021).
14. *Nandigiri R.* Standpoint: The politics of being “young”: is a “youth” category really necessary for “development”? // *Feminist Africa*. 2012. № 17. P. 114–117.
15. *Fernandes-Alcantara A.L.* Vulnerable Youth: Background and Policies. Congressional Research Service. 2014. URL: <https://www.hsdl.org/?abstract&did=721808> (accessed: 15.01.2021).
16. *Potočnik D., Williamson H.* Youth policy in Serbia. URL: <https://rm.coe.int/0900001680903561> (accessed: 20.01.2021)
17. *Dibou T.* Towards a better understanding of the model of EU youth policy // *Studies of Changing Societies: Youth Under Global Perspective*. 2012. № 1 (5). P. 15–36.
18. *Morciano D., Scardigno F., Manuti A., Pastore S.* A theory-based evaluation to improve youth participation in progress: A case study of a youth policy in Italy // *Child & Youth Services*. 2016. Vol. 37, № 4. P. 304–224.
19. *Ashworth H.* Students acquisition of a threshold concept in childhood and youth studies // *Innovations in Education & Teaching International*. 2016. Vol. 53, № 1. P. 94–103.
20. *Kapoor K., Weerakkody V., Schroeder A.* Social innovations for social cohesion in Western Europe: success dimensions for lifelong learning and education // *Innovation: The European Journal of Social Sciences*. 2018. Vol. 31, № 2. P. 189–203.
21. *Андрюшина Е.В., Панова Е.А.* Современная российская государственная молодежная политика: эволюция, основные направления, практики // *Власть*. 2017. № 7. С. 60–65.
22. *Гнездилова П.А.* Государственная молодежная политика // *Sciences of Europe*. 2016. Т. 4, № 5 (5). С. 34–35.
23. *Харисова З.Г.* Молодежная политика в современной России // *Вестник науки и образования*. 2018. Т. 1, № 5 (41). С. 39–41.
24. *Санарова Д.М.* Молодежный совет Томска в молодежной политике города // *Вестник Томского государственного университета. История*. 2013. № 5 (25). С. 94–96.
25. *Малик Е.Н., Соколов В.В.* Приоритеты реализации государственной молодежной политики в Орловской области // *Управленческое консультирование*. 2018. № 1. С. 51–55.
26. *Сулейманов Т.Д.* Приоритетные направления реализации государственной молодежной политики Республики Татарстан // *Вестник экономики, права и социологии*. 2018. № 4. С. 277–279.
27. *Ланец Т.Н., Якина О.В.* К вопросу об оценке эффективности региональной молодежной политике (на примере Хабаровского края) // *Вопросы управления*. 2017. № 5 (48). С. 31–37.
28. *Попова О.В., Негров Е.О.* Молодежная политика глазами самой молодежи: проблема в PR? // *Среднерусский вестник общественных наук*. 2019. Т. 14, № 6. С. 37–58.
29. *Шуголакова Т.Б.* Эффективность государственной молодежной политики в Республике Хакасия // *Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Социология*. 2016. Т. 16, № 1. С. 163–174.
30. *Асеева Т.А., Шашкова Я.Ю.* Оценка эффективности государственной молодежной политики и ее информационного компонента школьниками регионов Юго-Западной Сибири // *Социотайм*. 2020. № 1 (21). С. 66–77. DOI: 10.25686/2410-0773.2020.1.66

Yaroslava Yu. Shashkova, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: yashashkova@mail.ru

Tatyana A. Aseeva, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: tatulyasolar@mail.ru

Oxana S. Kireeva, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: opekun-05@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 160–172.

DOI: 10.17223/1998863X/62/14

STATE YOUTH POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION AS PERCEIVED BY THE “BORN DIGITAL” GENERATION (A CASE OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT)

Keywords: youth; state youth policy; “Born Digital” generation; opinion leaders; Siberian Federal District

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-011-31061.

To predict the forms and level of political activity of young people in modern Russia, the authors analyze their assessments of the current interaction of the state with young people and their ideas about ways and methods of optimizing the state youth policy. The Strauss–Howe generational theory and the two-step flow of communication model by P. Lazarsfeld, B. Berelson, and H. Gaudet are the basic methodology of the research. The empirical basis of the article is comprised of data from mass surveys conducted in the fall of 2020. The information was collected using the questionnaire method (the sample included 2,500 pupils of grades 8–11 in schools and first- and second-year university students in seven regions of the Siberian Federal District and four regions of the Far East). Cross-territorial comparison facilitated the estimation of the degree to which assessments and ideas of young people about the state youth policy have become universal. To implement the tasks set, the authors estimated current assessments of the state youth policy of the Russian Federation by the young people of the Siberian Federal District, as well as their awareness of the implemented youth programs and projects, and their ideas about the desired forms and types of state support for young people. Groups of subjects that influence the respondents in their assessment of this policy domain have also been identified. The conducted analysis has revealed a low level of young people’s awareness of the state youth policy and its assessment as ineffective. The inability of the respondents to distinguish between state-supported and non-state programs and projects has turned out to be a characteristic feature. The demand of young people for state support of education and healthcare, assistance in employment and accommodation has been traced in all the studied subjects of the federal district. It is especially high among young people who have assessed the state youth policy as ineffective and who do not have sufficient information about it. Pupils and students have stated the creation of career growth environment, the financing of organizations working with young people, and the development of youth self-government as desirable forms of state support. At the same time, information support of young people has proved to be less relevant. The study has shown that, despite the specifics of the communication links of the younger generation, parents are still opinion leaders for them. Teachers, the media, and other traditional channels of government influence on young people are losing their relevance. The authors have come to the conclusion that it is necessary to move from the legal and regulatory state youth policy to a diversified one, which will consider the specific features of the communication channels of the “Born Digital” generation and their preferred formats of interaction with the state.

References

1. Russia. (2020) *Federal'nyy zakon № 489-FZ “O molodezhnoy politike v Rossiyskoy Federatsii” 23.12.2020 goda* [Federal Law No. 489-FZ “On youth policy in the Russian Federation” of December 23, 2020]. [Online] Available from: <http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202012300003> (Accessed: 20th January 2021).
2. Strauss, W. & Howe, N. (1991) *Generations: The History of Americas Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow and Company.
3. Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. & Gaudet, H. (1968) *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.
4. Popov, N.P. (2018) Rossiyskie i amerikanskije pokoleniya XX veka: otкуда prishli millenialy? [Russian and American Generations of the 20th Century: Where Did Millennials Come From?]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 4. pp. 309–323.
5. Poshekhonova, V.A. (2018) The humanities educational technology of the digital age. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii – Pedagogical Education in Russia*. 5. pp.13–20. (In Russian).
6. Zakharova, V.A. (2019) Students of Generation Z: Reality and Future. *Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta*. 4. pp. 47–55. (In Russian). DOI: 10.17805/trudy.2019.4.5
7. Radaev, V. (2020) *Millenialy: Kak menyaetsya rossyskoe obshchestvo* [Millennials: How Russian society is changing]. Moscow: HSE.
8. Yadova, M.A. (2020) Generation of Millennials in Russian Society: In Search of Another Youth. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 29(6). pp. 181–188. (In Russian). DOI:10.17976/jpps/2020.06.14
9. Yakimova, Z.V. & Masilova, M.G. (2017) Pokolenie Z kak potentsial'nyy segment rynka truda [Generation Z as a potential segment of the labor market]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya – Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*. 4(21). pp. 341–345.
10. Astashova, Yu.V. (2014) Teoriya pokoleniy v marketinge [The theory of generations in marketing]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment – Bulletin of South Ural State University, Series “Economics and Management”*. 8(1). pp. 108–114.

11. Trubnikova, N.V. & Porudchikova, A.V. (2018) O ravnoznachnosti poznavatel'nykh sistem: paradigma kommunikativnogo kontinuumu [On the equivalence of cognitive systems: paradigm of the communicative continuum]. *Kommunikologiya*. 6(3). pp. 93–103. DOI 10.21453/2311-3065-2018-6-3-93-103
12. Palfrey, J. & Gasser, W. (2011) *Deti tsifrovoy ery* [Children of the Digital Era]. Translated from English by N.G. Yatsyuk. Moscow: Eksmo.
13. Prensky, M.H. (2009) Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. *Innovate: Journal of Online Education*. 5(3). [Online] Available from: <https://www.learn-techlib.org/p/104264/> (Accessed: 20th January 2021).
14. Nandigiri, R. (2012) Standpoint: The politics of being “young”: is a “youth” category really necessary for “development”? *Feminist Africa*. 17. pp. 114–117.
15. Fernandes-Alcantara, A.L. (2014) *Vulnerable Youth: Background and Policies*. *Congressional Research Service*. [Online] Available from: <https://www.hsdl.org/?abstract&did=721808> (Accessed: 15th January 2021)
16. Potočnik, D. & Williamson, H. (n.d.) *Youth policy in Serbia*. [Online] Available from: <https://rm.coe.int/0900001680903561> (Accessed: 20th January 2021)
17. Dibou, T. (2012) Towards a better understanding of the model of EU youth policy. *Studies of Changing Societies: Youth Under Global Perspective*. 1(5). pp. 15–36.
18. Morciano, D., Scardigno, F., Manuti, A. & Pastore, S. (2016) A theory-based evaluation to improve youth participation in progress: A case study of a youth policy in Italy. *Child & Youth Services*. 37(4). pp. 304–224. DOI: 10.1080/0145935X.2015.1125289
19. Ashworth, H. (2016) Students acquisition of a threshold concept in childhood and youth studies. *Innovations in Education & Teaching International*. 53(1). pp. 94–103. DOI: 10.1080/14703297.2014.1003953
20. Kapoor, K., Weerakkody, V. & Schroeder, A. (2018) Social innovations for social cohesion in Western Europe: success dimensions for lifelong learning and education. *Innovation: The European Journal of Social Sciences*. 31(2). pp. 189–203. DOI: 10.1080/13511610.2017.1419336
21. Andryushina, E.V. & Panova, E.A. (2017) The Modern Russian State Youth Policy: Evolution, Main Directions and Practice. *Vlast' – The Authority*. 7. pp. 60–65. (In Russian).
22. Gnezdilova, P.A. (2016) Gosudarstvennaya molodezhnaya politika [State youth policy]. *Sciences of Europe*. 5(5). pp. 34–35.
23. Kharisova, Z.G. (2018) Molodezhnaya politika v sovremennoy Rossii [Youth policy in modern Russia]. *Vestnik nauki i obrazovaniya*. 5(41). pp. 39–41.
24. Saparova, D.M. (2013) Youth council of Tomsk in a city's youth policy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 5(25). pp. 94–96. (In Russian).
25. Malik, E.N. & Sokolov, V.V. (2018) Priorities of Realization of the State Youth Policy in the Orel Region. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie – Administrative Consulting*. 1. pp. 51–55. (In Russian). DOI: 10.22394/1726-1139-2018-1-51-55
26. Suleymanov, T.D. (2018) Priorities of Implementation of the State Youth Policy of the Republic of Tatarstan. *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii – The Review of Economy, the Law and Sociology*. 4. pp. 277–279. (In Russian).
27. Lanets, T.N. & Yakina, O.V. (2017) On the question of evaluation of the efficiency of regional youth policy (on the example of the Khabarovsk territory). *Voprosy upravleniya – Management Issues*. 5(48). pp. 31–37. (In Russian).
28. Popova, O.V. & Negrov, E.O. (2019) Youth policy through the eyes of youth: is the problem in PR? *Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk – Central Russian Journal of Social Sciences*. 14(6). pp. 37–58. (In Russian).
29. Shigolakova, T.B. (2016) Efficiency of the state youth policy in the Republic of Khakassia. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya - RUDN Journal of Sociology*. 16(1). pp. 163–174. (In Russian).
30. Aseeva, T.A. & Shashkova, Ya.Yu. (2020) Evaluation of the effectiveness of the state youth policy and its information component by schoolchildren of the South-Western Siberia regions. *Sotsiotaym – SocioTime*. 1(21). pp. 66–77. (In Russian). DOI: 10.25686/2410-0773.2020.1.66

УДК [324+329] (470+570)
DOI: 10.17223/1998863X/62/15

С.А. Шагин

ПАРТИЙНАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2019–2020 ГОДОВ

Статья посвящена анализу выборов в законодательные собрания российских регионов в 2019–2020 гг. и воздействию результатов этих выборов на состояние региональных партийных систем. На основе количественного анализа показаны нарастание конкуренции в партийных системах регионов и неравномерный характер этих изменений. Ключевые слова: выборы, партийная система, политическая конкуренция, регионы России, эффективное число партий

Введение

В 2019–2020 гг. были избраны новые составы законодательных собраний 24 субъектов Российской Федерации. Ход, результаты, общий политический контекст выборов 2019 г. уже становились предметом исследования, но преимущественно в аспекте значения для общенациональной политической системы [1–3]. Отдельно и очень детально изучался московский кейс [4–7]. Вместе с тем комплексный анализ влияния выборов на состояние и динамику партийных систем в соответствующих регионах пока не проведен.

Эмпирической основой исследования стали данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК России: списки партий, участвовавших в выборах, сведения о кандидатах, результаты голосования в единых округах [8].

Основными показателями, которые характеризуют региональную партийную систему, выступают составы партий, принимающих участие в выборах и прошедших в представительный орган, а также уровень конкуренции между этими партиями. Поскольку межпартийная конкуренция проявляется на двух уровнях – на выборах и в составе депутатского корпуса законодательного органа, для ее измерения применяется два вида показателей. На электоральном уровне в их число входят: количество партийных списков по регионам; доля голосов избирателей, полученных крупнейшей партией; доли голосов партий парламентской оппозиции; эффективное число электоральных партий (ЭЧП_э). На парламентском уровне показателями конкуренции являются: количество фракций в региональных заксобраниях, доли мест крупнейшей партии и парламентской оппозиции, эффективное число парламентских партий (ЭЧП_п) [9. С. 190]. Эффективное число партий рассчитывается по формуле, предложенной Г.В. Голосовым:

$$N_p = \sum_1^x \frac{S_i}{S_i + S_1^2 - S_i^2},$$

где S_i – доля действительных голосов, полученных каждой партией в едином избирательном округе, или ее мест в представительном органе, а S_1 – доля голосов или мест партии-победительницы [10. С. 22]. Наконец, для сравни-

тельной оценки уровня межпартийной конкуренции между регионами автором был предложен индекс среднего эффективного числа партий, усредняющий значения ЭЧП_э и ЭЧП_п и позволяющий составить общий рейтинг регионов по уровню конкуренции между партиями [11. С. 265, 269].

Выдвижение и регистрация партийных списков

В 2019–2020 гг. сохранилась тенденция к снижению электоральной активности партий. В полтора раза меньше партий выдвинуло свои списки в Карачаево-Черкесии (КЧР), Брянской и Калужской областях, почти в 2 раза меньше – в Кабардино-Балкарии (КБР) и Курганской области, почти в 3 раза – в Волгоградской области. При этом абсолютные показатели регионов, где выборы проходили в 2020 г., несколько выше, чем 2019 г. (табл. 1). В 2014 г. среднее количество выдвинутых списков на регион составляло 11,5 (без учета Ненецкого АО, где в 2019 г. выборы не проводились), в 2019 г. там же – 9,3 списка. В 2015 г. было выдвинуто в среднем 12,8 списка на регион, в 2020 г. там же – 11.

Таблица 1. Динамика участия партий в парламентских выборах по регионам

Регион	Выдвинуто списков		Зарегистрировано списков	
	2014 г.	2019 г.	2014 г.	2019 г.
Республика Алтай	14	13	12	9
Кабардино-Балкария	13	7	9	6
Карачаево-Черкесия	12	8	6	6
Республика Крым	14	9	12	8
Республика Марий Эл	9	10	8	6
Республика Татарстан	11	11	7	7
Республика Тыва	7	9	7	6
Хабаровский край	10	10	7	7
Брянская область	10	7	10	5
Волгоградская область	15	6	12	5
Тульская область	8	9	7	7
Севастополь	15	12	14	6
	2015 г.	2020 г.	2015 г.	2020 г.
Республика Коми	9	11	8	8
Белгородская область	12	12	9	7
Воронежская область	12	11	6	7
Калужская область	18	13	10	11
Костромская область	18	14	15	10
Курганская область	10	6	6	5
Магаданская область	17	10	6	7
Новосибирская область	15	12	7	10
Рязанская область	11	13	8	10
Челябинская область	10	12	5	9
Ямало-Ненецкий АО	9	7	6	7

Примечание. Данные ЦИК РФ [8], подсчеты автора.

Продолжается и практика отсева списков непарламентских партий на этапе регистрации. Правда, интенсивность воздействия этого неформального барьера на ход выборов несколько снизилась. В 2014–2015 гг. региональные избиркомы едва ли не соревновались в выдаче отказов в регистрации партийных списков: в КЧР и Воронежской области отказ получило по 6 партий, в Калужской и Новосибирской областях – по 8, а в Магаданской – 11. В 2019–2020 гг. массовые отказы в регистрации стали редкостью: самой строгой в 2019 г. оказалась избирательная комиссия Севастополя, не допу-

стившая до участия в выборах 6 партий, а в 2020 г. – Белгородской области, отказавшая 5 партиям. При этом количество зарегистрированных партийных списков сократилось. Если в 2014 г. в среднем на регион было зарегистрировано 9,3 списка, то в 2019 г. в тех же субъектах федерации – только 6,5, зато если в 2015 г. – 7,8, то в 2020 г. – 8,3.

Голосование за партии

По сравнению с результатами 2014–2015 гг. «Единая Россия» потеряла голоса во всех регионах, кроме КБР, Белгородской и Магаданской областей (табл. 2). В частности, в Республике Марий Эл (РМЭ) и Севастополе уровень голосования за «партию власти» упал почти вдвое, а в Коми – более чем в 2 раза. Традиционно мало голосов получила ЕР в Республике Алтай (РА). Наконец, в Хабаровском крае правящая партия получила только 12,51% и оказалась лишь на третьем месте. В среднем по всей группе изучаемых регионов ЕР в 2019 г. досталось 51,7% голосов (в 2014 г. – 68,2%), а в 2020 г. – только 47,7% (в 2015 г. было 58,1%).

Зато КПРФ и ЛДПР добились существенного прироста голосов. Средний уровень голосования за КПРФ возрос с 9,47% в 2014 г. до 15,52% в 2019 г. В Крыму, РМЭ, Татарстане и Коми коммунистам досталось почти вдвое больше голосов, чем на предыдущих выборах, в РА – в 2,5 раза, а в Севастополе – сразу в 5 раз. Но в 2020 г. КПРФ понесла ощутимые потери в Воронежской, Новосибирской и Рязанской областях. Поэтому средний уровень голосования с 2015 г. по 2020 г. снизился с 13,49 до 13,03%.

Таблица 2. Голосование за партии на выборах 2019–2020 гг.

Регион	ЕР	КПРФ	ЛДПР	СР	Непарламентские партии
2019 г.					
Республика Алтай	34,18	29,5	12,03	5,31	14,82
Кабардино-Балкария	65,85	12,84	5,1	10,35	5,69
Карачаево-Черкесия	65,04	12,17	5,04	6,19	11,06
Республика Крым	54,7	8,22	16,84	3,95	11,26
Республика Марий Эл	34,49	26,92	15,78	7,78	10,46
Республика Татарстан	72,43	10,74	3,79	3,96	7,94
Республика Тыва	80,13	3,63	7,75	4,56	2,3
Хабаровский край	12,51	17,24	56,12	3,53	6,86
Брянская область	63,71	12,27	12,89	5,12	4,04
Волгоградская область	48,15	19,5	14,85	8,44	6,34
Тульская область	50,27	14,49	10,39	7,09	13,9
Севастополь	38,5	18,7	18,55	8,78	10,68
2020 г.					
Республика Коми	28,61	14,81	14,45	8,56	27,13
Белгородская область	63,95	13,2	6,58	3,82	10,43
Воронежская область	61,52	14,5	7,32	5,69	8,49
Калужская область	42,43	12,9	8,6	8,01	23,31
Костромская область	31,92	17,23	12,11	9,16	23,86
Курганская область	44,57	19,05	14,46	10,54	8,27
Магаданская область	58,32	10,31	11,61	7,25	8,35
Новосибирская область	38,13	16,63	13,58	6,12	21,83
Рязанская область	47,65	9,07	11,99	5,7	23,24
Челябинская область	42,58	11,87	11,31	14,79	15,54
Ямало-Ненецкий АО	64,64	8,83	15,31	6,05	3,35

Примечание. Данные ЦИК РФ [8], подсчеты автора.

ЛДПР вновь потерпела наудачу в Татарстане, зато в большинстве регионов получила ощутимый прирост голосов. В Крыму, РМЭ и Севастополе уровень голосования за эту партию поднялся в 2 раза, в Брянской области – в 2,5 раза, а в Тыве – в 5,2 раза (правда, с очень низкой стартовой позиции). Особенно впечатляющим стал успех ЛДПР в Хабаровском крае, где в 2019 г. партия набрала в 4,2 раза больше, чем на предыдущих выборах. А по среднему уровню голосования ЛДПР в 2019 г. почти догнала КПРФ – 14,9%, хотя в 2020 г. ее показатель оказался скромнее – 11,6%.

Несколько слабее выглядят достижения «Справедливой России» (СР). Средний уровень голосования за эту партию увеличился с 4,68% в 2014 г. до 6,26% в 2019 г., а в 2020 г. хоть и достиг 7,8%, оказался ниже, чем в тех же регионах в 2015 г. (9,9%). В Крыму, Татарстане, Тыве, Хабаровском крае и Белгородской области «эсеры» не смогли преодолеть заградительный барьер. Тем не менее кампании 2019–2020 гг. принесли СР и достижения. В частности, ей удалось преодолеть пятипроцентный барьер в РМЭ, Брянской и Тульской областях, а также в Севастополе. Кроме того, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ее списки вновь обошли ЛДПР, а в Челябинской области – еще и КПРФ.

С точки зрения результативности непарламентских партий выборы 2019 и 2020 гг. заметно отличаются. Если в выборах 2019 г. в среднем на регион приходилось 2,5 списка таких партий, то в 2020 г. – 4,4 списка. Если в 2019 г. суммарный уровень голосования за непарламентские партии составлял в среднем 8,8% на регион, то в 2020 г. – уже 15,8. В 2019 г. в половине регионов ни одна непарламентская партия не преодолела проходной барьер, в 2020 г. такая ситуация сложилась только на Ямале, в Воронежской и Магаданской областях.

Сразу в пяти регионах в 2020 г. суммарный уровень голосования за непарламентские партии превысил 20%. Причем этот показатель ощутимо выше там, где больше количество допущенных к выборам партий. Самый высокий уровень голосования за них оказался в Республике Коми, а самый низкий – в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО). Заметим, что в 2019 г. из восьми случаев прохождения непарламентских партий в законодательные органы шесть приходится на региональных льготников. То есть льгота при регистрации списков выступает значимым фактором фильтрации партий на региональных выборах.

Электоральная конкуренция

Самый высокий уровень конкуренции на выборах в 2019 г. был в РА, а в 2020 г. – в Республике Коми (табл. 3). Причем показатели выборов в Коми вполне позволяют считать этот регион высококонкурентным – хотя бы по российским меркам. Костромская область вместе с РА и РМЭ теперь образует группу среднеконкурентных субъектов федерации ($3 < ЭЧП_3 < 4$). Еще 9 регионов входят в группу с низким уровнем электоральной конкуренции ($2 < ЭЧП_3 < 3$). В 11 регионах конкуренция в ходе выборов фактически не прослеживается. Традиционно самое низкое значение ЭЧП₃ в Тыве. Среднее значение ЭЧП₃ в 2019 г. по всей группе регионов составило всего 2,1, в 2020 г. – 2,5. Это ниже показателя 2018 г. (2,8), но существенно выше, чем в этих же регионах в 2014 (1,57) и 2015 г. (1,85).

Таблица 3. Динамика эффективного числа электоральных партий

Регион	ЭЧП _э	
	2014 г.	2019 г.
Республика Алтай	2,4	3,27
Кабардино-Балкария	1,67	1,54
Карачаево-Черкесия	1,44	1,59
Республика Крым	1,4	2,02
Республика Марий Эл	1,64	3,2
Республика Татарстан	1,19	1,45
Республика Тыва	1,15	1,26
Хабаровский край	1,92	1,95
Брянская область	1,38	1,59
Волгоградская область	1,76	2,17
Тульская область	1,62	2,33
Севастополь	1,28	2,79
	2015 г.	2020 г.
Республика Коми	1,9	4,3
Белгородская область	1,65	1,6
Воронежская область	1,38	1,67
Калужская область	1,9	2,5
Костромская область	2,16	3,64
Курганская область	1,94	2,62
Магаданская область	1,83	1,78
Новосибирская область	2,47	2,92
Рязанская область	1,7	2,22
Челябинская область	1,91	2,85
Ямало-Ненецкий АО	1,47	1,62

Примечание. Данные ЦИК РФ [8], подсчеты автора.

Сравнение значений индекса эффективного числа электоральных партий в 2019–2020 гг. с предыдущими выборами позволяет сделать вывод о том, что уровень конкуренции между партиями на выборах возрос во всех регионах, кроме КБР и Белгородской области. Особенно чувствительный скачок произошел в Коми, РМЭ, Севастополе, Костромской области, заметный рост наблюдается в республиках Алтай и Крым, а также в Тульской и Челябинской областях.

Партийный состав избранных законодательных собраний

Общее количество депутатов от «Единой России» по итогам выборов 2019 г. сократилось 547 до 436, а в 2020 г. – с 371 до 342. Тем не менее эффект «сфабрикованного большинства» [12. С. 108] сработал и на этот раз. Даже в РА и РМЭ, где списки «партии власти» набрали менее 40% голосов, она получила более 60% мест. Похожая ситуация сложилась и в других регионах: в Севастополе набравшим 38,5% голосов «единороссам» досталось 58% депутатских мандатов, в Крыму 54,7% голосов за эту партию превратились в 80% мест, в Волгоградской области 48,15% голосов – в 73,7% мест, в Тульской области 50,3% голосов – в 75% мест. На выборах 2020 г. ЕР получила в Республике Коми только 28,6% голосов, но в едином округе ей досталось 40% мест, а вместе с депутатами по одномандатным округам – 20 мест из 30. В Костромской области у ЕР 31,9% голосов, но в едином округе 50% мест, а с одномандатниками – 24 из 34 (табл. 4).

Таблица 4. Партийный состав законодательных собраний, избранных в 2019–2020 гг.

Регион	Партия				
	ЕР	КПРФ	ЛДПР	СР	Непарламентские партии
Республика Алтай	25	7	1	1	2
Кабардино-Балкария	50	9	2	7	2
Карачаево-Черкесия	34	6	2	3	5
Республика Крым	60	5	10		
Республика Марий Эл	34	9	3	3	
Республика Татарстан	85	6	1	1	1
Республика Тыва	30		2		
Хабаровский край	2	3	30		
Брянская область	51	4	5	2	
Волгоградская область	28	5	2	2	1
Тульская область	27	2	2	2	3
Москва	19	13		3	9
Севастополь	14	3	3	1	2
Республика Коми	20	4	3	1	2
Белгородская область	44	4	1		1
Воронежская область	48	4	2	1	
Калужская область	29	3	2	3	3
Костромская область	24	2	1	2	5
Курганская область	28	3	2	1	1
Магаданская область	16	1	2	2	
Новосибирская область	45	13	6	2	7
Рязанская область	29	2	3	3	3
Челябинская область	41	4	3	7	3
Ямало-Ненецкий АО	18	1	2	1	

Примечание. Данные ЦИК РФ [8], подсчеты автора.

КПРФ осталась за бортом Верховного Хурала Тывы, уступила ЛДПР в четырех регионах и СР – в двух, но в большинстве регионов продолжает удерживать второе место по количеству депутатских мандатов. Партия впервые провела своих депутатов в парламенты Крыма и Севастополя и заметно усилила свои фракции в РМЭ, Татарстане и Волгоградской области. Самым успешным для коммунистов стало выступление на выборах в Мосгордуму: из-за недопуска большинства известных оппозиционеров кандидаты КПРФ легче остальных идентифицировались с оппозицией и благодаря этому заняли 28,9% мест.

Для ЛДПР сезон 2019 г. был самым успешным. Хотя партия проиграла выборы в Москве и смогла провести только одного депутата вместо двух в РА, зато в большинстве регионов ей удалось сохранить или даже упрочить свои позиции. А в Хабаровском крае она впервые одержала абсолютную победу: вместо трех депутатов в прошлом созыве она провела в краевую Думу сразу 30 своих представителей.

СР потерпела неудачу в Крыму, Тыве, Хабаровском крае и Белгородской области и потеряла по одному депутату в РА и КБР. Зато ей удалось создать свои фракции в региональных парламентах РМЭ, Брянской и Тульской областей, Севастополя, а также провести трех депутатов по одномандатным округам в Москве и одного – в Татарстане.

Среди непарламентских партий максимальный результат показала РППСС: за 2 года она провела свои фракции в 10 заксобраний. В 2019 г. заметный успех сопутствовал «Яблоку», которое провело четырех депутатов

в Мосгордуму, и «Патриотам России» (3 депутата в Карачаево-Черкесии). Успешно стартовали в 2020 г. поддержанные властями «Новые люди» (фракции в четырех заксобраниях), «Зеленая альтернатива» и «За правду!» (по две фракции).

Конкуренция на парламентском уровне

Уменьшение количества участвующих в выборах партий отчасти способствовало повышению эффективности их продвижения в органы власти. В 2019–2020 гг. в законодательные собрания большинства регионов прошло больше списков партий, чем ранее (табл. 5). Наиболее существенный прирост наблюдается в Рязанской, Тульской областях и Севастополе. Если в 2014 г. среднее количество фракций на регион составило 3,3, то в 2019 г. – уже 4,2, а в 2020 г. – 5,3. Аналогичный Госдуме фракционный состав за два года сложился только в РМЭ, Брянской, Воронежской, Магаданской областях и ЯНАО. В Белгородской областной думе тоже 4 фракции, но место СР заняла РППСС.

Таблица 5. Динамика показателей конкуренции в избранных законодательных органах

Регион	Фракций в законодательном органе		ЭЧПП	
	2014 г.	2019 г.	2014 г.	2019 г.
Республика Алтай	5	5	1,45	1,83
Кабардино-Балкария	5	5	1,48	1,48
Карачаево-Черкесия	5	6	1,42	1,6
Республика Крым	2	3	1,07	1,27
Республика Марий Эл	3	4	1,14	1,71
Республика Татарстан	2	2	1,22	1,2
Республика Тыва	2	2	1,03	1,07
Хабаровский край	3	3	1,22	1,22
Брянская область	3	4	1,09	1,27
Волгоградская область	4	5	1,21	1,42
Тульская область	3	6	1,16	1,41
Москва	5	5	1,73	2,89
Севастополь	2	5	1,09	1,99
	2015 г.	2020 г.	2015 г.	2020 г.
Республика Коми	4	6	1,17	1,63
Белгородская область	4	4	1,21	1,14
Воронежская область	4	4	1,1	1,16
Калужская область	4	6	1,34	1,47
Костромская область	4	6	1,34	1,61
Курганская область	4	5	1,24	1,29
Магаданская область	4	4	1,26	1,36
Новосибирская область	4	6	1,58	1,95
Рязанская область	4	7	1,13	1,48
Челябинская область	4	6	1,32	1,51
Ямало-Ненецкий АО	4	4	1,25	1,25

Примечание. Данные ЦИК РФ [8], подсчеты автора.

Индекс ЭЧП_п повысился повсеместно, кроме КБР, Татарстана, Белгородской и Брянской областей. Наиболее существенным этот прирост стал в РА, Коми и РМЭ, Новосибирской и Рязанской областях, Москве и Севастополе. Среднее значение индекса по всей группе регионов увеличилось в 2019 г. с 1,25 до 1,57, а в 2020 г. – с 1,27 до 1,44.

Партийная динамика по итогам выборов 2019 г.: основные выводы

Выборы 2019–2020 гг. в представительные органы власти российских регионов обнаруживают двойственный характер. С одной стороны, сохраняются ранее наметившиеся тенденции партийной жизни. Сокращается количество партий, принимающих участие в региональных выборах. Помимо парламентских партий, активность проявляют в основном те, которые имеют региональную льготу и стараются закрепить свой успех. При отсутствии льготы добиться регистрации партийного списка становится все труднее: избиркомы в большинстве республик и областей все строже отсеивают непарламентские партии на дальних подступах к выборам, давая шанс лишь спойлерам и провластным партийным проектам.

Почти во всех регионах сохраняется наметившаяся в середине десятилетия тенденция снижения результатов «партии власти». Самыми яркими ее проявлениями стали утрата ЕР абсолютного большинства в Москве и относительного – в Хабаровском крае. Зато растут показатели парламентской оппозиции. Лишь в таких электорально-управляемых регионах, как Татарстан или Тыва, эта тенденция почти незаметна. Масштаб конкуренции между партиями, измеряемый ЭЧП, продолжает расти как на электоральном, так и на парламентском уровне. Однако если на выборах этот рост более заметен, то на составе заксобраний он сказывается все еще слабо. Значение среднего ЭЧП (ЭЧП_с) по итогам выборов 2019–2020 гг. позволяет выстроить регионы по рейтингу уровня межпартийной конкуренции (табл. 6).

Таблица 6. Динамика среднего эффективного числа партий

Регион	Среднее эффективное число партий (ЭЧПС)	
	2014–2015 гг.	2019–2020 гг.
Республика Коми	1,54	2,97
Москва	1,73	2,89
Костромская область	1,75	2,63
Республика Алтай	2,05	2,55
Республика Марий Эл	1,39	2,46
Новосибирская область	2,03	2,44
Севастополь	1,2	2,39
Челябинская область	1,62	2,18
Калужская область	1,62	1,99
Курганская область	1,59	1,96
Тульская область	1,39	1,87
Рязанская область	1,42	1,85
Волгоградская область	1,49	1,80
Республика Крым	1,24	1,65
Карачаево-Черкесия	1,43	1,60
Хабаровский край	1,58	1,59
Магаданская область	1,55	1,57
Кабардино-Балкария	1,58	1,51
Ямало-Ненецкий АО	1,36	1,44
Брянская область	1,24	1,43
Воронежская область	1,24	1,42
Белгородская область	1,43	1,37
Республика Татарстан	1,21	1,33
Республика Тыва	1,09	1,17

Примечание. Подсчеты автора.

Вместе с тем на выборах 2019–2020 гг. обозначились и некоторые новые тенденции. Одно из таких новшеств – изменение электоральной стратегии ЕР, особенно заметное на примере Москвы. Аффiliation с «партией власти» и раньше не везде была выгодной, поэтому иногда административные кандидаты баллотировались как независимые. Но основу фракции ЕР обычно составляли кандидаты, официально выдвинутые «единороссами». Новая Мосгордума подает необычный пример образования фракции «партии власти» целиком из «независимых» кандидатов. Вероятно, в дальнейшем этот прием будет использоваться на выборах в регионах с высоким протестным потенциалом.

Еще одна новая тенденция выражается в постепенном укреплении позиций непарламентских партий. Эффективность их участия в выборах возросла, отчасти – за счет сокращения числа. В избранных в 2019 г. заксобраниях количество полученных ими мест увеличилось с 8 до 20, а в 2020 г. – с 2 до 25. Можно говорить о стабилизации поддержки и представительства некоторых непарламентских партий в отдельных регионах – например, «Патриоты России» в КЧР или РЭП «Зеленые» в КБР.

Наконец, меняется и расстановка регионов в рейтинге конкурентности партийных систем. Если по итогам предыдущего электорального цикла признаки межпартийной конкуренции были заметны только в Республике Алтай и Новосибирской области, то теперь к ним добавились республики Коми и Марий Эл, Костромская и Челябинская области, Москва и Севастополь. Кроме того, Калужская, Курганская, Тульская, Рязанская и Волгоградская области вошли в пограничную зону регионов, чьи партийные системы занимают неустойчивое положение и могут измениться как в сторону нарастания конкуренции между партиями, так и в направлении ее снижения.

Литература

1. Бадковский Д. Итоги 8 сентября для власти // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810883-itogi-8-sentyabrya> (дата обращения: 31.01.2021).
2. Встречная мобилизация. Московские протесты и региональные выборы – 2019 : аналитический доклад / под ред. К. Рогова. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2019. 110 с. (Серия «Либеральная миссия – Экспертиза». Вып. 7).
3. Любарев А. «Единая Россия» установила антирекорд. Итоги голосования 8 сентября 2019 года // Комитет гражданских инициатив. URL: <https://komitetgi.ru/analytics/4134/> (дата обращения 18.02.2021).
4. Большаков И.В., Первалов В.В. Консолидация или протест? «Умное голосование» на московских выборах // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. 2020. № 1 (96). С. 50–73.
5. Большаков И.В., Первалов В.В. Оценка эффективности «умного голосования»: спор аналитических подходов // Электоральная политика. 2020. № 1 (3). URL: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/otsenka-effektivnosti-umnogo-golosovaniia-spor-analiticheskikh-podkhodov/> (дата обращения: 31.01.2021).
6. Бузин А.Ю. Чужая победа // Электоральная политика. 2020. № 1 (3). URL: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/chuzhaia-pobeda/> (дата обращения: 28.01.2021).
7. Любарев А.Е. «Умное голосование» как один из факторов, повлиявших на результаты выборов в Московскую городскую Думу 2019 года // Электоральная политика. 2020. № 1 (3). URL: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/umnoe-golosovanie-kak-odin-iz-faktorov-povliivshikh-na-rezultaty-vyborov-v-moskovskuiu-gorodskuiu-dumu-2019-goda/> (дата обращения: 28.01.2021).
8. Сведения о проводящихся выборах и референдумах // Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. URL: <http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom> (дата обращения: 10.02.2021).
9. Любарев А.Е., Шпагин С.А. Партийная реформа и динамика межпартийной конкуренции на региональных выборах в 2012–2018 гг. // Политическая концептология. 2018. № 4. URL: <http://politconcept.sfedu.ru/> (дата обращения: 21.01.2021).

10. *Голосов Г.В.* Сравнительная политология и российская политика, 2010–2015 : сб. статей. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2016. 688 с.

11. *Шпагин С.А.* Электоральный цикл 2012–2016 гг. и партийные системы в российских регионах // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.* 2020. № 2 (56). С. 263–273.

12. *Голосов Г.В.* Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г. // *Полис. Политические исследования.* 2005. № 1. С. 108–119.

Sergey A. Shpagin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: shpagin@sibmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 173–183.

DOI: 10.17223/1998863X/62/15

PARTY DYNAMICS OF THE RUSSIAN REGIONS FOLLOWING THE RESULTS OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS OF 2019–2020

Keywords: elections; party system; political competition; regions of Russia; effective number of parties

The elections to the legislative assemblies of the Russian regions, held in 2019–2020, did not become a turning point in the development of the Russian political system. However, the results of these elections demonstrate a well-defined vector in the dynamics of regional party systems. The data of the study strongly indicate that in the regions of Russia there is a gradual increase in the level of political pluralism. Despite changes in electoral legislation and the efforts of the regional authorities, the effectiveness of participation in the elections of the parliamentary opposition and non-parliamentary parties is growing. Although the number of parties that put forward lists in regional elections is decreasing, and election commissions register not all party lists, the share of votes that go to the opposition is increasing. Reducing the activity of some parties and not allowing others to participate in the election campaign no longer guarantees the victory of the “party of power”. In the context of the growing protest activity, the reduction in the number of election participants is one of the factors in the consolidation of the opposition increasing its effectiveness. Therefore, the factional composition of the legislative assemblies of the regions, which are less and less similar to the four-party State Duma, is expanding. So far, the effect of the “fabricated majority” still allows United Russia to maintain leadership in almost all regional parliaments. However, the increase in the effective number of electoral and parliamentary parties in practice in all regions over the past years convincingly confirms the tendency to increase the level of inter-party competition. The index of the average effective number of parties developed by the author allows comparing between regions and relatively accurately determining the place of each of them in the overall rating. Although most of the regions where legislative elections were held in 2019–2020 are difficult to classify as competitive, the value of the index of the effective number of parties has increased even in them. Moreover, a number of regions, following the results of these elections, showed a noticeable increase and a high level of the value of this index by Russian standards. All this suggests that the diversity of regional party systems in Russia is growing, and this trend requires the attention of researchers.

References

1. Badovskiy, D. (2019) *Itogi 8 sentyabrya dlya vlasti* [Results of September 8 for the authorities]. [Online] Available from: <https://www.vedo-mosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810883-itogi-8-sentyabrya> (Accessed: 31st January 2021).

2. Rogov, K. (2019) *Vstrechnaya mobilizatsiya. Moskovskie protesty i regional'nye vybory – 2019. Analiticheskiy doklad* [Counter mobilization. Moscow protests and regional elections – 2019. Analytical report]. Moscow: Fond “Liberal'naya missiya”.

3. Lyubarev, A. (2019) “*Edinaya Rossiya*” ustanovila antirekord. *Itogi golosovaniya 8 sentyabrya 2019 goda* [“United Russia” has set an anti-record. Voting results on September 8, 2019]. [Online] Available from: <https://komitetgi.ru/analytics/4134/> (Accessed: 18th February 2021).

4. Bolshakov, I.V. & Perevalov, V.V. (2020) Consolidation or Protest? “Smart Voting” in Moscow Elections. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz – Politeia.* 1(96). pp. 50–73. (In Russian). DOI: 10.30570/2078-5089-2020-96-1-50-73

5. Bolshakov, I.V. & Perevalov, V.V. (2020) Assessing the Effectiveness of “Smart Voting” Strategy: A Discussion of Analytical Approaches. *Elektoral'naya politika – Electoral Politics.* 1(3). (In

Russian). [Online] Available from: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/otsenka-effektivnosti-umnogo-golosovaniia-spor-analiticheskikh-podkhodov/> (Accessed: 31st January 2021).

6. Buzin, A.Yu. (2020) Someone else's victory. *Elektoral'naya politika – Electoral Politics*. 1(3). (In Russian). [Online] Available from: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/chuzhaia-pobeda/> (Accessed: 28th January 2021).

7. Lyubarev, A.E. (2020) “Smart Voting” as One of the Determining Factors in the 2019 Moscow City Duma Election Results. *Elektoral'naya politika – Electoral Politics*. 1(3). (In Russian). [Online] Available from: <http://electoralpolitics.org/ru/articles/umnoe-golosovanie-kak-odin-iz-faktorov-povliivavshikh-na-rezultaty-vyborov-v-moskovskuiu-gorodskuiu-dumu-2019-goda/> (Accessed: 28th January 2021).

8. The Central Election Commission of the Russian Federation. (n.d.) *Svedeniya o provodyashchikhsya vyborah i referendumakh* [Information about the ongoing elections and referendums]. [Online] Available from: <http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom> (Accessed: 10th February 2021).

9. Lyubarev, A.E. & Shpagin, S.A. (2018) Party Reform and Dynamics of Inter-party Competition in Regional Elections 2012–2018. *Politicheskaya kontseptologiya*. 4. (In Russian). DOI: 10.23683/2218-5518.2018.4.189207

10. Golosov, G.V. (2016) *Sravnitel'naya politologiya i rossiyskaya politika, 2010–2015* [Comparative Political Science and Russian Politics, 2010–2015]. St. Petersburg: St. Petersburg European University.

11. Shpagin, S.A. (2020) The Electoral Cycle 2012-2016 and Party Systems in Russian Regions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 2(54). pp. 263–273. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/54/24

12. Golosov, G.V. (2005) Sfabrikovannoe bol'shinstvo: konversiya golosov v mesta na dumskikh vyborah 2003 g. [Forged majority: conversion of votes into seats in the 2003 Duma elections]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 1. pp. 108–119.

УДК 323.22/.28: 911.375.4:378.4
DOI: 10.17223/1998863X/62/16

А.И. Щербинин, Н.Г. Щербинина

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДИФИКАЦИИ БРЕНДА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДА

Исследование проведено в рамках гранта, предоставленного РФФИ и ЭИСИ по программе научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук в 2021 г. Проект № 21-011-31374 «Право на город: политические пространства устойчивости, конфликта, диалога».

Предлагается решение актуальной проблемы смысловой модификации бренда «университетский город». Первая часть исследования посвящена выявлению метакоммуникативных предпосылок для его существования в контексте городской семиосферы. Для теоретического анализа используются такие понятия, как «граница семиосферы», «текст», «язык / код», «перевод». В качестве субъекта, порождающего коммуникацию и фрейм «университетский город», рассматривается «активный пользователь». Во второй части на основе опроса иностранных студентов, обучающихся в Томске, раскрывается смысловая структура конституированного конкретного образа «университетский город». Выявленные самопроизвольно концептуализированные ценности могут быть положены в основу политики позиционирования – формирования новой уникальности исследуемого бренда.

Ключевые слова: политика позиционирования, университетский город, фрейм, семиосфера, пространство репрезентации, иностранные студенты

1. Метакоммуникативные предпосылки семиотической модификации бренда «университетский город»

Под модификацией бренда мы будем понимать такое его преобразование, в результате которого бренд приобретает некие новые свойства. И эти свойства относятся к разряду видовых характеристик, общих для всех университетских городов. Такой модифицированный бренд является своего рода фреймом, дающим схему представления о сегодняшнем университетском городе. Другими словами, данное представление имеет отношение к смысловому феномену «университетский город» и его пониманию как знака в современной коммуникации. Тем самым ставится и практический вопрос о необходимости модификации бренда города, позиционирующего себя университетским, поскольку старые официальные самоназвания нерелевантны именно в коммуникативном ключе. Фрейм и предоставляет метакоммуникативное определение коммуникативной ситуации, задавая параметры вовлеченности в нее. Метакоммуникативные предпосылки, таким образом, – это, по сути, необходимые условия для коммуникативной жизни бренда в данный момент. Очевидно, что речь в статье пойдет не только о теоретически возможном, но и о практически вероятном, наличии успешной бренд-коммуникации. А успешная коммуникация, в свою очередь, связана с передачей и пониманием смысла коммуникативного бренд-сообщения. Итак, мы

логически подошли к семиотическому характеру модификации бренда «университетский город», переозначиванию знака.

Прежде чем продолжить наши рассуждения, надо сделать необходимую оговорку. Под семиотической модификацией бренда мы не подразумеваем ребрендинг. Последний представляет собой комплекс изменений «портфельных» составляющих бренда: смену стратегии позиционирования бренда, изменение идеологии бренда, переписывание плана движения к цели проекта, корректировку ценностей и т.п. В случае ребрендинга речь идет о планомерной деятельности по дальнейшей разработке бренда, искусственном его обновлении и даже переделке. Но стратегии и планы, необходимые в формальном аспекте, сами по себе мало что значат в деле коммуникативного бытия брендов. Семиотическая же модификация бренда города связана с его смысловой стороной и задана семиосферой города, его знаковым пространством, выступающим основным условием и предпосылкой коммуникации о городе вообще. И любой бренд существует только в коммуникации и сам служит коммуникативным посланием. Итак, бренд создается намеренно и искусственно, но бытует он в естественной среде, вот почему ни отдельные рекламные «вбросы», ни разрозненные медиасобытия не актуализируют жизнь даже грамотно запланированного бренда. Что касается бренда города как знака, то он задействован главным образом в контексте глобальной коммуникации (в этом состоит его маркетинговое призвание), потому важно его внешнее позиционирование, но смысл бренда задан преимущественно внутренним информационно-текстовым обменом. И здесь, в традициях семиотики, сам город нами понимается в виде текста, который должен быть «написан» и «прочитан». В данном исследовании нас больше интересует «написание» текста «университетский город», но в благоприятных условиях наличия успешной коммуникации также возможности «чтения» и понимания.

Ведущим автором идеи бренда города, согласно маркетинговому обыкновению, выступает власть, продуцируя основные тексты из центра семиосферы для того, чтобы они приобрели нормативный характер относительно понимания города-знака. Но бренд-политика, планомерное создание и продвижение образного конструкта «университетский город», представляющего характеристику его уникальности, часто остается на начальном этапе стратегических замыслов и уровне отдельных бренд-презентаций. И даже при наличии активной бренд-политики властью очень редко учитываются другие потенциальные «соавторы» города-текста и порождаемые ими языки / коды. Еще Ю.М. Лотман обратил внимание на то, что в семиосфере не просто присутствует множество языков, но существует конкуренция кодов, потому некоторые тексты вообще не прочитываются. Конкретизируем с учетом темы статьи, в случае коммуникативного бездействия власти таким непрочитанным текстом может оказаться, и зачастую оказывается, как свидетельствует отечественная и мировая практика, и город-бренд. Потому важно не столько то, какие тексты «писались», сколько какие «читались» в определенный период времени [1. С. 253–254].

В данной связи уместно обратиться к понятию «пользователь», расширяя его значение от субъекта интернет-коммуникации до активного жителя, писателя / читателя города-текста. Дело в том, что во внутренней коммуникации города, от которой сущностно зависит семиозис бренда-знака, нельзя

навязать смысл, порожденный вовне данной городской семиосферы. Следовательно, бренд города способен означать лишь то, что релевантно городской семиотической среде в конкретной коммуникативной ситуации. При этом город-бренд как официальный текст в любом случае необходимо переводить на другие языки семиосферы, и тогда возникает проблема собственно перевода, поскольку дешифрующие коды могут отсутствовать, и смысл «нормативного» текста останется непонятым. Потому все «соавторы» города-знака должны договориться относительно метакода, некоей системы знаков, которая позволяет переводить знаки другого кода. Только в случае организации и поддержания соответствующей коммуникации можно прийти к договоренности о том, что сегодня все производители текстов и смыслов будут понимать под «университетским городом» и, главное, согласны ли они считать свой город «университетским».

Ю.М. Лотман также подчеркивал, что не только центр, но и вся семиосфера генерирует информацию, поэтому ее и заполняют языки или конструкции, переносящие семиотические значения. Далее, трансформируя лотмановские идеи, мы полагаем, что сегодня в центре семиосферы по-прежнему может находиться власть, если она имеет бренд-стратегию и продуцирует «нормативные» тексты для коммуникации бренда, а вот на периферии семиосферы помещаются те, кого мы назвали «пользователями». При этом проблема «перевода» на языки «пользователей» связана не с устройством семиотической системы города вообще, а конкретно с конструированием его бренда, выражающим в концентрированном виде идею города. Общий язык общения (метакод) и должен составить структуру или содержание бренда, который таким образом семиотизируется. То есть в бренде города объективируются его субъективное значение и коллективный смысл.

И здесь мы обращаемся к понятию бренда в контексте его роли в постсовременной коммуникации. Бренды представляют собой не просто маркетинговые атрибуты, они имеют отношение к целой культуре консюмеризма. Сегодня консюмеризм представлен именно брендами и, согласно М. Кафельсу, консюмеризм одновременно выступает одним из «протоколов» коммуникации, практикой, поддерживающей общие смыслы в рамках культуры потребления. «Брендинг является культурным измерением мирового рынка и процессом, с помощью которого индивиды придают смысл собственному консюмеризму» [2. С. 145]. Получается, что конкретная практика коммуникации, поддерживаемая, например, на протокольной основе консюмеризма, создает культурные коды. То есть понимание возможно в семиотическом пространстве данной специфической культуры, поскольку она самопроизвольно нацелена на коммуникацию с помощью брендов. Бренд города можно отнести не только к смыслосодержащим символическим формам, но и к высшей форме структурной организации семиотической системы города. Тогда бренд может стать городской «нормой», и активный горожанин будет поддерживать бренд и гордиться им. Следовательно, брендинг города формирует особую «реальность», поскольку в субъективном смысле реально то, что семиотически принято и значимо.

Самоописание города обычно создается в ядерной структуре семиосферы, но тексты «пользователей» тоже могут быть восприняты в нормативном ключе и даже войти в ядро. В постмодернистском понимании бренд-

политика, лишаясь системности и монополии официальной власти, превращается в субъективное «поле» переинтерпретации смыслов. Вместо одной политики возникают «политики», проявляющиеся во власти дискурсов. То есть сегодня единство семиотического пространства в отношении номинации города достигается не только за счет властного преимущества, но единением отношения к границе значений. Символическая позиция «университетский город» действительно отграничивает собой особый мир, тем самым под «границей» города здесь мы понимаем один из основных механизмов его семиотической индивидуальности. Интересно, что в университетском городе Университет (включая главное здание) становится своего рода культовым значимым объектом, помещенным в символическом центре. Из опроса иностранных студентов 2020 г.: «Томск – студенческий город, в основном почти половина населения Томска – студенты, атмосфера для учебы такая сильная, потому что куда бы вы ни пошли, вы можете увидеть здание университета...» (мужчина, Индонезия, 25 лет, срок пребывания в Томске 3 года). Отсюда молодежь вообще и студенты в частности, как семиотически «пограничные группы», также символически перемещаются в центр семиосферы города. Этот знаковый трансфер вообще характерен для динамики семиосферы, когда из пограничных зон культуры города что-то переносится в центр, становится культурно значимым. Тем более что символика периферии более яркая и маркированная, чем символика ядра семиосферы.

«Граница» имеет отношение и к переводу текстов, и к трансформации смысла, она вообще требует постоянных «переводов». Но, согласно Лотману, именно сама ситуация «перевода» и порождает информацию, а значит, и коммуникацию в содержательном смысле. Таким образом, в городе необходим диалог, а диалог в семиотическом понимании представляет собой попеременную линейную коммуникацию с обратной связью. Чтобы выработать общий язык, участники диалога переходят на чужой язык, при этом передача сообщений ведется дискретно. Генератор текстов находится в ядерной структуре семиосферы, а получатель – на периферии; затем центр и периферия меняются местами [1. С. 268–269]. Потому для инициирования диалоговой коммуникации городская власть вынуждена организовать «реальное» обсуждение бренда города как во внутренней коммуникации, так и во внешней. То есть речь не идет об информационном процессе, когда сообщение «спускается сверху». Начальный бренд-текст продуцируется городской властью, а затем встречный переосмысленный бренд-текст посылается с периферии. Власть не только должна отправить соответствующее сообщение молодежи, но поддержать обмен смыслами и обеспечить феномен понимания. Если же на разовом линейном «транше» процесс коммуницирования закончится, то получится лишь обычная рекламная «рассылка» относительно властного намерения о бренде «университетский город». Отправление единичного рекламного сообщения вообще не способно создать имидж бренда в сознании адресата, однако рекламное воздействие может «позиционировать» город при массивной рекламной атаке или, скорее, при серии атак. Но тогда опять получится не диалог, обмен мнениями, а монологическое «вбивание» в сознание «реципиента» потребной власти позиции. В диалоговом же режиме власть не должна ничего навязывать, она может лишь пригласить заинтересованных «пользователей» (молодежь, студентов, в том числе иностранных)

к обсуждению бренда. Со своей стороны «пользователи», приняв идею «университетского города», способны поддержать идентичность бренда города уже по типу круговой связи.

Почему роль «пользователей» в коммуникации бренда города столь существенна? Потому что «пользователи» создают свой собственный «культурный» мир на основе ценностей потребления и трансформируют его в соответствии с изменениями интересов. Кроме того, они способны к сетевой коммуникации (социальная коммуникация вообще сегодня тяготеет к сетевым формам) на основе консюмеризма. Что же дают сами бренды для конструирования таких личных миров? Бренды сообщают культурные образцы, но мы привыкли, что коммуникативная связь с брендом – линейная, и достаточно лишь расшифровать единственно верный код. Однако активные «пользователи» вводят вторичные коды, или «лексикоды», от которых теперь зависят «созначения». Тем самым означаящее бренда-символа, которое вообще обусловлено феноменом креативности, становится настоящей «смыслопорождающей формой», включающей множество значений и созначений, «благодаря корреспондирующим между собой кодам и лексикодам». Вот этот динамический процесс смены значений У. Эко и называл «смыслом» (см.: [3. С. 51, 56–57]). Тем самым пользователи не просто меняют смысл города-знака, но и вводят в коммуникацию собственный язык, перекодируют ее. При этом они увеличивают число «переводов», но это коммуникативное усложнение компенсируется тем, что диалог («разговор») сегодня непосредственно встроен в культуру консюмеризма. И здесь мы обращаемся к феномену мотивации «пользователей» на семиотическую деятельность, поскольку означивание представляет собой действие / поведение. Очень важным наличным мотивом для студентов / молодежи служит получение образования, потому для нее понятие «университетский город» в самом общем плане означает релевантное место для приобретения искомого образования. Всех же остальных потенциальных сторонников идеи данного бренда необходимо еще специально мотивировать с помощью рекламной коммуникации. При этом в деле мотивации можно обратиться лишь к довольно абстрактной и рациональной аргументации, подчеркивающей различные выгоды от конкретной знаковой формы позиционирования города. В категорию слабо мотивированных на брендинг попадает и власть, как показывает опыт многих отечественных и зарубежных городов, потому мы подчеркиваем модальность властной роли в становлении бренд-менеджмента.

Итак, в качестве выводов, завершающих первую часть статьи, можно выделить некоторые метакоммуникативные предпосылки или необходимые условия для коммуникативной жизни бренда «университетский город» в данный момент, заданные его фреймом. Во-первых, активные «пользователи» сами фреймируются, в отличие от других жителей города, они самопроизвольно создают языковую конструкцию (код) для обсуждения университетского города как темы. Во-вторых, создавая собственные лексикоды, «пользователи» именно семиотически модифицируют бренд «университетский город». При этом они порождают / достраивают видовые характеристики города на базе самопроизвольно оформленного фрейма, основанные на потребительской ценности «Университета». В-третьих, «пользователи» производят фрейм не только самого современного города-университета, но и присущего

ему адекватного образования, потребного именно сегодня. В этой актуальности понимания бренда «университетский город» заключается смысловой аспект, ведь конструирует интенция, само внимание и сосредоточенность сознания на предмете. Информационная же релевантность бренда-знака проявляется в том, что конкретный университет соответствует архетипу (Университету), а город, где есть университет, обладающий соответствующим прообразом образом, является «университетским». К сожалению, сегодня коммуникативную разноголосицу создают такие сопредельные в знаковом отношении и официально продвигаемые символические формы брендов, как «студенческая столица». Зарегистрированный товарный знак Томска «Студенческая столица России» является удачным маркером, выделяя город, но он не поддается модификации. Указанная символическая номинация слишком метафорична и хороша лишь для простой презентации. Если мы станем позиционировать Томск как студенческую столицу, то это выделит его среди других студенческих городов, но данная «позиция» неадекватна для «пользователей» в качестве объекта смыслополагания. Таким образом, сегодня весьма желателен диалог власти и активных «пользователей», а в самой уже состоявшейся диалоговой коммуникации необходимо поддерживать семиотическую динамику и релевантно модифицировать бренд «университетский город».

2. Образный смысл фрейма «университетский город» на примере исследования представлений иностраннх студентов

Образный смысл представляет собой авторскую объективацию содержательной оценки, своего рода проекцию вовне некой ментальной «картинки». В данной связи следует раскрыть смысловой аспект образа университетского города, конституированный в представлениях иностранных студентов, обучающихся в Томске, и обосновать его значимость для внешнего позиционирования модифицированного бренда города. Как известно, позиционирование бывает «внутренним» и «внешним», а сам термин указывает на маркетинговый контекст. И сегодня маркетинговая стратегия позиционирования чаще всего применяется к брендам, в том числе и городов. Но надо иметь в виду, что бренд-менеджмент, управление брендом города, осуществляется не только властью, но и «клиентами». В университетском городе такими «клиентами», потребителями научного и образовательного продукта университетов, выступают студенты вообще и иностранные студенты в частности. Вот почему образ университетского города, который складывается в нашем случае у иностранных студентов Томска, должен быть непременно положен в основание внешнего позиционирования бренда «университетский город».

Образ университетского города – это представление иностранных студентов о Томске. То есть под образом понимается конструкция сознания, которая репрезентирует или символически представляет город. Сама образная репрезентация характеризуется концептуальностью, связанностью элементов образа-конструкта и фреймированностью, что демонстрирует способ понимания и выражает трактовку смысла. Другими словами, образ университетского города должен обнаружить структуру взаимосвязанных характеристик, указывающих на значение города для того, кто этот образ самопроизвольно

создавал. Тем самым исследование образа Томска как «университетского города» на базе опроса иностранных студентов призвано артикулировать его особенности, то, что отличает именно Томск. В данном ключе позиционирование Томска вовне предстает как репрезентация уникальности города Томска. Фактически это своего рода реализация права на город (А. Лефевр) в формируемом («производство») и меняющемся («смысловая динамика») *пространстве репрезентации* («переживаемое через сопутствующие ему образы и символы») [4. С. 51–52], в условиях, когда официальные институты – городская власть, университеты, локальные медиа – по каким-либо причинам выключены из данного пространства, функция которого заключается в том, чтобы «присвоить себе воображение» [Там же].

Эмпирическое исследование иностранных студентов Томска рассматривалось как составная часть изучения фронтальных направлений в современную эпоху, важнейшими характеристиками которой являются «общество знания», рост значения городов, растущий рынок образовательной миграции и, соответственно, динамичный рынок экспорта образования. С учетом депопуляции страны, особенно ее восточных регионов, хотелось рассмотреть иностранных студентов и как возможный ресурс притока населения, относимого к интеллектуальному классу. Акцент был сделан на студентах томских университетов, причем из дальнего зарубежья, с учетом освоения ими русского языка «с нуля», отсутствия предшествующих знаний о реальной российской жизни. Фактически такого рода исследование опиралось на гипотезу, согласно которой мы получим образ университетского города, как говорится, в чистом виде. Само исследование в его основной части было посвящено картированию повседневных передвижений студентов пяти из шести томских университетов. Мы относим его к пространственной компетенции каждого члена общества, если воспользоваться триадой Лефевра. Второй задачей стало исследование картины личного «центра Томска» для каждого студента, что фактически позволило бы визуализировать образ Томска с привязкой к определенным любимым местам иностранных студентов. Анкета предлагалась на выбор на русском или английском языке.

Факультативным вопросом в конце анкеты был следующий: «Если бы у вас была одна минута, чтобы объяснить у себя на родине, „Что такое Томск?“, что бы вы сказали?».

Количество студентов, попавших в выборку, составило 156. Число же респондентов, ответивших на этот необязательный вопрос, достигло 97 человек, что равняется 62% от числа опрошенных. Ответы на открытый вопрос были семантически проанализированы, сгруппированы в родственные смысловые блоки и ранжированы. Всего мы получили 145 характеристик. Отметим, что лаконичных характеристик типа «студенческий город» или «город студентов» меньшинство. В основном это оценочные, нередко эмоциональные характеристики, связанные с наиболее яркими чертами города. На последнем замечании хотелось бы остановиться отдельно. Именно город, а не университеты (у них высокий уровень оценки, но они – объект основной деятельности студента, университет выбирался, исходя из цели получения качественного и доступного высшего образования за рубежом), стал объектом характеристики. Город, среда обитания, атмосфера – то, что, как правило, упоминается мельком или игнорируется в деле брендинга университетов. Это

давнее противоречие между городом и университетом. Первый не считает университетские проблемы своими, второй менее всего заботится о том, как презентовать среду обитания будущего клиента (см: [5]). В этом плане наше исследование показывает, что антропологическая, коммуникативная, эмоциональная составляющие брендинга города преобладают в выборе потребителя. Итак, на первом месте оказалась характеристика «город для иностранных студентов» (17,2%). Согласимся, повседневное пространство первично для подтверждения правильного выбора места учебы. Это значит, что с международным брендом университетского города Томска дела обстоят хорошо. На втором месте «атмосфера Томска», «жители» (16,5%). Комфортность пребывания для человека в чужой стране, незнакомом месте имеет одно из существенных значений. Устная презентация университетского города, вероятно, будет более полной, если его образ вписывается в пространственное ориентирование в стране и мире, сравнительная оценка связана с характеристикой «размеров и местоположения» (15,8%). Иностраный студент – это еще и гость, и в какой-то степени зависящий от городского и университетского сервиса турист. Поэтому равную позицию в образной характеристике (15,8%) занимают «красота», «архитектура», «культура». Поровну распределились еще две существенные характеристики – «хорошие университеты» и «безопасность» (по 8,9%). Замыкают образную составляющую еще две равные позиции – «город студентов» и «климат», «природа» (по 8,2%).

Итак, эмпирическое исследование показало, что образ Томска структурируется как бы на двух уровнях: повседневном и символическом. Начнем с уровня повседневности. Надо иметь в виду, что данный образ не является следствием искусственного рекламного воздействия, но оформляется естественным путем в результате прямой коммуникации человека с городом. В первую очередь Томск воспринимается и осмысливается иностранными студентами как «особенный город», и это определение само по себе уже дает основу позиционированию. Далее в плане раскрытия его конкретной специфики следует целый набор положительных черт: «хороший», «спокойный», «приятный», «дружелюбный», «гостеприимный», «второй дом». В целом форма обобщенного образа Томска напоминает характер человека, и город-субъект предстает как демократичный и коммуникабельный. Кстати, при формировании брендов очень часто используется аналогичный прием «очеловечивания», и это нужно для того, чтобы выразить эмоции по поводу бренда. В отношении Томска эмоции тоже присутствуют: по нему можно «скушать» и он «нравится».

Далее переходим к выявленным символическим характеристикам; конечно, город описывается с точки зрения географической привязки, это «сибирский», «русский» город. Но для иностранных студентов Томск как «университетский город» «вбирает в себя» и весь мир, поскольку здесь можно встретить студентов из многих не просто стран, но регионов: Африки, Ближнего Востока, Индии, Китая, Латинской Америки, Монголии. И, наконец, Томск – это город-университет, идеальная среда и благоприятное место для учебы. Перед нами «чисто» символическая ипостась Томска, которая не просто указывает на место, удобное для проживания и практического воплощения жизненного плана, но выражает особое значение, которое город приобретает как знак в коммуникации.

При позиционировании брендов вообще большую роль играет понятие идентичности, связанное с уникальностью бренда. На сегодняшний день наиболее известна концепция идентичности бренда Ж.-Н. Капферера. По нашему мнению, из всех шести граней его призмы отличительных особенностей бренда на первое место в данной связи надо поставить культуру бренда. Дело в том, что город как символический «товар» может быть производным лишь от культуры бренда, и именно культура способна сделать город привлекательным в коммуникации. К примеру, Coca-Cola символизирует США, все американское; у нас аналогично «университетский город» символизирует все томское. Вот как Капферер говорит о значении культуры бренда: «Культура бренда играет существенную роль в его дифференциации. Она определяет некий дух, ценности которого олицетворяются в товарах и услугах, выпускаемых под этим брендом» [6. С. 105–106].

Этот особый дух и ценности, которые необходимо проецировать на продукт томских университетов, науку и образование, должны быть репрезентативными ценностями, выраженными представителями студенческого международного сообщества в качестве уважаемых и значимых «клиентов», маркирующих современный и международный уровень образования вообще. Выявленные конкретные ценности в томском символическом выражении включают: позитивный настрой, доброжелательность, коммуникабельность. Но как же данные «общечеловеческие» ценности конвертировать в дело брендинга и позиционирования Томска как «университетского города»? И здесь снова следует обратиться к культуре диалога, а застрельщиками в диалоге призваны выступить те, кто будет инициировать бренд-менеджмент. В ходе актуального диалога, реального обмена знаковыми позициями, согласно семиотике, науке о коммуникативных системах, создается общий язык общения, или код. Вот на этом языке и возможно сформулировать / закодировать уникальность бренда Томска, ту семиотически модифицированную «позицию», которую будет целесообразно использовать для его внешнего позиционирования. Состоявшийся обмен мнениями был бы полезен и для «внутреннего» репозиционирования бренда Томска как «университетского города».

Литература

1. *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров: семиосфера. СПб. : Искусство – СПб, 2001. 704 с.
2. *Кастельс М.* Власть коммуникации. М. : Изд. дом. Высшей школы экономики, 2016. 564 с.
3. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Петрополис, 1998. 432 с.
4. *Лефевр А.* Производство пространства. М. : Strelka press, 2015. 432 с.
5. *Щербинин А.И., Севостьянов А.В.* Имиджевая стратегия в смысловом пространстве региональной политики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 57. С. 265–276.
6. *Капферер Ж.-Н.* Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. М. : Вершина, 2007. 448 с.

Alexey I. Shcherbinin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: shai52@mail.ru

Nina G. Shcherbinina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: sapfir.19@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 184–193.

DOI: 10.17223/1998863X/62/16

MODERN TRENDS IN UNIVERSITY CITY BRAND MODIFICATION

Keywords: positioning policy; university city; frame; semiosphere; representation space; foreign students

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Expert Institute for Social Research, Project No. 21-011-31374.

This article examines modern trends in the modification of the brand “university city” in the context of communication. The first part is a theoretical analysis based on the main categories of semiotics. Thus, brand modification is considered within the semantic framework of the urban semiosphere, and the brand here means “text” in the interpretation of Yu.M. Lotman. In the context of the authors’ concept of the political construction of reality, the generating subject of communication is the party that “writes” the text and also takes care of its coding and understanding. In this regard, the constructivist role, considered through the concepts of “border” and the change of places of the “core” and “periphery” of the urban semiosphere, is transferred from authorities to “active users”. At the same time, communication is understood as an equivalent of cultural dialogue with its “translation”. This kind of communication moves away from the absolutely linear form of advertising communication of brands and approaches the network configuration of “discussing” brands and giving them values, uniqueness, and thus identity. All this reveals the semiosis of the city brand as a sign and points to the correction of its meaning. Thus, active “users” generate their own “lexicodes” for discussing the topic of the city and spontaneously create a “frame” for the required “university city” and university. The second part of the article reveals the figurative meaning of the “university city” frame by examining the opinions of foreign students. A concrete example of their views regarding a relevant “university city” is shown by a survey of foreign students in Tomsk. The survey revealed the structure of interrelated characteristics that indicate the representative properties of Tomsk and articulate its special significance. In fact, this is a kind of implementation of the right to the city (H. Lefebvre). Empirical research has shown that the image of Tomsk is structured, as it were, on two levels: everyday and symbolic. In general, the form of the generalized image of Tomsk resembles the character of a person, and the city-subject appears as democratic and sociable. The symbolic hypostasis of Tomsk is a city-university, an ideal environment and a favorable place to study at. Thus, based on the culture of dialogue, it is feasible to exchange symbolic positions and create a specific language of communication, in which it is advisable to formulate a semiotically modified idea of a new positioning of the “university city”.

References

1. Lotman, Yu.M. (2001) *Vnutri myslyashchikh mirov: Semiosfera* [Inside Thinking Worlds: Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo – SPB.
2. Castells, M. (2016) *Vlast' kommunikatsii* [Communication Power]. Translated from English by N.M. Tylevich. Moscow: HSE.
3. Eco, U. (1998) *Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologi* [The Absent Structure. Introduction to Semiology]. Translated from Italian. St. Petersburg: Petropolis.
4. Lefebvre, A. (2015) *Proizvodstvo prostranstva* [The Production of Space]. Moscow: Strelka press.
5. Shcherbinin, A.I. & Sevostyanov, A.V. (2020) Image Strategy in the Semantic Space of Regional Policy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 57. pp. 265–276.* (IN Russian). DOI: 10.17223/1998863X/57/25
6. Kapferer, J.-N. (2007) *Brend navsegda: sozдание, razvitiye, podderzhka tsennosti Brenda* [The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term]. Translated from English. Moscow: Verzhina.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Л. Витгенштейн, парадоксы и теория типов. К 100-летию публикации «Логико-философского трактата»

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/62/17

В.А. Ладов

КРИТИКА ТЕОРИИ ТИПОВ В ФИЛОСОФИИ РАННЕГО Л. ВИТГЕНШТЕЙНА

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Обсуждаются взгляды раннего Л. Витгенштейна на проблему логических парадоксов. Утверждается, что, несмотря на критику Л. Витгенштейном теории типов Б. Рассела, его позицию не следует расценивать как отрицание иерархического подхода к решению проблемы парадоксов, основой которого выступала теория типов. Напротив, витгенштейновская позиция представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода, обладающий более весомым аргументационным потенциалом, нежели расселовская теория типов.

Ключевые слова: Л. Витгенштейн, Б. Рассел, логика, парадокс, теория типов, иерархический подход, самореферентность

Проблема парадоксов

Логические парадоксы, например парадокс Лжеца, были известны уже в античной философии. Иногда рассмотрение данного парадокса было даже рискованным для здоровья античных мыслителей. Так, Р. Сенсбери, один из современных исследователей проблемы парадоксов, замечает: «Считается, что этот парадокс мучил многих античных логиков и привел к смерти по крайней мере одного из них – Филета Косского» [1. Р. 1].

Однако предполагаемый трагический случай, произошедший с Филетом Косским, является, скорее, исключением из правил. Дело в том, что на протяжении многих столетий парадоксы не принимались всерьез и рассматривались лишь в качестве необычных логических головоломок, забав для ума. Это положение дел изменилось только в начале XX в., когда Б. Рассел показал, что логические парадоксы представляют собой серьезную научную проблему. Математика как наиболее строгий вид рационального научного знания оказывается зависимой от решения проблемы парадоксов, по крайней мере,

в контексте логицизма – философской программы обоснования математики Г. Фреге.

Самым известным способом разрешения парадоксов стал иерархический подход. Сначала Б. Рассел представил теорию типов [2], а затем А. Тарский сформулировал концепцию метаязыков [3] – именно эти теоретические разработки и легли в основу иерархического подхода к решению парадоксов. Главный методологический прием, который используется в иерархическом подходе, состоит в запрете на явление самореферентности (self-reference). Теория типов Рассела расценивает как логически некорректные такие понятия и способы рассуждения, формирование которых опирается на явление самореферентности. Концепция метаязыков Тарского запрещает смешивать объектный язык и метаязык, который сам становится объектным языком для метаязыка следующего уровня. Явление самореферентности в языке возможно только при смешении объектного языка и метаязыка, что в концепции Тарского признается семантически некорректным.

Несмотря на то, что иерархический подход широко признан в мире как наиболее ясный и приемлемый способ решения проблемы парадоксов, в последние десятилетия он все чаще подвергается критике в исследовательской литературе по логике, философии математики и эпистемологии [4–6]. Исходя из этой ситуации, мы предлагаем обратить внимание на размышления раннего Л. Витгенштейна по проблеме парадоксов. Позиция Витгенштейна оказывается весьма специфической. Казалось бы, он высказывается против теории типов Б. Рассела и потому должен быть причислен к группе критиков иерархического подхода. Однако при более тщательном рассмотрении мы видим, что Витгенштейн не против идеи иерархии, предлагаемой теорией типов, наоборот, считает расселовскую теорию недостаточно радикальным способом представления иерархии знаков, присущей языку. Ранний Витгенштейн утверждает, что явление самореферентности не нужно запрещать, как это предлагала теория типов, поскольку данное явление в принципе невозможно.

Таким образом, мы видим, что позиция раннего Л. Витгенштейна представляет собой не отрицание, а, напротив, наиболее радикальную форму иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Именно витгенштейновская позиция оказывается наиболее устойчивой к тем критическим аргументам, которые были сформулированы в адрес иерархического подхода на рубеже XX–XXI вв.

Позиция раннего Л. Витгенштейна по проблеме парадоксов

Л. Витгенштейн критикует теорию типов Б. Рассела не только в «Логико-философском трактате» [7], но и в работах, предшествующих главному произведению раннего периода его философии. Мы находим эти идеи в таких источниках, как «Письма к Расселу, Кейнсу и Муру» [8], «Дневники 1914–1916» [9], «Заметки по логике» [10].

Так, в «Письмах к Расселу, Кейнсу и Муру» имеется следующий пассаж: «И далее: каждая теория типов должна быть представлена как излишняя при помощи надлежащей теории символизма... То, в чем я *больше* всего уверен, это не правильность моего метода анализа, но тот факт, что со всей теорией типов должно быть покончено посредством теории символизма, демонстрирующей, что то, что предстает как *различные виды вещей*, обозначается раз-

личными видами символов, которые *не могут* быть заменены друг другом» [8. Р. 19–20].

Витгенштейн не говорит, что основные тезисы теории типов не верны, но утверждает только то, что она просто является излишним концептуальным изобретением. Взамен теории типов Витгенштейн предлагает свою теорию символизма. Теория символизма также именуется теорией, однако она строится на принципиально иных методологических основаниях, нежели расшевеловская теория типов. Прояснение этого мы находим в следующем месте «Заметок по логике»: «В философии нет дедукций, она чисто дескриптивна» [10. Р 106].

Теория символизма не мыслится как последовательное, методическое усилие исследователя по исправлению изъянов мышления и языка, которые приводили нас в тупик парадоксов. Витгенштейн представляет свою деятельность, скорее, как определенный вид всматривания в то, что уже происходит в языке без каких-либо теоретических влияний на него извне. Результатом этого всматривания оказывается описание имеющихся фактов существования знаков, а не формулировка неких теоретических рекомендаций к тому, чтобы язык функционировал без сбоев, логически корректно.

В этом контексте становится понятным широко известное высказывание раннего Витгенштейна о том, что логика должна заботиться о себе сама: «В определенном смысле для нас должно быть невозможным ошибаться в логике. И это уже отчасти выражено в словах: Логика должна заботиться о себе сама. Это чрезвычайно глубокое и важное наблюдение» [9. С. 17]. Имеется в виду, что логичность, последовательность высказываний не приносится в язык в качестве некоторой теоретической добавки, дедуктивной разработки (что предлагала теория типов или концепция метаязыков), но уже обнаруживается в языке, который оказывается логически последовательным изначально, еще до каких-либо внешних методологических усилий по его коррекции.

Продумываемая Витгенштейном теория символизма специфическим образом трактует сам статус знака в языке. Знак – это не только графический или фонетический объект, но и то место, которое этот объект занимает в общей структуре предложения. В «Дневниках» эта мысль выражена следующим образом: «В $\phi\xi$ символизирует то, что ϕ стоит слева от *некоторого* собственного имени, а в $\sim p$ это, очевидно, не так. Во всех предложениях, в которых (если говорить в общих чертах) встречается имя свойства, общим является то, что это имя стоит слева от *формы имени*» [Там же. С. 143], – и далее: «Вероятно, ϕ не может стоять слева от (или в любом другом отношении) от символа свойства. Так как символ свойства, например, ψx заключается в том, что ψ стоит слева от именной формы, и другой символ ϕ , вероятно, не может стоять слева от такого факта: если бы он мог, мы имели бы нелогичный язык, который невозможен» [Там же].

М. Руффино, один из современных исследователей, который обращается к рассмотрению теории символизма раннего Витгенштейна, интерпретирует вышеприведенные пассажи следующим образом: «...то, что символизирует, для Витгенштейна есть знаки ‘ ϕ ’ и ‘ ξ ’ в *определенной позиции к соседним знакам* (иного логического типа). Другими словами, то, что символизирует есть перцептуальный знак *плюс его относительная позиция в пропозициональных*

знаках. Позиция, понятая здесь как некоторый вид отношения (пространственного или временного в соответствии с природой занятого знака), состоит в том, что знак поддерживается другими знаками, которые являются членами полного пропозиционального знака» [11. Р. 409].

И в параграфе 3.333 «Логико-философского трактата» – итогового произведения философии раннего Витгенштейна – действительно, именно так и представлена природа знака: «Функция потому не может быть своим собственным аргументом, что знак функции содержит образец ее аргумента; а этот образец не может включать сам себя. Предположим, например, что функция $F(\hat{x})$ могла бы быть своим собственным аргументом; в таком случае существовало бы предложение ' $F(F(\hat{x}))$ ', а в нем внешняя функция F и внутренняя функция F должны иметь разные значения, ибо внутренняя функция имеет форму $\phi(\hat{x})$, а внешняя – $\psi(\phi(\hat{x}))$. Общей у обеих функций является только буква F , которая, однако, сама по себе ничего не обозначает...» [7. С. 16].

Буква F сама по себе еще не есть знак. Необходимо, чтобы графический объект был связан с тем местом в структуре предложения, которое как раз и делает графический объект полноценным знаком. В предложении « $F(F(\hat{x}))$ » буква F представляет два разных знака, поскольку знаком является не только графический объект как таковой.

Если принимать во внимание такую контекстуальную специфику знака, то те трудности, которые приводили к парадоксам самореферентности, должны, по мысли Витгенштейна, разрешиться сами собой, без какой-либо дополнительной теоретической «прививки» к языку. Это подчеркивает М. Руффино: «Вторым значимым свойством теории символизма Витгенштейна является то, что самореферентность или самопредикация не просто ошибка, но и действительно невозможна. Ибо, если мы запишем ' $(\phi(\phi \hat{x}))$ ', даже если мы используем ту же самую букву для функции и аргумента, то устанавливаемые символы окажутся фактически различными, так как то, что символизирует – это не просто знак, но также тот *факт*, что ' ϕ ' стоит слева от имени (или, если ' ϕ ' символизирует функцию второго порядка, то тот *факт*, что ' ϕ ' стоит слева от первопорядкового символа)» [11. Р. 412].

Иерархический подход трактовал самореферентность именно как *ошибку* естественного языка и связанного с ним логически некорректного мышления. Например, А. Тарский прямо говорит, что именно универсальный язык, в котором содержится ссылка на самого себя, т.е. присутствует явление самореферентности, оказывается логически непоследовательным: «...семантические антиномии... доказывают, что любой универсальный язык, в котором соблюдаются обычные законы логики, должен быть непоследовательным» [3. Р. 164–165]. Самореферентность в качестве основы парадоксов мышления фиксировал и Б. Рассел: «У всех указанных выше противоречий (которые суть лишь выборка из бесконечного числа) есть общая характеристика, которую мы можем описать как самореферентность или рефлексивность» [2. С. 18].

Если есть ошибка, то должна быть выработана методология, посредством которой эту ошибку следует исправить. И исправление ошибки должно мыслиться как определенное усовершенствование не вполне ясного с логической точки зрения естественного языка и связанного с ним способа мышле-

ния. Именно такими методологическими инструментами и предстают теория типов Б. Рассела и концепция метаязыков А. Тарского. Результатом применения этого методологического инструментария оказывается факт исправления ошибки естественного языка, а именно искоренение явления самореферентности, которое приводило к парадоксам.

Однако символизма раннего Витгенштейна понимает самореферентность не как ошибку, которую нужно исправить, но, скорее, как иллюзию, от которой нужно избавиться. Разница здесь заключается в том, что если в системе присутствует ошибка, то сама система должна быть признана нами ущербной, нуждающейся в корректировке. Если же в самой системе ошибки нет, но имеется лишь иллюзия такой ошибки, возникающая из-за недостаточной внимательности к тому, как именно функционирует язык, то и исправлять ничего не требуется, система и так, без какой-либо помощи извне, работает логически корректно.

С точки зрения раннего Витгенштейна, самореферентность в языке просто невозможна, а значит, и исправлять нечего. Если это так, то не нужна и никакая теория типов. Язык функционирует так, что не создает парадоксов. Иллюзия парадоксов возникает из-за нашего недостаточно пристального внимания к нюансам работы языка. Если такое внимание проявить и просто надлежащим образом описать то, что уже и так содержится в языке, то такая чисто дескриптивная работа вполне заменит никому не нужную теорию типов. В этом контексте становится понятным емкий тезис параграфа 3.332 «Логико-философского трактата»: «Ни одно предложение не может высказывать нечто о себе самом, ибо знак-предложение не может содержаться в себе самом (это вся ‘теория типов’)» [7. С. 16].

Ранний Витгенштейн заменяет теорию типов своей теорией символизма. Но теория символизма включает в себя совершенно иную методологию, нежели теория типов. Теория символизма не представляет собой какую-либо искусственно созданную рациональную конструкцию, которую можно использовать для усовершенствования естественного языка и связанного с ним не вполне ясного с логической точки зрения мышления. Теория символизма чисто дескриптивна. Она просто описывает то, как работает сам язык, как логика языка заботится о себе сама, без какой-либо помощи извне.

Значение взглядов раннего Л. Витгенштейна в контексте критики иерархического подхода к решению проблемы парадоксов

Иерархический подход к решению проблемы парадоксов критиковался в последние десятилетия в различных аспектах. Ниже кратко представим главные из них.

Во-первых, иерархический подход к решению парадоксов порождает так называемые «реванш-проблемы» (revenge problems), т.е. сам попадает в те же логические ловушки, которые пытается преодолеть.

Так, американский логик Ф. Фитч указывает на то, что теория типов Б. Рассела сама может быть построена только на основании предпосылки существования универсальной самореферентной концептуальной разработки, запрет на которую она стремилась установить. Если же такую предпосылку исключить, то теория типов в принципе нереализуема. Ф. Фитч утверждает,

что теория типов «...не может приписать тип значению слова „тип“, хотя она должна это делать, если эта теория касается всех значений. Проще говоря, нет „порядка“... который можно приписать пропозиции обо всех пропозициях, поэтому нет порядка, который можно приписать пропозиции, устанавливающей... теорию типов» [12. P. 71].

В отношении семантической концепции А. Тарского хорошо известна критическая аргументация Х. Патнема, в которой используется метафора так называемого языка красных чернил [13]. Если красными чернилами записываются правила для всех возможных языков, высказывания которых записаны чернилами всех иных известных цветов, то каким цветом будут записываться правила для языка красных чернил, т.е. для самой концепции Тарского? Если красным, то сам этот язык оказывается замкнут на самом себе, т.е. самореферентным. Если же мы должны предположить существование чернил иного, неизвестного нам цвета, то правила языка красных чернил не будут распространяться на этот новый метаязык, и высказывания, записанные новым цветом, могут регулироваться иными правилами, отличными от разработанной семантической концепции.

Во-вторых, запрет на самореферентность в мышлении, по мнению определенной группы критиков иерархического подхода, наносит существенный урон исследовательскому потенциалу логики и математики.

А. Андерсон отмечает, что «Затруднение такой позиции (имеется в виду полный запрет на самореферентность как способ устранения парадоксов. – В.Л.) состоит в том, что некоторые из самых глубоких доказательств в логике включают самореферентность (в том смысле, который необходим для достижения абсолютной ясности...)» [14. P. 8].

С. Крипке указывает на то, что при формулировке знаменитых теорем К. Геделя определенным образом задействуется самореферентность, и потому ее полное отрицание также наносит урон важным математическим достижениям [15].

В-третьих, существуют такие самореферентные формы мысли и языка, которые вообще не приводят к парадоксам ни при каких обстоятельствах.

Определенная группа критиков иерархического подхода обращает внимание на то, что к парадоксам приводит, как правило, отрицательная самореферентность, в то время как положительные формы самореферентности оказываются свободными от противоречий. Так, Т. Боландер различает понятия «порочной самореферентности» (*vicious self-reference*, по аналогии с принципом порочного круга в логике: *circulus vitiosus*) и «невинной самореферентности» (*innocuous self-reference*): «Самореферентность, которая ведет к парадоксам, мы называем *порочной самореферентностью*, а самореферентность, которая этого не делает, мы называем *невинной самореферентностью*» [16. P. 24].

Д. Билл обсуждает понятие *truth-teller*, что можно было бы перевести как «правдолюбец», для описания самореферентного высказывания с положительным предикатом истины [17. P. 126]. Этот пример показателен тем, что как только мы в формулировке «Лжеца» заменим отрицательный предикат истины на положительный, угроза парадокса сразу же исчезает. На это же обращает внимание и Т. Боландер: «Можно показать, что самореферентность

может быть порочной только тогда, когда она включает отрицание или что-то эквивалентное ему (такое как „нет“)» [16. Р. 24].

Г. фон Вригт вводит термин «существенная отрицательность» для характеристики тех форм рассуждений, включающих отрицание, которые приводят к образованию парадоксов. По этому признаку фон Вригт объединяет известные парадоксы, основанные на явлении самореферентности: «Можно сказать, что антиномии Греллинга, Рассела и Лжеца устанавливают или демонстрируют „существенную отрицательность“ некоторых понятий» [18. С. 447].

Самореферентность, включающая отрицание, как правило, сразу создает опасность логического тупика для мышления, что демонстрируют указанные фон Вригтом парадоксы. Но рассуждения, основанные на явлении самореферентности, в которых отрицание отсутствует, чаще всего никаких проблем для последовательного мышления не создают.

В-четвертых, иерархический подход, полностью запрещающий явление самореферентности, не позволяет в области эпистемологии пользоваться классическим аргументом *reductio ad absurdum* для критики наиболее радикальных скептических и релятивистских теорий. Об этом пишет К. Уормелл: «Существует очень хорошее основание для того, чтобы не запрещать самореферентность полностью; а именно использование в философии аргументов *reductio ad absurdum*, опирающихся на самореферентность. Конечно, вполне оправданно отрицать радикально критическую философию, обращая ее на самое себя – позиция, которая не могла бы быть сформулирована, если бы вся самореферентность автоматически признавалась бы неприемлемой» [19. Р. 267].

Таким образом, мы видим, что недовольство иерархическим подходом, полностью запрещающим явление самореферентности, исходило и от логиков, и от математиков, и от эпистемологов. Звучали предложения какой-либо трансформации, ограничения иерархического подхода, освобождения его от той радикальности, которая оказывает негативное воздействие на указанные выше области знания. В таком ключе, в частности, высказывался Ф. Фитч: «Проблема состоит в том, чтобы найти теорию типов, которая бы элиминировала „порочные“ виды самореферентности, приводящие к математическим и семантическим парадоксам, но не те виды, которые представляют важную часть философской логики или требуются для развития теории натуральных чисел» [12. Р. 71–72].

Однако все вышеуказанные критики иерархического подхода, представляющие различные области знания, как само собой разумеющееся исходили из одной общей предпосылки: они трактовали данный подход как некоторый искусственный методологический прием, как некоторое теоретическое усилие исследователя, направленное на исправление недостатков естественного языка и связанного с ним уровня мышления. Теория типов и концепция метаязыков предстают здесь в качестве некоторой «прививки» для естественного языка, в качестве внешнего теоретического вторжения, призванного освободить язык и мышление от парадоксов. Если мы имеем дело с искусственным, создаваемым усилием исследователя-теоретика методологическим приемом, то, соответственно, мы всегда можем поставить вопрос о корректности данной методологии. Данный методологический прием при желании можно от-

менить, отказаться от него, к чему и призывают различные версии критики иерархического подхода.

Но дело в том, что ранний Витгенштейн выстраивает свои исследования на принципиально ином основании. Он не считает иерархию искусственной «прививкой» для языка, которую якобы продуцирует теория типов. Теория типов работает вхолостую, ибо иерархия уже изначально внутренне присуща языку без какого-либо внешнего исследовательского воздействия. Все, что мы можем сделать в теории символизма, – это просто описать уже имеющееся объективное положение дел: принципы функционирования знаков в языке.

Если ранний Витгенштейн прав и иерархия уже внутренне присуща языку, то и отменить ее невозможно некоторым волевым усилием исследователя-теоретика, как это предлагали сделать критики иерархического подхода. Здесь разрушается сам фундамент, на котором может быть выстроена такая критика.

На основании всего вышесказанного мы можем заключить, что теория символизма раннего Л. Витгенштейна представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Эта теория оказывается устойчивой по отношению ко всей критике в адрес иерархического подхода, которая была представлена в последние десятилетия в исследовательской литературе по данному вопросу.

Литература

1. *Sainsbury R.M.* Paradoxes. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
2. *Рассел Б.* Математическая логика, основанная на теории типов // Логика, онтология, язык. Томск, 2006. С. 16–62.
3. *Tarski A.* The Concept of Truth in Formalized Languages // Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford : Oxford University Press, 1956. P. 152–278.
4. *Ладов В.А.* Логические основания формального реализма // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 341. С. 48–55.
5. *Ладов В.А.* Решение логических парадоксов в семантически замкнутом языке // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52, № 2. С. 104–119.
6. *Ladov V.* Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes // Filosofija. Sociologija. 2019. Vol. 30, № 1. P. 36–43.
7. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 5–73.
8. *Wittgenstein L.* Letters to Russell, Keynes and Moore. Oxford : Blackwell, 1974.
9. *Витгенштейн Л.* Дневники 1914–1916. Томск, 1998.
10. *Wittgenstein L.* Notes on Logic // Notebooks 1914–1916. Oxford : Blackwell, 1979. P. 93–104.
11. *Ruffino M.A.* The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types // Synthese. 1994. Vol. 98. P. 401–414.
12. *Fitch F.* Self-Reference in Philosophy // Mind. 1946. Vol. 55, № 217. P. 64–73.
13. *Патнем Х.* Реализм с человеческим лицом // Аналитическая философия: становление и развитие. М. : ДИК, 1998. С. 466–494.
14. *Anderson A.P.* St. Paul's Epistle to Titus // The Paradox of the Liar. New Haven ; London, 1970. P. 1–11.
15. *Крунке С.* Очерк теории истины // Язык, истина, существование. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 151–183.
16. *Bolander T.* Essay: Self-reference and Logic // ФNEWS. 2002. № 1, April. P. 9–43.
17. *Beall Jc.* A Neglected Deflationist Approach to the Liar // Analysis. 2001. Vol. 61, № 2, April. P. 126–129.
18. *Вригт Г.Х. фон.* Гетерологический парадокс // Логико-философские исследования : избранные труды. М., 1986. С. 449–482.

19. Wormell C.P. On the Paradoxes of Self-Reference // *Mind*. 1958. Vol. 67, № 266. P. 267–271.

Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ladov@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 194–203.

DOI: 10.17223/1998863X/62/17

CRITICISM OF THE THEORY OF TYPES IN THE EARLY WITTGENSTEIN'S PHILOSOPHY

Keywords: Ludwig Wittgenstein; Bertrand Russell; logic; paradox; theory of types; hierarchical approach; self-reference

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

The article is devoted to considerations of early Wittgenstein's views on the problem of logical paradoxes. The most well-known way of solving logical paradoxes is the hierarchical approach. First, Russell developed the theory of types in which paradoxes were solved at the level of revealing correct forms of thinking, and then Tarski formulated the semantic conception of metalanguages, in which paradoxes were solved at the level of revealing correct forms of representation of thinking in language. The main methodological step used in this hierarchical approach to solving the problem of paradoxes is prohibiting the phenomenon of self-reference. Russell's theory of types regards as logically incorrect such concepts and methods of reasoning the formation of which relies on the phenomenon of self-reference. Tarski's conception of metalanguages forbids mixing the object language and the metalanguage, which itself becomes the object language for the next-level metalanguage. Self-reference in language is possible only when the object language and the metalanguage are mixed, and, in Tarski's conception, this situation is considered semantically incorrect. Although the hierarchical approach is still considered the most orthodox way of solving logical paradoxes, it is increasingly criticized in the research literature on logic, epistemology, and the philosophy of mathematics in the last decades of the 20th century and in the early 21st century in which various shortcomings of Russell's and Tarski's positions are pointed out. The author of this article draws attention to the special position of Wittgenstein in the context of discussion on the problem of logical paradoxes he expressed in the *Tractatus Logico-Philosophicus* and other writings of the early period of his philosophy. The author asserts that Wittgenstein's position proves to be invulnerable to modern critics of the hierarchical approach.

References

1. Sainsbury, R.M. (2009) *Paradoxes*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Russell, B. (2006) "Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov" [Mathematical Logic as Based on the Theory of Types]. Translated from English by V.A. Surovtsev. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Logika, ontologiya, yazyk* [Logic, ontology, language]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 16–62.
3. Tarski, A. (1956) The Concept of Truth in Formalized Languages. In: Tarski A. (ed.) *Logic, Semantics, Metamathematics*. Oxford: Oxford University Press. pp. 152–278.
4. Ladov, V.A. (2010) Logical Foundations of Formal Realism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 341. pp. 48–55. (In Russian).
5. Ladov, V.A. (2017) "Reshenie logicheskikh paradoksov v semanticheski zamknutom yazyke" [Logical Paradoxes Solution in Semantically Closed Language]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 52(2). pp. 104–119.
6. Ladov, V.A. (2019) Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus* and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes. *Filosofija. Sociologija*. 30(1). pp. 36–43. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3914
7. Wittgenstein, L. (1994) *Logiko-filosofskiy traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Translated from German by M.S. Kozlova, Y.A. Aseev. In: Kozlova, M.S. (ed.) *Filosofskie raboty. Chast' I*. [Philosophical Works. Chapter I]. Moscow: Gnozis. pp. 5–73.
8. Wittgenstein, L. (1974) *Letters to Russell, Keynes and Moore*. Oxford: Blackwell.

9. Wittgenstein, L. (1998) *Dnevniki 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from German. Tomsk: Vodoley.
10. Wittgenstein, L. (1979) *Notebooks 1914–1916*. Oxford: Blackwell. pp. 93–104.
11. Ruffino, M.A. (1994) The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types. *Synthese*. 98. pp. 401–414. DOI: 10.1007/BF01063927
12. Fitch, F. (1946) Self-Reference in Philosophy. *Mind*. 55(217). pp. 64–73.
13. Putnam, H. (1998) Realizm s chelovecheskim litsom [Realism with a Human Face]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filozofiya: stanovlenie i razvitie (antologiya)* [Analytical Philosophy: The establishment and development (Anthology)]. Translated from English and German. Moscow: DIK. pp. 466–494.
14. Anderson, A.P. (1970) St. Paul's Epistle to Titus. In: Martin, R.L. (ed.) *The Paradox of the Liar*. New Haven and London. pp. 1–11.
15. Kripke, S.A. (2002) Oчерк теории истины [Outline of a Theory of Truth]. Translated from English by V.A. Surovtsev. In: Surovtsev V.A. (ed.) *Yazyk, istina, sushchestvovanie* [Language, Truth and Existence]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 151–183.
16. Bolander, T. (2002) Self-Reference and Logic. *FNews*. 1. pp. 9–43.
17. Beall, Jc. (2001) A Neglected Deflationist Approach to the Liar. *Analysis*. 61(2). pp. 126–129. DOI: 10.1093/analys/61.2.126
18. Wright, G.H. von. (1986) *Logiko-filosofskie issledovaniya: Izbrannye trudy* [Logical and Philosophical Studies: Selected Works]. Translated from English by V.A. Smirnov et al. Moscow: Progress. pp. 449–482.
19. Wormell, C.P. (1958) On the Paradoxes of Self-Reference. *Mind*. 67(266). pp. 267–271.

УДК 1.16

DOI: 10.17223/1998863X/62/18

Г.Г. Антух

ТЕОРИЯ СИМВОЛИЗМА Л. ВИТГЕНШТЕЙНА И АВТОНОМНОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

Приводится ряд аргументов против тезиса, отстаиваемого В.А. Ладовым. Демонстрируется, что основоположения теории символизма Витгенштейна не соотносятся с ее практическими возможностями: ни одна из приведенных в статье интерпретаций теории символизма не допускает возможности постулировать иерархическую типологизацию вне контекста иерархической модели мышления. Предполагается, что теория Витгенштейна не имеет принципиального преимущества перед теорией типов в решении проблемы парадоксов.

Ключевые слова: парадоксы, автореферентность, Витгенштейн, логика, мышление

В начале работы В.А. Ладов отмечает, что логические парадоксы, например парадокс Лжеца, были известны уже в античной философии. На протяжении многих столетий, пишет он, парадоксы не принимались всерьез и рассматривались, скорее, в качестве необычных логических головоломок, забав для ума [1]. Пусть последнее утверждение и отвечает историко-философской действительности в отношении сугубо логической проблематики, оно несколько некорректно в части общепhilosophической мысли, начала которой в западноевропейской традиции были заложены в Античности. Примером, иллюстрирующим данное несоответствие, может быть выбрана критика теории «эйдосов» Платона, которая включает в себя элементы как абстрактной рационалистической философии, так и логицизма. Общее место критики платонического реализма сводится к вопросу об обосновании идеальных сущностей, выступающих универсальным прообразом реальных объектов и исчерпывающих многообразие их выразительных форм. В свете отстаиваемого Платоном дуализма остается неясным, каким образом идеи, с одной стороны, выступают причиной вещей и вместе с тем сами вещами не являются, с другой – описывают множество объектов физической реальности, но в то же время не описывают самих себя. Как представляется, первое замечание следует трактовать в качестве логического противоречия, второе же как раз и относится к той части абстрактного рационализма, непосредственно связанного с проблемой логических парадоксов, к которой Ладов обращается в начале статьи, подводя читателя к обсуждению взглядов «раннего» Л. Витгенштейна на данную проблему.

Сам Витгенштейн в работах «Письма к Расселу, Кейнсу и Муру» [2], «Дневники 1914–1916» [3], «Заметки по логике» [4], предшествующих «Логико-философскому трактату» (ЛФТ) [5], выступает с критикой иерархического подхода, предложенного Б. Расселом в теории типов [6]. В отличие от критической аргументации в адрес теории «эйдосов», критика теории типов в творчестве «раннего» Витгенштейна имеет иную природу и сосредоточивается не на отрицании самой иерархической модели, но на том, что ее постули-

рование оказывается просто избыточно для логико-теоретического анализа. Данная избыточность устраняется Витгенштейном с помощью принципа символизма, диктующего отказ от излишнего теоретизирования над синтаксисом в пользу дескриптивного изучения пространственно-графической стороны символических связей. Ладов отмечает, что продумываемая Витгенштейном теория символизма специфическим образом трактует сам статус знака в языке. Знак, – пишет он, – это не только графический или фонетический объект, но и то место, которое этот объект занимает в общей структуре предложения, и место это с необходимостью задает структуру синтаксиса, предопределяя конечную вариативность интерпретаций в отношении имени и свойств, ему приписываемых. В понимании М. Руффино, «позиция, понятая здесь как некоторый вид отношения (пространственного или временного, в соответствии с природой занятого знака), состоит в том, что знак поддерживается другими знаками, которые являются членами полного пропозиционального знака» [7. Р. 409].

Как полагает Ладов, приняв во внимание предложенную Витгенштейном пространственно-графическую модель синтаксиса, становится возможным преодоление проблемы логико-семантических парадоксов, одной из причин которых принято считать явление автореферентности. В то время как иерархический подход трактовал автореферентные тождества в качестве изъяна семантически замкнутых языков, теория символизма Витгенштейна учит тому, что автореферентность есть не более чем *надуманная* фикция. Конкретнее: с позиции «раннего» Витгенштейна, автореферентность в языке просто невозможна, а значит, и исправлять нечего. В таком случае не нужна и никакая типологизация, язык функционирует так, что не создает парадоксов, а иллюзия парадоксов возникает из-за ненадлежащего внимания к нюансам работы языка [1].

В современной логико-философской литературе явление автореферентности обсуждается в качестве одной из основополагающих причин возникновения парадоксов. Но как часто проводится различие между такими понятиями, как рефлексивность, циркулярность, непрерывность и бесконечность, и проводится ли вообще? Для наглядности обратимся к следующему примеру. Когда мы описываем движение по кругу, мы, с одной стороны, совершаем непрерывное повторяющееся движение, описывающее один и тот же силуэт, с другой – раз за разом огибаем новые круги, счет которых ведется в пространственно-временной плоскости, где количество новых серий непрерывно возрастает в динамике натурального числового ряда. Более того, если мы имеем дело с гомогенным пространством ненулевой кривизны, каждая новая серия в проделываемой работе будет очерчивать все новые и новые пространственные рубежи, образуя подобие спирали. Как представляется, в первом случае мы имеем дело с непрерывностью, которая в логическом смысле может быть интерпретирована как циркулярность, во втором – с бесконечностью в том смысле, в котором трактуется понятие бесконечного ряда. Первый вариант, без всяких сомнений, напоминает нам о порочной бесконечности явления самосоотносимого множества, включающего самое себя подобно истязающему себя же мифологическому существу Уроборосу. Примечательно, что во втором эпизоде явление автореферентности никак не проявляет себя в связи с вновь возникающими сериями спиралевидных контуров, за

исключением, подводящим нас к вопросу о связи символических и логических структур. В свете обсуждаемой Ладовым темы различие между рефлексивностью и циркулярностью оказывается критическим, поскольку именно оно проводит границу между абстрактным рационализмом, критикуемым Витгенштейном, и предложенной им же моделью пространственно-графического синтаксиса. Другое дело, что противопоставление понятий бесконечности и непрерывности размывает эту границу и замыкает теорию австрийского философа в рамки релятивистских оснований наивного физикализма, неизбежно порождающего радикальный скептицизм.

По замыслу Витгенштейна, теория символизма устраняет дефекты расселловской теории типов таким образом, что не вносит в последнюю изменений, но, скорее, предлагает совершенно иной взгляд на методологию логического анализа, в контексте которого автореферентность предстает не изъяном, а следствием избыточного теоретизирования. Попробуем проследить логику такого решения.

Зафиксируем следующее утверждение: «Знак – это то место, которое занимает символический объект в структуре пропозиции». Теперь спросим: Где и как существуют символы? В какое пространство они помещаются? Имеет ли время значение для того места, в которое помещается знак? Простейший мысленный эксперимент показывает всю неубедительность теории символизма. Обратимся к простой форме xRy , где x – имя предмета, y – свойство, ему приписываемое, а R – логическая связка. Топология избранной формы для нас как наблюдателей предполагает, что ‘ x ’ располагается слева от ‘ y ’, а ‘ y ’, наоборот, – справа. Теперь представим зеркальное отображение этого выражения в разных плоскостях.

(а) $\psi Яx$

(б) xRy

Правомерно задаться вопросом, обозначает ли исходное выражение xRy то же, что выражения (а) и (б)? С одной стороны, отношение объектов в заданных выражениях друг к другу не изменилось, каждый объект по-прежнему занимает свое место в общей структуре предложения. С другой стороны, для наблюдателя, подходящего к анализу данных выражений без каких-либо заранее принятых установок, будет налицо их пространственно-графическая разнородность. Если знак – это место, занимаемое символом в общей структуре предложения, нелишним было бы конкретизировать специфику такого «места». Здесь мы выдвигаем две гипотезы: (1) это место имеет физическую природу, и, стало быть, искомая нами последовательность относительна для каждого из случаев, либо (2) это место – логико-синтаксическая абстракция, накладываемая на восприятие последовательности символов.

В работе Ладова прослеживается следующее убеждение: если Витгенштейн прав и иерархия с самого начала присуща языку, то и отменить ее по желанию исследователя-теоретика невозможно, как это предлагали сделать критики иерархического подхода [1]. Мы можем согласиться с данным пассажем, но нам придется спросить: присуща ли логичность самой реальности, частью которой является язык? Если, как гласит гипотеза (1), реальность имеет чисто физическую природу, то нас встречают неутешительные следствия такого решения. Понятно, что элементы ‘ x ’ и ‘ y ’ занимают определенное место по отношению друг к другу и к ‘ R ’, но в тоже время само выраже-

ние xRy занимает определенное место по отношению к другим объектам. В материальном мире данная последовательность зафиксирована на бумаге, бумага лежит на столе, а стол, быть может, стоит на полу вашего рабочего кабинета. Удивительно, что даже физическая трактовка последовательности символов в теории Витгенштейна предполагает наличие иерархии. Но это меньшая из проблем, следующих из первой гипотезы. Самое главное уже было сказано – теория символизма с претензией на критику иерархического подхода не может иметь физикалистские основания, поскольку релятивистский характер материалистической трактовки познания не предполагает аподиктической ясности в логико-теоретическом исследовании.

Гипотеза (2) представляется не более убедительной. Из ее формулировки видно, что для обоснования теории символизма потребовалось бы по меньшей мере объяснить, как в мышлении человека соотносятся абстрактные сущности с реальной практикой логического следования. В ряде работ я пытался продемонстрировать, что принципы чистой рациональности в действительности немислимы человеком через соотношение предметностей, что, собственно говоря, понятно и без особого разъяснения [8, 9]. Основные законы логики – тавтологии, имеющие значение для мышления лишь в том смысле, в котором последовательное рассуждение не должно входить в противоречие с самим собой. Вывернутые *наизнанку* законы логики и обращенные к когнитивным аспектам рациональности принципы напоминают мне именно символизм «раннего» Витгенштейна. Основные законы эпистемологии с отсылкой к трудам философов-феноменологов XIX–XX вв. [10] были сформулированы мной так:

- 1) никакая вещь не может мыслиться в отношении с собой;
- 2) никакая вещь не может мыслиться через отрицание собственной противоположности;
- 3) никакое отношение немислимо без соотносимых вещей.

Взяв за основу исследовательской методологии данные принципы, я вскоре обнаружил их уязвимость для критики. Каждый раз представляя себе отношение между теми или иными предметностями, выводя их за скобки чувственного восприятия, я наталкивался на одну из проблем, затронутых Ладовым в статье, что возвращает нас к обсуждению понятия бесконечности. И в самом деле, простейший ход мысли подсказывает, что иерархическая типологизация парадоксальна по своей природе, но вместе с тем необходима для хоть сколько-нибудь ясного порядка вещей. Я говорю: «Стакан стоит на столе». Вы спрашиваете: «А где стоит стол?». «Стол, – отвечаю я, – стоит на полу». Вы вновь спрашиваете: «Частью какого сооружения является пол, на котором стоит этот стол?» и т.д. С каждым витком воображения ваши вопросы будут охватывать все новые горизонты действительности, а мои ответы все больше будут напоминать побег от неуязвимой склонности человеческого разума к фрагментации реальности. В конце концов окончательным эпизодом нашего спора станет вопрос о «месте Вселенной в нашем мире», из-за чего более или менее разумный диспут превратится в софистику.

Небольшим отступлением станет мое собственное убеждение о том, что парадоксов без автореферентности не бывает и быть не может. Почвой для весьма отвлеченных рассуждений стала серия работ, опубликованная моими коллегами, которая посвящена обсуждению «парадокса без самореферентно-

сти» С. Ябло [11–13]. С точки зрения иерархического подхода автореферентность – необходимое условие возникновения парадоксов, данное мнение разделяли Б. Рассел и А. Тарский. Современный логик Ябло попытался показать, что возникновение парадокса возможно в обход явления самосоотносимого множества. Его парадокс начинается со слов: «Вообразим бесконечную последовательность предложений S_1, S_2, S_3, \dots , каждое из которых утверждает, что любое последующее предложение не является истинным:

(S1) для всех $k > 1$, S_k не является истинным.

(S2) для всех $k > 2$, S_k не является истинным...» [14. Р. 251] и т.д.

Чисто интуитивно кажется, что попытка логически осмыслить бесконечность – задача, с самого начала обреченная на провал. Разве словосочетание «бесконечная последовательность» может претендовать на осмысленность в плане логической строгости доказательства? Ведь и «каталог всех каталогов», как и «множество всех нестандартных множеств», – явления, возникшие в попытке обуздать бесконечность, так и парадокс Ябло начинается с условия, заведомо невыполнимого. Как возможно «вообразить бесконечную последовательность» в конечной плоскости семантических и синтаксических операций? Уместно вспомнить одну из проблем обоснования «эйдосов» Платона, но уже не вторую, а первую – содержащую противоречие. Никто не станет спорить, что наполовину круглый квадрат немислим, так же как бесконечность немислива конечным во всех смыслах существом, таким как человек. С отсылкой на аналогию выше представляется, что так называемый парадокс Ябло не создает новых витков, очерченных карандашом в воображаемой трехмерной плоскости, а просто описывает один и тот же силуэт окружности.

Возвращаясь к обсуждению теории символизма Витгенштейна можно сказать, что ее начала никак не соотносятся с действием принципов, ею же установленных. На примере гипотез (1) и (2) было показано, что ни в одной из возможных трактовок теории символизма не удастся преодолеть иерархическую модель мышления. Если язык и накладывает какие-либо ограничения на познание, маловероятно, что ограничения эти могли бы играть ключевую роль для человеческого мышления. Помимо прочего, психологам давно известно, что существуют до- и внеязыковые формы мышления, хотя в то же время всякий предмет восприятия и отношения между предметностями можно трактовать символически. Но самое главное в другом – логика как самостоятельная дисциплина о формах познания не может быть выражена вне языка. И если теория символизма верна, говорить о логике как о науке так же неправомерно, как пытаться решить парадокс «лжеца». Подобно заключительному афоризму ЛФТ, Витгенштейн периода теории символизма выносит рефлексию над познанием и логикой в область метафизического – непознаваемого, о чем «следует молчать», но никак не говорить.

Экспликация гипотезы (1) показывает, что для признания теории символизма «раннего» Витгенштейна приходится принять репрезентативную эпистемологию научного реализма, в рамках которого релятивизируется сам принцип символизма. Выйти из ситуации не помогает и постулат об автономности языка и логики, так как в таком случае теряется связь между языком и мышлением.

Разбор гипотезы (2) подтверждает невозможность автономности формального знания в силу его бессодержательности. И. Кант небезосновательно

утверждал: «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы» [15. С. 71]. Попытка «оживить» формальные начала логико-теоретического знания эпистемологической надстройкой по типу *основных законов* приводит все к той же проблеме неисчислимости отношений между понятиями. Ваш рабочий стол стоит не только на полу, он также стоит и возле стены, а возле стола располагается удобное офисное кресло с мягкими подлокотниками и т.п. Именно на эту особенность языка и мышления обратил внимание «поздний» Витгенштейн, развитие взглядов которого происходило по тому же сценарию. У него же мы и обнаруживаем ту безупречную методологию, с которой он подходит к критике убеждений, разделяемых им в ранний период творчества.

Не остается сомнений, что теория символизма, как и ЛФТ, репрезентирует такую модель мышления, при которой иерархия логических типов становится необходимым условием существования такой теории. Вывод, напрашивающийся из всего сказанного, может быть сведен к следующему соображению: невозможно косвенно постулировать иерархию в мышлении, находясь при этом вне иерархической типологизации. Таким образом, можно согласиться, что теория символизма «раннего» Витгенштейна является вариацией иерархической модели мышления, но в качестве возражения остается вопрос о ее аргументационном потенциале в решении проблемы парадоксов. Как представляется, теория Витгенштейна в этом смысле не имеет принципиального преимущества перед теорией типов.

Литература

1. *Ладов В.А.* Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 194–203. DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. *Wittgenstein L.* Letters to Russell, Keynes and Moore. Oxford : Blackwell, 1974.
3. *Витгенштейн Л.* Дневники 1914–1916. Томск, 1998.
4. *Wittgenstein L.* Notes on Logic // Notebooks 1914–1916. Oxford : Blackwell, 1979. P. 93–104.
5. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Философские работы. М. : Гнозис, 1994.
6. *Рассел Б.* Математическая логика, основанная на теории типов // Логика, онтология, язык. Томск, 2006. С. 16–62.
7. *Ruffino M.A.* The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types // Synthese. 1994. Vol. 98. P. 401–414.
8. *Антух Г.Г.* Очевидность, мышление, следование правилу // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 5–16.
9. *Антух Г.Г.* Автономность логики и логические парадоксы // Наука как общественное благо : сб. науч. ст. Второго Междунар. конгр. Русского общества истории и философии науки : в 7 т. Санкт-Петербург, 27–29 ноября 2020 г. М., 2020. Т. 4. С. 171–174.
10. *Штумпф К.* Психология и теория познания // Логос. 2005. № 2 (47). С. 117–155.
11. *Ладов В.А.* Лжец без автореферентности // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 249–254.
12. *Суворцев В.А.* Парадокс С. Ябло, автореферентность и математическая индукция // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 262–268.
13. *Борисов Е.В.* Является ли парадокс Ябло автореферентным? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 233–244.
14. *Yablo S.* Paradox without self-reference // Analysis. 1993. № 53. P. 251–252.
15. *Кант И.* Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994.

Gennady G. Antukh, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 204–210.

DOI: 10.17223/1998863X/62/18

WITTGENSTEIN'S THEORY OF SYMBOLISM AND THE AUTONOMY OF FORMAL KNOWLEDGE

Keywords: paradoxes; autoreference; Wittgenstein; logic; thinking

The article is a response to a work by Vsevolod Ladov, which is devoted to the discussion of the views of the “early” Wittgenstein on the problem of logical paradoxes. It follows from Ladov’s work that Wittgenstein’s position, preceding the TLP period, is the most radical version of the hierarchical approach, which has a more significant argumentation potential than Russell’s theory of logical types. According to Ladov, taking into account the spatial-graphic syntax model proposed by Wittgenstein, problems associated with self-referential identities should be resolved without any additional theoretical study. In contrast to the criticism of the theory of types, criticism of the theory of types in the works of the “early” Wittgenstein is of a different nature. It focuses not on the denial of the theory of types itself, but on the fact that its postulation turns out to be simply redundant for the logical-theoretical analysis. This article provides a number of arguments against the thesis Ladov defends. It is shown that the foundations of Wittgenstein’s theory of symbolism do not correlate with the operation of the principles it establishes: none of the possible interpretations of this theory can avoid the need for hierarchical typology.

Reference

1. Ladov, V.A. (2021) Criticism of the theory of types in the early Wittgenstein’s philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 62. pp. 194–203. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. Wittgenstein, L. (1974) *Letters to Russell, Keynes and Moore*. Oxford: Blackwell
3. Wittgenstein, L. (1998) *Dnevniki 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from German. Tomsk: Vodoley.
4. Wittgenstein, L. (1979) *Notebooks 1914–1916*. Oxford: Blackwell. pp. 93–104.
5. Wittgenstein, L. (1994) Logiko-filosofskiy traktat [Tractatus Logico-Philosophicus]. Translated from German by M.S. Kozlova, Y.A. Aseev. In: Kozlova, M.S. (ed.) *Filosofskie raboty. Chast' I*. [Philosophical Works. Chapter I]. Moscow: Gnozis. pp. 5–73.
6. Russell, B. (2006) “Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov” [Mathematical Logic as Based on the Theory of Types]. Translated from English by V.A. Surovtsev. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Logika, ontologiya, yazyk* [Logic, ontology, language]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 16–62.
7. Ruffino, M.A. (1994) The Context Principle and Wittgenstein’s Criticism of Russell’s Theory of Types. *Synthese*. 98. pp. 401–414. DOI: 10.1007/BF01063927
8. Antukh, G.G. (2019) Evidence, thinking, rule-following. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 49. pp. 5–16. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/49/1
9. Antukh, G.G. (2020) Avtonomnost’ logiki i logicheskie paradoksy [Autonomy of logical theory and logical paradoxes]. In: Kasavin, I.T. & Shipovalova, L.V. (eds) *Nauka kak obshchestvennoe blago* [Science as a public good]. Moscow: ROIFN. pp. 171–174.
10. Stumpf, C. (2005) Psihologiya i teoriya poznaniya [Psychology and theory of knowledge]. Translated from German by S. Potseluev. *Logos*. 2(47). pp. 117–155.
11. Ladov, V.A. (2019) The liar paradox without self-reference. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 50. pp. 249–254. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/50/22
12. Surovtsev, V.A. (2019) Yablo's paradox, Self-Reference and mathematical induction. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 50. pp. 262–268. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/50/24
13. Borisov, E.V. (2019) Is Yablo's paradox Self-Referential? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 50. pp. 233–244. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/50/20
14. Yablo, S. (1993) Paradox without self-reference. *Analysis*. 53, pp. 251–252.
15. Kant, I (1994) *Kritika chistogo rasuma* [The Critique of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Mysl’.

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/62/19

Е.В. Борисов

ТЕОРИЯ СИМВОЛИЗМА РАССЕЛА–ВИТГЕНШТЕЙНА

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

В.А. Ладов в статье «Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна» приписывает Расселу представление, согласно которому наличие парадоксов, таких как парадокс Лжеца, – это дефект естественного языка, который устраняется теорией типов. Ладов противопоставляет это представление теории символизма Витгенштейна, согласно которой парадоксы в естественном языке невозможны. Я возражаю против атрибуции Расселу указанного представления и показываю, что теория типов в понимании Рассела и теория символизма Витгенштейна имеют ряд общих черт, которые позволяют говорить о теории символизма Рассела–Витгенштейна. Главными характеристиками этой теории являются трактовка иерархического логического синтаксиса как внутренне присущего естественному языку и, как следствие, тезис о невозможности сформулировать парадоксы на естественном языке.

Ключевые слова: Рассел, Витгенштейн, теория типов, теория символизма, формальный язык, парадокс Лжеца, автореферентность

В обсуждаемой статье [1] В.А. Ладов атрибутирует Расселу следующие тезисы:

(1) Некоторые предложения естественного языка, такие как «Это предложение ложно», являются парадоксальными. (Парадоксальным я называю предложение, если из допущения, что оно истинно, следует, что оно ложно, и из допущения, что оно ложно, следует, что оно истинно.)

(2) Существование парадоксальных предложений – это дефект естественного языка, и чтобы использование естественного языка было логически безопасным, этот дефект необходимо устранить.

Отталкиваясь от данных тезисов, Рассел, по мнению Ладова, рассуждает следующим образом: Необходимым условием парадоксальности является автореферентность (предложение автореферентно, если приписывает себе самому некоторое свойство, например истинностное значение). Поэтому устранить указанный дефект естественного языка можно посредством синтаксических ограничений на построение предложений – ограничений, которые исключали бы автореферентные предложения. Это послужило Расселу мотивацией для создания (в соавторстве с Уайтхедом) теории типов, формальный язык которой содержит необходимые синтаксические ограничения и поэтому свободен от парадоксов. И если аналогичные ограничения наложить на естественный язык, т.е. если понимать естественный язык в свете теории типов, то парадоксы будут устранены и из естественного языка.

Ладов сопоставляет позицию, которую он приписывает Расселу, с позицией Витгенштейна. Последняя, по Ладову, включает в себя следующие тези-

сы: парадоксальных предложений в естественном языке нет; кажущаяся парадоксальность парадокса Лжеца – это иллюзия; поэтому теория типов не нужна; для избавления от иллюзии достаточно теории символизма, которая описывает условия функционирования языковых символов.

Сопоставляя эти позиции, Ладов приходит к следующим выводам:

(3) Теория символизма Витгенштейна является более радикальной версией иерархического подхода, чем теория типов Рассела–Уайтхеда, потому что, с точки зрения Рассела, как его понимает Ладов, иерархический синтаксис – это искусственное дополнение к языку, тогда как с точки зрения Витгенштейна он является неотъемлемым свойством языка.

(4) В методологическом плане теория символизма существенно отличается от теории типов. Ладов акцентирует тот факт, что теория символизма имеет чисто дескриптивный характер: она просто описывает, как функционирует язык. Теория типов же, по Ладову, не столько описывает функционирование языка, сколько предписывает языку функционировать определенным образом.

В данной статье я ставлю под сомнение пронумерованные четыре тезиса Ладова. Я считаю, что эти тезисы не имеют под собой достаточного основания и попытаюсь показать это, рассмотрев некоторые существенные черты языка теории типов. В противовес указанным тезисам Ладова я выдвигаю следующие:

(1') Квалифицировать то или иное предложение в качестве парадоксального или непарадоксального можно только в свете определенного понимания языка. Если мы понимаем язык в свете теории типов, то тезис (1) ложен; например, предложение «Это предложение ложно», прочитанное в свете теории типов, *не* является парадоксальным. Рассел понимал язык в свете теории типов, поэтому атрибуция ему тезиса (1) необоснованна.

(2') Из (1') следует, что необоснованна и атрибуция Расселу тезиса (2).

(3') Если мы понимаем язык в свете теории типов, то наше видение языка не отличается от витгенштейновского, поэтому ошибочен и тезис (3).

(4') Определение формального языка теории типов – это сугубо дескриптивная процедура; в этом смысле теория типов не отличается от теории символизма Витгенштейна.

Если тезисы (3') и (4') верны, то Витгенштейн не узнал в Расселе себя и Ладов не узнал в Витгенштейне Рассела.

Существенные для формального языка теории типов черты присущи всем формальным языкам, в том числе стандартным логическим языкам. Построение любой логики начинается с описания формального языка, которое включает в себя описание вокабуляра (множества используемых символов) и описание синтаксиса, т.е. правил, по которым должны строиться формулы. При этом:

1) Символы, входящие в вокабуляр, делятся на несколько синтаксических категорий. Например, вокабуляр пропозициональной логики включает в себя три синтаксические категории: а) пропозициональные буквы, б) логические союзы, в) служебные символы – скобки.

2) Синтаксис налагает ограничения на комбинирование символов в формулах. Например, выражение «(p&q)» является формулой пропозициональной логики, тогда как выражение «&&)p» таковой не является.

Для нашей темы здесь важны две вещи:

1) Синтаксические ограничения проводят границу между осмысленными выражениями, т.е. формулами, и бессмысленными выражениями, т.е. последовательностями знаков, которые не являются формулами.

2) Построение формального языка представляет собой ряд дефиниций, но не более того: оно не содержит дедуктивных рассуждений и не требует дедуктивного обоснования. Построение формального языка предшествует построению и использованию логики как теории доказательства.

Из этих положений следует, что построение формального языка стандартной логики представляет собой пример теории символизма в смысле Витгенштейна: это сугубо дескриптивная (не использующая дедукцию) теория¹, задающая ограничения на построение предложений².

Мой главный аргумент состоит в том, что в интересующем нас аспекте формальный язык теории типов Рассела–Уайтхеда принципиально не отличается от формального языка логики, а значит, удовлетворяет требованиям, которые Витгенштейн предъявляет к языку. Проиллюстрирую этот тезис, опираясь на упрощенную версию разветвленной теории типов Рассела–Уайтхеда [2], данную в учебнике Эндрюса [3] (упрощение для нашей темы несущественно).

Типизация символов в теории типов и деление типов на порядки представляют собой более изощренный, нежели в случае пропозициональной логики, вариант деления вокабуляра на синтаксические категории. В теории типов бесконечное множество типов и их порядки определяются рекурсивно:

1) i – тип порядка 0;

2) o – тип порядка 1;

3) если t_1, \dots, t_n – типы, то (t_1, \dots, t_n) – тип, порядок которого на 1 больше, чем максимальный из порядков типов t_1, \dots, t_n [3. Р. 202].

Каждая переменная и константа формального языка теории типов типизована, т.е. отнесена к тому или иному типу.

В синтаксисе данного языка типы и порядки термов учитываются следующим образом. Пусть t_1, \dots, t_n – типы переменных x_1, \dots, x_n соответственно. Тогда переменная P в формуле $P(x_1, \dots, x_n)$ должна быть типа t_1, \dots, t_n , что означает, в частности, что она должна быть большего порядка, чем любая из переменных x_1, \dots, x_n [Ibid. Р. 203]

Эффект такого синтаксиса (к которому и стремились Рассел и Уайтхед) состоит в том, что он исключает автореферентность, необходимую для парадоксальности. Например, кажущаяся парадоксальность предложения «Это предложение ложно» обусловлена тем, что нам кажется, что оно говорит о себе самом. Но если бы это было так, то выполнялось бы равенство

$$\text{Ложно}(p) = \text{Ложно}^*(\text{Ложно}(p)),$$

где p = «Это предложение ложно». (Я использую «звездочку», чтобы различить два вхождения слова «Ложно» в правой части равенства.) Однако это равенство не выполняется в силу синтаксических ограничений на построение формул: если «Ложно» относится к типу порядка n , то «Ложно*» относится

¹ Я использую термин «теория» в том широком смысле, в каком принято называть теорией, например, «теорию символизма» Витгенштейна: это не дедуктивная теория, но некоторое множество положений.

² Относительно позиции Витгенштейна у меня с Ладовым нет расхождений.

к типу порядка $n + 1$, поэтому «Ложно*» не может содержаться в «Ложно(p)». Тот факт, что равенство неверно, устраняет иллюзию парадоксальности рассматриваемого предложения.

Итак, синтаксис формального языка теории типов исключает автореферентность, а значит, и парадоксальные предложения. Поэтому если мы понимаем естественный язык в свете теории типов, т.е. принимаем теорию типов как теорию символизма для естественного языка, то мы должны будем считать парадокс Лжеца иллюзией. И при таком понимании языка теория типов предстает не как дополнение к языку, помогающее ему не «спотыкаться» на логике, а как внутренне присущий языку синтаксис. Но это значит, что, если мы принимаем теорию типов как теорию символизма для естественного языка, наша позиция совпадает с позицией Витгенштейна. Таким образом, Витгенштейн ошибался, когда противопоставлял свою позицию теории типов, и Ладов ошибается, противопоставляя теорию символизма Витгенштейна и теорию типов Рассела–Уайтхеда.

Сказанное верно при условии, что мы принимаем теорию типов как теорию символизма для естественного языка. Но есть ли у нас основания для этого? Существует как минимум две влиятельные грамматики естественного языка, существенным образом использующие теорию типов: это грамматика Монтегю [4], базирующаяся на определенной версии теории типов Рассела–Уайтхеда, и грамматика Ранты [5], базирующаяся на конструктивной теории типов Мартин-Лёфа [6]. Продуктивность обеих теорий в плане формального анализа естественного языка и в плане устранения парадоксов позволяет ответить на поставленный вопрос утвердительно, т.е. допустить, что теоретико-типовой синтаксис внутренне присущ естественному языку. Я не вижу оснований предполагать, что Рассел думал иначе, и Ладов в своей статье таких оснований не приводит. Поэтому я считаю атрибуцию Расселу тезиса (1), а значит, и тезиса (2) необоснованной.

Если вышесказанное верно, то при всех различиях между Витгенштейном и Расселом они разделяли несколько тезисов относительно естественного языка, которые в совокупности можно называть теорией символизма Рассела–Витгенштейна:

- Синтаксическая иерархия, исключая автореферентность, внутренне присуща естественному языку.
- Поэтому парадоксы в естественном языке невозможно сформулировать.
- По этой же причине парадоксальность таких предложений, как «Это предложение ложно» является иллюзорной.

Противопоставление теории символизма Витгенштейна и теории типов Рассела довольно часто воспроизводится в интерпретативной литературе [7–9], но это в значительной мере стереотип, порожденный самодистанцированием Витгенштейна от теории типов. Во всяком случае иерархический подход в теории типов имеет не менее радикальную форму, нежели в теории символизма Витгенштейна¹.

¹ Ладов считает, что радикальность теории символизма (которую он атрибутирует только Витгенштейну) делает ее неуязвимой для критики в адрес иерархического подхода к семантическим парадоксам (см. обзор возражений против иерархического подхода в [1, 10, 11]). Мне этот вывод кажется поспешным. Дело в том, что теория символизма включает в себя идею синтаксической иерархии, поэтому недостатки последней оказываются и недостатками теории символизма.

В заключение я хочу отметить две ошибки Витгенштейна, связанные с темой символизма, которые довольно часто воспроизводятся в интерпретативной литературе.

1. В тезисе 3.331 «Логико-философского трактата» (ЛФТ) Витгенштейн, комментируя теорию типов, говорит: «Ошибка Рассела обнаруживается в том, что при установлении знаковых правил ему требовалось говорить о значении знаков» [12. С. 16]. Атрибуцию Расселу этой «ошибки» воспроизводит, в частности, Руффино в статье, на которую опирается Ладов [7. Р. 411]. Однако приведенные выше примеры формальных языков, в том числе типизированных, показывают, что описание формального языка имеет чисто синтаксический характер. Рассел вполне осознает это; например, в «Философии логического атомизма» он говорит: «Теория типов – это теория символов, не вещей. В правильном логическом языке это было бы вполне очевидно» [13. Р. 267]¹. По всей видимости, основанием этого тезиса Витгенштейна послужил «прямой реализм» [15. Р. 126] Рассела относительно логики: допущение логических объектов, с которыми мы знакомы непосредственно, и структуру которых отражает логический синтаксис [15, 16]. Однако допущение логических объектов не делает логический синтаксис зависимым от семантики. Здесь можно провести аналогию с самим Витгенштейном: параллель между структурой языка и структурой мира в ЛФТ не противоречит тому факту, что теория символизма имеет чисто синтаксический характер.

2. В тезисе 3.332 ЛФТ Витгенштейн говорит о невозможности автореферентных предложений и добавляет: «это вся „теория типов“» [12. С. 16]. Это по-витгенштейновски категоричное утверждение неверно: оно сводит теорию типов к устранению автореферентности, но это чрезвычайно узкая трактовка. Дело в том, что синтаксис теории типов имеет как негативную, так и позитивную функцию. Негативная функция – это исключение синтаксических ошибок (и автореферентность – только одна из них). Позитивная функция – выделение класса правильных предложений [17. Р. 47–49]. Например, грамматика Монтегю позволяет квалифицировать выражение «Иван любит Мэрию» как предложение, а выражение «Иван любит или» – как синтаксически неправильную последовательность слов. Теория типов – это прежде всего определение критериев синтаксической правильности предложений, и лишь затем – устранение автореферентности и других синтаксических ошибок.

Литература

1. Ладов В.А. Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 194–203. DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. Whitehead A.N., Russell B. Principia Mathematica. London : Cambridge University Press, 1910. Vol. 1.
3. Andrews P.B. An Introduction to Mathematical Logic and Type Theory: To Truth Through Proof. New York : Kluwer Academic Publishers, 2002.
4. Montague R. Formal Philosophy. New Haven : Yale University Press, 1973.
5. Ranta A. Type-theoretical Grammar. Oxford : Clarendon Press, 1994.
6. Martin-Löf P. Intuitionistic Type Theory. Napoli : Bibliopolis, 1984.
7. Ruffino M.A. The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types // Synthese. 1994. Vol. 98. P. 401–414.

¹ Детальное обоснование тезиса о чисто синтаксическом характере теории типов см. в [14].

8. *Candish S.* Was Wittgenstein an Analytic Philosopher? Wittgenstein vs Russell // *Frontiers of Philosophy in China*. 2016. Vol. 11. P. 35–53.

9. *Mezzadri D.* Types, Forms, and Unity: Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Judgment // *History of Philosophy Quarterly*. 2014. Vol. 31. P. 177–193.

10. *Ладов В.А.* Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2018. № 44. С. 11–24.

11. *Ладов В.А.* Парадоксы в теории познания. Логические основания эпистемологической критики релятивизма. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2020.

12. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // *Философские работы*. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 5–73.

13. *Russell B.* The Philosophy of Logical Atomism // *Logic and Knowledge. Essays 1901–1950*. London : George Allen & Unwin LTD, 1956. P. 175–282.

14. *Lando G.* Russell's Relations, Wittgenstein's Objects, and the Theory of Types // *Teorema: Revista Internacional de Filosofia*. 2012. Vol. 31. P. 21–35.

15. *Hylton P.* Propositions, Functions, and Analysis: Selected Essays on Russell's Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2005.

16. *Mares E.* Propositional Function // *Stanford Encyclopedia in Philosophy*. 2011. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/propositional-function> (accessed: 12.05.2021).

17. *Heim I., Kratzer A.* Semantics in Generative Grammar. Malden : Blackwell Publishers, 2000.

Evgeny V. Borisov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: borisov.evgeny@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 211–217.

DOI: 10.17223/1998863X/62/19

THE RUSSELL–WITTGENSTEIN THEORY OF SYMBOLISM

Keywords: Russell; Wittgenstein; type theory; theory of symbolism; formal language; Liar paradox; self-reference

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

In his article “Criticism of the Theory of Types in the Early Wittgenstein’s Philosophy”, Vsevolod Ladov attributes the following two claims, *inter alia*, to Russell: (1) Some sentences of natural language, such as “This sentence is false”, are paradoxical. (2) The existence of paradoxical sentences is a flaw of natural language that should be fixed. According to Ladov, these claims motivated the development of the theory of types by Whitehead and Russell, so this theory was worked out as a tool for improving natural language. Ladov contrasts this position with the early Wittgenstein’s theory of symbolism according to which paradoxes cannot be formulated in natural language because the intrinsic logical syntax of natural language makes this impossible. Ladov concludes that Wittgenstein’s theory of symbolism is a more radical version of hierarchical approach to paradoxes than Whitehead and Russell’s theory of types. I challenge attribution of (1) and (2) to Russell and show that the type theory by Whitehead and Russell, on the one hand, and Wittgenstein’s theory of symbolism, on the other hand, share the following claims: 1) The hierarchical logical syntax preventing self-referential expressions is intrinsic to natural language. 2) Since self-reference is a necessary condition of paradoxes like the Liar paradox, they cannot be formulated in natural language. 3) The paradoxical character of sentences like “This sentence is false” is an illusion. The conjunction of these claims can be named the “Russell–Wittgenstein theory of symbolism”. So I also challenge Ladov’s claim that there is a deep difference between these theories with respect to the problem of paradoxes. Finally, I challenge two tenets from Wittgenstein’s *Tractatus* that are frequently reproduced in literature: the tenet that the theory of types depends on semantics and the tenet that the theory of types is confined to the prevention of self-reference.

References

1. Ladov, V.A. (2021) Criticism of the theory of types in the early Wittgenstein’s philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State*

University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 62. pp. 194–203. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/17

2. Whitehead, A.N. & Russell, B. (1910) *Principia Mathematica*. Vol. 1. London: Cambridge University Press.

3. Andrews, P.B. (2002) *An Introduction to Mathematical Logic and Type Theory: To Truth Through Proof*. New York: Kluwer Academic Publishers.

4. Montague, R. (1973) *Formal Philosophy*. New Haven: Yale University Press.

5. Ranta, A. (1994) *Type-theoretical Grammar*. Oxford: Clarendon Press.

6. Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*. Napoli: Bibliopolis.

7. Ruffino, M.A. (1994) The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types. *Synthese*. 98. pp. 401–414. DOI: 10.1007/BF01063927

8. Candish, S. (2016) Was Wittgenstein an Analytic Philosopher? Wittgenstein vs Russell. *Frontiers of Philosophy in China*. 11. pp. 35–53.

9. Mezzadri, D. (2014) Types, Forms, and Unity: Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Judgment. *History of Philosophy Quarterly*. 31. pp. 177–193.

10. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 10–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2

11. Ladov, V. (2020) *Paradorsy v teorii poznaniya. Logicheskie osnovaniya epistemologicheskoy kritiki relyativizma* [Paradoxes in theory of knowledge. Logical grounds of epistemological criticism on relativism]. Tomsk: Tomsk State University.

12. Wittgenstein, L. (1994) *Logiko-filosofskiy traktat [Tractatus Logico-Philosophicus]*. Translated from German by M.S. Kozlova, Y.A. Aseev. In: Kozlova, M.S. (ed.) *Filosofskie raboty. Chast' I.* [Philosophical Works. Chapter I]. Moscow: Gnozis. pp. 5–73.

13. Russell, B. (1956) *Logic and Knowledge. Essays 1901–1950*. London: George Allen & Unwin LTD.

14. Lando, G. (2012) Russell's Relations, Wittgenstein's Objects, and the Theory of Types. *Teorema: Revista Internacional de Filosofia*. 31. pp. 21–35.

15. Hylton, P. (2005) *Propositions, Functions, and Analysis: Selected Essays on Russell's Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

16. Mares, E. (2011) Propositional Function. In: Zalta, E.N. (ed.) *Stanford Encyclopedia in Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/propositional-function>.

17. Heim, I. & Kratzer, A. (2000) *Semantics in Generative Grammar*. Malden: Blackwell Publishers.

УДК 161.25

DOI: 10.17223/1998863X/62/20

А.В. Нехаев

ТИПЫ ТЕОРИИ ТИПОВ В *TRACTATUS* ВИТГЕНШТЕЙНА

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Представлен критический анализ теории логического символизма Витгенштейна. Многие интерпретаторы (Давант, Ишигуро, Монс, Руффино, Джолли, Ливингстон, Ладов и др.) считают, что в «Логико-философском трактате» представлен новый метод борьбы с парадоксами, альтернативный теории типов Рассела. Основами этого метода служат требование ясной нотации и принцип контекста: вид символа только 'показывает' себя в том, как мы используем знаки нашего языка.

Ключевые слова: парадокс, теория типов Рассела, теория логического символизма Витгенштейна, логический синтаксис, комбинаторные правила

Логика заботится о себе сама, нам нужно лишь следить за тем, как она это делает.

Людвиг Витгенштейн (13 октября 1914 г., Дневники 1914–1916)

Все, что не сказано в *Tractatus*, важнее того, что в нем сказано.

Людвиг Витгенштейн (ноябрь 1919 г., Парафраз из письма Л. фон Фикеру)

1. Проблема парадоксов и иерархический подход Рассела–Тарского

В своей статье Всеволод Ладов берется защищать следующие тезисы:

(Л1) Теория логического символизма, разработанная Витгенштейном в «Логико-философском трактате» (ЛФТ), представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Ключевая идея, на которой основывается подход Витгенштейна, состоит в том, что *знаки языка сами 'показывают' свое место в иерархии его логических форм.*

(Л2) Логический синтаксис, заложенный в основание теории логического символизма Витгенштейна, является *полноценной* альтернативой для теории типов Рассела.

(Л3) Рассел разработал свою теорию типов для борьбы с парадоксами. Но если парадоксы можно устранить при помощи более простого и эффективного подхода (например, теории логического символизма Витгенштейна), такая альтернатива имеет очевидные *преимущества* перед теорией типов Рассела.

Кажется, что данные тезисы вполне согласованы, однако каждый из них по отдельности вызывает вопросы. Во-первых, как следует понимать (Л1)? Во-вторых, верно ли (Л2)? И наконец, в-третьих, можно ли принять (Л3)?

Начнем с небольшого (чернового) эскиза того, что обычно понимается под теорией типов Рассела. Правильный логический анализ известных нам парадоксов (Бурали–Форти, Кантора, Рассела, Ришара, Лжеца и др.) демон-

стрирует, что все они обладают общей чертой – *самореферентностью*, или *рефлексивностью*¹. Поэтому для борьбы с такими парадоксами Рассел предлагает воспользоваться принципом *circulus vitiosus*²:

(CV) «То, что включает *все* из совокупности, не должно быть элементом совокупности» [1. С. 25].

Этот принцип налагает очевидный запрет на создание классов, для которых они могли бы стать собственными элементами [8. Р. 44–45; 9. С. 121]. Нельзя говорить, что класс содержит себя в качестве элемента; данное выражение просто бессмысленно. Классы необходимо рассматривать как логические объекты, принадлежащие к более высоким логическим типам, чем составляющие их элементы. Такие выражения, как ' $x \in y$ ' или ' $x \notin y$ ', допустимы только в том случае, если y обладает более высоким логическим типом, чем x . И очевидно, что в этом случае любые выражения вида ' $x \in x$ ' или ' $x \notin x$ ' будут лишены своего значения, так как они сформированы путем нарушения принципа (CV).

Поскольку каждый класс задается при помощи функций, их создание также должно подчиняться требованиям принципа (CV). Элементы низшего логического типа служат аргументами функций более высокого типа, которые, в свою очередь, могут быть аргументами других функций, более высокого типа, чем их собственный [3. Р. 402–403; 8. Р. 52; 9. С. 121; 10. Р. 146–147; 11. Р. 168–169]. Любые функции вида $F(Fx)$ или $\varphi(\varphi x)$ рассматриваются теорией типов как невозможные для построения, поскольку нельзя создавать функции, аргументами которых могут стать функции того же самого логического типа³.

2. Аргумент *ad signum*: теория типов или логический синтаксис?

Многие интерпретаторы ЛФТ безоговорочно принимают (ЛЗ), соглашаясь с тем, что изложенная в нем теория логического символизма предлагает новый метод эффективной борьбы с парадоксами⁴. Известно, что в период работы над текстом ЛФТ Витгенштейн неоднократно выражал недовольство

¹ В работе «Математическая логика, основанная на теории типов» (1908 г.) Рассел пишет: «В каждом противоречии нечто говорится обо *всех* случаях некоторого рода, и из того, что говорится, по-видимому, производится новый случай, который как относится, так и не относится к тому же самому роду, что и те случаи, *все* из которых рассматривались в том, что было сказано» [1. С. 24] (кроме того, см.: [2. С. 137]; также ср. с этим: [3. Р. 402; 4. Р. 117; 5. С. 11–14; 6. С. 58–59; 7. Р. 38]).

² По мнению самого Рассела, его собственная теория типов в целом «созвучна здравому смыслу, что делает ее достоверной по своему существу» [2. С. 110].

³ Например, «Principia Mathematica» (PM) содержит такой характерный для теории типов пассаж: «... в соответствии с принципом порочного круга значения функции не могут содержать терминов, определенных только в терминах этой функции. <...> Следовательно, не должно быть предложений вида φx , в которых x имеет значение, которое вовлекает φx . <...> То есть символ „ $\varphi(\varphi x)$ “... должен быть символом, который ничего не выражает...» [2. С. 114].

⁴ В письме Расселу (датированном январем 1913 г.) Витгенштейн так объясняет свой замысел: «... Я думаю, что не может быть различных типов вещей! <...> ...любую теорию типов нужно сделать излишней с помощью надлежащей теории символизма. Например, если я посредством анализа привожу предложение „Сократ смертен“ к „Сократ“, „смертность“ и $(\exists x, y) \in_1(x, y)$, я хочу, чтобы теория типов сказала мне, что „смертность есть Сократ“ – бессмысленно, потому что, если я рассматриваю „смертность“ как собственное имя анализа (что я и делаю), нет ничего такого, что предохранило бы меня от ошибочной подстановки. Но если я посредством анализа (что я делаю в данный момент) прихожу к „Сократ“ и „ $(\exists x)x$ – смертен“ и в общем случае к ' x ' и $(\exists x)\varphi x$, то ошибочная подстановка становится невозможной, потому что два символа сами относятся теперь к различным видам. То, в чем я *больше всего* уверен, не есть, однако, точность моего способа анализа, который я использую в настоящий момент; но то, что от всяких теорий типов нужно избавиться с помощью теории символизма, показывающей, что то, что, по всей видимости, является *различными видами вещей*, символизируется различными видами символов, из которых один, вероятно, *не может* быть подставлен на место другого» [12. С. 199–200].

теорией типов Рассела¹, считая ее либо откровенно ошибочной, либо избыточной.

По мнению Витгенштейна, иллюзия парадоксов возникает из-за неправильного понимания принципов работы нашего языка. Для блокировки потенциальных парадоксов (наподобие последовательности знаков $F(Fx)$ или $\varphi(\varphi x)$) нам не нужен идеальный язык, который, благодаря встроенной в него теории типов, может выразить то, что наши обычные языки выразить неспособны [8. Р. 53–54]. Скорее, нам необходима ясная нотация (*Zeichensprache*), в которой сама возможность записи предложения в знаках регулируется одним только логическим синтаксисом (логической грамматикой) [14. Р. 41–42]. Такая запись призвана отображать ('показывать') скрытую логическую форму предложений нашего языка.

Ядром логического синтаксиса (логической грамматики) становится различие 'сказанное' / 'показанное' (*gesagt / gezeigt*)². Значение знака только *показывает* себя в символизме нашего языка. Правила логического синтаксиса (*Zeichenregeln*) просто не могут быть сформулированы и высказаны в нашем языке³ [8. Р. 45, 47; 16. Р. 106; 17. Р. 10]. Поэтому правильный логический анализ должен опираться не на принцип (CV), а на принцип контекста (*The Context Principle*):

(CP) Теория логического символизма не может что-либо 'говорить' о значениях самих символов, поскольку вид символа только 'показывает' себя в том, *как* мы используем знаки нашего языка.

По меркам принципа (CP) нет никаких причин считать функциональный знак вида $\varphi(\varphi x)$ примером бессмысленного псевдопредложения, поскольку на самом деле такой знак не является примером функции, принимающей себя в качестве собственного аргумента. Если мы рассмотрим синтаксические правила применения функционального знака $\varphi(\varphi x)$, мы заметим, что хотя функции φ и имеют *общий* орфографический знак 'φ', они не являются *тем же самым* символом. Ведь наша 'внутренняя φ' имеет только одно место для знака, в то время как 'внешняя φ' – два [3. Р. 412; 8. Р. 50, 52–53; 11. Р. 169–170; 18. Р. 286]. Обе функции – $\varphi(\dots)$ и $\varphi(\dots)(\dots)$ – используют общий орфографический знак 'φ', который, однако, сам по себе ничего не значит [14. Р. 43; 16. Р. 106; 18. Р. 289–290; 19. Р. 84; 20. С. 163–164; 21. Р. 38–39]. Правила применения функционального знака $\varphi(\varphi x)$ наглядно показывают, что здесь есть два знака 'φ', которые обозначают разные функции (принадлежат

¹ Восемь месяцев спустя, в письмах Расселу из Норвегии (от 5 сентября и от 20 сентября 1913 г.) Витгенштейн признается, что он все еще продолжает обдумывать фундаментальные вопросы, связанные с этой «ужасной теорией типов» (*the beastly theory of types*) [13. Р. 45–46].

² В «Заметках, продиктованных Дж.Э. Муру в Норвегии» (1913) он заявляет: «... различие между тем, что может быть *показано* языком, но не *сказано* – объясняет затруднение, которое чувствуется относительно типов... То, что М является *вещью*, не может быть *сказано*; это бессмысленно; но *ничто показывается* символом „М“. <...> Следовательно, теория *типов* невозможна. Она пытается сказать нечто о типах, когда можно говорить только о символах» [15, С. 179–180].

³ На отдельном листе с краткими комментариями на рукопись ЛФТ, приложенном к письму для Витгенштейна (от 13 августа 1919 г.), Рассел делает важное замечание: «На мой взгляд, теория типов – это теория правильного символизма: (а) простой символ не должен использоваться для выражения чего-либо сложного; (б) в более общем смысле, *символ должен иметь ту же структуру, что и его значение*» [13. Р. 96] (курсив мой. – А.Н.). Однако в своем ответном письме из Италии (от 19 августа 1919 г.) Витгенштейн указывает: «Это как раз то, чего нельзя сказать. Ты не можешь предписывать символу, что он *может* быть использован для выражения. Все, что символ *может* выразить, он *может* выразить. Это краткий ответ, но он верен!» [12. С. 210].

разным символам). Ясная нотация, правильно отображающая логическую структуру нашего языка, делает любую теорию типов излишней, поскольку показывает, что никакое кажущееся нам парадоксальным предложение на самом деле не может быть выражено знаками нашего языка [22. Р. 56]. Поэтому теория логического символизма требует, чтобы функциональный знак вида $\varphi(\varphi x)$ в ясной нотации записывался следующим образом:

$$(W.1.1) \varphi(\varphi x) = \psi(\varphi x).$$

Такая интерпретация теории логического символизма, представленной в ЛФТ, предлагает нам принять аргумент следующей формы:

- (§ 3.32) Знак есть чувственно воспринимаемая часть символа.
 (§ 3.321) ...два разных символа могут иметь общий знак (письменный или звуковой) – тогда они обозначают по-разному.
 (§ 3.325) Для того чтобы избежать этих ошибок, мы должны использовать такую символику, которая исключает их, не применяя одинаковых знаков в различных символах и не применяя одинаковым образом знаки, которые обозначают различным образом, т.е. символику, подчиняющуюся *логической* грамматике – логическому синтаксису.
 ∴ (W1.2) Правильный логический символизм устраняет проблемы (вроде парадокса Рассела и др.); они блокируются в самом действии знаков нашего языка.
 ∴ (W1.3) Теория типов очевидным образом избыточна и для нашего языка не нужна.

Видимо, именно так следует понимать (Л1). Подобное прочтение (Л1) во многом солидарно с популярными интерпретациями теории логического символизма ЛФТ [8, 11, 14, 16–19, 22–24]. Но, кажется, по ряду причин оно все же ошибочно.

Согласно (Л1), основной недостаток теории типов Рассела в том, что он вынужден прибегать к помощи ряда терминов («логический тип», «функция», «значение» и т.д.), которые, строго говоря, должны быть лишены своего смысла [25. С. 33]. Если мы так понимаем (W1.2), тогда альтернативная теория типов, созданная при помощи исключительно одних только синтаксических средств¹, вполне могла бы избежать этой критики. Однако это немедленно подрывало бы (W1.3) и (Л3).

Другая трудность скрывается в (Л2). Принимая (W.1.1), мы будем вынуждены игнорировать обвинения в *restitutio principii*, ведь в примерах функционального знака вида $\varphi(\varphi x)$ нас на самом деле интересует не только вопрос о том, являются ли функции φ разными символами, но и то, каким образом сам этот функциональный знак $\varphi(\varphi x)$ исключает символизацию *одного и того же* объекта *разными* способами [4. Р. 130].

3. Аргумент *ad prototypum*: существует ли простая теория типов Витгенштейна?

Предложенный в теории типов Рассела метод решения парадоксов основан на том, что функция не может быть своим аргументом. В РМ необходимость подобного ограничения объясняется специфической природой пропо-

¹ В частности, пример такой простой (синтаксической) теории типов предлагает А. Чёрч [26].

зициональной функции – существенной «неоднозначностью» области ее возможных значений [2. С. 112–115]. Поскольку функция вида ϕx неопределенно указывает на область своих значений (ϕa , ϕb , ϕc и т.д.), она всегда предполагает свои значения, но не наоборот. В ЛФТ Витгенштейн ставит под сомнение любые такие ограничения [4. Р. 116; 27. Р. 123–124]. Он считает, что теория типов Рассела основана на «ошибке значения» (the fallacy of meaning), поскольку в интересах борьбы с парадоксами она допускает смешение синтаксиса и семантики¹ [14. Р. 43; 17. Р. 10], нарушая тем самым важное для правильного понимания логической структуры нашего языка условие: разные символы различаются только комбинаторными (синтаксическими) возможностями своих знаков и ничем более. По мнению Витгенштейна, необходимо избавиться от любых семантических ограничений, намеренно налагаемых на область значения пропозициональной функции, *сохранив* при этом философское ядро теории типов – идею о том, что функция не может быть своим аргументом². И это на самом деле невозможно, так как функциональный знак *уже* содержит «первообраз» (Urbild) своего аргумента [21. Р. 37; 30. Р. 20–22]. Именно он определяет границы осмысленного употребления этого знака [20. С. 163]. Чтобы показать способы использования знака функции ‘ ϕ ’ и знака аргумента ‘ a ’, не нужно обращаться к значениям самих знаков, достаточно просто описать вид предложений, в которых они встречаются³. Для знака ‘ ϕ ’ такими предложениями будут ‘ ϕa ’, ‘ ϕb ’ и т.д., в то время как для ‘ a ’ – ‘ ϕa ’, ‘ ψa ’ и т.д. [4. Р. 125]. И поскольку смысл любого предложения как комбинации знаков зависит от комбинаторного потенциала самих этих знаков⁴ [4. Р. 127, 132], функциональный знак вида $\phi(\phi x)$ правильно было бы записывать следующим образом:

$$(W.2.1) \phi(\phi x) = \phi x.$$

Ведь если ограничить (для удобства) область нашего рассмотрения только предложениями ‘ ϕa ’, ‘ ϕb ’, ‘ ψa ’, ‘ ψb ’, мы можем показать, что комбинаторные (синтаксические) потенциалы ‘первообразов’ {‘ ϕa ’, ‘ ϕb ’} и {‘ ϕa ’, ‘ ψa ’} на самом деле идентичны:

$$\begin{aligned} \text{‘}\phi a\text{’} &= \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\phi a^2\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}\} = \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}\}; \\ \text{‘}\phi b\text{’} &= \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\phi b^2\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}\} = \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}\}; \\ \text{‘}\psi a\text{’} &= \{\text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}, \text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\psi a^2\text{’}\} = \{\text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}, \text{‘}\phi a\text{’}\}; \\ \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}\} &= \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\phi a^2\text{’}, \text{‘}\phi b^2\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}\} = \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}\}; \\ \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}\} &= \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\psi a^2\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}, \text{‘}\phi a^2\text{’}\} = \{\text{‘}\phi a\text{’}, \text{‘}\phi b\text{’}, \text{‘}\psi a\text{’}, \text{‘}\psi b\text{’}\}. \end{aligned}$$

Правильный логический анализ функционального знака $\phi(\phi x)$ в данном случае опирается не на принцип (CP), а основывается на требованиях так

¹ ЛФТ (§ 3.331): «Ошибка Рассела проявилась в том, что при разработке своей символики он должен был говорить о значении знаков» [28. С. 66].

² В «Заметках по логике» (1913) Витгенштейн пишет: «Ни одно предложение ничего не может сказать о себе, потому что символ предложения не может содержаться в себе; это должно служить основой теории логических типов» [29. С. 175–176].

³ ЛФТ (§ 3.317): «<...> Установление значений... <...> есть только описание символов и ничего не утверждает об обозначаемом» [28. С. 62].

⁴ ЛФТ (§ 3.311): «Выражение предполагает формы всех предложений, в которые оно может входить. Это является общим характерным признаком класса предложений» [28. С. 60]. ЛФТ (§ 6.002): «Если дана общая форма того, как построено предложение, то тем самым дана общая форма того, как можно посредством операции из одного предложения создать другое» [Там же. С. 178].

называемого «принципа взаимности» (The Reciprocality Principle) [4. P. 130–132]:

(RP) Логическая форма предложения уже представлена логической формой его составной части (символа), а значит, – комбинаторный потенциал ‘первообраза’ функционального знака идентичен комбинаторному потенциалу ‘первообраза’ аргумента¹.

Эта интерпретация теории логического символизма Витгенштейна (отдельные детали которой можно найти в ряде исследований ЛФТ [4, 20, 21, 30–32]) предлагает нам принять аргумент иной формы:

- (§ 3.33) В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли; должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о *значении* знака; она должна предполагать *только* описание выражений.
- (§ 3.332) Ни одно предложение не может высказывать что-либо о самом себе, потому что пропозициональный знак не может содержаться в самом себе (это есть вся «теория типов»).
- (§ 3.333) Функция не может быть своим собственным аргументом, потому что функциональный знак уже содержит первообраз своего аргумента, а он не может содержать самого себя. <...>
- ∴ (W2.2) Тем самым мы полностью устраняем логические проблемы (вроде парадокса Рассела и др.).
- ∴ (W2.3) Правильный логический символизм является экземпляром модифицированной (синтаксической) простой теории типов.

В какой мере он совместим с (Л1), (Л2) и (Л3)?

Очевидно, что, принимая (W.2.1), (W.2.2) и (W.2.3), мы не только полностью отказываемся от (Л3), но и вынуждены существенным образом пересмотреть содержание (Л1) и (Л2). Ядром теории логического символизма Витгенштейна в этом случае должны стать формальные комбинаторные (синтаксические) ограничения знаков нашего языка. Под его знаковой поверхностью нет никакого особого ‘метафизического’ слоя значений. В вопросах логического синтаксиса наш язык полностью автономен². Сами по себе используемые нами знаки ничего не изображают, они способны это делать только лишь в составе предложений (комбинаций знаков); и правильное (синтаксическое) описание их комбинаторного потенциала (символов) должно разрушить иллюзию парадоксов³. Однако оправданность такой интерпре-

¹ ЛФТ (§ 3.327): «Знак определяет логическую форму только вместе со своим логико-синтаксическим применением» [28. С. 66].

² Логический синтаксис нашего языка не может быть опровергнут опытом, поскольку все, что вступает с ним в противоречие, просто не станет для нас значимым выражением. ЛФТ (§ 3.334): «Правила логического синтаксиса должны быть понятны сами собой, если только известно, как обозначает каждый знак» [28. С. 68] (курсив мой. – А.Н.).

³ Отдельный вопрос, который касается пересмотра содержания (Л2), – это оценка эффективности и сравнительных преимуществ представленной в ЛФТ теории логического символизма. Свободна ли она от потенциальных парадоксов? Полной уверенности в этом нет. Например, Ли считает, что основания теории логического символизма Витгенштейна таят в себе оригинальный теоретико-множественный парадокс (the world-language paradox) [33], для которого мы обязаны найти решение, особенно в том случае, если мы всерьез намерены отстаивать (Л2).

тации не исключает вероятности, что разногласия между Расселом и Витгенштейном на деле есть не более чем *façon de parler*¹.

Литература

1. Рассел Б. Математическая логика, основанная на теории типов / пер. с англ. В.А. Суровцев // Введение в математическую философию. Избранные работы. Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2007. С. 21–65.
2. Уайтхед А., Рассел Б. Основания математики : в 3 т. Самара : Самар. ун-т, 2005. Т. 1. 722 с.
3. Ruffino M.A. The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types // Synthese. 1994. Vol. 98, № 3. P. 401–414. DOI: 10.1007/BF01063927
4. Han D. Wittgenstein on Russell's Theory of Logical Types // Journal of Philosophical Research. 2013. Vol. 38. P. 115–146. DOI: 10.5840/jpr2013387
5. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 11–24. DOI: 10.17223/1998863X/44/2
6. Нехаев А.В. Машина Поста, самореференция и парадоксы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 46. С. 58–66. DOI: 10.17223/1998863X/46/7
7. Ladov V.A. Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes // Filosofija. Sociologija. 2019. Vol. 30, № 1. P. 37–44. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3914
8. Ishiguro H. Wittgenstein and the Theory of Types // Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein / ed. I. Block. Oxford : Basil Blackwell, 1981. P. 43–59.
9. Суровцев В.А. О простой теории типов Б. Рассела // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2008. № 1 (2). С. 120–122.
10. Black M. A Companion to Wittgenstein's 'Tractatus'. Ithaca : Cornell University Press, 1964. 451 p.
11. McGinn M. Elucidating the Tractatus: Wittgenstein's Early Philosophy of Logic and Language. Oxford : Clarendon Press, 2006. 316 p.
12. Витгенштейн Л. Из писем Витгенштейна к Расселу (1912–1922) / пер. с англ. В.А. Суровцева // Дневники 1914–1916. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2015. С. 196–212.
13. Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911–1951 / ed. B. McGuinness. Oxford : Blackwell, 2008. 498 p.
14. Livingston P. 'Meaning Is Use' in the Tractatus // Philosophical Investigations. 2004. Vol. 27, № 1. P. 34–67. DOI: 10.1111/j.1467-9205.2004.00213.x
15. Витгенштейн Л. Заметки, продиктованные Дж.Э. Муру в Норвегии / пер. с англ. В. А. Суровцева // Дневники 1914–1916. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2015. С. 177–195.
16. Davant J.B. Wittgenstein on Russell's Theory of Types // Notre Dame Journal of Formal Logic. 1975. Vol. 16, № 1. DOI: 10.1305/ndjfl/1093891616
17. White R.M. Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus. New York : Continuum, 2006. 163 p.
18. Jolley K.D. Logic's Caretaker-Wittgenstein, Logic, and the Vanishment of Russell's Paradox // The Philosophical Forum. 2004. Vol. 35, № 3. P. 281–309. DOI: 10.1111/j.1467-9191.2004.00175.x

¹ Основания для этого дают некоторые высказывания самого Рассела. Например, в курсе лекций по «Философии логического атомизма» (1918), прочитанных им в Лондоне до непосредственного знакомства с рукописью ЛФТ, он заявляет: «Теория типов на самом деле является теорией символов, а не вещей. В надлежащем логическом языке она была бы совершенно очевидной. *Существующие неприятности вырастают из закоренелой привычки пытаться именовать то, что не может быть наименовано*» [34. С. 204] (курсив мой. – А.Н.). Далее, в ходе дискуссии со своими слушателями, Рассел добавляет: «Вы всегда можете прийти к вещи, на которую нацелены, только посредством надлежащего типа символа, достигающего ее подходящим способом. Это реальная философская истина, лежащая в основе всей теории типов» [Там же. С. 205]. Принимая это во внимание, некоторые интерпретаторы ЛФТ готовы открыто защищать тезис о том, что «когда мы переходим к... объяснениям того, почему функция не может принимать себя в качестве аргумента, точка зрения Витгенштейна почти полностью совпадает со взглядами Рассела» [21. P. 31] (дополнительные комментарии о причинах превратных толкований ранних логических работ Рассела см.: [Ibid. P. 9–30]).

19. Friedlander E. Signs of Sense: Reading Wittgenstein's Tractatus. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2001. 227 p.
20. Суровцев В.А. Автономия логики: источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. Томск : Том. ун-т, 2001. 308 с.
21. Klement K.C. Putting Form Before Function: Logical Grammar in Frege, Russell, and Wittgenstein // *Philosopher's Imprint*. 2004. Vol. 4, № 2. P. 1–47.
22. Mounce H.O. Wittgenstein's Tractatus: An Introduction. Chicago : The University of Chicago Press, 1981. 136 p.
23. Caruthers P. Tractarian Semantics: Finding Sense in Wittgenstein's Tractatus. Oxford : Blackwell, 1989. 232 p.
24. Ostrow M. B. Wittgenstein's Tractatus: A Dialectical Interpretation. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 175 p.
25. Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916 / пер. с англ. В.А. Суровцева. М. : Канон+РООИ Реабилитация, 2015. 400 с.
26. Church A. A Formulation of the Simple Theory of Types // *The Journal of Symbolic Logic*. 1940. Vol. 5, № 2. P. 56–68. DOI: 10.2307/2266170
27. Anscombe G.E.M. An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. New York : Harper Torchbooks, 1965. 177 p.
28. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с англ. И.С. Добронравова, Д.Г. Лахути. М. : Канон+РООИ Реабилитация, 2008. 288 с.
29. Витгенштейн Л. Заметки по логике (1913) / пер. с англ. В.А. Суровцева // Дневники 1914–1916. М. : Канон+РООИ Реабилитация, 2015. С. 151–176.
30. Park J. The Early Wittgenstein on the Theory of Types // *Korean Journal of Logic*. 2018. Vol. 21, № 1. P. 1–37.
31. Landini G. Wittgenstein's Apprenticeship with Russell. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 300 p.
32. Lando G. Russell's Relations, Wittgenstein's Objects, and the Theory of Types // *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*. 2012. Vol. 31, № 2. P. 21–35.
33. Li J. The Hidden Set-Theoretical Paradox of the Tractatus // *Philosophia*. 2018. Vol. 46, № 1. P. 159–164. DOI: 10.1007/s11406-017-9904-2
34. Рассел Б. Философия логического атомизма / пер. с англ. В.А. Суровцева // *Избранные труды*. Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2007. С. 121–222.

Andrei V. Nekhaev, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation); Omsk State Technical University (Omsk, Russian Federation).

E-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 218–227.

DOI: 10.17223/1998863X/62/20

TYPES OF THE THEORY OF TYPES IN WITTGENSTEIN'S TRACTATUS

Keywords: paradox; Russell's theory of types; Wittgenstein's theory of logical symbolism; logical syntax, combinatorial rules

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

The article contains a critical analysis of Wittgenstein's theory of logical symbolism. According to an influential interpretation, Wittgenstein presented in the *Tractatus* a new method of solving paradoxes. This method seems a simple and effective alternative to Russell's type theory. Wittgenstein's theory of logical symbolism is based on the requirement of clear notation and the context principle: the type of a symbol only “shows” itself in the way we use the signs of our language. The function sign $\varphi(\varphi x)$ does not express any paradox, because the syntactic rules for its use, written in clear notation, should “show” us that $\varphi(\varphi x) = \psi(\varphi x)$. Many researchers (Davant, Ishiguro, Mounce, Ruffino, Friedlander, Jolley, Livingston, Ladov, et al.) follow this interpretation. However, the difficulty of such a view on Wittgenstein's theory of logical symbolism is that there hides the fallacy of *petitio principii*. Indeed, in examples of a functional sign of the form $\varphi(\varphi x)$, we are interested not only in the question of whether the functions φ are different symbols, but also in how this functional sign $\varphi(\varphi x)$ itself excludes the symbolization of the same object by different ways. This interpretation is contrasted with the idea that Wittgenstein's theory of logical symbolism is in fact a modified analogue

of Russell's simple theory of types. The reciprocity principle becomes the core of Wittgenstein's theory: the combinatorial potential of the "prototype" of a functional sign is identical to the combinatorial potential of the "prototype" of an argument. According to Wittgenstein, only describing the combinatorial potential of linguistic expressions (symbols) can vanish the illusion of paradoxes. The function cannot be its argument, because the function sign $\varphi(\varphi x)$ already contains the "prototype" of its argument, "showing" us that $\varphi(\varphi x) = \varphi x$. The correctness of this interpretation does not exclude the possibility that the differences between Russell and Wittgenstein are in fact nothing more than *façon de parler*.

References

1. Russell, B. (2007) *Vvedenie v matematicheskuyu filosofiyu. Izbrannye raboty* [Introduction to Mathematics Philosophy. Selected Works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sibirskoye universitetskoye izdatel'stvo. pp. 21–65.
2. Whitehead, A. & Russell, B. (2005) *Osnovaniya matematiki: v 3 t.* [Principia Mathematica]. Vol. 1. Translated from English by Yu.N. Radaev, I.S. Frolov. Samara: Samara State University.
3. Ruffino, M.A. (1994) The Context Principle and Wittgenstein's Criticism of Russell's Theory of Types. *Synthese*. 98(3). pp. 401–414. DOI: 10.1007/BF01063927
4. Han, D. (2013) Wittgenstein on Russell's Theory of Logical Types. *Journal of Philosophical Research*. 38. pp. 115–146. DOI: 10.5840/jpr2013387
5. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 10–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2
6. Nekhaev, A.V. (2018) Post machine, self-reference and paradoxes. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 46. pp. 58–66. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/46/7
7. Ladov, V.A. (2019) Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes. *Filosofija. Sociologija*. 30(1). pp. 37–44. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3914
8. Ishiguro, H. (1981) Wittgenstein and the Theory of Types. In: Block, I. (ed.) *Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein*. Oxford: Basil Blackwell. pp. 43–59.
9. Surovtsev, V. A. (2008) On B. Russell's simple theory of types. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(2). pp. 120–122. (In Russian).
10. Black, M.A. (1964) *Companion to Wittgenstein's 'Tractatus'*. Ithaca: Cornell University Press.
11. McGinn, M. (2006) *Elucidating the Tractatus: Wittgenstein's Early Philosophy of Logic and Language*. Oxford: Clarendon Press.
12. Wittgenstein, L. (2015a) *Dnevniky 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya. pp. 196–212.
13. McGuinness, B. (2008) *Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911–1951*. Oxford: Blackwell.
14. Livingston, P. (2004) 'Meaning Is Use' in the Tractatus. *Philosophical Investigations*. 27(1). pp. 34–67. DOI: 10.1111/j.1467-9205.2004.00213.x
15. Wittgenstein, L. (2015b) *Dnevniky 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya. pp. 177–195.
16. Davant, J.B. (1975) Wittgenstein on Russell's Theory of Types. *Notre Dame Journal of Formal Logic*. 16(1). DOI: 10.1305/ndjfl/1093891616
17. White, R.M. (2006) *Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus*. New York: Continuum.
18. Jolley, K.D. (2004) Logic's Caretaker-Wittgenstein, Logic, and the Vanishment of Russell's Paradox. *The Philosophical Forum*. 35(3). pp. 281–309. DOI: 10.1111/j.1467-9191.2004.00175.x
19. Friedlander, E. (2001) *Signs of Sense: Reading Wittgenstein's Tractatus*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
20. Surovtsev, V.A. (2001) *Avtonomiya logiki: Istochniki, genesis i sistema filosofii rannego Vitgenshteyna* [The Autonomy of Logic: Sources, Genesis, and System of Early Wittgenstein's Philosophy]. Tomsk: Tomsk State University.
21. Klement, K.C. (2004) Putting Form Before Function: Logical Grammar in Frege, Russell, and Wittgenstein. *Philosopher's Imprint*. 4(2). pp. 1–47.

-
22. Mounce, H.O. (1981) *Wittgenstein's Tractatus: An Introduction*. Chicago: The University of Chicago Press.
 23. Caruthers, P. (1989) *Tractarian Semantics: Finding Sense in Wittgenstein's Tractatus*. Oxford: Blackwell.
 24. Ostrow, M.B. (2001) *Wittgenstein's Tractatus: A Dialectical Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Wittgenstein, L. (2015c) *Dnevniky 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.
 26. Church, A. (1940) A Formulation of the Simple Theory of Types. *The Journal of Symbolic Logic*. 5(2). pp. 56–68. DOI: 10.2307/2266170.
 27. Anscombe, G.E.M. (1965) *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus*. New York: Harper Torchbooks.
 28. Wittgenstein, L. (2008) *Logiko-filosofskiy traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Translated from English by I.S. Dobronravov, D.G. Lakhuti. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.
 29. Wittgenstein, L. (2015d) *Dnevniky 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya. pp. 151–176.
 30. Park, J. (2018) The Early Wittgenstein on the Theory of Types. *Korean Journal of Logic*. 21(1). pp. 1–37. (In Korean).
 31. Landini, G. (2007) *Wittgenstein's Apprenticeship with Russell*. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. Lando, G. (2012) Russell's Relations, Wittgenstein's Objects, and the Theory of Types. *Teorema: Revista Internacional de Filosofia*. 31(2). pp. 21–35.
 33. Li, J. (2018) The Hidden Set-Theoretical Paradox of the Tractatus. *Philosophia*. 46(1). pp. 159–164. DOI: 10.1007/s11406-017-9904-2
 34. Russell, B. (2007) *Izbrannye trudy* [Selected Works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo. pp. 121–222.

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/62/21

В.А. Суровцев

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТЕОРИЯ СИМВОЛИЗМА Л. ВИТГЕНШТЕЙНА РАДИКАЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ТЕОРИИ ТИПОВ?

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Рассматриваются аргументы В.А. Ладова в пользу того, что иерархические теории языка, предназначенные для решения логических парадоксов, например теория типов Б. Рассела, содержат ряд недостатков. Рассматривается, каким образом, с точки зрения В.А. Ладова, эти недостатки можно преодолеть с помощью критики, представленной Л. Витгенштейном в «Логико-философском трактате». Критикуется утверждение В.А. Ладова, что изобразительная теория символизма Л. Витгенштейна сама является радикальной версией теории типов. Утверждается, что изобразительная теория символизма основана на логической грамматике, тогда как теория типов основана на семантике. Это служит основанием для сомнений в адекватности подхода, предлагаемого В.А. Ладовым.

Ключевые слова: В.А. Ладов, Л. Витгенштейн, Б. Рассел, логические парадоксы, теория типов, самореферентность, изобразительная теория символизма, логический синтаксис и семантика

Текст является репликой на статью В.А. Ладова «Критика теории типов в философии раннего Витгенштейна» [1], которая опубликована в данном номере журнала в рамках панельной дискуссии, посвященной 100-летию выхода в свет «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна [2]. В своей статье В.А. Ладов рассматривает способы преодоления логических и семантических парадоксов, связанные с иерархическими подходами, один из которых представлен Б. Расселом в виде теории типов [3]. Основным предметом работы В.А. Ладова, впрочем, является не сама теория типов, а ее критика в работах раннего Витгенштейна [2, 4], основанная на его специфическом понимании того, каким образом функционируют знаки в рамках символической системы.

В целом поддерживая способ преодоления парадоксов, предложенный Л. Витгенштейном, поскольку он позволяет обойти некоторые нежелательные предпосылки и следствия теории типов, В.А. Ладов тем не менее приходит к достаточно парадоксальному выводу, поскольку считает, что способ, представленный в «Логико-философском трактате», является ничем иным, как радикальной версией теории типов и даже иерархических подходов в более общем смысле. В частности, он утверждает: «Теория символизма раннего Л. Витгенштейна представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов» [1. С. 201]. Что же, на взгляд В.А. Ладова, позволяет сделать подобный вывод?

Обычный подход к теории типов (как к простой, так и к разветвленной) рассматривает ее как способ преодоления такого свойства некоторых выражений, как самореферентность, или рефлексивность, которые «допускают совокупное целое, такое, что если бы оно было законным, то сразу увеличи-

валось бы за счет новых элементов, определенных в терминах его самого» [3. С. 25]. С точки зрения Рассела, именно употребление таких выражений ответственно за возникновение логических и семантических парадоксов. Такими, например, являются выражение «множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элементов», приводящее к парадоксу Рассела, или выражение «несамоназывающееся», приводящее к парадоксу Греллинга. Рассел, в частности, утверждает, что «в каждом противоречии нечто говорится о всех случаях некоторого рода, и из того, что говорится, по-видимому, производится новый случай, который как относится, так и не относится к тому же самому роду, что и те случаи, все из которых рассматривались в том, что было сказано» [Там же. С. 24]. Иными словами, к логическим парадоксам приводит ситуация, когда в качестве возможных значений выражению приписывают не только элементы некоторой совокупности, но и саму эту совокупность в целом. Стремление избежать источника парадоксов, связанного с самореферентностью выражений, приводит Рассела к формулировке правила: «То, что включает все из совокупности, не должно быть элементом совокупности» [Там же. С. 25].

Таким образом, ни одна совокупность предметов не должна содержать себя саму в качестве собственного элемента. Соответственно, и функции, задающие подобные совокупности, не должны быть своими собственными аргументами. Эти соображения приводят Рассела к необходимости дифференцировать возможные значения выражений на типы (а затем и на порядки). Если элементы совокупностей (и, соответственно, аргументы функций, задающих эти совокупности) относятся к типу n , то сами совокупности (и, соответственно, задающие их функции) относятся к типу $n + 1$. В общем случае понятие типа не определено; важно только то, что если аргументы относятся к типу N , то функции от этих аргументов всегда будут относиться к типу $N + 1$. Ограничение, связанное с введением теории типов, гласит, что возможные значения выражения должны ограничиваться одним типом. В противном случае выражение считается бессмысленным. Сформулированная таким образом теория типов выступает для Рассела в качестве предпосылки построения любой символической системы, если она должна быть свободна от противоречий.

Не останавливаясь пока на достоинствах и недостатках теории типов, обратимся к тому, как Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» относится к проблеме самореферентности и связанными с ней логическими и семантическими парадоксами. Так же, как и Б. Рассел, Витгенштейн связывает источник логических парадоксов с использованием самореферентных выражений. Стало быть, в надлежащем образом построенной символической системе таких выражений быть не должно. В этом отношении Витгенштейн вполне солидарен с Расселом. Действительно, если к противоречиям приводят выражения, которые в качестве значения наряду с элементами некоторой совокупности предполагают и саму эту совокупность или допускают, что функция, задающая совокупность своих аргументов, может сама рассматриваться в качестве собственного аргумента, то от таких выражений необходимо символическую систему избавить. На этом, пожалуй, сходство с Расселом и заканчивается. Предлагаемый Витгенштейном способ избавления от парадоксов отличается от расселовской теории теории типов, поскольку основан

на совершенно ином понимании принципов функционирования символической системы.

Все дело в том, что возможные значения знаков не предустанавливаются до того, как определяются возможные синтаксические конструкции (например, предложения или высказывания), которые из них могут быть построены. Для Витгенштейна самым важным является то, что свое возможное значение знак принимает только в рамках целостной синтаксической конструкции (например, предложения или высказывания). До этого говорить о каких-то возможных значениях знака смысла не имеет. Бессмысленно говорить, что какой-то знак обозначает функцию, а какой-то – аргумент до тех пор, пока они не объединены в некоторое единое целое. Характер знака как функции или как аргумента определяется не относительно знака самого по себе, но только в их отношении друг к другу. Символическую функцию в данном случае несет не сам по себе знак, но только знак в его отношении к другому знаку с точки зрения того, какое место он занимает в рамках целостного выражения. То, что является функцией определяется относительно аргумента, а то, что является аргументом, определяется относительно функции.

В этом отношении Л. Витгенштейн переосмысляет характер функционирования самореферентных выражений. Функция не может выступать своим собственным аргументом, а символ, помимо элементов, входящих в совокупность, не может в качестве возможного значения иметь саму совокупность, поскольку это просто приводило бы к неправильным логико-грамматическим конструкциям. В афоризме 3.333 «Логико-философского трактата» Витгенштейн пишет по этому поводу: «Функция не может быть своим собственным аргументом, потому что функциональный знак уже содержит первообраз своего аргумента, а он не может содержать самого себя. Предположим, например, что функция $F(fx)$ могла бы быть своим собственным аргументом; тогда должно иметься предложение ' $F(F(fx))$ ', и в нем внешняя функция F и внутренняя функция F должны иметь разные значения, потому что внутренняя функция имеет форму $\phi(fx)$, а внешняя – $\psi(\phi(fx))$. Общим у обеих функций является только буква F , которая сама по себе ничего не обозначает... Этим самым устраняется парадокс Рассела» [2. С. 68]. Таким образом, при надлежащем понимании синтаксиса проблема функционирования самореферентных выражений снимается сама собой. При правильном понимании логико-грамматических конструкций самореферентных выражений просто не может возникнуть. Свой подход Л. Витгенштейн резюмирует в афоризме 3.332: «Ни одно предложение не может высказывать что-либо о себе самом, потому что пропозициональный знак не может содержаться в самом себе (это есть вся „теория типов“») [Там же. С. 66].

Нетрудно заметить, что теория типов Б. Рассела как вариант иерархического подхода и теория Витгенштейна, основанная на специфическом понимании того, как задаются возможные значения символов, совершенно различны. Во всяком случае у Л. Витгенштейна и речи не идет о какой-либо форме иерархического подхода. Скорее, наоборот, от всякого иерархического подхода, подобного теории типов, он стремится избавиться, никоим образом не апеллируя к различию в значениях знаков. Что же тогда дает основание утверждению В.А. Ладова, что теория Витгенштейна может рассматриваться в качестве радикальной версии иерархического подхода, когда он в своей

статье пишет, что «позиция раннего Л. Витгенштейна представляет собой не отрицание, а, напротив, наиболее радикальную форму иерархического подхода к решению проблемы парадоксов» [1. С. 195]? По-видимому, помимо различий между этими теориями, должно быть и какое-то сходство. Но начнем с различий.

Первое, что бросается в глаза, связано с разницей в понимании источников самореференции. Для Рассела источником самореференции является ошибочное понимание того, что может выступать в качестве значений определенного символа. Для Витгенштейна источником самореференции является неверная трактовка того, какую роль играет символ в рамках логико-грамматической структуры предложения. Отсюда вытекают и различия в предлагаемых решениях.

Что, собственно, делает Б. Рассел? Формулируя теорию типов, он заранее ограничивает возможный набор значений символов с тем, чтобы сами значения, с одной стороны, и их совокупность – с другой, не рассматривались на одном уровне. Тип значений символа в иерархии всегда находится на ступень ниже, чем тип образованной этими значениями совокупности. Но типы значений смешивать нельзя. Понятие возможного значения при таком подходе играет определяющую роль, поскольку понятие самореферентности апеллирует именно к нему.

В этом случае теория типов для Рассела в определенном смысле выступает в качестве превентивной меры. Ограничивая возможный набор значений символов, теория типов позволяет избежать самореферентности и тем самым парадоксов, к которым самореферентность приводит. Для Рассела принятие теории типов является предварительным условием построения непротиворечивой символической теории. На это явно указывает и сам Рассел, когда говорит о «логике, основанной на теории типов» [3]. Это даже позволяет сказать В.А. Ладову, что теория типов является по отношению к логике внешним фактором, с помощью которого пытаются избежать ошибки; она является своего рода «теоретической добавкой», привлекаемой в ходе разработки дедуктивной теории [1. С. 196].

Л. Витгенштейн высказывает неприятие такого подхода в одном из писем к Расселу, которое цитирует В.А. Ладов и в котором недвусмысленно указывается на излишний характер теории типов для логики: «От всяких теорий типов нужно избавиться с помощью теории символизма, показывающей, что то, что, по всей видимости, является различными видами вещей, символизируется различными видами символов, из которых один, вероятно, не может быть подставлен на место другого» [5. С. 199]. В.А. Ладов видит в этом утверждении Витгенштейна стремление заменить теорию типов как внешнее для логики приспособление надлежащей теорией символизма, что, по его мнению, является особой формой реализации тезиса Витгенштейна: «Логика должна заботиться о себе сама» [3. С. 30]. В.А. Ладов трактует это тезис как стремление избавиться от внешних «теоретических добавок», ограничиваясь средствами самой логики, и качестве такого средства выступает ее символический язык. Все, что требуется логике, уже должно обнаруживаться в ее собственном языке, «который оказывается логически последовательным изначально, еще до каких-либо внешних методологических усилий по его коррекции» [1. С. 196].

Усилия Витгенштейна, по мнению В.А. Ладова, направлены не на создание дополнительных средств вроде теории типов, но на понимание символических особенностей знаков, из которых строятся логические конструкции. При надлежащем понимании того, каким образом знаки приобретают значение, проблема самореферентности просто снимается, поскольку «самореферентность в языке просто невозможна, а значит, и исправлять нечего. Если это так, то не нужна и никакая теория типов. Язык функционирует так, что не создает парадоксов. Иллюзия парадоксов возникает из-за нашего недостаточно пристального внимания к нюансам работы языка. Если такое внимание проявить и просто надлежащим образом описать то, что уже и так содержится в языке, то такая чисто дескриптивная работа вполне заменит никому не нужную теорию типов» [1. С. 198].

Утверждение В.А. Ладова, что теория типов никому не нужна, конечно же, спорно. Во всяком случае она нужна Б. Расселу, построившему с ее использованием программу обоснования математики [6] или, например, Ф.П. Рамсею, который, используя критические замечания Л. Витгенштейна, построил отличную от Рассела теорию типов [7]. Речь здесь, скорее, должна идти о смене акцентов относительно того, что, собственно, понимать под логикой. Для Б. Рассела, как и для других сторонников иерархического подхода, теория типов всегда выступала интегральной частью логики. Когда Рассел говорит о «логике, основанной на теории типов», сама логика не является чем-то существующим до и помимо самой логической теории, а саму теорию типов просто необходимо включить в логику при особых обстоятельствах. Теория типов, определяющая возможные значения знаков в рамках символической теории, является интегральной частью языка самой логики. Следует учесть также, что сама теория типов Рассела представляет собой интегральную часть основания математической, вернее метаматематической, теории, претендующей на свободную от противоречий формулировку, способную представить математику как свободную от парадоксов, если только учесть, какие возможные значения могут принимать ее термины. Примеры из естественного языка Рассел использует только для того, чтобы прояснить особенности построения языка искусственного, который был бы свободен от противоречий и тем самым позволил бы построить искусственный язык, который уж точно свободен от всяких противоречий. Этот язык можно было бы как раз и рассматривать в качестве основания любого языка, претендующего на непротиворечивость.

У Л. Витгенштейна обнаруживается позиция, совершенно отличная от позиции Б. Рассела. Прежде всего логика – это не средство, с точки зрения которого следует трактовать особенности функционирования символической системы. Любая символическая система есть способ выражения ее логики. И значит, вопрос не в том, каким образом приобретают значения знаки, с помощью которых формулируется сама система, но в том, какую функцию в рамках символической системы эти знаки представляют. Логика для Витгенштейна, таким образом, не включает превентивную систему, определяющую возможные значения знаков, из которых некоторые считаются обозначающими, а некоторые – нет. Правильное понимание логики заключается в том, какие символические структуры вообще могут иметь значение, а какие просто являются бессмысленными образованиями. Возможность значения

знака в символической системе определяется не тем, что это значение знак получил до того, как обнаружился в том или ином языке, но его значение определяется той ролью, которую он выполняет в рамках целостного выражения. Роль логики в этом случае связана не с определением возможных значений знаков, но с той функцией, которую они выполняют в языковой системе, из которых она построена. Понимание того, с чем связана формальная логика и какие вопросы могут быть поставлены, касается исключительно того, каким образом знаки приобретают символическое значение не просто в качестве написанных, но в качестве написанных и проективных относительно других написанных знаков.

Однако то, что Л. Витгенштейн понимает под логикой, остается не вполне ясным. Понято только, что к логике относится та ее часть, которая представлена исключительно способностью знаков обозначать, при условии, что учитывается отношение знаков друг к другу, но не с тем, что эти знаки должны и могут обозначать сами по себе. Впрочем, понимание того, что относится собственно к логике, а что превосходит ее пределы, это – спорный вопрос. Проблема того, где кончается логика с ее формальными преобразованиями и где уже возникают содержательные вопросы относительно ее границ, спорен. И этот вопрос непосредственно связан с различием между тем, что, как утверждает Л. Витгенштейн, языковая система выражает, и тем, что она показывает. Различие между сказанным и показанным символами в системе «Логико-философского трактата» является определяющим. Логика ничего не говорит о мире, она посредством надлежащим образом понимаемой грамматики выражений показывает его структуру. Стало быть, и дело логики заключается совсем не в том, чтобы устанавливать значения символов, употребляемых в языке, но в том, чтобы прояснить, каким образом они вообще могут приобретать значения в рамках логико-грамматической структуры. Логика не говорит о содержании мира, она показывает его структуру. Различие сказанного и показанного определяет, с точки зрения Л. Витгенштейна, выраженной в «Логико-философском трактате», различие того, что касается собственно логики, и того, что выходит за ее пределы.

Задача собственно логики, с точки зрения Витгенштейна, заключается в том, чтобы прояснить, каким образом знаки приобретают свое значение, но не в том, что они обозначают сами по себе. Собственно знаки, взятые изолированно, т.е. вне рамок более общих выражений, в которых они употребляются, не имеют никакого значения. Задача логики заключается в том, чтобы знаки приобретали значение, когда они включены в более общую структуру, которая показывает, как тот или иной знак можно употреблять. Знак в его проективном отношении к миру может приобретать различные значения. Значения, которые он не может приобретать, ограничены и могут быть только нашими условиями. Условия могут быть разными. Одни из них связаны с ограничениями значений знаков, другие – с условиями построения символической системы. Прояснить то, как строится символическая система, в общем-то и есть главная задача «Логико-философского трактата». Б. Рассел говорит о структуре значения символов, и значения одних не могут быть значением других. Витгенштейн же говорит о грамматике, т.е. не о значении, но о способе символизации. Речь у Витгенштейна совсем о другом. Дело ло-

гики не в том, чтобы установить возможные значения знаков, но в том, чтобы указать на то, каким образом они приобретают символическое значение.

В.А. Ладов совершенно верно говорит, что изобразительная теория Л. Витгенштейна, представленная в «Логико-философском трактате», делает теорию типов Б. Рассела излишней. С точки зрения В.А. Ладова, теория типов привносит в логику нежелательные следствия. Эти следствия касаются того, как, собственно, понимать, что является логикой, а что выходит за ее пределы. Л. Витгенштейн так и выражает свой основной тезис в афоризме 3.334 «Логико-философского трактата»: «Правила логического синтаксиса должны быть понятны сами собой, если только известно, как обозначает каждый знак» [2. С. 68]. Это относится к совершенно удивительному замечанию В.А. Ладова, что всякая теория типов не просто является излишней, но даже вредит любой логической теории. И здесь В.А. Ладов прав, никакая теория не является способом, который управляет тем, что можно говорить, а что нельзя. Можно говорить о типах, но о том, что они показывают, сказать ничего невозможно. Хотя о том, что показывают типы, уже нужно говорить на уровень выше. В афоризме 3.33 «Логико-философского трактата» Витгенштейн утверждает: «В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли; должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о значении знака; она должна предполагать только описание выражений» [Там же. С. 66]. Ошибка Рассела, как утверждается в афоризме 3.331, заключается как раз в том, что «при разработке своей символики он должен был говорить о значении знаков» [Там же].

Но если при разработке синтаксиса символической системы к типам значений знаков обращаться совершенно не нужно, то в каком смысле можно говорить о том, что теория Витгенштейна является радикальной версией теории типов? Нетрудно заметить, что подход Витгенштейна при определении символических особенностей знаков не содержит никакой иерархии. Иерархия подразумевает уровни или типы, ранжированные по порядку. Но у Витгенштейна нет уровней значения. Все знаки находятся на одном уровне. Просто они символизируют по-разному. И если говорить о сходстве позиций Рассела и Витгенштейна, то можно указать лишь на то, что существуют различные виды знаков. Но различие видов знаков ни в коей мере не является теорией типов. Скорее, изобразительная теория языка у Витгенштейна является не радикальной версией теории типов, а версией радикальной критики теории типов. Когда Витгенштейн говорит «...в этом вся теория типов», отнюдь не имеется в виду, что он вводит какую-то новую, пусть и радикальную, версию теории типов или иерархического подхода. Он ее за ненадобностью просто отбрасывает. Согласно своей теории различия между сказанным и показанным Витгенштейн просто говорит, что различие видов знаков демонстрируется логико-грамматической структурой предложения. «В этом вся теория типов» означает просто то, что при надлежащем понимании того, как функционирует язык, любая теория типов становится излишней, поскольку заранее не нужно указывать на совокупность возможных значений отдельного знака. Возможные значения показывает логическая форма предложения, в которое входит знак.

Конечно, если считать, что теория типов – это просто способ различить виды знаков, то теория Витгенштейна в определенном смысле может рас-

смагиваться как теория типов. Но тогда любая символическая теория постольку, поскольку в ней различаются виды знаков, является теорией типов, что, очевидно, не так. Например, с символической теорией Г. Фреге уж никак нельзя связать теорию типов, хотя в ней и вводится различие знаков на знаки функций и знаки аргументов [8], поскольку ради преодоления ее недостатков Расселом как раз и была изобретена теория типов. И если теория типов является разновидностью иерархического подхода, то теория Витгенштейна не является радикальной версией теории типов уже потому, что в ней нет иерархии. Различие видов знаков встроено в грамматику языка, но это не различие типов. То, что знак символизирует не сам по себе, а вместе с тем местом, которое он занимает в предложении, еще не говорит, что он приобретает какое-то место в иерархии. То есть речь здесь совсем не идет о типах в расселовском смысле. Речь идет о том, что знаки дифференцируются в зависимости от их места в предложении. Но такое различие видов знаков не порождает иерархии их типов, что имеется в виду как в простой, так и в разветвленной теории типов Б. Рассела.

Теория типов апеллирует к значению знаков, т.е. она основана на семантике, тогда как изобразительная теория Витгенштейна апеллирует к положению знака в структуре предложения, т.е. основана на синтаксисе, или, если угодно, на логической грамматике. Различие между Б. Расселом и Л. Витгенштейном, собственно, состоит в следующем. Рассел задает вопрос о том, *что* обозначает символ? Отсюда и возникает теория типов. Витгенштейн задает вопрос, *как* обозначает символ? Но это как раз и указывает на то, что изобразительная теория Витгенштейна не является радикальной теорией типов, это совсем другая теория, основанная на собственных предпосылках.

В заключение отметим также, что теория логического синтаксиса основана у Витгенштейна на целом ряде предпосылок, имеющих онтологический и эпистемологический характер. К таковым относится, например, его онтология фактов, когда в афоризме 1.1 он говорит, что «мир есть совокупность фактов, а не предметов» [2. С. 36], или последовательно проводимое различие между тем, что может быть сказано в языке, и тем, что показано его структурой. Без этих предпосылок теория логического символизма у Витгенштейна не имеет смысла. Но в какой мере подобные предпосылки могут рассматриваться в качестве интегральной части иерархического, пусть и радикального, подхода?

Литература

1. Ладов В.А. Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 194–203. DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с англ. И.С. Добронравова, Д.Г. Лахути. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2008. 288 с.
3. Рассел Б. Математическая логика, основанная на теории типов / пер. с англ. В.А. Суровцев // Введение в математическую философию. Избранные работы. Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. С. 21–65.
4. Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916 / пер. с англ. В.А. Суровцева. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2015. 400 с.
5. Витгенштейн Л. Из писем Витгенштейна к Расселу (1912–1922) / пер. с англ. В.А. Суровцева // Дневники 1914–1916. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2015. С. 196–212.

6. Уайтхед А., Рассел Б. Основания математики : в 3 т. / пер. с англ. Ю.Н. Радаева, И.С. Фролова. Самара : Самар. ун-т, 2005. Т. 1. 722 с.

7. Рамсей Ф.П. Основания математики / пер. с англ. В.А. Суровцева // *Философские работы*. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2011. С. 16–86.

8. Фреге Г. Исчисление понятий, язык формул чистого мышления, построенный по образцу арифметического / пер. с нем. Б.В. Бирюкова // *Логика и логическая семантика*. М. : Аспект Пресс, 2000. С. 65–142.

Valeriy A. Surovtsev, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Science (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: surovtssev1964@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 228–236.

DOI: 10.17223/1998863X/62/21

IS WITTGENSTEIN'S THEORY OF SYMBOLISM A RADICAL VERSION OF THE THEORY OF TYPES?

Keywords: Vsevolod Ladov; Ludwig Wittgenstein; Bertrand Russell; logical paradoxes; theory of types; self-reference; pictorial theory of symbolism; logical grammar and semantics

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

Some arguments of Vsevolod Ladov that hierarchical theories of language, for example, Russell's theory of types, contain a number of shortcomings, are analyzed. These shortcomings are related to ways of solving logical paradoxes. Ladov's ideas on how to overcome these shortcomings with the help of Wittgenstein's criticism in the *Tractatus Logico-Philosophicus* are considered. Ladov's statement that Wittgenstein's pictorial theory of symbolism is a radical version of the theory of types is criticized. It is argued that the pictorial theory is based on logical grammar, while the theory of types is based on semantics. This serves as a basis for doubts about the adequacy of the approach proposed by Ladov.

References

1. Ladov, V.A. (2021) Criticism of the theory of types in the early Wittgenstein's philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 194–203. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/17

2. Wittgenstein, L. (2008) *Logiko-filosofskiy traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Translated from English by I.S. Dobronravov, D.G. Lakhuti. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.

3. Russell, B. (2007) *Izbrannyye trudy* [Selected Works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sibirskoye universitetskoye izdatel'stvo. pp. 21–65.

4. Wittgenstein, L. (2015) *Dnevnik 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.

5. Wittgenstein, L. (2015d) *Dnevnik 1914–1916* [Notebooks 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya. pp. 196–212.

6. Whitehead, A. & Russell, B. (2005) *Osnovaniya matematiki: v 3 t.* [Principia Mathematica]. Vol. 1. Translated from English by Yu.N. Radaev, I.S. Frolov. Samara: Samara State University.

7. Ramsay F.P., F.P. (2011) *Filosofskie raboty* [Philosophical works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya. pp. 16–86.

8. Frege, G. (2000) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Translated from German by B.V. Biryukov. Moscow: Aspekt Press. pp. 65–142.

УДК 168.3

DOI: 10.17223/1998863X/62/22

В.В. Целищев, А.В. Хлебалин

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА: СУДЬБЫ ПАРАДОКСОВ

Исследование поддержано РФФИ, проект № 19-011-00518.

Анализируются аргументы В. Ладова в пользу интерпретации подхода Витгенштейна к «решению» парадоксов самореференции в качестве предпочтительного перед иерархическим подходом. Доказывается, что объединение теории типов Б. Рассела и концепции метаязыка А. Тарского как представителей иерархического подхода к решению парадоксов поверхностно и ведет к утрате их содержательной специфики. Показано, что позиция Витгенштейна приводит к существенному ограничению теоретико-доказательных возможностей математики. Утверждается, что предложенная интерпретация критики Витгенштейном теории типов Рассела игнорирует содержательный контекст сложной эволюции позиции Рассела в отношении парадоксов теории множеств и то влияние, которое эта эволюция оказала на позицию самого Витгенштейна. Указывается на проблематичность интерпретации позиции «раннего» Витгенштейна как адекватной критики решения парадоксов теории множеств, предложенного Расселом.

Ключевые слова: теоретико-множественные парадоксы, логицизм, Подстановочная Теория, теория типов, Витгенштейн, Рассел

В своей статье В.А. Ладов [1] утверждает, что в разрешении парадоксов идеи раннего Витгенштейна представляют собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода, обладающий более весомым аргументационным потенциалом, нежели расселовская теория типов. Мы не можем согласиться с подобным взглядом, и ниже в весьма краткой форме формулируем возражения ему.

В самом общем виде, если Рассел искал пути «лечения» (хотя это не его формулировка) логики (или математики) от парадоксов, Витгенштейн объявил о том, что никакой «болезни» вовсе нет. Противопоставление взглядов Рассела и Витгенштейна на этот счет было отягощено представлением о том, что Витгенштейн из ученика Рассела быстро превратился в его учителя. Примеры такой трактовки можно найти, например, у Р. Монка, приводящего множество примеров покорного принятия Расселом критики Витгенштейна. Это позволяет ему сделать окончательный вывод: «Их сотрудничество подошло к концу. В логике Витгенштейн, давно уже не студент Рассела, стал его учителем» [2. С. 88]. Подспудно это предполагает, что Витгенштейн имел прозрения, якобы убедившие Рассела в откровенных дефектах его логицистской программы, и что эти прозрения оказались более весомыми, чем идеи Рассела. Именно это предполагает позиция Ладова.

Однако начавшаяся с 90-х гг. XX в. публикация архива Рассела и появившиеся в последние десятилетия работы, посвященные эволюции взглядов Рассела в период от *Principles* к *Principia* (см.: [3–7]), – мы имеем в виду, прежде всего, работы Г. Ландини, – по-новому не только освещают поразительные

тельно сложную эволюцию взглядов Рассела, но и отвечают на вопрос о пресловутом «молчании» Рассела, свидетельствующем якобы о его поражении. Применительно к интересующим нас здесь возражениям Витгенштейна теории типов публикация архива Рассела совершенно по-другому освещает и саму критику, и ее состоятельность.

Прежде всего, неопубликованная прежде и известная только в результате публикации архива так называемая Подстановочная Теория Рассела по-новому характеризует эволюцию *Principia* как берущую свое начало именно в этой теории, которая не может быть рассмотрена как онтологическая редукция вопреки распространенному мнению, а представляет собой онтологическую элиминацию. Эта теория предлагает решение парадокса классов. «Это не „теория“ типов объектов, а, скорее, разрешение парадоксов посредством элиминативистского онтологического анализа и реконструкции. Источником открытия Расселом возможности такой элиминативистской реконструкции была его Доктрина Неограниченной Переменной. Приверженность Рассела этой доктрине была руководящим принципом, приведшим его к созданию конструкций, которые встраивают различные типы в формальную грамматику. Это привело Рассела к его теории обозначения 1905 г., синтаксическому подходу к решению парадоксов 1905–1908 гг., подстановочной теории пропозициональной структуры, подходу к парадоксам в *Principia* и к самому логическому атомизму» [8. Р. 109–110].

Текущая литература, приводимая Ладовым в поддержку своего тезиса, любопытным образом концентрируется на семантических парадоксах («Лжец»), практически избегая проблему теоретико-множественных парадоксов. Это не случайное обстоятельство. К. Смориински отмечает, что исследования феномена самореференции, который главным образом ответствен за парадоксы, уже давно разделились на две ветви: математики исследуют рекурсивные теории, в то время как философы интересуются парадоксами [9. Р. 359]. В данном случае это расхождение интересов является аллюзией на различие Рассела и Витгенштейна: последнего интересовала природа языка (на определенном этапе – логики), а Рассела – реконструкция математики на основе логики («логицизм»). Правда, Рассел, можно сказать, «сидел на двух стульях», поскольку его математические идеи были тесно связаны с философскими. Если Э. Цермело разрешал парадоксы путем запрещения конструирования определенных множеств (классов), то Рассел устраивал, по выражению А. Коффа, периодическое онтологическое побоище, уничтожая классы, пропозиции и вообще неполные символы [10. С. 155].

Как бы то ни было, теория типов, о которой идет речь, претендовала на решение и существенных математических проблем, что полностью упускается из виду Ладовым. Имея в виду полное неприятие Витгенштейном теории множеств (которую он считал худшим, чем содомия, грехом) [11. С. 96], странно было бы ожидать от идей Витгенштейна «радикального варианта» разветвленной теории типов. Очевидно, что речь идет об общей теории языка или, опять-таки, логики, которая действительно представляет важнейшую философскую проблему – «Логика – это ад» (Рассел). И возражения Витгенштейна против теории типов относились именно к этой стороне типовой концепции. Следует отметить, что попытки Рассела модифицировать свой подход в духе замечаний Витгенштейна (предисловие ко 2-му изданию *Principia*)

встретили резкое возражение со стороны А.Н. Уайтхеда, который отнюдь не был очарован Витгенштейном и не разделял доктрин логического атомизма.

В центре внимания Ладова находится статус самореференции, которой, по его мнению, неверно приписывается вина за парадоксы. Один из самых «одиозных» такого рода подходов описывается им как «иерархический», представителями которого являются теория типов Рассела и теория метаязыка Тарского. Оба этих подхода «навязывают» языку (естественному?) и логике жесткие ограничения, которые, по Витгенштейну, попросту бьют мимо, поскольку «теория типов работает вхолостую, ибо иерархия уже изначально внутренне присуща языку без какого-либо внешнего исследовательского воздействия» [1. С. 201]. И основанием для такого взгляда является то, что Витгенштейн заменяет «теорию типов своей теорией символизма... [Она] не представляет собой какую-либо искусственно созданную рациональную конструкцию, которую можно использовать для усовершенствования естественного языка и связанного с ним не вполне ясного с логической точки зрения мышления. Теория символизма чисто дескриптивна. Она просто описывает то, как работает сам язык, как логика языка заботится о себе сама, без какой-либо помощи извне» [Там же. С. 198].

А. Коффа представил сходное основание в следующем виде: «Как Витгенштейн видел это, теория типов пыталась разрешить трудности [парадоксы] чрез идентификацию систем правил, которые предотвратили бы конструирование выражений виновного (бессмысленного) сорта. Он полагал, что это выглядело бы так, как будто некто решил отложить использование *modus ponens* в области аргументации для предотвращения противоречия; теория пытается предписать там, что нам делать, и по большей части имеет дело с природой описания. Нам не нужно налагать типовые правила. Бог уже сделал это за нас. Все, что мы должны, это распознать Его труды в подходящем символизме, который бы сделал типовые правила излишними» [10. С. 210].

Итак, мы имеем ситуацию, в которой одного протагониста условного спора преследует полумистическое видение того, как работает язык, которому придан соответствующий символизм, детали которого далеки от ясности (Витгенштейн), а второго, помимо озабоченности языком, одолевают проблемы технического разрешения парадокса в рамках четко разработанного символизма (математической логики). Ладов отдает безусловное предпочтение первому, полагая (как оказалось ошибочно), что типовая теория является практически неизбежным следствием размышлений Рассела о природе языка. На самом деле типовая теория, как показал Г. Ландини, явилась вынужденным компромиссом перед лицом Интенционального Парадокса (см.: [3]). Разделяя с Витгенштейном философский взгляд на универсальность логики, Рассел предпринимал усилия по построению системы символизма, которая бы блокировала парадоксы. Эта система, известная под названием Подстановочной Теории Рассела, не предполагала типовых различий. Другими словами, один протагонист имел смутные очертания своих взглядов, а другой, помимо чисто философских прозрений, имел настоящую исследовательскую программу. Именно эта техника должна была лечь в реализацию логицистского проекта *Principia*. Однако в ходе работы над несколькими вариантами Подстановочной Теории Рассел наталкивался на затруднения, венцом кото-

рых оказался Интенциональный Парадокс, гораздо более опасный, поскольку среди прочих вещей он вообще не включал в себя идеи самореференции.

Тут надо отметить одно важное психологическое обстоятельство. Витгенштейн мучился многими проблемами в отношении природы логики и языка, но математики он не любил, предпочитая афоризмы. Рассел же на протяжении десятка лет написания *Principia* фантастически много работал, сменив три варианта Подстановочной Теории, исписав десятки тысяч страниц (как то свидетельствует Ландини, исследовавший архивы Рассела), и только сдавшись перед неустрашимостью Интенционального Парадокса, отдал предпочтение Разветвленной Теории Типов. Но и сама эта теория представляла сложнейшую символическую конструкцию. И тогда возникает сомнение в законности сопоставления усилий Рассела по конструированию символических систем с идеями раннего Витгенштейна по поводу особого символизма, который бы «по умолчанию» избегал парадоксов. Многие работы, практикующие такие сопоставления, игнорируют важнейший математический аспект проблемы, переводя разговор в мистические откровения о невыразимости в духе *Трактата*. Именно эта тенденция прослеживается в предпочтении *Лжеца* вместо *Брадобрея*.

Теперь по поводу основного супостата идеям Витгенштейна, а именно иерархического подхода к анализу парадоксов. Соединение имен Рассела и Тарского в этом отношении представляется не совсем оправданным. В случае метаязыков Тарского мы имеем дело уже с семантикой, тогда как Рассел имеет дело с синтаксическими концепциями. Верно, что со времени различения Ф. Рамсеем теоретико-множественных и семантических парадоксов считается, что Тарский имеет дело с последними, а Рассел – с обоими. Но если признать, что Аксиом Сводимости ставит крест на Разветвленной Теории Типов как средстве разрешения семантических парадоксов, то какой смысл в объединении усилий Тарского и Рассела, коль скоро дискурсы разведены?

Представляет интерес, конечно же, вопрос, как сторонники «одномирового» подхода к языку (в терминологии ван Хейенорта [12], Я. Хинтикки [13] и М. Куша [14]), который предполагает невыразимость семантики, постепенно подбирались к семантике. В этом отношении крайне интересны работы по «структурированной переменной» Рассела из Подстановочной Теории (см.: [15]). Сам же турбулентный переход от синтаксиса к семантике совпал с возвращением Витгенштейна в философию, но с уже радикально иной концепцией функционирования языка.

Таким образом, вряд ли можно обосновано сопоставлять усилия Рассела и неясные идеи Витгенштейна в качестве альтернатив. Ладов не делает этого сопоставления, но он защищает более радикальный взгляд Витгенштейна: «В философии нет дедукций, она чисто дескриптивна» (*Заметки по логике*). Столь решительная замена технической работы прозрениями не может быть оценена теми, кто пытается представить интересные метафизические доктрины типа логического атомизма в контексте грандиозных дискуссий по основаниям математики.

Интересно, что сторонникам «иерархичности» Ладовым ставится в вину попытки «запретить» самореферентность: «Таким образом, мы видим, что недовольство иерархическим подходом, полностью запрещающим явление самореферентности, исходило и от логиков, и от математиков, и от эпистемо-

логов». Сам по себе перечень этих людей, приводимый Ладовым, выглядит не очень-то основательным, да и сама их аргументация выглядит *ad hoc*. В этом отношении надо принять во внимание значительный прогресс в понимании природы самореференции в более общем аспекте ее интенционального характера, в том числе в контекстах синтаксического кодирования.

Можно согласиться с Ладовым, что «теория символизма раннего Л. Витгенштейна представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов», добавив при этом, что радикализм такого рода просто ликвидирует саму постановку вопроса, так что нечего больше обсуждать. Но уж совсем трудно согласиться с Ладовым в том, что «эта теория оказывается устойчивой по отношению ко всей критике» [1. С. 201]. Если речь идет об использовании концепции самореференции у Тарского и Гёделя, то следует просто отметить, что идеи Витгенштейна не вызывали особого восторга ни у того ни у другого. Этот, во-многом характерный для Витгенштейна подход к решению проблемы, обескураживает. В. Ладов, перечисляя возражения против иерархического подхода, указывает и то, согласно которому «запрет самореференции», предусмотренный этим подходом, является слишком дорогой ценой, ведь «некоторые из самых глубоких доказательств в логике включают самореферентность». Известно, что диагональный метод является и источником парадоксов, и важным средством получения «многих глубоких доказательств». Проблема с ним, как отмечает К. Сморинский, заключается в том, что он действительно во многих случаях оказывается невероятно плодотворным методом в математике, а в других – источником парадоксов; проблема в том, как в общем виде разделить такие случаи. Но для Витгенштейна, судя по всему, это не было проблемой. Опубликованные заметки Витгенштейна к «Курсу чистой математики» (см.: [16]) выражают его неприятие диагональной процедуры. Воспоминания Г. Крайзеля о озадачивающих его регулярных получасовых прогулках с Витгенштейном, на которых обсуждалось по одной теореме из курса Харди, содержат свидетельства удивительного пренебрежения важностью математической стороны дела. Здесь же можно вспомнить столь же прохладное отношение А. Тьюринга к курсу, который он прослушал у Витгенштейна. Эти разрозненные свидетельства указывают на своеобразный подход Витгенштейна к логико-математическим проблемам философии, который виден и на примере его критики теории типов Рассела: готовность радикально покончить с проблемой, даже ценой потери колоссальных преимуществ.

История критики Витгенштейном философии Рассела в свете начавшейся публикации архивных материалов уже начинает пересматриваться. Очевидным следствием этого пересмотра, видимо, станет и переоценка истории «стремительного превращения ученика Рассела в его учителя». А восторги от подобного рода истории рискуют превратиться в предмет обсуждений скорее социологического характера, нежели философского.

Литература

1. Ладов В.А. Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 194–203. DOI: 10.17223/1998863X/62/17

2. Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения / пер. с англ. А. Васильевой; науч. ред. и примеч. В. Анашвили. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 624 с.

3. *Landini G.* Russell's Hidden Substitutional Theory. Oxford : Oxford University Press, 1998. 352 p.
4. *Landini G.* Wittgenstein's Apprenticeship with Russell. Cambridge, 2007. 314 p.
5. *Landini G.* Russell. Routledge, 2010. 488 p.
6. *The Palgrave Centenary Companion to Principia Mathematica* / ed. by N. Griffin. Palgrave Macmillan, 2013. 458 p.
7. *Klement K.* The Functions of Russell's no-class Theory // *The Review of Symbolic Logic*. 2010. Vol. 3, № 4. P. 633–664.
8. *Landini G.* Wittgenstein's Tractarian Apprenticeship // *Russell: the Bertrand Russell Studies*. 2003. № 23. P. 101–130.
9. *Smorynski C.* Fifty Years of Self-Reference in Arithmetic // *Notre Dame Journal of Formal Logic*. 1981. Vol. 22, № 4. P. 357–374.
10. *Ковфа А.* Семантическая традиция от Канта до Карнапа: к Венскому вокзалу / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019. 528 с.
11. *Хиттика Я.* О Витгенштейне / пер. с англ. В.В. Целищева ; ред. В.А. Суворцева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2013. 272 с.
12. *van Heijenoort J.* Logic as Calculus and Logic as Language // *Hintikka J. Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer, 1997. P. 233–239.
13. *Hintikka J., Hintikka Merrill B.* Wittgenstein and Language as Universal Medium. I // *Hintikka J. Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer, 1997. P. 162–190.
14. *Kush M.* Husserl and Heidegger on Meaning // *Hintikka J. Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer, 1997. P. 240–268.
15. *Целищев В.В., Хлебалин А.В.* Гиперинтенциональность в соотношении разветвленной теории типов и подстановочной теории Б. Рассела // *Философия науки*. 2020. № 1 (84). С. 76–86.
16. *Floyd J., Muhlholzer F.* Wittgenstein's Annotations to Hardy's Course of Pure Mathematics: An Investigation of Wittgenstein's Non-Extensionalist Understanding of the Real Numbers. Springer, 2020. 330 p.

Vitaliy V. Tselishchev, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: leitval@gmail.com

Aleksandr V. Khlebalin, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: sasha_khl@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 237–243.

DOI: 10.17223/1998863X/62/22

PHILOSOPHICAL INSIGHTS AND TECHNICAL WORK: THE FATES OF PARADOXES

Keywords: set-theoretic paradoxes; logicism, Substitution Theory; Type Theory; Wittgenstein; Russell

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00518.

The article analyzes Vsevolod Ladov's arguments in favor of the interpretation of Wittgenstein's approach to "solving" the paradoxes of self-reference as preferable to the hierarchical approach. It is proved that the unification of Russell's theory of types and Tarski's concept of metalanguage as representatives of the hierarchical approach for solving paradoxes is superficial and leads to the loss of their substantive specificity. It is shown that Wittgenstein's position leads to a significant limitation of the theoretical and proving possibilities of mathematics. It is argued that the proposed interpretation of Wittgenstein's criticism of Russell's theory of types ignores the meaningful context of the complex evolution of Russell's position regarding the paradoxes of set theory and the impact that this evolution had on Wittgenstein's own position. The authors point out the problematic nature of the interpretation of the position of the "early" Wittgenstein as an adequate critique for the solution of the paradoxes of set theory proposed by Russell.

References

1. Ladov, V.A. (2021) Criticism of the theory of types in the early Wittgenstein's philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 194–203. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. Monck, R. (2018) *Ludwig Wittgenstein. Dolg geniya*. [Ludwig Wittgenstein. The Duty of a Genius]. Translated from English by A. Vasilieva. Moscow: Delo.
3. Landini, G. (1998) *Russell's Hidden Substitutional Theory*. Oxford: Oxford University Press.
4. Landini, G. (2007) *Wittgenstein's Apprenticeship with Russell*. Cambridge.
5. Landini, G. (2010) *Russell*. Routledge.
6. Griffin, N. (2013) *The Palgrave Centenary Companion to Principia Mathematica*. Palgrave Macmillan.
7. Klement, K. (2010) The Functions of Russell's no-class Theory. *The Review of Symbolic Logic*. 3(4). pp. 633–664.
8. Landini, G. (2003) Wittgenstein's Tractarian Apprenticeship. *Russell: the Bertrand Russell Studies*. 23. pp. 101–130.
9. Smorynski, C. (1981) Fifty Years of Self-Reference in Arithmetic. *Notre Dame Journal of Formal Logic*. 22(4). pp. 357–374.
10. Coffa, A. (2019) *Semanticheskaya traditsiya ot Kanta do Karnapa: k Venskomu vokzalu*. [The semantic tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+.
11. Hintikka, J. (2013) *O Vitgensteyne* [On Wittgenstein]. Translated from English. Moscow: Kanon+.
12. van Heijenoort, J. (1997) Logic as Calculus and Logic as Language. In: Hintikka, J. *Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer. pp. 233–239.
13. Hintikka, J. & Hintikka Merrill, B. (1997) Wittgenstein and Language as Universal Medium. In: Hintikka, J. *Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer. pp. 162–190.
14. Kush, M. (1997) Husserl and Heidegger on Meaning. In: Hintikka, J. *Language Universalis vs. Calculus Ratiocinator. An Ultimate Presupposition of Twenty-Century Philosophy*. Springer. pp. 240–268.
15. Tselishchev, V.V. & Khlebalin, A.V. (2020) Hyper-intensionality in relationship between Russell's Ramified Theory of Types and Substitutional Theory. *Filosofiya nauki – Philosophy of Sciences*. 1(84). pp. 76–86. (In Russian).
16. Floyd, J. & Muhlholzer, F. (2020) *Wittgenstein's Annotations to Hardy's Course of Pure Mathematics: An Investigation of Wittgenstein's Non-Extensionalist Understanding of the Real Numbers*. Springer.

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/62/23

В.А. Ладов

БЫЛ ЛИ ОРИГИНАЛЕН РАННИЙ Л. ВИТГЕНШТЕЙН?

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Статья представляет собой заключительную реплику в дискуссии, посвященной 100-летию юбилею первой публикации «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна. Был ли оригинален ранний Л. Витгенштейн? Является ли теория символизма Л. Витгенштейна действительно оригинальным подходом к решению проблемы парадоксов или она подобна теории типов Б. Рассела? Автор статьи дает краткое резюме представленных в дискуссии позиций по данным вопросам и подводит общие итоги состоявшегося обсуждения.

Ключевые слова: Л. Витгенштейн, Б. Рассел, теория символизма, теория типов, синтаксис, семантика, самореферентность, логика, язык

В 2021 г. мировая философская общественность отмечает 100-летний юбилей первой публикации «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна – одного из важнейших философских произведений XX в., которое во многом определило облик всей современной философии.

В свете данного события Валерий Суровцев – главный редактор журнала «Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология» – обратился ко мне с предложением написать статью, посвященную «Логико-философскому трактату», которая могла бы выступить основанием для дискуссии. Я с удовольствием это предложение принял, поскольку считаю, что в «Логико-философском трактате» и в работах, предшествующих его публикации, Л. Витгенштейн высказывает важные, оригинальные и по-прежнему актуальные идеи по проблеме логических парадоксов, которой я занимался несколько последних лет.

Я написал вводную для дискуссии статью, посвященную проблеме логических парадоксов у раннего Л. Витгенштейна [1], а затем на эту статью подготовили свои ответные реплики Геннадий Антух [2], Евгений Борисов [3], Андрей Нехаев [4], Валерий Суровцев [5], Виталий Целищев и Александр Хлебалин [6].

На мой взгляд, дискуссия состоялась и получилась интересной. Каждый из моих оппонентов сформулировал критические соображения по отношению к тем тезисам, которые я защищал. Стоит отметить и то, что авторы, участвовавшие в дискуссии, не только оспаривали мои утверждения, но и высказывали прямо противоположные по отношению друг к другу тезисы, что, безусловно, только усилило полемический характер обсуждения и подтвердило актуальность рассматриваемых вопросов.

Свое ответное слово я хочу построить следующим образом. Я не буду формулировать дальнейший виток дискуссии, оспаривая аргументы моих

критиков. Я только покажу, какие выводы я должен сделать для своих исследований, принимая во внимание высказанные критические соображения.

Г. Антух утверждает, что теория символизма Л. Витгенштейна, по сути, сталкивается с теми же проблемами, что и теория типов Б. Рассела, хотя я утверждал, что Л. Витгенштейн этих проблем избегает. Отчасти я должен согласиться с Г.Г. Антухом. В своей статье, послужившей основанием дискуссии, я сформулировал четыре критических аргумента в адрес теории типов, которые озвучиваются в исследовательской литературе. Первый из аргументов состоял в том, что теория типов, пытаясь решить проблему парадоксов, сама не избегает противоречия. На этот недостаток иерархического подхода указывали Ф. Фитч [7] и Х. Патнем [8]. Если теория символизма Л. Витгенштейна представляет собой даже наиболее радикальную версию иерархического подхода к решению проблемы парадоксов, то нам придется согласиться, что данный критический аргумент все же продолжает действовать в ее адрес ничуть не меньше, чем в адрес теории типов Б. Рассела. В самом деле, если теория символизма утверждает что-то о синтаксической структуре любого возможного языка, то разве мы не должны признать, что она сама написана на некоем универсальном языке, что противоречит самой сути иерархического подхода?

Е. Борисов утверждает, что теория символизма Л. Витгенштейна ничем принципиально не отличается от теории типов Б. Рассела. Борисов намеренно даже дает этим концептуальным разработкам общее название: «Теория символизма Рассела–Витгенштейна». При этом Борисов подчеркивает, что обе эти концепции имеют сугубо дескриптивный характер. Они не являются внешними теоретическими добавками к языку, как я пытался представить в своей статье теорию типов Б. Рассела, а только лишь описывают синтаксический строй любого языка. Рассел, по Борисову, ничуть не хуже Витгенштейна и, в терминологии Ладова, представляет столь же радикальный иерархический подход к языку, что и Витгенштейн. Вместе с тем в примечании 4 в своей статье Е. Борисов говорит, что я поспешил освободить Витгенштейна от действия критических аргументов в адрес иерархического подхода, поскольку теория символизма Витгенштейна также представляет собой проявление данного подхода к языку. Я не буду оспаривать мнение Борисова о подобии теорий Рассела и Витгенштейна, а приму эту позицию к сведению. Я скажу лишь, что если мы допустим, что теория типов Рассела не является исправлением естественного языка, а только описывает существующий строй этого языка, как и теория символизма Л. Витгенштейна, то большинство критических аргументов, сформулированных в адрес теории типов в современной исследовательской литературе, все же перестает действовать. Например, второй из четырех представленных в моей статье критических аргументов касается фактов непроблематичной самореферентности. Исследователи утверждают, что очень многие самореферентные предложения языка не парадоксальны [9, 10], и нет никакого смысла устанавливать столь радикальный запрет на всю самореферентность, как это сделала теория типов Б. Рассела. Однако если теория типов чисто дескриптивна, как утверждает Борисов, то она не устанавливала никаких запретов, она просто описывала существующий синтаксический строй языка. Аргумент о непарадоксальной самореферентности не работает, поскольку самореферентность не существует в прин-

ципе. Подобное положение дел складывается и с двумя последними критическими аргументами в адрес теории типов, сформулированными в моей статье. Третий аргумент касался того, что запрет на самореферентность лишает нас важных достижений в логике и в математике [11, 12]. Четвертый и, кстати, самый важный для меня аргумент касался того, что запрет на самореферентность лишает нас возможности использовать аргумент *reductio ad absurdum* для критики скептицизма и релятивизма в эпистемологии [13]. Но если теория символизма Рассела–Витгенштейна, по Борисову, чисто дескриптивна, то отказ от самореферентности – это никакой не запрет, налагаемый внешним образом на язык теоретиком, а просто констатация того, что никакой самореферентности в языке нет. Мы, конечно, можем сожалеть о том, что наши концептуальные разработки в логике, математике и эпистемологии что-то потеряют из-за отказа от идеи самореферентности, но мы не можем выдавать желаемое за действительное. Если самореферентности в принципе в языке быть не может, то и пользоваться нам нечем. В отношении теории символизма Рассела–Витгенштейна продолжает работать только первый критический аргумент, о чем я уже сказал выше, обсуждая статью Г. Антуха.

А. Нехаев также высказывает мнение о подобии теории символизма Л. Витгенштейна и теории типов Б. Рассела, но приводит в обоснование своего утверждения совсем иные аргументы, нежели Е. Борисов, фиксируя новые аспекты, в отношении которых мы можем проводить компаративный анализ данных концептуальных разработок. Как и в отношении главного тезиса статьи Е. Борисова, я не буду оспаривать позицию А. Нехаева, я тоже приму ее к сведению и буду стараться проводить дальнейшие исследования с учетом высказанных А. Нехаевым соображений. Сейчас же в статье А. Нехаева я хочу отметить только важный историко-философский аспект. Нехаев на примере достаточно обширного списка литературы показал, что моя идея об оригинальности витгенштейновского подхода к решению проблемы парадоксов сама далеко не оригинальна и активно обсуждается в мировой литературе, что, впрочем, только лишний раз подчеркивает актуальность темы нашей дискуссии.

Статья В. Суровцева интересна тем, что он высказывает мнение, которое, по сути, прямо противоположно вышеупомянутым участникам дискуссии, и прежде всего, мнению Е. Борисова. В. Суровцев утверждает, что теория символизма Л. Витгенштейна и теория типов Б. Рассела существенным образом отличаются друг от друга. Теория типов имеет отношение к семантике языка, тогда как теория символизма есть чисто синтаксическая теория. По Суровцеву, само деление на типы есть деление в значении знаков, а не в самих знаках. Иерархия типов есть иерархия в семантике, а не в синтаксисе. Данное обстоятельство позволяет Суровцеву заявить, что у раннего Витгенштейна нет никакой иерархии знаков и что его теорию символизма неправомерно причислять к иерархическому подходу, как это сделал я в своей статье. По Суровцеву, у Витгенштейна в знаках нет никакой иерархии, они равноправны, находятся на одном синтаксическом уровне. Существует только различие в способах обозначения, которое определяется контекстом вхождения знаков в предложение. Тезисы, которые формулирует В. Суровцев, важны для обсуждения проблемы парадоксов. Если теорию символизма раннего Л. Витгенштейна нельзя причислять к иерархическому подходу, но она тем

не менее решает проблему парадоксов, то мы должны признать, что ранний Л. Витгенштейн решает проблему парадоксов вообще за пределами иерархического подхода к языку. Эта мысль является для меня новой, и я нахожу ее весьма интригующей.

В статье В. Целищева и А. Хлебалина высказано много интересных идей. В данной реплике я акцентирую внимание только на двух важных моментах. Во-первых, Целищев и Хлебалин указывают на то, что мое объединение Б. Рассела и А. Тарского под общей рубрикой иерархического подхода является поверхностным, поскольку у Тарского речь шла о семантике, а у Рассела о синтаксисе. Насколько мы можем видеть, этот пункт – различие семантики и синтаксиса языка – стал вообще важнейшим в ходе нашей дискуссии. Е. Борисов утверждал, что в Витгенштейне нет ничего особенного, поскольку и Рассел говорит о синтаксисе, как и Витгенштейн, В. Целищев и А. Хлебалин замечают, что не нужно объединять Рассела и Тарского, поскольку первый говорит о синтаксисе, а второй о семантике языка, но В. Суровцев указал на то, что различие в типах, где и появляется иерархия, есть все же семантическое различие в значениях знаков, которое вводил Рассел в своей теории. Если Суровцев прав, то аналогия между Расселом и Тарским все же возможна. И во-вторых, я бы хотел обратить внимание на замечательную цитату из книги А. Коффы «Семантическая традиция от Канта до Карнапа: к Венскому вокзалу», которую недавно перевел на русский язык В. Целищев. Данную цитату приводят авторы статьи как пример указания на специфическую позицию «Логико-философского трактата»: «Нам не нужно налагать типовые правила. Бог уже сделал это за нас. Все, что мы должны, это распознать Его труды в подходящем символизме, который бы сделал типовые правила излишними» [14. С. 210]. Вот это именно то, в чем я и увидел радикальность и оригинальность раннего Л. Витгенштейна: типовые правила не налагаются на язык внешним образом, как у Б. Рассела, они обнаруживаются в языке, следовательно, все споры о допустимости / недопустимости самореферентности в языке являются бессмысленными.

Я искренне благодарю моих коллег за участие в данной дискуссии и надеюсь, что те идеи, которые мы обсудили здесь, будут интересны и полезны читателям журнала для дальнейшего осмысления наследия Л. Витгенштейна.

Литература

1. Ладов В.А. Критика теории типов в философии раннего Л. Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 194–203. DOI: 10.17223/1998863X/62/17
2. Антух Г.Г. Теория символизма Л. Витгенштейна и автономность формального знания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 204–210. DOI: 10.17223/1998863X/62/18
3. Борисов Е.В. Теория символизма Рассела – Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 211–217. DOI: 10.17223/1998863X/62/19
4. Нехаев А.В. Типы теории типов в *Tractatus* Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 218–227. DOI: 10.17223/1998863X/62/20
5. Суровцев В.А. Является ли теория символизма Л. Витгенштейна радикальной версией теории типов? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 228–236. DOI: 10.17223/1998863X/62/21

6. Целищев В.В., Хлебалин А.В. Философские прозрения и техническая работа: судьбы парадоксов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 237–243. DOI: 10.17223/1998863X/62/22

7. Fitch F. Self-Reference in Philosophy // *Mind*. 1946. Vol. 55, № 217. P. 64–73.

8. Патнем Х. Реализм с человеческим лицом // Аналитическая философия: становление и развитие. М. : ДИК, 1998. С. 466–494.

9. Bolander T. Essay: Self-reference and Logic // *ΦNEWS*. 2002. Vol. 1, April. P. 9–43.

10. Вригт Г.Х. фон Гетерологический парадокс // Логико-философские исследования : избранные труды. М., 1986. С. 449–482.

11. Anderson A.P. St. Paul's Epistle to Titus // *The Paradox of the Liar*. New Haven; London, 1970. P. 1–11.

12. Крипке С. Очерк теории истины // Язык, истина, существование. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 151–183.

13. Wormell C.P. On the Paradoxes of Self-Reference // *Mind*. 1958. Vol. 67, № 266. P. 267–271.

14. Коффа А. Семантическая традиция от Канта до Карнапа: к Венскому вокзалу / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019.

Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ladov@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 244–249.

DOI: 10.17223/1998863X/62/23

WAS THE EARLY WITTGENSTEIN ORIGINAL?

Keywords: Ludwig Wittgenstein; Bertrand Russell; theory of symbolism; theory of types; syntax; semantics; self-reference; logic, language

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

This article is the final remark in the discussion dedicated to the 100th anniversary of the first publication of Ludwig Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus*. Was the early Wittgenstein original? Is Wittgenstein's theory of symbolism really an original approach to solving the problem of paradoxes, or is it similar to Russell's theory of types? The author of the article gives a brief summary of the positions on these issues presented in the discussion and draws general conclusions.

References

1. Ladov, V.A. (2021) Criticism of the theory of types in the early Wittgenstein's philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 194–203. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/17

2. Antukh, G.G. (2021) L. Wittgenstein's theory of symbolism and the autonomy of formal knowledge. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 204–210. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/18

3. Borisov, E.V. (2021) The Russell – Wittgenstein theory of symbolism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 211–217. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/19

4. Nekhaev, A.V. (2021) Types of the Theory of Types in Wittgenstein's "Tractatus". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 218–227. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/20

5. Surovtsev, V.A. (2021) Is L. Wittgenstein's theory of symbolism a radical version of the theory of types? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 228–236. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/21

6. Tselishchev, V.V. & Khlebalin, A.V. (2021) Philosophical Insights and Technical Work: The Fates of Paradoxes. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 237–243. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/22
7. Fitch, F. (1946) Self-Reference in Philosophy. *Mind*. 55(217). pp. 64–73.
8. Putnam, H. (1998) Realizm s chelovecheskim litsom [Realism with a Human Face]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: stanovlenie i razvitie (antologiya)* [Analytical Philosophy: The establishment and development (Anthology)]. Translated from English and German. Moscow: Progress-Traditsiya. pp. 466–494.
9. Bolander, T. (2002) Self-Reference and Logic. *FNews*. 1. pp. 9–43.
10. Wright, G.H. von. (1986) *Logiko-filosofskie issledovaniya: Izbrannye trudy* [Logical and Philosophical Studies: Selected Works]. Translated from English by V.A. Smirnov et al. Moscow: Progress. pp. 449–482.
11. Anderson, A.P. (1970) St. Paul's Epistle to Titus. In: Martin, R.L. (ed.) *The Paradox of the Liar*. New Haven and London. pp. 1–11.
12. Kripke, S.A. (2002) Oчерк teorii istiny [Outline of a Theory of Truth]. Translated from English by V.A. Surovtsev. In: Surovtsev V.A. (ed.) *Yazyk, istina, sushchestvovanie* [Language, Truth and Existence]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 151–183.
13. Wormell, C.P. (1958) On the Paradoxes of Self-Reference. *Mind*. 67(266). pp. 267–271.
14. Coffa, A. (2019) *Semanticheskaya traditsiya ot Kanta do Karnapa: k Venskому vokzalu*. [The semantic tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+.

Мысленный эксперимент в невербальной семиотике воображения

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/62/24

Т.А. Вархотов

ОТ ВООБРАЖЕНИЯ К КАРТЕ: НЕДИСКУРСИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЫСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

Статья посвящена эпистемологии мысленного эксперимента. Рассматриваются отношение лабораторного и мысленного эксперимента, различные подходы к определению функций и эпистемологического статуса мысленного эксперимента. Подчеркивается процессуальный характер мысленных экспериментов, а также их связь с воображением. Специально рассматриваются принципы построения воображаемой экспериментальной сцены и характер отношений мысленного эксперимента с различными типами ограничений, управляющих работой воображения.

Ключевые слова: мысленный эксперимент, воображение, эпистемология, методология науки, дискурс

Мысленный эксперимент – эпистемологический оксюморон, вошедший в оборот благодаря Э. Маху и с тех пор занимающий важное место в дискуссиях о методологии научного знания [1]. Поскольку в методологии науки представление об эксперименте и экспериментальном знании строго связано с материальными практиками получения данных, в конечном счете ассоциированных с чувственным опытом, постольку эксперимент просто не может быть мысленным.

С другой стороны, наша способность строить доказательные «моделеподобные» (model-like) рассуждения, опирающиеся на воображение, но отсылающие к реальности и претендующие на эффективное с точки зрения решения познавательных задач ее представление [2. Р. 108–109], весьма напоминает экспериментирование – как минимум имитирует его. С учетом наличия массы ограничений на проведение материальных экспериментов возможность хотя бы частичной их замены «нематериальными» (особый статус в данном контексте имеют вычислительные эксперименты и компьютерные симуляции) оказывается очень заманчивой. В особенности это касается тех областей знания, где нехватка экспериментального обеспечения носит выраженный и неустранимый характер – например, общественных наук, где реализация экспериментальных практик сильно ограничена как по морально-

юридическим (эксперименты на человеке), так и по методологическим причинам (см., напр.: [3, 4]).

Действительно, наука полна «теоретической работы, в которой вводится и исследуется воображаемая система – воображаемые население, экология, нейронная сеть, фондовый рынок или общество. Поведение воображаемой системы изучается, и результат используется в качестве основы для понимания более сложных систем реального мира» [5. P. 102]. В целях экономии ресурсов и с опорой на уже имеющиеся знание и опыт мы можем заместить извлечение чувственных данных из реальности (восприятие) воображением и, сосредоточившись на устройстве (*design*) удерживаемой в «лаборатории разума» модели (метафора-определение мысленного эксперимента, используемая Дж. Брауном [6. P. 1]), сделать некоторые выводы о моделируемой ею действительности. Как отмечает Р. Соренсен, статус результата такой работы будет определяться тем, «насколько хорошо воображение сможет выполнять роль, изначально предназначенную для восприятия» [7. P. 420].

Цитированное выше замечание Р. Соренсена подводит непосредственно к фокусной точке дискуссий об эпистемологическом статусе мысленных экспериментов – вопросу о возможности получения с их помощью «нового знания». Этот вопрос порождается неявной функциональной аналогией: эксперименты всегда связаны с получением новых – возможно, повторяющих уже имеющиеся, но технически все равно новых – данных; значит, мысленный эксперимент тоже должен давать новые данные.

Строго говоря, если мы спрашиваем о возможности получения нового знания с помощью только лишь мысленного эксперимента исходя из реалистических предпосылок и «экспериментального» понимания этой новизны, то ответ на поставленный вопрос совершенно тривиален: разумеется, нет [8. С. 11]. Как может быть получено «новое знание», изначально определенное как продукт материальной экспериментальной практики, с помощью принципиально нематериального инструмента?

Отсюда следует вывод скептически настроенных в отношении «экспериментальной» составляющей мысленного эксперимента исследователей, наиболее радикально сформулированный Дж. Нортоном: «...мысленные эксперименты не более чем просто рассуждения [*arguments*]. <...> Они не способны на большее, чем обычное мышление с его стандартными инструментами предположений и рассуждений» [9. P. 335, 366].

Отождествление мысленного эксперимента с рассуждением переводит его в разряд элементов научного дискурса, причем в его наиболее чистой форме – формальных логических аргументов. В этом случае мысленные эксперименты сохраняют, по сути, всего одно сходство с экспериментами материальными – оба типа процедур способны выполнять решающую проверку (джастификацию), хотя для лабораторных экспериментов это вовсе не единственная или основная функция, а мысленные эксперименты используют для ее обеспечения не референтность, а когерентность, т.е. проверяют не репрезентативность, а структурные свойства (непротиворечивость, целостность и т.д.) соответствующего раздела науки: «Мысленные эксперименты – это процедуры, напоминающие простые тесты на непротиворечивость [*consistency*]» [10. P. 170].

В приведенной выше цитате необходимо обратить внимание на два слова – «простые» и «процедуры». Вопрос о мнимой простоте и «только лишь» логическом, формальном характере мысленных экспериментов весьма подробно проанализировал еще Т. Кун, обратившись к одному из классических мысленных экспериментов – использованному Галилеем против аристотелевской физики аргументу о двух связанных телах («легком» и «тяжелом»). Если дело исключительно в логике рассуждения, то совершенно непонятно, почему Аристотель, который «если и не был физиком-экспериментатором, несомненно, был блестящим логиком», равно как и его последователи на протяжении двух тысяч лет не замечали столь простой логической ошибки, банального противоречия, на которое указывает Галилей? [11. P. 253]. Очевидно, что дело не только и, возможно, не столько в логике, сколько в способности заметить что-то в отношении сложившейся системы знания и области ее применения (реальности): «...недостатки заключаются не в логической целостности [consistency] концепта, а в том, что он не соответствует полной тонкой структуре мира, к которому он должен был применяться» [Ibid. P. 258].

Такое несоответствие невозможно обнаружить исключительно средствами формального анализа, поскольку оно относится не только к структуре (design) знания, но и к онтологическим интуициям, к точкам стыковки этой структуры (теоретической модели) с чем-то, лежащим за ее пределами, – чем-то, что мы обычно называем «реальностью». В случае естественных наук «реальность» – это то, доступ к чему обеспечивают экспериментальные практики, и мысленные эксперименты следуют за инспирированными новыми экспериментальными данными представлениями о реальности (см., напр., обстоятельный анализ «логической уязвимости» и зависимости упомянутого выше мысленного эксперимента Галилея от предположительно им же полученных экспериментальных данных в [12]).

В случае общественных наук или философских мысленных экспериментов ситуация представляется более сложной ввиду неустранимых проблем с экспериментальным обеспечением и невозможностью (точнее, бедностью и низкой эффективностью результата) определить собственный фрагмент реальности таким способом. Как отмечает М. Морган в очерке истории формирования практик наблюдения экономической действительности (собственно, «экономики»), хотя эту задачу пытались рассматривать как задачу картографического типа – построение наглядной модели с настройкой масштаба таким образом, чтобы сделать наблюдаемым превосходящий возможности непосредственного наблюдения объект – в действительности дело обстояло существенно сложнее: «...маленькие кусочки экономики, которые можно наблюдать по отдельности, не соединяются друг с другом естественным образом, как это могло бы быть при картировании. Это больше похоже на сборку пазла, но очень сложного, потому что у нас нет готового набора частей, у нас нет „ориентирующей картины“ (т.е. направляющей выбор таким образом, чтобы собрать части вместе), мы даже не знаем размеров целого, не говоря уже о его форме, и нет опознаваемых краевых фрагментов, которые могли бы нам помочь [определить границу]» [13. P. 305]. Отметим, что в философских мысленных экспериментах дело обстоит еще хуже, потому что в них вообще никаких общеустановленных правил относительно «реально-

сти» нет – все выглядит так, как будто возможно все логически допустимое, а это возвращает нас к отвергнутому выше представлению о мысленных экспериментах как просто «рассуждениях».

Заметим, что ничто из перечисленного не мешает активному использованию мысленных экспериментов за пределами естественных наук. Напротив, в общественных науках предпринимаются попытки интерпретировать теоретическое моделирование как мысленный эксперимент и обосновать возможность использования мысленного экспериментирования в качестве полноценного аналога недоступному или трудноосуществимому лабораторному эксперименту (см., напр. [14] и подробный критический разбор этого тренда в [4]). И хотя взаимозаменяемость мысленного и лабораторного экспериментов представляется весьма сомнительной, настойчивые попытки защитить сильную или слабую форму такой замены симптоматичны: едва ли их адепты согласятся с тем, что мысленные эксперименты – «всего лишь» рассуждения. Напротив, всех сторонников и пользователей мысленных экспериментов объединяет интуиция их «экспериментальной» ценности, некоей сущностной связи с «опытом». Разумеется, «опыт» здесь следует понимать не в узком техническом смысле, поскольку такой опыт в мысленных экспериментах не производится (см. выше). Речь может идти лишь о широком понимании опыта как некоторого качества, приобретаемого субъектом в результате пережитых событий («жизненный опыт», «опытный человек»). Обыкновенно такое понимание опыта идет в связке с пониманием: быть опытным означает понимать, разбираться в чем-то, по поводу чего у субъекта есть опыт.

Это рассуждение возвращает нас к определению мысленных экспериментов как «процедур», т.е. событий (процессов) с некоторой строгой организацией. Здесь просматривается важное сходство мысленных и лабораторных экспериментов – в обоих случаях речь идет о процедурах, задачей которых является стабильное предъявление «реальности». При этом лабораторный эксперимент в буквальном смысле предъявляет реальность (в форме произведенных данных), а мысленный эксперимент предъявляет ее *возможность* или *невозможность* – причем речь идет не о логической, а о *воображаемой* возможности.

Прояснение последнего тезиса требует привлечь внимание к некоторым существенным чертам мысленных экспериментов, которые обычно упускаются исследователями из виду из-за сложившейся традиции фокусироваться при рассмотрении мысленных экспериментов на статусе их результатов и двигаться внутри дихотомии «дискурсивное–экспериментальное», т.е. выбирать между «рассуждениями» (логическими инструментами) и «экспериментами» (сенсорными инструментами). Такой подход навязывается конструкцией термина и контекстуальной обремененностью понятия «эксперимент» в эпистемологии науки, а также настойчивыми попытками защитить мысленный эксперимент в качестве процедуры, способной производить «экспериментальное» («новое») знание. Даже поверхностный анализ имеющегося многообразия мысленных экспериментов подсказывает, что дихотомия «дискурсивное / сенсорное» является малопродуктивной для их анализа, а сходство с лабораторным экспериментом следует искать вовсе не в совпадении результатов – хотя, как мы видели выше, *функциональное* сходство

имеется: оба типа процедур способны обеспечивать проверку теорий (правда, совершенно по-разному).

Подавляющее большинство мысленных экспериментов начинаются с активации работы воображения: «Представьте, что...» Мы никогда (кроме специальных случаев, отнесение которых к мысленным экспериментам автор данной статьи считает сомнительным [15. С. 215]) не имеем дела с «чистым» рассуждением, важная роль всегда отводится представлению – именно оно позволяет включать или исключать некоторые компоненты реальности, позволяющие подкрепить или опровергнуть наши представления о ней. Воображение предлагает способ сочленения имеющихся данных, создавая некоторую наглядность, образ, психологически достоверную чувственную ткань (поскольку для субъекта «реальность» – это тоже чувственная ткань, только существенно более сложная и устойчиво воспроизводящаяся), удобную для аналитического вычленения некоторого порядка, правила, пригодного для дискурсивной развертки и последующего согласования. Воображение выбирает доступные элементы чувственной ткани (имеющийся в распоряжении субъекта чувственный опыт) и предлагает способ сборки. Поэтому мысленный эксперимент никогда не является строго дискурсивной процедурой – дискурсивным является его результат. Поскольку наблюдать за работой воображения затруднительно, а предметом интереса у нас изначально является предположительно возникающее в результате мысленного эксперимента «новое знание», мы упускаем из виду недискурсивные компоненты и сразу обращаемся к итогу – фиксации предъявленной посредством мысленного эксперимента структуры. При этом выбор средств представления и процесс сборки воображаемой лаборатории остаются невидимыми – вопрос о том, как мы пришли к необходимости представить именно это и именно таким способом, выпадает из рассмотрения (попытка более подробно обсудить работу воображения в мысленных экспериментах предпринята в [15]).

А. Эйнштейн, которому принадлежит ряд классических мысленных экспериментов и размышлений по этому поводу, с одной стороны, отмечал в качестве важного преимущества мысленных экспериментов возможность выхода за пределы технических ограничений лабораторного эксперимента (т.е. представления нереализуемого в материальной модели), а с другой – считал бессмысленным и недопустимым выход за пределы теоретических ограничений, налагаемых наукой. «Так, например, он считал всякое перенесение в физику рассуждений о Люмене (герое одноименной фантастической повести Фламариона), которому приписываются сверхсветовая скорость и возможность путешествий в прошлое, чистейшим шарлатанством. „Это не умственный эксперимент, – возмущался Эйнштейн, – а фарс. Скажу точнее: это чистое шарлатанство... Его существование покоится на бессмысленной предпосылке. Люмену приписывается сверхсветовая скорость. Но это не просто невозможное, это бессмысленное предположение, потому что теорией относительности доказано, что скорость света есть величина предельная“» [16. С. 214–215].

Этот довольно забавный с точки зрения философа аргумент (согласно которому нельзя представлять то, что является невозможным в контексте теории А. Эйнштейна) заслуживает пристального внимания, поскольку в нем

затронуты две ключевые эпистемологические проблемы мысленных экспериментов.

Во-первых, если попытаться понять возражение Эйнштейна как содержательное, а не догматическое, то проблему следует сформулировать следующим образом: а что именно ты представляешь себе, говоря, что представляешь движение быстрее скорости света? Содержится ли это «быстрее» в построенном воображением представлении (т.е. ты действительно это *представляешь* – объект имеет форму *возможного опыта*, это нечто *наглядное*) или ты просто так говоришь? Или по-другому: соответствует ли «быстрее скорости света» чему-то за пределами порядка дискурса? Действительно ли речь идет о представлении или мы абстрактно допустили реальность некоторого свойства, «натурализовали» предикат? Если «представление» в рассуждении о движущемся быстрее скорости света Люмене – это просто слова («рассуждение»), то ни о каком мысленном эксперименте речь идти не может, потому что рассуждению не сопоставлена воображаемая процедура – этот мысленный эксперимент невозможно произвести.

Во-вторых, даже если воображение способно выполнить некоторую работу («представить»), этого недостаточно для производства ценной с познавательной точки зрения репрезентации – ценность обуславливается ее способностью встроиться (в том числе негативно, в форме явного опровержения) в сложившуюся систему представлений, соотноситься с парадигмой. Помимо требований согласовать свой способ представления с некоторыми общеустановленными правилами, здесь содержится важный вопрос к работе воображения: *зачем* ты это представляешь? Что подтолкнуло тебя к выбору *именно такой* наглядности? Откуда взялись предпосылки твоей модели? (Отметим, что здесь проходит разграничительная линия между научными и философскими мысленными экспериментами – последние произвольны в выборе предпосылок, в то время как научные мысленные эксперименты должны считаться с актуальной парадигмой.)

Дополнение традиционного анализа мысленных экспериментов эпистемологическим анализом работы, выполняемой в них воображением, позволяет рассматривать их как социализацию воображения – перевод некоторых возможных способов представления из разряда персональных в категорию претендующих на общезначимость. Для этого субъективная форма представления, связанная с опытом конкретного человека («ментальная модель», в терминологии Т. Ван Дейка) последовательно преобразуется в такое представление, которому может быть сопоставлена дискурсивная форма, а уже эта последняя тестируется на устойчивость с точки зрения логической целостности и характера отношений с наличной системой знания. Если 1) представление содержит устойчивую структуру; 2) структура демонстрирует значимую возможность; 3) возможность допускает социализацию, т.е. социальное согласие по поводу ее отношений с имеющимися представлениями о «реальности», – мысленный эксперимент состоялся. Описанная траектория весьма близка к дискурсивному анализу идеологий Т. Ван Дейка в части понимания «нового знания», порождаемого мысленным экспериментом, как результата социализации (придания дискурсивной формы) – столкновения всегда индивидуального и конкретного представления (воображения или «ментальной модели») с подвижной частью сложившихся социальных пра-

вид, предписывающих дискурсивные порядки – способы говорить о чем-то (идеологии) [17].

Поскольку мысленные эксперименты представляют собой работу воображения, постольку они зависят от имеющегося в распоряжении «экспериментатора» опыта – воображение не может работать без чувственной ткани (хотя и остается непонятным, насколько сложные производные продукты оно способно получать на основе сенсорного материала самостоятельно). Поэтому чем более обширной эмпирической базой мы располагаем, тем более активно и эффективно будут применяться мысленные эксперименты. С этой точки зрения заслуживающим внимания является взгляд на мысленные эксперименты с позиций информационного подхода (радикальный вариант см.: [18]): имеющиеся объемы и средства переработки накопленных данных открывают возможность активнее задействовать производные, а не собственно классические экспериментальные средства исследования – вычислительные и симулятивные процедуры, использующие различные имитационные модели, без сходства с моделируемым по материальной организации.

Мысленные эксперименты не производят новых данных, однако они производят новые инструменты. Все успешные мысленные эксперименты представляют способы опредмечивания представляющих познавательный интерес «территорий» – модели, причем модели не математические, а модели процессуально-демонстративные – своего рода анимированные, взятые одновременно как процесс построения и как результирующая наглядность *карты*.

Аналогия между картой и мысленным экспериментом основывается на роли воображения в воспроизводстве того и другого. Карта отсылает к реальности; она с необходимостью беднее реальности [3], однако может успешно выдавать себя за реальность [4. С. 134] и управлять ею. В социальной истории карты «стали инструментом очерчивания феноменов, местом конструирования новых идентичностей и средством легитимации территориальных захватов» [19. С. 177]. При этом карта не может быть построена произвольно и возникает на стыке доступных эмпирических данных и «видения»: «Картографические объекты – это экспериментальные площадки, на которых отрабатываются различные способы визуализации концептуального. Картография не только эмпирична, но неизбежно концептуальна...» [20. С. 144].

Мысленный эксперимент тоже представляет собой довольно универсальный способ наглядной объективации «концептуального». При этом, в отличие от традиционной карты, он не ограничен конкретной формой чувственности (хотя существуют примеры звуковых или тактильных карт, попытки сонификации различных практик и данных [21]) и существенно в большей степени, чем невербальные репрезентации, свободен в способах ее организации.

Этот же момент порождает путаницу, затронутую выше на примере замечаний А. Эйнштейна: не всегда за словом «представим» действительно скрывается представление, и нелегко разобраться в том, как мы обращаемся с некоторыми якобы представимыми (или, наоборот, непредставимыми) вещами. Возможно, решение этой проблемы будет найдено на пути изучения связи работы воображения с телесным опытом и биомеханикой человеческого тела [22] или в ходе исследований исторических метаморфоз стереотипных представлений и практик [23], «подсказывающих» субъекту мысленного эксперимента,

какие данные выбрать, какой объект собрать и как организовать событие, реализующее необходимую процедуру представления. В любом случае, именно исследование воображения способно пролить свет на устройство мысленных экспериментов и статус получаемых с их помощью результатов.

Литература

1. Roux S. Introduction: the emergence of the notion of thought experiments // Thought experiments in methodological and historical contexts / ed. by K. Ierodiakonou, S. Roux. Leiden ; Boston : Brill, 2011. P. 1–36.
2. Godfrey-Smith P. Metaphysics and the philosophical imagination // Philosophical Studies. 2012. Vol. 160. P. 97–113.
3. Ribeiro F.C. The Map is not the Territory: Analyzing the Limitations of Scientific Knowledge // Journal of Management for Value. 2007. № 1. P. 67–84.
4. Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. Эксперименты без материи: модели в теоретической экономике // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 49, № 3. С. 124–139.
5. Godfrey-Smith P. Models and Fictions in Science // Philosophical Studies. 2009. Vol. 143. P. 101–116.
6. Brown J.R. The Laboratory of the Mind. Thought Experiments in Natural Sciences. London : Routledge, 1991. 190 p.
7. Sorensen R. Thought experiment and imagination // The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination / ed. by A. Kind. Routledge, 2016. P. 420–436.
8. Филатов В.П. Мысленные эксперименты в науке и философии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. XXV, № 3. С. 5–15.
9. Norton J. Are Thought Experiments Just What You Thought? // Canadian Journal Of Philosophy. 1996. Vol. 26, № 3. P. 333–366.
10. Goffi J.-Y., Roux S. On the Very Idea of a Thought Experiment // Thought experiments in methodological and historical contexts / ed. by K. Ierodiakonou, S. Roux. Leiden ; Boston : Brill, 2011. P. 165–192.
11. Kuhn T. A Function for Thought Experiments // The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change. The University of Chicago Press, 1977. P. 240–265.
12. Atkinson D. Experiments and thought experiments in natural science // Observation and Experiment in the Natural and Social Sciences / ed. by M.C. Galavotti. Dordrecht : Kluwer, 2003. P. 209–225. (Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 232).
13. Morgan M. Seeking Parts, Looking for Wholes // Histories of scientific observation / ed. by L. Daston, E. Lunbc. The University of Chicago Press, 2011. P. 303–325.
14. Mäki U. Models are experiments, experiments are models // Journal of Economic Methodology. 2005. Vol. 12 (2). P. 303–315.
15. Вархотов Т.А. Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.
16. Штофф В.А. Моделирование и философия. М. : Наука, 1966. 303 с.
17. Van Dijk T.A. Ideology. A Multidisciplinary Approach. London : SAGE, 1998. 390 p.
18. Петров В.М. Информационная парадигма в науках о человеке // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4, № 1. С. 95–110.
19. Иванов К.В. Картографирование как инструмент имперской политики в центральной Азии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 151–181.
20. Гагриленко С.М. Картографический диспозитив (несколько замечаний о «глобусах» Питера Слотердайка) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 131–150.
21. Логутов А.В. Звуковой ландшафт знания: прислушиваясь к Википедии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 12–24.
22. Сироткина И.Е. «Умное умение»: в каком смысле можно говорить о «телесном знании»? // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 225–250.
23. Писарев А.А. Образность таксидермии в музее науки: от систематики видов к систематичности насилия и постгуманистической природе // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 91–130.

Taras A. Varkhotov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); Institute of Economics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
E-mail: varkhotov@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 250–259.

DOI: 10.17223/1998863X/62/24

FROM IMAGINATION TO MAP: NON-DISCURSIVE FOUNDATIONS OF THOUGHT EXPERIMENT

Keywords: thought experiment; imagination; epistemology; methodology of science; discourse

The article deals with the epistemology of thought experiments. Discussions on thought experiments usually focus on two points: the ability of a thought experiment to produce new knowledge and the possibility of replacing a laboratory experiment with a mental one. In this context, two theoretical positions stand out. The first assumes that a thought experiment is not a material procedure and therefore cannot produce new knowledge if the latter is understood as empirical data (sensory experience). Accordingly, a thought experiment is simply reasoning, a logical argument capable of providing an assessment of a theory for logical consistency, but not capable of performing the main function of a laboratory experiment – to provide access to reality (empirical data). An alternative view of a thought experiment focuses on its similarity to a laboratory experiment in terms of goals and design and defends the possibility of using a thought experiment as a full-fledged methodological replacement for a laboratory experiment, which is crucial for those areas of knowledge where the use of laboratory experiments is difficult or impossible. The discursive (argument) / experimental (sensory experience) dichotomy, which is formed by the noted theoretical positions, seems unproductive for considering a thought experiment since it focuses on the discursive (final) component of a thought experiment and its – supposed by the term – structural-functional similarity with laboratory experimental procedures. At the same time, the peculiarity of the procedural aspect of a thought experiment is overlooked because the persuasiveness and strength of its arguments rely on ocular representation no less than on the logical structure extracted from this representation. Questions about what exactly is imagined in a thought experiment and what the mechanism for choosing details for the formation of a working (“imaginary experimental”) representation is can shed light on the epistemological status of a thought experiment and its methodological possibilities. A thought experiment is very close to a cartographic operation: the researcher sketches a mental map, collecting in their imagination an ocular representation of an essential invariant of reality. This operation includes the non-discursive phase of imagination and the discursive phase of the articulation of the invariant – the map includes sensory fabric and rules, where the sensory fabric is a product of the imagination and the rules presented in it are judgements (discourse). From this point of view, a thought experiment is a socialization of the imagination – a transition from an always individual imaginary representation to a discursively meaningful representation, i.e. one that is convenient for extracting a formal invariant (rule, contradiction, algorithm, etc.) and correlates with the theoretical standards in force for a given field of knowledge (a paradigm in the sense of T. Kuhn).

References

1. Roux, S. (2011) Introduction: the emergence of the notion of thought experiments. In: Ierodiakonou, K. & Roux, S. (ed.) *Thought experiments in methodological and historical contexts*. Leiden, Boston: Brill. pp. 1–36.
2. Godfrey-Smith, P. (2012) Metaphysics and the philosophical imagination. *Philosophical Studies*. 160. pp. 97–113. DOI: 10.1007/s 11098-012-9913-8
3. Ribeiro, F.C. (2007) The Map is not the Territory: Analyzing the Limitations of Scientific Knowledge. *Journal of Management for Value*. 1. pp. 67–84.
4. Koshovets, O.B. & Varkhotov, T.A. (2016) Eksperimenty bez materii: modeli v teoreticheskoj ekonomike [Experiments without Matter: Models in Theoretical Economics]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 49(3). pp. 124–139.
5. Godfrey-Smith, P. (2009) Models and Fictions in Science. *Philosophical Studies*. 143. pp. 101–116. DOI: 10.1007/s11098-008-9313-2
6. Brown, J.R. (1991) *The Laboratory of the Mind. Thought Experiments in Natural Sciences*. London: Routledge.
7. Sorensen, R. (2016) Thought experiment and imagination. In: Kind, A. (ed.) *The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination*. Routledge. pp. 420–436.
8. Filatov, V.P. (2010) Myslennye eksperimenty v nauke i filosofii [Thought experiments in science and philosophy]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 25(3). pp. 5–15.

9. Norton, J. (1996) Are Thought Experiments Just What You Thought? *Canadian Journal of Philosophy*. 26(3). pp. 333–366. DOI: 10.1080/00455091.1996.10717457
10. Goffi, J.-Y. & Roux, S. (2011) On the Very Idea of a Thought Experiment. In: Ierodiakonou, K. & Roux, S. (ed.) *Thought experiments in methodological and historical contexts*. Leiden, Boston: Brill. pp. 165–192.
11. Kuhn, T. (1977) *The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change*. The University of Chicago Press. pp. 240–265.
12. Atkinson, D. (2003) Experiments and thought experiments in natural science. In: Galavotti, M.C. (ed.) *Observation and Experiment in the Natural and Social Sciences*. Dordrecht: Kluwer. pp. 209–225.
13. Morgan, M. (2011) Seeking Parts, Looking for Wholes. In: Daston, L. & Lunbec, E. (eds) *Histories of Scientific Observation*. The University of Chicago Press. pp. 303–325.
14. Mäki, U. (2005) Models are experiments, experiments are models. *Journal of Economic Methodology*. 12(2). pp. 303–315. DOI: 10.1080/13501780500086255
15. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224
16. Stoff, V.A. (1966) *Modelirovanie i filosofiya* [Modeling and philosophy]. Translated from German. Moscow: Nauka.
17. Van Dijk, T.A. (1998) *Ideology. A Multidisciplinary Approach*. London: SAGE.
18. Petrov, V.M. (2007) Information Paradigm in the Human Sciences. *Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Psychology. Journal of the Higher School of Economics*. 4(1). pp. 95–110. (In Russian).
19. Ivanov, K.V. (2020) Cartography as a tool of imperial policy in Central Asia. *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181
20. Gavrilenko, S.M. (2020) The cartographic dispositif: few remarks on “Globes” of Peter Sloterdijk. *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 131–150. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-131-150
21. Logutov, A.V. (2020) A soundscape of knowledge: listening to Wikipedia. *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 12–24. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-12-24
22. Sirotkina, I.E. (2020) “Sage Skill”: in what sense can one speak of “bodily knowledge”? *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 225–250. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-225-250
23. Pisarev, A.A. (2020) Imagery of taxidermy in science museums: from systematics of species to systematicity of violence and posthumanist nature. *ИПАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 91–130. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-91-130

УДК 165

DOI: 10.17223/1998863X/62/25

К.Ю. Аласания

МЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ: ИНТЕРПРЕТАЦИИ Т. ВАН ДЕЙКА

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

Рассматривается категория «ментальная модель» как инструмент социального познания в теории Т.А. Ван Дейка.

Ключевые слова: ментальная модель, идеология, дискурс, мысленный эксперимент

Тезис о возможности рассмотрения мысленных экспериментов как «социализации воображения» кажется весьма перспективным для обсуждения в контексте заявленной для дискуссии темы, особенно с учетом ссылки на теорию Т. Ван Дейка. Действительно, механизм «социализации воображения» функционально сопоставим с работой ментальной модели, которая представляет собой совершенно особый теоретический конструкт, с точки зрения Тёна Ван Дейка.

Если попробовать максимально лаконично описать схему, в которую вписывается ментальная модель, то получится следующее. Возможность конструирования дискурса связана с социальным, культурным, историческим опытом. Понятие «опыт» используется здесь в максимально широком значении. В данном случае важно, что та часть опыта, которая включает в себя социальные образцы, стереотипы, убеждения, мнения, установки, имеет потенциал к тому, чтобы раскрыться в дискурсе, но совсем необязательно будет раскрыта. Для того чтобы понять, раскрываются ли те или иные компоненты опыта в дискурсе и, если раскрываются, то каким именно образом, существует ментальная модель. В самом общем смысле ментальная модель есть инструмент, позволяющий анализировать вопросы социальной обусловленности дискурса. Чтобы попробовать понять, как работает ментальная модель, имеет смысл обратиться к интерпретациям Ван Дейка.

Здесь будет уместно вспомнить о существовании парадокса, который, опять же, сближает понятия мысленного эксперимента и ментальной модели [1. С. 201]. Ван Дейк подчеркивает, что, несмотря на очевидный (прежде всего эпистемологический) потенциал того, что он называет «ментальной моделью», теория ментальных моделей не является оформленной до конца [2. Р. 168]. Вместе с тем ментальная модель определяется Ван Дейком как субъективный конструкт, который, в свою очередь, необходим для производства и понимания дискурса. Собственно, производство дискурса невозможно без «формирования, активации и актуализации ментальных моделей как репрезентаций эпизодической памяти» [Ibid. Р. 169]. То есть прежде всего функция ментальной модели состоит в том, чтобы обеспечить понимание того, что

перед нами. В то же время ментальная модель есть не что иное, как репрезентация опыта. Фактически ментальная модель представляет собой архив, где в определенной связи сосуществуют дискурсивные и недискурсивные компоненты. Она включает в себя оценки событий, мнения, эмоции, которые ассоциируются с событием.

Как было отмечено выше, ментальная модель есть неотъемлемая часть производства дискурса. Однако имеет смысл уточнить, что она как бы «запускает его производство» [2. Р. 169]. У нас есть некоторое представление о событии, возможно, мнение о нем или эмоции, которые грядущее событие вызывает. Именно такого рода репрезентация, по Ван Дейку, служит базой для разворачивания дискурса. То есть ментальная модель задает некий курс, но при этом никак не может и не должна претендовать на то, что этот курс является верным. Если продолжать рассуждения в этой логике, то ментальная модель способствует разворачиванию того дискурса, который актуален для текущей ситуации и по определению субъективен. Эта субъективность для Ван Дейка во многом связана с развитием идеи о том, что вообще означает столь «туманное» (*vague*) понятие «иметь смысл» [Ibid].

Помимо того что ментальная модель выступает отправной точкой производства дискурса, она представляет собой одновременно и инструмент, служащий для понимания дискурса, и цель, на которую направлен анализ. Ван Дейк пишет, что «мы понимаем дискурс, когда способны сконструировать ментальную модель для него» [Ibid]. В тот момент, когда становится ясно, какие элементы модели реализуются в дискурсе, мы понимаем его смысл. Надо заметить при этом, что в качестве одной из ключевых характеристик ментальной модели Ван Дейк обозначает изменчивость. Это вполне объяснимо, поскольку функционирование ментальной модели связано с влиянием конкретных условий (время, место), участников (и их ролей), событий и т.д.

В то же время культурный опыт, который непременно включает в себя ментальная модель, предполагает элементы, которые являются универсальными, статичными в том смысле, что они не меняются в зависимости от обстоятельств. Привычки, стереотипы, установки относятся к этим самым неподвижным элементам. Здесь имеет смысл заметить, что понятие «установки» важно с точки зрения понимания функций ментальной модели как инструмента познания. Установки служат для опознавания новой информации, но более важно то, что Ван Дейк определяет знание как систему установок, общих для всех. Однако к этой идее мы обратимся чуть дальше. Любопытно, что именно с этой амбивалентностью ментальной модели Ван Дейк связывает весьма специфическую функцию данного конструкта – объяснять не только то, почему мы находимся именно в таком, а не в другом дискурсивном поле, но и то, как и почему мы можем *ошибочно* извлекать, «вспоминать» информацию, которая никогда эксплицитно не фигурирует в том или ином дискурсе, или то, как мы можем помнить какое-то событие, но совсем не помнить о том, из какого источника мы знаем о нем (где мы это видели или читали, например) [Ibid. Р. 170]. Это воспоминание возникает как воображаемое. И именно за это отвечает ментальная модель с ее неоднозначной дискурсивно-недискурсивной, подвижно-статичной сущностью. Чтобы сделать некоторый промежуточный вывод, стоит сказать, что для Ван Дейка перспективы ментальных моделей как «очень мощного теоретического кон-

структа» очевидны. И кажется, что этот потенциал связан с тем, что они «существуют независимо от дискурсов, через которые могут быть выражены» [2. P. 170]. Такая «независимость» проявляется в том числе в возможности ментальных моделей преобразовываться в контекстуальные.

Иногда возникает ощущение, что Ван Дейк говорит об одном же понятии, называя его разными терминами, но это не так. Контекстуальная модель так же, как и ментальная модель служит для определения события или ситуации, но только в том случае, если мы оказываемся участниками этого события или ситуации, т.е. когда мы начинаем непосредственно произносить или писать текст. Контекстуальная модель – это поле, где встречаются дискурсивное и недискурсивное (так же, как и в случае с ментальной моделью), личное и социальное. Функционально контекстуальная модель отличается от ментальной. Ментальная модель, как отмечалось выше, запускает процесс производства дискурса и в этом смысле детерминирует его. Контекстуальные модели нужны для того, чтобы обозначить рамки дискурса, т.е., отталкиваясь от обстоятельств, определить некоторое количество вариантов развития событий, в некотором смысле они определяют уместность дискурса и, соответственно, ограничивают эти варианты. В контекстуальной модели Ван Дейка характеристика, которую мы обозначили раньше как «изменчивость», трансформируется в характеристику, которую условно можно назвать «обновляемость» [3].

Любопытно, что Ван Дейк подчеркивает важность фактически одной и той же характеристики ментальных и контекстуальных моделей. Речь идет о том, что они занимают промежуточное положение и обеспечивают связь. Но связь разных явлений между собой. «Контекстуальные модели обеспечивают необходимую связь между ментальными моделями событий и способом, благодаря которому формулируется дискурс. <...> Контекстуальная модель – недостающее звено между дискурсом и обществом, личностным и социальным» [Ibid]. Ментальная модель обеспечивает связь между дискурсом и идеологией. И именно в этой связи ментальная модель встраивается в систему идей Ван Дейка о политическом познании.

Ван Дейк понимает идеологию как одну из важнейших форм социального познания. «Идеологии представляют собой основание для социального познания, которое является общим для членов социальных групп, объединенных на основе избранных социокультурных ценностей и организованных в соответствии с идеологической схемой, обеспечивающей самоидентификацию группы. Помимо социальной функции поддержания интересов социальной группы, идеологии имеют когнитивную функцию, которая заключается в организации социальных репрезентаций (установок, знаний) группы, и, соответственно, в косвенном контроле социальных практик группы, а следовательно, и речевой деятельности членов, принадлежащих к данной группе» [4. P. 248]. Механизм работы ментальной модели при условии, что она занимает промежуточное положение между дискурсом и идеологией, действительно схож с принципами функционирования мысленного эксперимента, если мы соглашаемся с Ван Дейком в том, что идеология есть форма политического познания, а формирование идеологии схоже с процессом формирования некоторого нового знания. Опять же схема, в которой ментальная модель занимает промежуточное положение между дискурсом и идеологией, работает

в обоих направлениях [5. С. 214–215]. В случае, если она выступает как пусковой механизм для производства дискурса, основанием становятся идеологические установки, которые, по Ван Дейку, являются частью социального опыта, таким образом намечается курс (идеологический), который будет положен в основу идеологического дискурса. И наоборот, цель, связанная с пониманием идеологического дискурса, заставляет нас обращаться к возможности конструирования ментальной модели как некоторой законченной картины или, скорее, карты, схематично репрезентирующей необходимые для понимания элементы. Очевидно, что в силу специфики составляющих ментальную модель дискурсивных и недискурсивных компонентов аналогия с картой видится сомнительной, поскольку назвать этот конструкт «визуальным текстом» [6] вряд ли возможно. Но в случае, когда речь идет об операции понимания оснований дискурса, эта метафора кажется возможной.

Находясь в состоянии постоянной изменчивости, ментальная модель тем не менее предоставляет возможности для фиксации необходимой информации в случае, если перед нами стоит задача понимания. И в этом смысле утверждение Т.А. Вархотова о том, что «все успешные мысленные эксперименты представляют способы опредмечивания представляющих познавательный интерес „территорий“ – модели, причем модели не математические (которые могут быть вычленены из мысленных экспериментов, но к которым эти последние не сводятся), а модели процессуально-демонстративные – своего рода анимированные, взятые одновременно как процесс построения и как результирующая наглядность *карты*», видится вполне применимым к тому, что Ван Дейк говорит о целях и принципах функционирования ментальной модели.

Литература

1. Вархотов Т.А. Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.
2. Van Dijk T. Discourse, context and cognition // Discourse Studies, 2006. Vol. 8 (1). P. 159–177.
3. Van Dijk T. Discourse semantics and ideology // Discourse and Society. 1995. Vol. 6 (2). P. 243–289.
4. Van Dijk T. Discourse and Context A sociocognitive approach. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
5. Ван Дейк Т. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М. : Либроком, 2018. 344 с.
6. Иванов К.В. Картографирование как инструмент имперской политики в Центральной Азии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.

Kira Yu. Alasania, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: alasaniank@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 260–264.

DOI: 10.17223/1998863X/62/25

THE MENTAL MODEL IN SOCIAL COGNITION: TEUN A. VAN DIJK'S INTERPRETATIONS

Keywords: mental model; ideology; discourse; thought experiment

The article examines the category of mental model as a tool for social cognition in Teun A. van Dijk's theory.

References

1. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224
2. Van Dijk, T. (2006) Discourse, context and cognition. *Discourse Studies*. 8(1). pp. 159–177. DOI: 10.1177/1461445606059565
3. Van Dijk, T. (1995) Discourse semantics and ideology. *Discourse and Society*. 6(2). pp. 243–289. DOI: 10.1177/0957926595006002006
4. Van Dijk, T. (2008) *Discourse and Context. A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Van Dijk, T. (2018) *Diskurs i vlast': Reprezentatsiya dominirovaniya v yazyke i kommunikatsii* [Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication]. Translated from English. Moscow: Librokom.
6. Ivanov, K.V. (2020) Cartography as a tool of imperial policy in Central Asia. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/62/26

С.М. Гавриленко

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И КАРТОГРАФИЯ: ТОЧКИ СХОЖДЕНИЯ

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

При помощи некоторых характеристик картографии рассматривается возможная связь между воображением и мысленным экспериментом.

Ключевые слова: *воображение, картография, мысленный эксперимент, научный образ*

Представленный Тарасом Вархотовым текст уже самим своим названием провоцирует попытку сопоставить мысленный эксперимент и картографию. Но что, собственно, позволяет объединить в пределах одного рассуждения мысленный эксперимент (этот «эпистемологический оксюморон») и картографию (гетерогенный набор процедур, не являющихся ни исторически универсальными, ни исторически стабильными, чье логическое и типологическое определение неизбежно вызывает большие затруднения)? Чем может быть мотивировано и в конечном счете обосновано их сближение (и даже утверждение аналогии между ними), которое может показаться произвольным, а потому – случайным? Предложенный нам текст дает лаконичный и стимулирующий ответ – воображение¹. Шаг, безусловно, продуктивный, но при этом по многим основаниям рискованный, так как порождает вопросы, на которые у нас пока нет хороших ответов. Сама постановка этих вопросов сопряжена с многочисленными трудностями, поэтому мы вынуждены ограничиться самыми краткими замечаниями.

Воображение позволяет «спасти» мысленный эксперимент от сведения к формальному логическому аргументу, предоставляя если не онтологические, то хотя бы референциальные гарантии элементам дискурсивной цепочки, и тем самым обеспечить ему собственный эпистемологический статус. Но о каком, собственно, воображении (образах) идет речь? Случай картографии делает это вопрос принципиальным. Прежде всего, картографическое представление радикально сложно. Карта как «образ пространственной сложности» [2. Р. 41] не является чистым и нейтральным представлением пространственных фактов². Она никогда не сводилась к абстрактному геометрическому графизму,

¹ В более развернутом виде этот аргумент представлен в [1].

² Мы не можем не согласиться с Константином Ивановым, считающим представление о карте как о продукте «строгой эмпирической процедуры, свободной от изъянов восприятия и идеализаций воображения» не более чем мифом [3. С. 151]. Одним из самых интригующих аспектов картографии является эта несвобода от «идеализаций воображения». О сложных, исторически изменчивых, но при этом продуктивных отношениях между воображением, видением, картографией и географией см.: [4].

призванному своими точками, линиями и фигурами отображать (в двойном, математическом и (квази)оптическом, смысле) пространственные поверхности и их отдельные участки¹. Но как бы мы ни определяли картографическую операцию (в действительности – гетерогенную множественность операций), неизменным остается одно решающее обстоятельство: «Карта предполагает образы и размышления, которые не могут быть ни увидены, ни помыслены, когда мы смотрим на реальное пространство... карта представляет схему, визуальную и одновременно интеллектуальную, которая занимает место невозможного сенсорного видения» [6. Р. 29]. Питер Слотердаjk назвал глобус «чудо-произведением» [7. С. 826] – положение, которое, можно распространить на любое картографическое представление. Это чудо *эмпирического* объекта (вот этот глобус, вот эта карта, вот эта цифровая модель Земли), моделирующего и поддерживающего эмпирически нереализуемые оптики и способы видения², которые тем не менее претендуют на эмпирическую адекватность (Земля такова – смотри!). Карты, глобусы, топографические планы городов, Яндекс-карты и Google-maps – это реальные (материальные) репрезентационные поверхности (конкретные места), где «собираются другие, удаленные в пространстве и времени места и оказываются синоптически представлены взгляду» [8. С. 112]. Мы здесь имеем работу какого-то сложного механизма, осциллирующего между эмпирическим порядком (эмпирическая данность картографического представления (образа) с возможными эмпирическими референтами его отдельных структурных элементов) и порядком интеллигибельным, но при этом также наглядно представленным³. Этот механизм и есть механизм воображения. Тайна воображения и образа (включая огромное разнообразие картографических форм и чрезвычайно обширную область научной образности) заключена в создании эмпирически доступных вещей (картографический образ в случае традиционной плоскостной карты или глобуса можно буквально взять в руки⁴ или, например, увидеть на экране монитора в случае цифровых картографических форматов), которые представляют нечто такое, что само как таковое эмпирически представлено быть не может (или в силу тех или иных ограничений, или принципиально)⁵. Эти лапидарные соображения, в которых опущена масса необхо-

¹ См. анализ сложного эмблематизма нововременных карт в [5].

² Показательный (но не единственный) пример – это карты мира. Нет такой эмпирической точки зрения и эмпирического взгляда, которые позволили бы увидеть всю Землю.

³ Например, картографическая координатная сетка – наглядное представление невидимого (интеллигибельного) порядка, онтологическую спецификацию которого нам так трудно произвести, так как, строго говоря, математические линии широт и долгот не входят в эмпирический состав картографируемой пространственности.

⁴ См. описание глобуса Земли на картине «Послы» Ганса Гольбейна Младшего в [9].

⁵ Мы плохо понимаем (если понимаем вообще) работу этого механизма, но тем не менее постоянно его используем – для представления невидимого порядка нам нужны видимые посредники (образы). Возможно, именно непонимание этого механизма мотивирует метафорические переносы и рассуждения, например, о «ментальных образах» как «структурах» в нашем психологическом интерьере и когнитивном оснащении. Примером подобного переноса является понятие когнитивной карты – «внутренней и имеющей пространственные характеристики схемы внешней окружающей среды, которая строится в психике животного» [10. С. 67]. Мы взяли это определение из содержательной статьи Елены Князевой (в ней визуальным образом являются и когнитивная карта, и фирменный знак, брендирующий товар). Но в этой работе не разъясняется принципиальный момент: в каком смысле указанная внутренняя схема имеет пространственные характеристики? Масштабирование как картографическая процедура возможно именно потому, что применительно к реальным картам этот вопрос не стоит.

димых опосредующих звеньев, позволяют дать два дополнительных замечания и связать их с темой мысленного эксперимента.

Во-первых, картографические представления (образы) принадлежат, если так можно выразиться, пространству внешнего. Это не некие сущности, спонтанно производимые «продуктивной способностью воображения» во внутреннем «картезианском театре» и остающиеся замкнутыми в его границах. Картография – технически материализованное и организованное воображение¹, разделяющее это свойство с другими формами научных наглядностей. Именно в таком смысле можно говорить об образах в науке (или научных образах) и, соответственно, работе научного воображения, которая оказывается не только (а возможно, и не столько) проявлением загадочной внутренней ментальной способности, но и работой рук и различных технических аппаратов². Научные образы (результат работы научного воображения) – это технически созданные экстерналии. Но не в этих ли экстерналиях, т.е. технически организованных и, как правило, стандартизированных материальностях³, чья способность своим строем предъяслять то, что эмпирически предъяслено быть не может, не перестает вызывать у нас чувство удивления, нужно искать ту «чувственную материю», которая должна была бы служить обеспечением мысленного эксперимента (диаграммы движения Галилея, диаграммы пространства–времени в теории относительности, диаграммы Феймана, компьютерные симуляции)?

Во-вторых, картография как бы вычерчивает принципиально новое, замещающее эмпирические объекты поля видимости, которые становятся новым пространством наблюдения: «Карта устанавливает новое пространство видимости путем дистанцирования от объекта и замещения его репрезентирующим образом. Карты стремятся представить тотальность, создать новый горизонт видимости и мышления через графический и интеллектуальный синтез фрагментарных данных» [6. Р. 27]. Возможно, еще только предстоит написать историю (которая и будет историей научного воображения) репрезентаций, организующих замещающие эмпирические объекты поля видимости, которые становятся новыми пространствами наблюдения. Картография лишь один, пусть и наиболее показательный, пример. Можно подумать и о других. Ботанический сад классической науки являлся дисциплинарно (в смысле Фуко) организованным («паноптическим») пространством наблюдения, но не за природном разнообразием в его «естественном состоянии», а за классификационным порядком природы. Это продукт научного воображения, образ того, что недоступно эмпирическому видению. Не являются ли эти поля замещающей видимости тем, что способно обеспечить мысленному эксперименту (квази)эмпирическое пространство, которое может быть преобразовано в пространство экспериментальное – пространство, где экспериментируют не

¹ Начиная с картографического подъема (рубеж XV–XVI вв.) роль математических и технологических инфраструктур в создании картографических представлений (образов) неуклонно возрастала.

² См. блестящий анализ «образности таксидермии», проведенный Александром Писаревым в [11].

³ Именно в этой стандартизации нужно искать социализацию воображения, о необходимости которой в случае мыслительного эксперимента говорит Т. Вархотов. Роль стандартизированных научных образов в поддержании в науке «коллективного эмпиризма» – один из основных тезисов «Объективности» Лоррейн Дастон и Питера Галисона [12. С. 60–67].

с вещами, а с условиями и пределами их мыслимости и представимости¹? Не в этом ли заключается работа научного воображения? Но не заставляют ли современные технологические инфраструктуры научного воображения заново продумывать вопрос: кто или что воображает?

Литература

1. Вархотов Т.А. Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.
2. Edney M.H. Cartography: The Ideal and its History. Chicago ; London : University of Chicago Press, 2019.
3. Иванов К.В. Картографирование как инструмент имперской политики в центральной Азии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 151–181.
4. Cosgrove D. Geography and Vision Seeing, Imagining and Representing the World. London ; New York : I.B. Tauris & Co Ltd., 2008.
5. Нестеров А. Географические карты раннего Нового времени как эстетизация и концептуализация репрезентированного пространства // Гетеротопии: миры, границы, повествование. Вильнюс : Изд-во Вильнюсского ун-та, 2015. С. 88–110.
6. Jacob C. The Sovereign Map: The Theoretical Approaches in Cartography through History. Chicago ; London : University of Chicago Press, 2006.
7. Слотердайк П. Сферы: макросферология. Глобусы. СПб. : Наука, 2007. Т. II.
8. Латуэр Б. Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т. 27, № 2. С. 95–156.
9. Гавриленко С.М. Ганс Гольбейн Младший, Ян Ванделаар и империя наблюдения // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 84–102.
10. Князева Е.Н. Визуальные образы на службе когнитивной науки // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1. С. 58–75.
11. Писарев А.А. Образность таксидермии в музее науки: от систематики видов к систематичности насилия и постгуманистической природе // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 91–130.
12. Дастон Л., Галисон П. Объективность. М. : Новое лит. обозрение, 2018.
13. Pickles J. A History of Spaces: Cartographic reason, mapping and the geo-coded world. London ; New York : Routledge, 2004.

Stanislav M. Gavrilenko, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: o-s@proc.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 265–269.

DOI: 10.17223/1998863X/62/26

THOUGHT EXPERIMENT AND CARTOGRAPHY: POINTS OF CONVERGENCE

Keywords: cartography; imagination; thought experiment; scientific image

The article assesses a possible connection between a thought experiment and imagination through some features of cartography.

¹ История картографии показывает, что картографическое представление было местом радикальных форм экспериментирования, в ходе которого отрабатывались и тестировались различные формы представимости «пространственной сложности». Частью этой истории является история картографических проекций, позволяющих производить математически контролируемые преобразования трехмерного объекта в плоскостной двухмерный объект. Карта не обязательно представляет земную поверхность (а также то, что *на* ней и даже *под* ней), и пределы применения картографических операций а priori не заданы. Пределом картографических экспериментов является вопрос: что вообще может быть картографировано? Ср. со следующим замечанием Найджела Трифта: «Человеческого субъекта трудно картографировать по многим причинам. Трудно картографировать то, что не имеет четких границ, что не может быть засчитано за одно, но только за множество различных и нередко конфликтующих субъектных позиций, что постоянно пребывает в движении (как культурно, так и фактически), что только частично локализуемо в пространстве–времени» (цит. по: [13. P. 11]).

References

1. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224
2. Edney, M.H. (2019) *Cartography: The Ideal and its History*. Chicago and London: University of Chicago Press.
3. Ivanov, K.V. (2020) Cartography as a tool of imperial policy in Central Asia. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181
4. Cosgrove, D. (2008) *Geography and Vision Seeing, Imagining and Representing the World*. London; New York: I.B. Tauris & Co Ltd.
5. Nesterov, A (2015) Geograficheskie karty rannego Novogo vremeni kak estetizatsiya i konceptualizatsiya reprezentirovannogo prostranstva. [Early modern geographic maps as aesthetization and conceptualization of represented space]. In: Vidugirite, I. *Geterotopii: miry, granitsy, povestvovanie* [Heterotopies: Worlds, Boundaries, Narration]. Vilnius: Vilnius University. pp. 88–110.
6. Jacob, C. (2006) *The Sovereign Map: The Theoretical Approaches in Cartography through History*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2006.
7. Sloterdijk, P. (2007) *Sfery: Makrosferologiya* [Spheres: Macrospherology]. Vol. 2. Translated from German by K. Loshchevskiy. St. Petersburg: Nauka.
8. Latour, B. (2017) Visualization and Cognition: Drawing things Together. *Logos*. 27(2). pp. 95–156. (In Russian). DOI: 10.22394/0869-5377-2017-2-95-151
9. Gavrilenko, S.M. (2018) Hans Holbein the Younger, Jan Wandelaar and the Empire of Observation. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 84–102. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-84-102
10. Knyazeva, E.N. (2020) Visual images in the service of cognitive science. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 1. pp. 58–75. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-1-58-75
11. Pisarev, A.A. (2020) Imagery of taxidermy in science museums: from systematics of species to systematicity of violence and posthumanist nature. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 91–130. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-91-130
12. Daston, L. & Galison, P. (2018) *Ob''ektivnost'* [Objectivity]. Translated from English. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
13. Pickles, J. (2004) *A History of Spaces: Cartographic reason, mapping and the geo-coded world*. London and New York: Routledge.

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/62/27

И.В. Мелик-Гайказян

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ОСИ СИНТАКТИКИ

Мысленные эксперименты поняты как вариативные сочетания воображения и интуиции, гипотетического и верифицируемого, понимаемого лично и объясняемого другим. Акцентированы различия в трактовке процессуальности с позиции представлений об информационном процессе и о семиотической динамике.

Ключевые слова: метафора, необратимость информационного процесса, обратимость семиотической динамики

Частым и частным выражением синтаксиса служат знаки препинания. Среди таких знаков есть кавычки, являющихся парным знаком препинания. Кавычками обозначают цитирование (некую отсылку к прецедентной фиксации в прошлом, т.е. – к памяти) или заменяют сленговый оборот «как бы», намекая на переносное или ироничное истолкование употребленных слов. Обе практики употребления применены в формулировке рубрики статьи [1. С. 202] – в поисках устройства «лаборатории разума». В заголовке рубрики присутствует цитирование метафорической квалификации мысленного эксперимента, принадлежащее Дж. Брауну. Любопытно, что в предисловии к журнальному номеру, посвященному обсуждению недискурсивных оснований мысленного эксперимента, без кавычек упомянута информационная парадигма в качестве доминирующего в современности образца для понимания дискурсивной сущности самой науки, ее практик и результатов [2. С. 9]. Соглашусь, что указать информационную парадигму в кавычках, цитируя изначальный источник употребления концепта, представляет собой большую сложность, поскольку коллективный автор этой парадигмы распределен по нескольким векам истории науки. Возражение вызывает отсутствие метафорической трактовки в имени парадигмы. При всей распространенности исследований феномена информации, развитости конкурирующих направлений теории информации, разнообразного и тотального присутствия соответствующих технологий – парадигма этого феномена отсутствует в качестве единого образца понимания. Есть лишь привычка сводить информацию к данным, применять для измерения одну характеристику (количество информации) и сменять веру в основания прогресса: с кибернетики на компьютеризацию и глобальные сети, затем на искусственный интеллект. Вместе с тем есть преимущество в исследовании недискурсивных оснований мысленного эксперимента с позиций корреспонденции стадий информационных процессов и семиотических форм, в которых фиксирует себя результат отдельных фаз генерации, трансляций и выбора оператора целенаправленных действий. Тогда эти недискурсивные основания позволят вобрать в себя звук [3], тон [4], цвет [5], геометрическую форму [6, 7], телесность [8] – т.е. всю распределенную образность [9, 10] устройства мысленного эксперимента. Для реализации

отмеченной возможности необходимо с тщательностью разобрать сущность объектов, с которыми производят процедуры эпистемологии.

В статье Т.А. Вархотова, представленной в этом номере журнала, мысленным экспериментам приписывается процессуальный характер. Необходимо напомнить, что в фундаментальной науке процессы отличают по математическим критериям. И еще необходимо напомнить, что неотъемлемым основанием постнеклассической науки стало принятие необратимости времени. С позиции постнеклассической рациональности феномен информации есть необратимый во времени процесс. А вот семиотическая динамика необратимостью не обладает. Иными словами, для описания процесса необходима ось времени, а для описания мысленного эксперимента в концептах семиотики необходима ось синтактики, поскольку в науке такие эксперименты всегда есть соотношения гипотетического и верифицируемого, понимаемого лично и объясняемого другим; всегда есть установление пределов применимости различных языков науки и допустимой меры их комбинирования. Мысленный эксперимент не равен себе в разных фазах приближения к цели науки: приращению достоверного знания. В фазе постановки новой задачи (или на стадии генерации информации) мысленный эксперимент служит разрешению парадокса [11], в фазе построения оператора мысленный эксперимент выбирает эффективный алгоритм реализации научной задачи, в фазе трансляции мысленный эксперимент нацелен на поиск оптимального объяснения сути новации [12]. Гениальные мысленные эксперименты, способствующие смене интерпретаций исследовательских результатов, остаются в неизменности на страницах учебников. Не столь успешные мысленные эксперименты остаются в неизменности в своих визуальных формах фиксации, хранимых в музеях науки [13, 14]. Успех мысленного эксперимента зависит от той меры, в которой завершение стадии становится триггером для старта следующей стадии. Стать триггером или не стать им – есть в принципиальной мере дело случая. Результат стадии визуализирует резонансы тезауруса, воображения и интуиции в недискурсивных формах, что в переводе в дискурсивную форму обозначают кавычки, в которых заключены концептуальные метафоры и / или отсылки к концептуальным контекстам. Итак, в чем выражают себя последствия мысленных экспериментов в науке? В расстановке кавычек. В смене отсылок к аксиоматике исследовательских программ, в замене метафор на термины и в замене терминов на метафоры.

Литература

1. *Вархотов Т.А.* Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.
2. *Вархотов Т.А.* Предисловие редактора // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 9–11.
3. *Логотов А.В.* Звуковой ландшафт знания: прислушиваясь к Википедии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 12–24.
4. *Ханова П.А.* Спектр философии: Деррида и Делез о тоне // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 39–55.
5. *Суровцев В.А., Родин К.А.* «Заметки о цвете» Людвиг Витгенштейна: от логики цвета – к социологии цвета // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 25–38.
6. *Гавриленко С.М.* Картографический диспозитив (несколько замечаний о «глобусах» Питера Слотердайка) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 131–150.

7. Писарев А.А. Образность таксидермии в музее науки: от систематики видов к систематичности насилия и постгуманистической природе // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 91–130.

8. Сироткина И.Е. «Умное умение»: в каком смысле можно говорить о «телесном знании»? // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 225–250.

9. Князева Е.Н. Визуальные образы на службе когнитивной науки // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1. С. 58–75.

10. Иншиев И.Н. Распределенная образность: имажинативные практики современной культуры // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1. С. 31–46.

11. Суровцев В.А., Гончаренко М.В. Парадоксальные понятия, конструктивизм У. Куайна и предложения наблюдения // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 4. С. 150–159.

12. Martin P., Morrison M., Turkmendag I., Nerlich B., McMahon A., de Saille S., Bartlett A. Genome editing: the dynamics of continuity, convergence, and change in the engineering of life // *New Genetics and Society*. 2020. Vol. 39, № 2. P. 219–242.

13. Гавриленко С.М. Ганс Гольбейн Младший, Ян Ванделаар и империя наблюдения // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 84–102.

14. Писарев А.А. К истории музеев науки: визуализацией чего являются экспонаты? (Случай Африканского зала Американского музея естественной истории) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 202–221.

Irina V. Melik-Gaykazyan, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: melik-irina@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 270–273.

DOI: 10.17223/1998863X/62/27

THOUGHT EXPERIMENT ON THE AXIS OF SYNTACTICS

Keywords: metaphor; irreversibility of information process; reversibility of semiotic dynamics

Thought experiments are understood as variable combinations of imagination and intuition, hypothetical and verifiable, understandable personally and explainable to others. Differences in the interpretation of processuality are emphasized from the standpoint of the ideas of the information process and semiotic dynamics.

References

1. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224

2. Varkhotov, T.A. (2020) Predislovie redaktora [Editorial]. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 9–11. (In Russian).

3. Logutov, A.V. (2020) A soundscape of knowledge: listening to Wikipedia. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 12–24. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-12-24

4. Khanova, P.A. (2020) Spectral philosophy: Derrida and Deleuze on tone. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 39–55. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-39-55

5. Surovtsev, V.A. & Rodin, K.A. (2020) Wittgenstein's "Remarks on Colour": from colour logic to social studies of colour. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 25–38. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-25-38

6. Gavrilenko, S.M. (2020) The cartographic dispositif: few remarks on "Globes" of Peter Sloterdijk. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 131–150. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-131-150

7. Pisarev, A.A. (2020) Imagery of taxidermy in science museums: from systematics of species to systematicity of violence and posthumanist nature. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 91–130. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-91-130

8. Sirotkina, I.E. (2020) “Sage Skill”: in what sense can one speak of “bodily knowledge”? *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 225–250. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-225-250

9. Knyazeva, E.N. (2020) Visual images in the service of cognitive science. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 1. pp. 58–75. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-1-58-75

10. Inishev, I.N. (2020) Distributed imagery: imaginative practices of contemporary culture. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 1. pp. 31–46. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-1-31-46

11. Surovtsev, V.A. & Goncharenko, M.V. (2020) Paradoxical concepts, Quine’s constructivism, and observation sentences. *ИПАЭХМА. ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp.150–159. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-4-150-159

12. Martin, P., Morrison, M., Turkmendag, I., Nerlich, B., McMahon, A., de Saille, S. & Bartlett, A. (2020) Genome editing: the dynamics of continuity, convergence, and change in the engineering of life. *New Genetics and Society*. 39(2), pp. 219–242. DOI: 10.1080/14636778.2020.1730166

13. Gavrilenko, S.M. (2018) Hans Holbein the Younger, Jan Wandelaar and the Empire of Observation. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 84–102. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-84-102

14. Pisarev, A.A. (2018) On the history of science museums: what do exhibits visualize? (a case of the hall of African peoples in the American museum of Natural History). *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 202–221. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-202-221

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/62/28

А.А. Писарев

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПОИСКАХ ПРИРОДЫ: ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ И ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ

Обсуждаются денатурализирующая и трансформативная функции мысленного эксперимента и возможность его переосмысления исходя из иного понимания природы.

Ключевые слова: мысленный эксперимент, природа, денатурализация, перформативность, коллективный эмпиризм

Я хотел бы оттолкнуться от интуитивно понятного определения мысленного эксперимента (МЭ) как оксюморона, упомянутого Т.А. Вархотовым в начале своей статьи (подробнее об этом см.: [1]). Я кратко намечу, во-первых, некоторые дополнительные следствия «социализации воображения», связанные с природой как эпистемологическим режимом, во-вторых, возможный путь переосмысления МЭ через иное онтологическое понимание природы.

Как указывает Тарас Александрович, «эмпирический» эксперимент отличается от МЭ наличием «материальных практик получения данных». Источником же этих данных и причиной научного познания является природа (или реальность – конкретный термин здесь не важен). Природа должна открыть тайну своего устройства в эксперименте. В этом отношении идеология науки опирается на обобщенный западный здравый смысл, согласно которому природа – это нечто внешнее, предшествующее и независимое по отношению к субъективному миру, действиям и восприятиям человека, а также определенное, неизменное единичное и пассивное, состоящее из форм или отношений [2 С. 55–58]. МЭ – оксюморон, так как в нем недостает именно такой природы, контакт с ней даже не предполагается. Если проводить эксперимент – значит манипулировать вещами и получать от них сдачи, то МЭ в предельной скептической интерпретации – «только» слова, за которые ничто «реальное» сдачи не даст.

Действительно ли ничто не может дать сдачи МЭ? МЭ адресуются неопределенному множеству индивидов с общим опытом и потому интересубъективны. Они легко мобилизуют воображение практически любого индивида, поскольку почти всегда предлагают представить нечто простое и близкое, интуитивно понятное. При этом задействуется само собой разумеющееся, а зачастую даже не осознаваемое, фоновое знание (здравый смысл, опыт в широком смысле). Это, например, интуитивные представления о соотношении скоростей падения тел с разной массой, о характере одновременности событий, о том, почему мы приписываем другим тот же субъективный мир и опыт, которым обладаем сами, что считаем границами личности и как оцениваем рост рождаемости или смертности и многие-многие другие. Такие знания разделяемы и коллективны, и в этом смысле условием успешности МЭ является, по выражению Тараса Александровича, «социализация воображения».

Одним из следующих шагов МЭ уже дискурсивными средствами проблематизирует эту недискурсивную легкость предложенной воображению ситуации, которая опосредована фоновым знанием. В этой коллективности кроется природа, с которой МЭ все же имеет дело, причем работая против нее: природа как эпистемологический режим самоочевидности. Знание, бывшее самоочевидным – будто бы независимым от любого индивидуального произвола, укорененным в самом порядке вещей, «самой природе» и потому необходимым и защищенным от сомнений – должно перестать быть таковым, чтобы впоследствии получить научное обоснование или же быть отвергнутым в пользу новых, контринтуитивных пока что представлений, которые будут обоснованы дискурсивно.

Чтобы произвести кардинальную переменную в плоскости теории, необходимо предварительно что-то изменить в том фоновом знании, на которое теория опирается. «МЭ могут обнаруживать напряжения между разными видениями мира. Они могут сбить индивида с определенного пути описания мира. Они могут заменить одну картину другой» [3. Р. 307]. МЭ уже на полпути к успеху, если успешна такая денатурализация, если удалось расшатать привычный образ мысли.

Говоря словами Пьера Бурдьё, «я могу продвинуться в объективации моего объекта в той мере, в какой смогу объективировать мою собственную позицию в пространстве, отличном от пространства, где помещается мой объект, а следовательно, – в объективации моего бессознательного отношения к объекту, которое может продиктовать целиком все то, что я собираюсь сказать об объекте» [4]. Таким образом, негативная, критическая функция денатурализации требуется для реализации позитивной трансформативной функции МЭ: «преодолеть косность привычек мышления и спровоцировать изменение точки зрения в эпистемологии» [5] при помощи логических и риторических средств.

В этом смысле МЭ – это эксперимент над тем, что функционирует для нас как природа, но оказывается лишь нашими произвольными представлениями, скрытым рядом натурализирующих механизмов в фоновом знании. Исход этого эксперимента не предзадан и даже иногда более непредсказуем, поскольку речь идет об экспериментировании над ассамбляжем социальных и психологических реалий.

Эта двойная функция МЭ напрямую связана с еще одним моментом, на который я хотел бы обратить внимание. Современные исследования науки и технологий проблематизируют упомянутое выше привычное для нас понимание природы как независимой внешней реальности. Ключевой для них оказывается перформативность наших методов и знаний. Джон Ло, Бруно Латур и ряд других исследователей, анализируя различные эмпирические кейсы, показывают, что невозможно изолировать друг от друга производство реалий, производство утверждений о них и производство релевантных технических, инструментальных, человеческих конфигураций и практик, устройств записи, производящих эти реалии и утверждения [2]. Такой подход предполагает перевод базовых оппозиций мышления – природа и культура, внутреннее и внешнее, микро и макро, репрезентация и репрезентируемое – из разряда объясняющих в то, что требует объяснения и производится в практиках. Природа, относительно которой МЭ определялся как оксюморон, оказывает

ся не столько причиной и последней судьей научного познания, сколько его результатом. Этот результат натурализуется различными механизмами, его «сделанность» стирается, и он превращается в слепок с природы. МЭ как одна из научных практик принимает участие в этом производстве природы, теперь уже неотделимой от самих научных практик и техник. О перформативности образов – как визуальных, так и аудиальных – написано немало [6–9], но на фоне этих образов МЭ выделяется двойной функцией денатурализации и смены взгляда.

Из этой перспективы МЭ – аппарат, производящий перформативные эффекты, причем по обе стороны раскола на внешнее и внутреннее, природное и культурное. И, разумеется, воображение – его топливо и тот троянский конь, через который он внедряется в глубины нашего фонового знания и атакует его. МЭ переопределяет наши взгляды на те или иные реалии и принимает участие в учреждении этих самых реалий в качестве объектов последующего исследования.

Выражение «мысленный эксперимент» навязывает нам образ мыслителя, уединившегося в изолированном пространстве – декартовском кабинете с камином, «лаборатории разума» (Джеймс Браун). Вероятно, стоит оставить эти нововременные «места разума» и обратиться к более открытым и проветриваемым пространствам, в которых разворачиваются разногласия, крутятся вальцы практик, строятся сети циркуляции фактов и зоны обмена и производится привычная нам природа.

Литература

1. *Вархотов Т.А.* Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 199–224.
2. *Ло Дж.* После метода. Беспорядок и социальная наука. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2015.
3. *Hacking I.* Do Thought Experiments have a Life of Their Own? Comments on James Brown, Nancy Nersessian and David Gooding // PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. 1992. Vol. 2: Symposia and Invited Papers. P. 302–308.
4. *Бурдые П.* За рационалистический историзм // Социо-Логос постмодернизма⁹⁷ : альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М. : Ин-т эксперим. социологии, 1996. С. 9–29.
5. *Николози Р.* Апокалипсис перенаселения: политическая экономия и мысленные эксперименты у Т. Мальтуса и В. Одовского // Новое литературное обозрение. 2015. № 2 (132). С. 187–200. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2015/2/apokalipsis-perenaseleniya-politicheskaya-ekonomiya-i-myslennye-eksperimenty-u-t-maltusa-i-v-odovskogo.html>. (дата обращения: 30.04.2021).
6. *Логутов А.В.* Звуковой ландшафт знания: прислушиваясь к Википедии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 12–24
7. *Иванов К.В.* Картографирование как инструмент имперской политики в центральной Азии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 151–181
8. *Гавриленко С.М.* Картографический диспозитив (несколько замечаний о «глобусах» Питера Слотердайка) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2. С. 131–150.
9. *Инишев И.Н.* Распределенная образность: имагинативные практики современной культуры // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1. С. 31–46.

Alexander A. Pisarev, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: topisarev@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 274–277.

DOI: 10.17223/1998863X/62/28

THOUGHT EXPERIMENT IN SEARCH OF NATURE: DENATURALIZATION AND PERFORMATIVITY

Keywords: practical philosophy; thought experiment; nature; denaturalization; performativity

The author discusses the denaturalizing and transformative functions of the thought experiment and the possibility of its reinterpretation based on a different understanding of nature.

References

1. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224
2. Law J. (2015) *Posle metoda. Besporyadok i sotsial'naya nauka* [After Method: Mess in Social Science Research]. Translated from English by S. Gavrilenko, A. Pisarev, P. Khanova. Moscow: The Gaydar Institute.
3. Hacking, I. (1992) Do Thought Experiments have a Life of Their Own? Comments on James Brown, Nancy Nersessian and David Gooding. *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*. 2. pp. 302–308.
4. Bourdieu, P. (1996) Za ratsionalisticheskiy istorizm [For rationalistic historicism]. In: Vinokurov, V.V. (ed.) *Sotsio-Logos postmodernizma '97. Al'ma-nakh Rossiysko-frantsuzskogo tsentra sotsiologicheskikh issledovaniy Instituta sotsiologii RAN* [Socio-Logos of postmodernism'97. Almanac of the Russian-French Center for Sociological Research, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences]. Moscow: Institute of Experimental Sociology. pp. 9–29.
5. Nicolosi, R. (2015) Apokalipsis perenaseleniya: politicheskaya ekonomiya i myslennye eksperimenty u T. Mal'tusa i V. Odoevskogo [The Apocalypse of Overpopulation: Political Economy and Thought Experiments by T. Malthus and V. Odoevsky]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2(132). pp. 187–200. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/nlo/2015/2/apokalipsis-perenaseleniya-politicheskaya-ekonomiya-i-myslennye-eksperimenty-u-t-maltusa-i-v-odoevskogo.html>. (Accessed: 30th April 2021).
6. Logutov, A.V. (2020) A soundscape of knowledge: listening to Wikipedia. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 12–24. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-12-24
7. Ivanov, K.V. (2020) Cartography as a tool of imperial policy in Central Asia. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181
8. Gavrilenko, S.M. (2020) The cartographic dispositif: few remarks on “Globes” of Peter Sloterdijk. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 131–150. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-131-150
9. Inishev, I.N. (2020) Distributed imagery: imaginative practices of contemporary culture. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 1. pp. 31–46. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-1-31-46

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/62/29

Л.Д. Шиповалова

ОБ ОСОБОМ ДОСТОИНСТВЕ МЫСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Обсуждается выдвинутый Т.А. Вархотовым тезис о возможности истолкования мысленных экспериментов как имеющих недискурсивные основания. Описываются возможности и ограничения, связанные с пониманием мысленных экспериментов как работы воображения. Такое понимание сближает различные виды экспериментирования в науке, а также работу воображения в художественных практиках. Кроме того, оно позволяет отчасти разрешить проблему производства нового знания посредством мысленных экспериментов.

Ключевые слова: мысленный эксперимент, новое знание, воображение, репрезентация

Статья Тараса Александровича Вархотова «От воображения к карте: недискурсивные основания мысленного эксперимента» вводит в актуальное поле дискуссий о мысленном эксперименте. Что значимого для эпистемологии и философии в целом может быть обнаружено в этом поле? Представляется, что вопросы фокусируются вокруг некоторого общего недоумения. Мысленные эксперименты имеют достаточно длительную историю – их отрефлексированное использование в научных практиках можно возводить к Галилею, а концептуализацию, а также эпистемологическую и эвристическую легитимацию, – к работам немецкого философа и ученого Г. Лихтенберга в XVIII в. [1]. Однако, несмотря на аргументы за особую востребованность (в ситуациях гипотетических или принципиально ненаблюдаемых научных объектов, а также в условиях этической невозможности или финансовой ограниченности постановки «реального» эксперимента), остаются неочевидными основания когнитивной силы мысленного эксперимента. Можно ли считать его исключительно заместителем эксперимента «реального», ожидающим санкции последнего или призывающим смириться с принципиальной невозможностью в данном конкретном случае «работы с реальностью»? Следует ли уделять внимание принципиальной ограниченности мысленных экспериментов по тем или иным причинам, дабы уберечь себя от избыточного доверия их результатам [2]? Или мы можем и должны, напротив, стремиться к дополнительной легитимации мысленного эксперимента, находить источники его познавательной силы и дополнительные возможности, которые он предоставляет в общем поле эпистемических практик?

Сложность ответов на поставленные вопросы усугубляется концептуальной неопределенностью мысленного эксперимента, а также возможностью его широкой таксономии. Мысленные эксперименты могут служить различным целям, быть востребованными в системе образования, экономике, этике, теологии, использоваться в концептуальном анализе, при выдвижении гипотез и применении теорий. В логическом смысле они могут выступать в качестве «опровержения необходимости» или «опровержения возможности», в контексте проблемы выбора теорий – быть иллюстрирующими, служить

критике или апологетике [3]. Это далеко не полный перечень способов востребованности мысленного эксперимента. Однако такое разнообразие вкупе с концептуальной недоопределенностью может, скорее, укрепить в сомнениях эпистемолога, задающегося вопросом об особом достоинстве мысленного эксперимента. Сомнения остаются и относительно его роли в производстве нового знания, ведь он, предположительно, остается «только рассуждением», но не эпистемической практикой в ее необходимой связи с опытом.

Отвечая на эти сомнения, Тарас Александрович занимает, как представляется, натуралистическую, или эмпиристскую, позицию. Мысленный эксперимент, будучи рассмотренным в истоках и динамике, а не только в своем результате, раскрывается им как недискурсивная практика, как работа с уже имеющимся опытом, сенсорными данными, как деятельность, производящая эффекты и включающаяся в социальные отношения. Здесь Тарас Александрович оказывается среди критиков репрезентационализма, не отрицающих необходимость различных, в том числе теоретических, репрезентаций чувственного опыта, но настаивающих на преимущественном внимании к деятельности по их производству [4]. При этом открывается возможность выхода за рамки дихотомии «дискурсивное / сенсорное», обуславливающей противопоставление мысленного и «реального» экспериментов, где второй имеет дело с материей опыта и инструментами ее репрезентации. Преодоление или смягчение дихотомии включает как минимум два момента. Во-первых, мысленный эксперимент оказывается также предъясняющим реальность, однако не в модусе действительности, как это имеет место в эксперименте обычном, но в модусах (не)возможности и (не)необходимости. Во-вторых, мысленный эксперимент представляет собой работу воображения, связывающую чувственные данные и концептуальный синтез [5]. В каком бы направлении из, скажем, описанных Кантом эта работа ни производилась – в подведении чувственных данных под имеющиеся понятия рассудка или в сборке данных без готового понятия, предполагающей следование интересу рассудка в поиске единства знания, – она не может быть истолкована как «только рассуждения», не заинтересованные в реальности. Работой воображения реальность содержательно предъясняется посредством уже имеющихся чувственных данных или посредством многообразия эмпирических закономерностей, для которых еще нет концептуального каркаса. Следует отметить, что в философской традиции можно обнаружить демонстрацию не только экспериментальной, но и концептуальной, теоретической работы в ее связи с реальностью, что не отменяет значения способности воображения, однако демонстрирует ограниченность представленной Тарасом Александровичем эмпиристской позиции.

Именно в контексте связи с воображением становится оправданной и аналогия мысленного эксперимента с картой как экспериментальной лабораторией, в которой соединяются эмпирия и концепты [6]. Если продолжить эту аналогию дальше, действенность, в том числе социально-политическая, раскрывающая существование карты [7], оказывается присутствующей и в мысленном эксперименте, выступающем орудием образования, просвещения и, возможно, идеологии, в большей степени, чем обычный эксперимент. Представляется, что так истолкованный мысленный эксперимент оказывается отчасти избавлен и от проблемы новизны. (Правда, нельзя не подчеркнуть,

что решение этой проблемы предполагает также необходимость различения новых данных, поставляемых «реальным» экспериментом, и нового знания, совсем не обязательно имеющего характер непосредственно удостоверяемого в опыте.) Работа воображения, пересобирающая полученные в опыте данные, приводит к формированию новой гипотезы или конституированию нового концепта. Более того, критические мысленные эксперименты, в том числе философские, обнаруживающие границы определенного подхода, не только оказываются вызовом для имеющегося знания, но имплицитно предполагают предъявление знания иного. Можно предположить, что в этой критической роли также состоит конструктивное отличие мысленных экспериментов от обычных, которые редко планируются как опровергающие.

Таким образом, раскрытие мысленных экспериментов как работы воображения обосновывает достоинство мысленного эксперимента, сохраняя отличие его от эксперимента обычного. Однако в этом контексте могут возникнуть и сомнения в том расширении, которое придает Тарас Александрович мысленному эксперименту. Не становится ли в этом случае мысленный эксперимент единственным образцовым примером работы воображения, не допускающим возможности отличить его, скажем, от научно-фантастических репрезентаций [8]? Сближение науки и художественных практик, безусловно, имеет значение для современной науки, однако оно не должно быть избыточным, лишаящим возможности проводить различия. Тем более что работа воображения как трансцендентальной способности, осуществляется ли она в поле научных или художественных практик, всегда уже предполагает всеобщность и претензию на объективность, не требуя дополнительной социализации. Прочтение третьей критики Канта, имеющей в фокусе эту способность, как текста, принадлежащего области не только эстетики, но и философии науки, еще более актуализирует необходимость такого различения. Представляется, что прояснение особого достоинства мысленного эксперимента должно включать осмысление его границ с иными элементами научного исследования и познавательных практик в целом. Потому вопрос о специфике воображения, обнаруживающейся в мысленном экспериментировании, остается открытым.

Литература

1. *Fehige Y.J.H., Stuart M.T.* Origins of the Philosophy of Thought Experiments: The Forerun // *Perspectives on Science*. 2014. Vol. 22. P. 179–220.
2. *Сонов М.С.* Тезис нередуцируемости квалиа: аргументированный вывод или необоснованная пресуппозиция? // *Эпистемология и философия науки*. 2020. Т. 57, № 4. С. 158–170.
3. *Brown J.R., Fehige Y.* Thought Experiments // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* / E.N. Zalta (ed.). Winter 2019 Edition. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/thought-experiment/> (accessed: 14.07.2021).
4. *Representation in Scientific Practice Revisited* / ed. C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar. Cambridge, MA : MIT Press, 2014. 366 p.
5. *Вархотов Т.А.* Воображение как граница понимания: о функции воображения в мысленных экспериментах // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики*. 2020. № 2. С. 199–224.
6. *Гавриленко С.М.* Картографический диспозитив (несколько замечаний о «глобусах» Питера Слотердайка) // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики*. 2020. № 2. С. 131–150.
7. *Иванов К.В.* Картографирование как инструмент имперской политики в центральной Азии // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики*. 2020. № 2. С. 151–181.
8. *Wiitsche H.A.* The Forever War; understanding, science fiction and thought experiment // *Synthese*. 2021. Vol. 198 (4). P. 3675–3698.

Lada V. Shipovalova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: l.shipovalova@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 62. pp. 278–281.

DOI: 10.17223/1998863X/62/29

THE SPECIAL MERIT OF THOUGHT EXPERIMENT

Keywords: thought experiment; new knowledge; imagination; representation

The author discusses the thesis Taras Varkhotov formulated on the possibility of interpreting thought experiments as having non-discursive grounds and describes opportunities and limitations associated with thought experiments as the work of imagination. This understanding brings together various types of experiments in science, as well as the work of imagination in artistic practices. In addition, it allows us to solve the problem of producing new knowledge through thought experiments.

References

1. Fehige, Y.J.H. & Stuart, M.T. (2014) Origins of the Philosophy of Thought Experiments: The Forerun. *Perspectives on Science*. 22. pp. 179–220. DOI: 10.1162/posc_a_00127
2. Sopov, M.S. (2020) Qualia Irreducibility Thesis: Rational Argument or Unreasonable Presupposition? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(4). pp. 158–170. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202057468
3. Brown, J.R. & Fehige, Y. (2019) Thought Experiments. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/thought-experiment/>
4. Coopmans, C., Vertesi, J., Lynch, M. & Woolgar, S. (eds) *Representation in Scientific Practice Revisited*. Mass.: MIT Press.
5. Varkhotov, T.A. (2020) Imagination as a borderline of understanding: the function of imagination in thought experiments. *ИПАЭХМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 199–224. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224
6. Gavrilenko, S.M. (2020) The cartographic dispositif: few remarks on “Globes” of Peter Sloterdijk. *ИПАЭХМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 131–150. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-131-150
7. Ivanov, K.V. (2020) Cartography as a tool of imperial policy in Central Asia. *ИПАЭХМА. Проблемы визуальной семиотики – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181
8. Wiitsche, H.A. (2021) The Forever War; understanding, science fiction and thought experiment. *Synthese*. 198(4). pp. 3675–3698. DOI: 10.1007/s11229-019-02306-6

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛАСАНИЯ Кира Юрьевна – кандидат политических наук, доцент кафедры философии политики и права философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: alasaniank@yandex.ru

АНТУХ Геннадий Геннадьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

АСЕЕВА Татьяна Анатольевна – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии института массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета (г. Барнаул).

E-mail: tatulyasolar@mail.ru

БОРИСОВ Евгений Васильевич – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

Email: borisov.evgeny@gmail.com

ВАРХОТОВ Тарас Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва); старший научный сотрудник Института экономики РАН (г. Москва).

E-mail: varkhotov@gmail.com

ГАВРИЛЕНКО Станислав Михайлович – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: o-s@proc.ru

ГАВРИЛЮК Татьяна Владимировна – кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета (г. Тюмень).

E-mail: tv_gavrilyuk@mail.ru

ГОЛОУХОВА Дарья Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: d.v.goloukhova@inno.mgimo.ru

ЖАРКОВ Евгений Александрович – магистр физики, исследователь Межрегиональной общественной организации «Русское общество истории и философии науки» (РОИФН); аспирант кафедры философии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).

E-mail: flash45@yandex.ru

КИРЕЕВА Оксана Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии института массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета (г. Барнаул).

E-mail: orekun-05@mail.ru

КОЗЛОВА Наталия Николаевна – доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой политологии Тверского государственного университета (г. Тверь).

E-mail: tver-rapn@mail.ru

КОСТИНА Светлана Николаевна – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления Уральского федерального университета (г. Екатеринбург).

E-mail: kostinasn@mail.ru

КУЗЬМИНА Елена Игоревна – ведущий аналитик отдела качества образования Управления учебно-организационной работы Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: e.kuzmina@inno.mgimo.ru

ЛАДОВ Всеволод Адольфович – доктор философских наук, доцент, заведующий лабораторией логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН (г. Томск); ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ladov@yandex.ru

МАРТЫНОВА Светлана Эдуардовна – кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в государственном управлении» Института «Высшая школа государственного управления» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Томск).

E-mail: status_sm@mail.ru

МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: melik-irina@yandex.ru

НЕЗАМАЕВА Ольга Борисовна – начальник департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска (г. Новосибирск).

E-mail: olga.nezamaeva@gmail.com

НЕХАЕВ Андрей Викторович – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); профессор кафедры философии Тюменского государственного университета (г. Тюмень); профессор кафедры философии и социальных коммуникаций Омского государственного технического университета (г. Омск).

E-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

НОСКОВА Антонина Вячеславовна – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: a.noskova@inno.mgimo.ru

ОСЬМУК Людмила Алексеевна – доктор социологических наук, профессор, директор Института социальных технологий Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск).

E-mail: osmuk@mail.ru

ПЕТРОВА Елена Викторовна – доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Улан-Удэ).

E-mail: elenapet_05@mail.ru

ПИСАРЕВ Александр Александрович – младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии Российской академии наук.

E-mail: topisarev@gmail.com

ПОЛЯКОВА Наталья Валерьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: belnata70@yandex.ru

РАССАДИН Сергей Валентинович – кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры психологии и философии Тверского государственного технического университета (г. Тверь).

E-mail: s_r08@mail.ru

РАХМАНОВ Азат Борисович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории и теории социологии социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: azrahmanov@mail.ru

САЗОНОВА Полина Владимировна – старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

Email: lukinapv@rambler.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); заведующий кафедрой истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: surovtssev1964@mail.ru

СЫРОВ Василий Николаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: narrat59@gmail.com

ТУЗОВСКИЙ Анатолий Сергеевич – старший преподаватель кафедры политических наук и технологий факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).

E-mail: astuzovskiy@mail.ru

ХЛЕБАЛИН Александр Валерьевич – кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: sasha_khl@mail.ru

ЦЕЛИЩЕВ Виталий Валентинович – доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: leitval@gmail.com

ЧЕПЕЛЕВА Наталья Юрьевна – аспирант кафедры истории зарубежной философии философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: chepeleva.philos@gmail.com

ШАШКОВА Ярослава Юрьевна – доктор политических наук, заведующая кафедрой политологии, руководитель Центра политического анализа и технологий факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета (г. Барнаул).

E-mail: yashashkova@mail.ru

ШИПОВАЛОВА Лада Владимировна – доктор философских наук, доцент, профессор и заведующая кафедрой философии науки и техники Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: l.shipovalova@spbu.ru

ШПАГИН Сергей Александрович – кандидат исторических наук, доцент, советник при ректорате, доцент кафедры политологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: shpagin@sibmail.com.

ЩЕРБИНИН Алексей Игнатьевич – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: shai52@mail.ru

ЩЕРБИНИНА Нина Гарьевна – доктор политических наук, профессор кафедры политологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: sapfir.19@mail.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2021. № 62

Редактор *Е.Г. Шумская*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»),
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 10.09.2021 г. Дата выхода в свет 20.09.2021 г.
Формат 70x100^{1/16}. Печ. л. 17,88; усл. печ. л. 23,24; уч.-изд. л. 24,53.
Тираж 50 экз. Заказ № 4767. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru